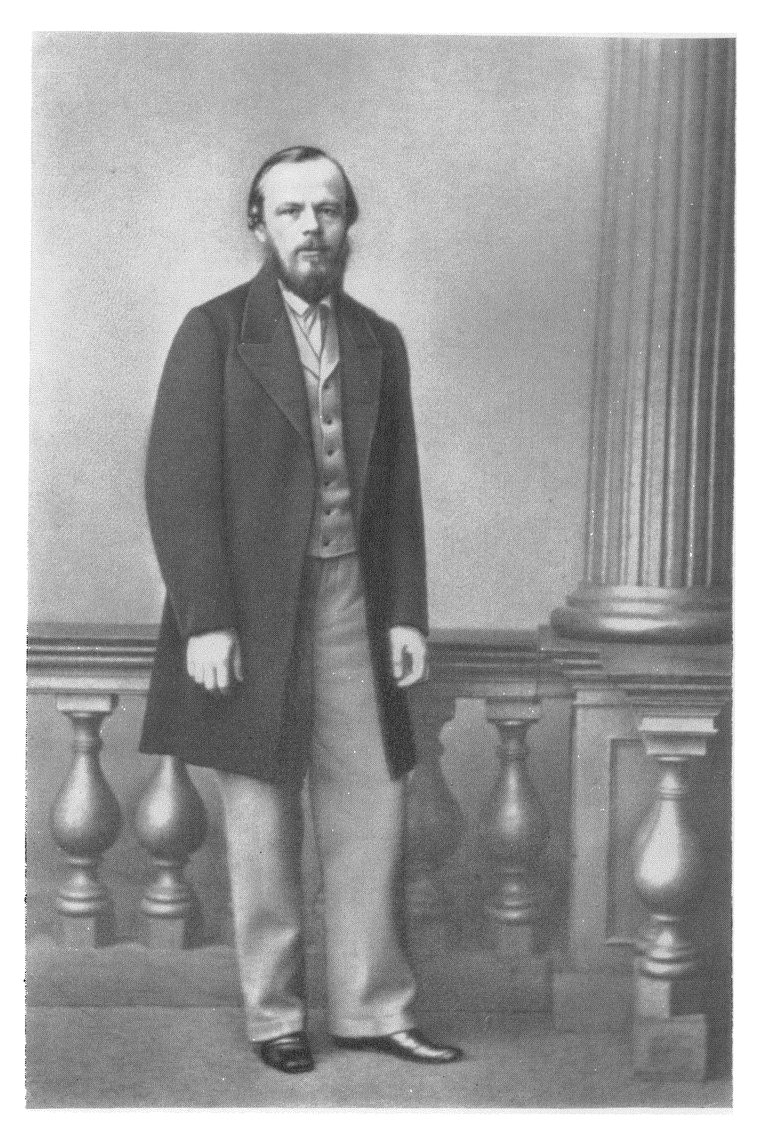
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



СОЧИНЕНИЯ

4



Ф. М. Достоевский.

Фотография М. Б. Тулинова. 1861 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА I—XVII

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1972

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1972

7-3-1

Подписное

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами — одной в городе, другой на кладбище, — города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, — или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается

неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать... Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.

В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Иваныча и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иваныч не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, — одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности

и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастия и сожалеют о них. Но, несмотря на всё это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.

Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересовать меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Иваныча. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я, ни с того ни с сего, сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздразнил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею — как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню,

что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?

Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее: чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уж истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенного нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и всё что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибрать в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.

Я унес его бумаги и целый день перебирал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. Но тут же была одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и недоконченная, может быть заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки — «Сцены из Мертвого дома», — как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала две-три главы; пусть судит публика...

I

МЕРТВЫЙ ДОМ

Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть что-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать.

Как входите в ограду — видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели; далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средина двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и перекличка утром, в полдень и вечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, — судя по мнительности караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором, остается еще довольно большое пространство. Здесь, по задам строений, иные из заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменые лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием, в свободное время, было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день; каждый день он отсчитывал по одной пале и таким образом по оставшемуся числу несосчитанных паль мог

наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы. Он был искренно рад, когда доканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему дожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и наконец выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа и потом низко, в пояс, откланивался товарищам, прося не поминать его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму... Да, в этом месте можно было научиться терпению.

Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было всё мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменые лица, лоскутные платья, всё — обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение.

Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев. Всё это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное основание всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные разряда гражданского (*сильно*каторжные, как наивно произносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на сроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским волостям в посе-

ленцы. Были преступники и военного разряда, не лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки; по окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные преступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разряд назывался «всегдашним». Но «всегдашние» всё еще не совершенно лишались всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он «особым отделением». Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было удвоять и утроять рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», — говорили они другим заключенным. Я слышал потом, что разряд этот уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок, а заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместе переменилось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие...

Давно уж это было; всё это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я вошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народ возвращался с работы; готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне наконец двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один! Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!

Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги — промышленники по находным деньгам или по столевской части. Были и такие, про которых трудно было решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные лица, почти всегда молчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство было не в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка, разговорится кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь никого не мог удивить.

«Мы — народ грамотный!» — говорили они часто, с каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник, хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не от негодования закричала казарма, а так, потому что *не надо* было *про это* говорить, потому что говорить *про это* не принято. Замечу, кстати, что этот народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделите вы от него кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток. Различались все разряды по платью: у одних половина куртки была темно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах — одна нога серая, а другая темно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница, подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала. «Фу, как не славно! — закричала она, — и серого сукна недостало, и черного сукна недостало!» Были и такие, у которых вся куртка была одного серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперек.

С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, — за некоторыми немногими исключениями неистощимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии сменялся на самый малодушный. Было несколько истинно сильных людей; те были просты и не кривлялись. Но странное дело: из этих настоящих сильных людей было несколько тщеславных до последней крайности, почти до болезни. Вообще тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма кромешная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать; все подчинялись. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно,

с усилием подчинявшиеся, но все-таки подчинявшиеся. Приходили в острог такие, которые уж слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени. Но у нас их тотчас осаживали, несмотря на то что иные, до прибытия в острог, бывали ужасом целых селений и городов. Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ, — говорили они, — не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды». — «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры». — «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Всё это говорилось часто, и в виде нравоучения и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Всё это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренно в своей беззаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, выбранить его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) — ругательствам не будет конца. А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей — а это утонченнее, ядовитее. Беспрерывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки, — следственно, он был праздный, следственно, развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие.

«Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» — говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни. Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этих как-то невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству, — не из принципа послушания, не из сознания обязанностей, а так, как будто по какому-то

контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительного, известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая. Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога, приехал сам в кордегардию, которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании. Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов; он довел их до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, «бросался на людей», как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением. Не понимаю, как мог он кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд.

Арестант побледнел, когда его кликнули. Обыкновенно он молча и решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после наказания как встрепанный, хладнокровно и философски смотря на приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и, тихонько от конвоя, успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ножи и всякие острые инструменты страшно запрещались в остроге. Обыски были частые, неожиданные и нешуточные, наказания жестокие; но так как трудно отыскать у вора, когда тот решится что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и инструменты были всегдашнею необходимостью в остроге, то, несмотря на обыски, они не переводились. А если и отбирались, то немедленно заводились новые. Вся каторга бросилась к забору и с замиранием сердца смотрела сквозь щели паль. Все знали, что Петров в этот раз не захочет лечь под розги и что майору пришел конец. Но в самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и уехал, поручив исполнение экзекуции другому офицеру. «Сам бог спас!» — говорили потом арестанты. Что же касается до Петрова, он преспокойно вытерпел наказание. Его гнев прошел с отъездом майора. Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати: ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд, можно даже назвать его сумасшедшим; да так и делают.

Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры, молодечество, ложный стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают. Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что знаменитая келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, энервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния. Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание, а чрез это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но, несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком. Только в остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову

убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Всё время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот *родитель мой,* так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь». Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление. Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне всё его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить.

Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!..»

Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».

Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью: арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге, вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую. Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но работали тихонько,

и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили. Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в стклянке. Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались внезапные обыски, отбиралось всё запрещенное, и — как ни прятались деньги, а все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись недостатки, немедленно заводились новые вещи, и всё шло по-старому. И начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.

Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процветало, что принимались под заклад даже казенные смотровые вещи, как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас

же отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству. Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет. Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так только, для очистки совести.

Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь в каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги, выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что во всё время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал... Благодаря этим-то личностям вино не оскудевало в остроге.

Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш. Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах, арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо

строже решеных, было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну. Если недостанет на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали. Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та бросилась бежать за мной... «На, „несчастный“, возьми Христа ради копеечку!» — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку я долго берег у себя.

II

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались, слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое, однообразное, удушающее.

Но всё, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.

Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать, неожиданного. Всё это как будто и прежде мелькало передо мной в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и всё более и более дивился на него. Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей каторги; я никогда не мог примириться с нею.

Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили

свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелою, *каторжною,* и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она — *принужденная,* обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная.

Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты последнюю рубашку, и всё это от тоски, от праздности, от нечего делать. Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной

Записки изъ Мертваго дома.

Часть 2я

Глава 2я

Госпиталь.

[illegible]

«Записки из Мертвого дома». Наборная рукопись начала II главы второй части.

Отдел рукописей и редкой книги библиотеки Гарвардского университета (США).

жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожительство.* Общее сожительство, конечно, есть и в других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большею частью бессознательно.

Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли, что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания.

Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные, кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.

Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло в наблюдении за чистотой казармы, в мытье

и в скоблении нар и полов, в приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра — утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры.

— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом, — постой!

— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь, монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фартикультяпности нет.

«Фартикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того только и надо было веселому толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением.

— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на острожном чистяке! * Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.

Толстяк наконец рассердился.

— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.

— То и есть, что птица!

— Какая?

— Такая.

— Какая такая?

— Да уж одно слово такая.

— Да какая?

Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет драка. Для меня всё это было ново, и я смотрел с любопытством. Но впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же никогда почти не доходило. Всё это было довольно характерно и изображало нравы острога.

Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было поддержать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника, стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно произнес:

— Каган!..

То есть что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал находчивость арестанта.

---

* Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси.

— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.

Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.

— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.

— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за угла.

— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий, задорный; семеро одного не боимся...

— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой — крыночная блудница, у бабы простокишу поел, за то и кнута хватил.

— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.

— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу, родимому братцу!

— Брат... Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал инвалид, натягивая в рукава шинель...

Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для резания хлеба и мяса, на всю кухню один.

По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по углам.

— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.

— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.

— Нет, ты сперва помри, а я после...

Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта, видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.

— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть.

— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.

— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет... она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась. Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу: у него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида, купил, вот еще который потом удавился...

— Знаю. Он у нас в третьем годе в целовальниках сидел, а по прозвищу Гришка Темный кабак. Знаю.

— А вот и не знаешь; это другой Темный кабак.

— Как не другой! Знать, ты толсто знаешь! Да я тебе столько посредственников приведу...

— Приведешь! Ты откуда, а я чей?

— Чей! Да я вот тебя и бивал, да не хвастаю, а то еще чей!

— Ты бивал! Да кто меня прибьет, еще тот не родился; а кто бивал, тот в земле лежит.

— Чума бендерская!

— Чтоб те язвила язва сибирская!

— Чтоб с тобой говорила турецкая сабля!..

И пошла ругань.

— Ну-ну-ну! Загалдели! — закричали кругом. — На воле не умели жить; рады, что здесь до чистяка добрались...

Тотчас уймут. Ругаться, «колотить» языком позволяется. Это отчасти и развлечение для всех. Но до драки не всегда допустят, и только разве в исключительном случае враги подерутся. О драке донесут майору; начнутся розыски, приедет сам майор, — одним словом, всем нехорошо будет, а потому-то драка и не допускается. Да и сами враги ругаются больше для развлечения, для упражнения в слоге. Нередко сами себя обманывают, начинают с страшной горячкой, остервенением... думаешь: вот бросятся друг на друга; ничуть не бывало: дойдут до известной точки и тотчас расходятся. Всё это меня сначала чрезвычайно удивляло. Я нарочно привел здесь пример самых обыкновенных каторжных разговоров. Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милое упражнение, приятность? Впрочем, не надо забывать и тщеславия. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру.

Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят косо.

Я уже поймал несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас же стали подслуживаться: начали учить меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги, сундучок с замком, чтоб спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес в острог. На другой же день они у меня его украли и пропили. Один из них сделался впоследствии преданнейшим мне человеком, хотя и не переставал обкрадывать меня при всяком удобном случае. Он делал это без всякого смущения, почти бессознательно, как будто по обязанности, и на него невозможно было сердиться.

Между прочим, они научили меня, что должно иметь свой чай, что не худо мне завести и чайник, а покамест достали мне на подержание чужой и рекомендовали мне кашевара, говоря, что копеек за тридцать в месяц он будет стряпать мне что угодно, если я пожелаю есть особо и покупать себе провиант... Разумеется,

они заняли у меня денег, и каждый из них в один первый день приходил занимать раза по три.

На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно.

Несмотря на то что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, — арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то что сами же любили дразнить нас нашим падением.

— Нет, теперь полно, постой! Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет, — и проч. и проч. любезности.

Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе, за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать. Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь.

В каторге было несколько человек из дворян. Во-первых, человек пять поляков. Об них я поговорю когда-нибудь особо. Каторжные страшно не любили поляков, даже больше, чем ссыльных из русских дворян. Поляки (я говорю об одних политических преступниках) были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетою.

Мне надо было почти два года прожить в остроге, чтоб приобресть расположение некоторых из каторжных. Но большая часть из них наконец меня полюбила и признала за «хорошего» человека.

Из русских дворян, кроме меня, было четверо. Один — низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода в острог и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой — тот самый отцеубийца, о котором я уже говорил в своих записках. Третий был Аким Акимыч; редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. Служил он на Кавказе прапорщиком. Мы сошлись с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело. Начал он на Кавказе же, с юнкеров, по пехот-

ному полку, долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирной князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение; оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд; уличал и укорял князька всенародно; доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед, и, в заключение, расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За всё это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда, в крепостях, на двенадцать лет. Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам; но, несмотря на то что знал это, он как будто никак не мог понять своей вины настоящим образом:

— Да помилуйте! Ведь он зажег мою крепость? Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это! — говорил он мне, отвечая на мои возражения.

Но, несмотря на то что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал всё самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги.

Выходя из острога на работу, арестанты строились перед кордегардией в два ряда; спереди и сзади арестантов выстроивались конвойные солдаты с заряженными ружьями. Являлись: инженерный офицер, кондуктор и несколько инженерных нижних чинов, приставов над работами. Кондуктор рассчитывал арестантов и посылал их партиями куда нужно на работу.

Вместе с другими я отправился в инженерную мастерскую. Это было низенькое каменное здание, стоявшее на большом дворе, заваленном разными матерьялами. Тут была кузница, слесарня, столярная, малярная и проч. Аким Акимыч ходил сюда и работал в малярной, варил олифу, составлял краски и разделывал столы и мебель под орех.

В ожидании перековки я разговорился с Акимом Акимычем о первых моих впечатлениях в остроге.

— Да-с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съесть рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с? Здесь, я вам скажу, жить трудно. А в российских арестантских ротах еще труднее-с. Вот у нас есть оттуда, так не нахвалятся нашим острогом, точно из ада в рай перешли. Не в работе беда-с. Говорят, там, в первом-то разряде, начальство не совершенно военное-с, по крайней мере другим манером, чем у нас, поступает-с. Там, говорят, ссыльный может жить своим домком. Я там не был, да так говорят-с. Не бреют; в мундирах не ходят-с; хотя, впрочем, оно и хорошо, что у нас они в мундирном виде и бритые; все-таки порядку больше, да и глазу приятнее-с. Да только им-то это не нравится. Да и посмотрите, сброд-то какой-с! Иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, семью, детей милых оставил на родине, пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто, и все-то они должны ужиться вместе во что бы ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах. Да и воля-то какая: лишний кусок можно съесть только украдкой, всякий грош в сапоги прятать, и всё только и есть, что острог да острог... Поневоле дурь пойдет в голову.

Но это я уж знал. Мне особенно хотелось расспросить о нашем майоре. Аким Акимыч не секретничал, и, помню, впечатление мое было не совсем приятное.

Но еще два года мне суждено было прожить под его начальством. Всё, что рассказал мне о нем Аким Акимыч, оказалось вполне справедливым, с тою разницею, что впечатление действительности всегда сильнее, чем впечатление от простого рассказа. Страшный был это человек именно потому, что такой человек был начальником, почти неограниченным, над двумястами душ. Сам по себе он только был беспорядочный и злой человек, больше ничего. На арестантов он смотрел как на своих естественных врагов, и это была первая и главная ошибка его. Он действительно имел некоторые способности; но всё, даже и хорошее, представлялось в нем в таком исковерканном виде. Невоздержный, злой, он врывался в острог даже иногда по ночам, а если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывал: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал». В остроге его ненавидели и боялись как чумы. Лицо у него было багровое, злобное. Все знали, что он был вполне в руках своего денщика, Федьки. Любил же он больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном; прогнал одного ветеринара и, по своему обыкновению, чуть не подрался с ним и, услышав от Федьки, что в остроге есть арестант, ветеринар-самоучка, который лечил чрезвычайно удачно, немедленно призвал его.

— Выручи! Озолочу тебя, вылечи Трезорку! — закричал он арестанту.

Это был мужик-сибиряк, хитрый, умный, действительно очень ловкий ветеринар, но вполне мужичок.

— Смотрю я на Трезорку, — рассказывал он потом арестантам, впрочем, долго спустя после своего визита к майору, когда уже всё дело было забыто, — смотрю: лежит пес на диване, на белой подушке; и ведь вижу, что воспаление, что надоть бы кровь пустить, и вылечился бы пес, ей-ей говорю! да думаю про себя: «А что, как не вылечу, как околеет?» «Нет, говорю, ваше высокоблагородие, поздно позвали; кабы вчера или третьего дня, в это же время, так вылечил бы пса; а теперь не могу, не вылечу...»

Так и умер Трезорка.

Мне рассказывали в подробности, как хотели убить нашего майора. Был в остроге один арестант. Он жил у нас уже несколько лет и отличался своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его так и считали каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний год постоянно читал Библию, читал и днем и ночью. Когда все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую церковную свечу, взлезал на печку, раскрывал книгу и читал до утра. В один день он пошел и объявил унтер-офицеру, что не хочет идти на работу. Доложили майору; тот вскипел и прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, судили и наказали. Всё произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил, что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал ни к какой раскольничьей секте. В остроге вспоминали о нем с уважением.

Наконец меня перековали. Между тем в мастерскую явились одна за другою несколько калашниц. Иные были совсем маленькие девочки. До зрелого возраста они ходили обыкновенно с калачами; матери пекли, а они продавали. Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей; так почти всегда водилось. Были и не девочки. Калач стоил грош, и арестанты почти все их покупали.

Я заметил одного арестанта, столяра, уже седенького, но румяного и с улыбкой заигрывавшего с калашницами. Перед их приходом он только что навертел на шею красненький кумачный платочек. Одна толстая и совершенно рябая бабенка поставила на его верстак свою сельницу. Между ними начался разговор.

— Что ж вы вчера не приходили туда? — заговорил арестант с самодовольной улыбочкой.

— Вот! Я пришла, а вас Митькой звали, — отвечала бойкая бабенка.

— Нас потребовали, а то бы мы неизменно находились при месте... А ко мне третьего дня все ваши приходили.

— Кто да кто?

— Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда́ приходила, Двугрошовая приходила...

— Это что же? — спросил я Акима Акимыча, — неужели?..

— Бывает-с, — отвечал он, скромно опустив глаза, потому что был чрезвычайно целомудренный человек.

Это, конечно, бывало, но очень редко и с величайшими трудностями. Вообще было больше охотников, например, хоть выпить, чем на такое дело, несмотря на всю естественную тягость вынужденной жизни. До женщин было трудно добраться. Надо было выбирать время, место, условливаться, назначать свидания, искать уединения, что было особенно трудно, склонять конвойных, что было еще труднее, и вообще тратить бездну денег, судя относительно. Но все-таки мне удавалось впоследствии, иногда, быть свидетелем и любовных сцен. Помню, однажды летом мы были втроем в каком-то сарае на берегу Иртыша и протапливали какую-то обжигательную печку; конвойные были добрые. Наконец, явились две «суфлеры», как называют их арестанты.

— Ну, что так засиделись? Небось у Зверковых? — встретил их арестант, к которому они пришли, давно уже их ожидавший.

— Я засиделась? Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них, посидела, — отвечала весело девица.

Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была Чекунда́. С ней вместе пришла Двугрошовая. Эта уже была вне всякого описания.

— И с вами давно не видались, — продолжал волокита, обращаясь к Двугрошовой, — что это вы словно как похудели?

— А может быть. Прежде-то я куды была толстая, а теперь — вот словно иглу проглотила.

— Всё по солдатикам-с?

— Нет уж это вам про нас злые люди набухвостили; а впрочем, что ж-с? Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить!

— А вы их бросьте, а нас любите; у нас деньги есть...

В довершение картины представьте себе этого волокиту, бритого, в кандалах, полосатого и под конвоем.

Я простился с Акимом Акимычем и, узнав, что мне можно воротиться в острог, взял конвойного и пошел домой. Народ уже сходился. Прежде всех возвращаются с работы работающие на уроки. Единственное средство заставить арестанта работать усердно, это — задать ему урок. Иногда уроки задаются огромные, но все-таки они кончаются вдвое скорее, чем если б заставили работать вплоть до обеденного барабана. Окончив урок, арестант беспрепятственно шел домой, и уже никто его не останавливал.

Обедают не вместе, а как попало, кто раньше пришел; да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал щей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола. Со мной был один товарищ, так же как и я, из дворян.

Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно, еще не все собрались. Кучка в пять человек уселась особо за боль-

шим столом. Кашевар налил им в две чашки щей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое. На нас они поглядели искоса. Вошел один поляк и сел рядом с нами.

— Дома не был, а всё знаю! — громко закричал один высокий арестант, входя в кухню и взглядом окидывая всех присутствующих.

Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательна была его толстая, нижняя, отвислая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое.

— Ну, здорово ночевали! Что ж не здороваетесь? Нашим курским! — прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье,— хлеб да соль! Встречайте гостя.

— Да мы, брат, не курские.

— Аль тамбовским?

— Да и не тамбовские. С нас, брат, тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси.

— В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна; а где он, богатый мужик, живет?

— Да вон Газин богатый мужик; к нему и ступай.

— Кутит, братцы, сегодня Газин, запил: весь кошель пропивает.

— Целковых двадцать есть, — заметил другой. — Выгодно, братцы, целовальником быть.

— Что ж, не примете гостя? Ну, так похлебаем и казенного.

— Да ты ступай проси чаю. Вон баре пьют.

— Какие баре, тут нет бар; такие же, как и мы теперь, — мрачно промолвил один, сидевший в углу арестант. До сих пор он не проговорил слова.

— Напился бы чаю, да просить совестно: мы с анбицией! — заметил арестант с толстой губой, добродушно смотря на нас.

— Если хотите, я вам дам, — сказал я, приглашая арестанта, — угодно?

— Угодно? Да уж как не угодно! — Он подошел к столу.

— Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал; господского питья захотелось, — проговорил мрачный арестант.

— А разве здесь никто не пьет чаю? — спросил я его, но он не удостоил меня ответом.

— Вот и калачи несут. Уж удостойте и калачика!

Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и распродавал ее по острогу. Калашница уступала ему десятый калач; на этот-то калач он и рассчитывал.

— Калачи, калачи! — кричал он, входя в кухню, — московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо. Ну, ребята, последний калач остался: у кого мать была?

Это воззвание к материнской любви рассмешило всех, и у него взяли несколько калачей.

— А что, братцы, — проговорил он, — ведь Газин-то сегодня догуляется до греха! Ей-богу! Когда гулять вздумал. Неравно осмиглазый приедет.

— Спрячут. А что, крепко пьян?

— Куды! Злой, пристает.

— Ну, так догуляется до кулаков...

— Про кого они говорят? — спросил я поляка, сидевшего рядом со мною.

— Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда наторгует денег, тотчас же их пропивает. Он жесток и зол; впрочем, трезвый смирен; когда же напьется, то весь наружу; на людей с ножом кидается. Тут уж его унимают.

— Как же унимают?

— На него бросаются человек десять арестантов и начинают ужасно бить, до тех пор, пока он не лишится всех чувств, то есть бьют до полусмерти. Тогда укладывают его на нары и накрывают полушубком.

— Да ведь они могут его убить?

— Другого бы убили, но его нет. Он ужасно силен, сильнее здесь всех в остроге и самого крепкого сложения. На другое же утро он встает совершенно здоровый.

— Скажите, пожалуйста, — продолжал я расспрашивать поляка, — ведь вот они тоже едят свое кушанье, а я пью чай. А между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это значит?

— Это не за чай, — отвечал поляк. — Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унизить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть. Вы еще не раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то что здесь очень многие и очень часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай. Им можно, а вам нельзя.

Проговорив это, он встал и ушел из-за стола. Через несколько минут сбылись и слова его...

III

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Только что ушел М—цкий (тот поляк, который говорил со мною), Газин, совершенно пьяный, ввалился в кухню.

Пьяный арестант, среди бела дня, в будний день, когда все обязаны были выходить на работу, при строгом начальнике, который каждую минуту мог приехать в острог, при унтер-офицере, заведующем каторжными и находящемся в остроге безотлучно, при караульных, при инвалидах — одним словом, при всех этих строгостях совершенно спутывал все зарождавшиеся во мне поня-

тия об арестантском житье-бытье. И довольно долго пришлось мне прожить в остроге, прежде чем я разъяснил себе все такие факты, столь загадочные для меня в первые дни моей каторги.

Я говорил уже, что у арестантов всегда была собственная работа и что эта работа — естественная потребность каторжной жизни; что, кроме этой потребности, арестант страстно любит деньги и ценит их выше всего, почти наравне с свободой, и что он уже утешен, если они звенят у него в кармане. Напротив, он уныл, грустен, беспокоен и падает духом, если их нет, и тогда он готов и на воровство и на что попало, только бы их добыть. Но, несмотря на то что в остроге деньги были такою драгоценностью, они никогда не залеживались у счастливца, их имеющего. Во-первых, трудно было их сохранить, чтоб не украли или не отобрали. Если майор добирался до них, при внезапных обысках, то немедленно отбирал. Может быть, он употреблял их на улучшение арестантской пищи; по крайней мере они приносились к нему. Но всего чаще их крали: ни на кого нельзя было положиться. Впоследствии у нас открыли способ сохранять деньги с полною безопасностью. Они отдавались на сохранение старику староверу, поступившему к нам из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев... Но не могу утерпеть, чтоб не сказать о нем несколько слов, хотя и отвлекаюсь от предмета.

Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни. Прислали его за чрезвычайно важное преступление. Между стародубовскими старообрядцами стали появляться обращенные. Правительство сильно поощряло их и стало употреблять все усилия для дальнейшего обращения и других несогласных. Старик, вместе с другими фанатиками, решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая церковь, и они сожгли ее. Как один из зачинщиков старик сослан был в каторжную работу. Был он зажиточный, торгующий мещанин; дома оставил жену, детей; но с твердостью пошел в ссылку, потому что в ослеплении своем считал ее «мукою за веру». Прожив с ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий как дитя человек быть бунтовщиком? Я несколько раз заговаривал с ним «о вере». Он не уступал ничего из своих убеждений; но никогда никакой злобы, никакой ненависти не было в его возражениях. А между тем он разорил церковь и не запирался в этом. Казалось, что, по своим убеждениям, свой поступок и принятые за него «муки» он должен бы был считать славным делом. Но как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия или гордости не замечал я в нем. Были у нас в остроге и другие старо-

обрядцы, большею частью сибиряки. Это был сильно развитой народ, хитрые мужики, чрезвычайные начетчики и буквоеды и по-своему сильные диалектики; народ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый в высочайшей степени. Совсем другой человек был старик. Начетчик, может быть, больше их, он уклонялся от споров. Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся — не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший. Во всем остроге старик приобрел всеобщее уважение, которым нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его. Я отчасти понял, какое мог он иметь влияние на своих единоверцев. Но, несмотря на видимую твердость, с которою он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи (той самой, на которой прежде него по ночам молился зачитавшийся арестант, хотевший убить майора) и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: «Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!» Не могу рассказать, как мне стало грустно. Вот этому-то старику мало-помалу почти все арестанты начали отдавать свои деньги на хранение. В каторге почти все были воры, но вдруг все почему-то уверились, что старик никак не может украсть. Знали, что он куда-то прятал врученные ему деньги, но в такое потаенное место, что никому нельзя было их отыскать. Впоследствии мне и некоторым из поляков он объяснил свою тайну. В одной из паль был сучок, по-видимому твердо сросшийся с деревом. Но он вынимался, и в дереве оказалось большое углубление. Туда-то дедушка прятал деньги и потом опять вкладывал сучок, так что никто никогда не мог ничего отыскать.

Но я отклонился от рассказа. Я остановился на том, почему в кармане у арестанта не залеживались деньги. Но, кроме труда уберечь их, в остроге было столько тоски; арестант же, по природе своей, существо до того жаждущее свободы и, наконец, по социальному своему положению, до того легкомысленное и беспорядочное, что его, естественно, влечет вдруг «развернуться на все», закутить на весь капитал, с громом и с музыкой, так, чтоб забыть, хоть на минуту, тоску свою. Даже странно было смотреть, как иной из них работает, не разгибая шеи, иногда по нескольку месяцев, единственно для того, чтоб в один день спустить весь заработок, всё дочиста, а потом опять, до нового кутежа, несколько месяцев корпеть за работой. Многие из них любили заводить себе обновки,

и непременно партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные, черные штаны, поддевки, сибирки. В большом употреблении были тоже ситцевые рубашки и пояса с медными бляхами. Рядились в праздники, и разрядившийся непременно, бывало, пройдет по всем казармам показать себя всему свету. Довольство хорошо одетого доходило до ребячества; да и во многом арестанты были совершенные дети. Правда, все эти хорошие вещи как-то вдруг исчезали от хозяина, иногда в тот же вечер закладывались и спускались за бесценок. Впрочем, кутеж развертывался постепенно. Пригонялся он обыкновенно или к праздничным дням, или к дням именин кутившего. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался как вол, почти всегда один, редко приглашая товарищей разделить свою трапезу. Потом появлялось и вино: именинник напивался как стелька и непременно ходил по казармам, покачиваясь и спотыкаясь, стараясь показать всем, что он пьян, что он «гуляет», и тем заслужить всеобщее уважение. Везде в русском народе к пьяному чувствуется некоторая симпатия; в остроге же к загулявшему даже делались почтительны. В острожной гульбе был своего рода аристократизм. Развеселившись, арестант непременно нанимал музыку. Был в остроге один полячок из беглых солдат, очень гаденький, но игравший на скрипке и имевший при себе инструмент — всё свое достояние. Ремесла он не имел никакого и тем только и промышлял, что нанимался к гуляющим играть веселые танцы. Должность его состояла в том, чтоб безотлучно следовать за своим пьяным хозяином из казармы в казарму и пилить на скрипке изо всей мочи. Часто на лице его являлась скука, тоска. Но окрик: «Играй, деньги взял!» — заставлял его снова пилить и пилить. Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, что если он уж очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовремя уложат спать и всегда куда-нибудь спрячут при появлении начальства, и всё это совершенно бескорыстно. С своей стороны, унтер-офицер и инвалиды, жившие для порядка в остроге, могли быть тоже совершенно спокойны: пьяный не мог произвести никакого беспорядка. За ним смотрела вся казарма, и если б он зашумел, забунтовал — его бы тотчас же усмирили, даже просто связали бы. А потому низшее острожное начальство смотрело на пьянство сквозь пальцы, да и не хотело замечать. Оно очень хорошо знало, что не позволь вина, так будет и хуже. Но откуда же доставалось вино?

Вино покупалось в остроге же у так называемых целовальников. Их было несколько человек, и торговлю свою они вели беспрерывно и успешно, несмотря на то что пьющих и «гуляющих» было вообще немного, потому что гульба требовала денег, а арестантские деньги добывались трудно. Торговля начиналась, шла и разрешалась довольно оригинальным образом. Иной арестант, положим, не имеет ремесла и не желает трудиться (такие бывали), но хочет

иметь деньги и притом человек нетерпеливый, хочет скоро нажиться. У него есть несколько денег для начала, и он решается торговать вином: предприятие смелое, требующее большого риску. Можно было за него поплатиться спиной и разом лишиться товара и капитала. Но целовальник на то идет. Денег у него сначала немного, и потому в первый раз он сам проносит в острог вино и, разумеется, сбывает его выгодным образом. Он повторяет опыт второй и третий раз, и если не попадается начальству, то быстро расторговывается, и только тогда основывает настоящую торговлю на широких основаниях: делается антрепренером, капиталистом, держит агентов и помощников, рискует гораздо меньше, а наживается всё больше и больше. Рискуют за него помощники.

В остроге всегда бывает много народу промотавшегося, проигравшегося, прогулявшего всё до копейки, народу без ремесла, жалкого и оборванного, но одаренного до известной степени смелостью и решимостью. У таких людей остается, в виде капитала, в целости одна только спина; она может еще служить к чему-нибудь, и вот этот-то последний капитал промотавшийся гуляка и решается пустить в оборот. Он идет к антрепренеру и нанимается к нему для проноски в острог вина; у богатого целовальника таких работников несколько. Где-нибудь вне острога существует такой человек — из солдат, из мещан, иногда даже девка, — который на деньги антрепренера и за известную премию, сравнительно очень немалую, покупает в кабаке вино и скрывает его где-нибудь в укромном местечке, куда арестанты приходят на работу. Почти всегда поставщик первоначально испробывает доброту водки и отпитое бесчеловечно добавляет водой; бери не бери, да арестанту и нельзя быть слишком разборчивым: и то хорошо, что еще не совсем пропали его деньги и доставлена водка, хоть какая-нибудь, да все-таки водка. К этому-то поставщику и являются указанные ему наперед от острожного целовальника проносители, с бычачьими кишками. Эти кишки сперва промываются, потом наливаются водой и, таким образом, сохраняются в первоначальной влажности и растяжимости, чтобы со временем быть удобными к восприятию водки. Налив кишки водкой, арестант обвязывает их кругом себя, по возможности в самых скрытных местах своего тела. Разумеется, при этом выказывается вся ловкость, вся воровская хитрость контрабандиста. Его честь отчасти затронута; ему надо надуть и конвойных и караульных. Он их надувает: у хорошего вора конвойный, иногда какой-нибудь рекрутик, всегда прозевает. Разумеется, конвойный изучается предварительно; к тому же принимается в соображение время, место работы. Арестант, например печник, полезет на печь: кто увидит, что он там делает? Не лезть же за ним и конвойному. Подходя к острогу, он берет в руки монетку — пятнадцать или двадцать копеек серебром, на всякий случай, и ждет у ворот ефрейтора. Всякого арестанта, возвращающегося с работы, караульный ефрейтор осматривает кругом и ощупывает и потом уже отпирает ему двери

острога. Проноситель вина обыкновенно надеется, что посовестятся слишком подробно его ощупывать в некоторых местах. Но иногда пролаз ефрейтор добирается и до этих мест и нащупывает вино. Тогда остается одно последнее средство: контрабандист молча и скрытно от конвойного сует в руки ефрейтора затаенную в руке монетку. Случается, что вследствие такого маневра он проходит в острог благополучно и проносит вино. Но иногда маневр не удается, и тогда приходится рассчитаться своим последним капиталом, то есть спиной. Докладывают майору, капитал секут, и секут больно, вино отбирается в казну, и контрабандист принимает всё на себя, не выдавая антрепренера, но, заметим себе, не потому, чтоб гнушался доноса, а единственно потому, что донос для него невыгоден: его бы все-таки высекли; всё утешение было бы в том, что их бы высекли обоих. Но антрепренер ему еще нужен, хотя, по обычаю и по предварительному договору, за высеченную спину контрабандист не получает с антрепренера ни копейки. Что же касается вообще доносов, то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже немыслимо. Его не чуждаются, с ним водят дружбу, так что если б вы стали в остроге доказывать всю гадость доноса, то вас бы совершенно не поняли. Тот арестант из дворян, развратный и подлый, с которым я прервал все сношения, водил дружбу с майорским денщиком Федькой и служил у него шпионом, а тот передавал всё услышанное им об арестантах майору. У нас все это знали, и никто никогда даже и не вздумал наказать или хоть бы укорить негодяя.

Но я отклонился в сторону. Разумеется, бывает, что вино проносится и благополучно; тогда антрепренер принимает принесенные кишки, заплатив за них деньги, и начинает рассчитывать. По расчету оказывается, что товар стоит уже ему очень дорого; а потому, для больших барышей, он переливает его еще раз, сызнова разбавляя еще раз водой, чуть не наполовину, и, таким образом приготовившись совершенно, ждет покупателя. В первый же праздник, а иногда в будни, покупатель является: это арестант, работавший несколько месяцев, как кордонный вол, и скопивший копейку, чтобы пропить всё в заранее определенный для того день. Этот день еще задолго до своего появления снился бедному труженику и во сне, и в счастливых мечтах за работой и обаянием своим поддерживал его дух на скучном поприще острожной жизни. Наконец заря светлого дня появляется на востоке; деньги скоплены, не отобраны, не украдены, и он их несет целовальнику. Тот подает ему сначала вино, по возможности чистое, то есть всего только два раза разбавленное; но по мере отпивания из бутылки всё отпитое немедленно добавляется водой. За чашку вина платится впятеро, вшестеро больше, чем в кабаке. Можно представить себе, сколько нужно выпить таких чашек и сколько заплатить за них денег, чтоб напиться! Но, по отвычке от питья и от предварительного воздержания, арестант хмелеет довольно скоро и обыкно-

венно продолжает пить до тех пор, пока не пропьет все свои деньги. Тогда идут в ход все обновки: целовальник в то же время и ростовщик. Сперва поступают к нему новозаведенные партикулярные вещи, потом доходит и до старого хлама, а наконец, и до казенных вещей. С пропитием всего, до последней тряпки, пьяница ложится спать и на другой день, проснувшись с неминуемой трескотней в голове, тщетно просит у целовальника хоть глоток вина на похмелье. Грустно переносит он невзгоду, и в тот же день принимается опять за работу, и опять несколько месяцев работает, не разгибая шеи, мечтая о счастливом кутежном дне, безвозвратно канувшем в вечность, и мало-помалу начиная ободряться и поджидать другого такого же дня, который еще далеко, но который все-таки придет же когда-нибудь в свою очередь.

Что же касается целовальника, то, наторговав наконец огромную сумму, несколько десятков рублей, он заготовляет последний раз вино и уже не разбавляет его водой, потому что назначает его для себя; довольно торговать: пора и самому попраздновать! Начинается кутеж, питье, еда, музыка. Средства большие; задобривается даже и ближайшее, низшее, острожное начальство. Кутеж иногда продолжается по нескольку дней. Разумеется, заготовленное вино скоро пропивается; тогда гуляка идет к другим целовальникам, которые уже поджидают его, и пьет до тех пор, пока не пропивает всего до копейки. Как ни оберегают арестанты гуляющего, но иногда он попадается на глаза высшему начальству, майору или караульному офицеру. Его берут в кордегардию, обирают его капиталы, если найдут их на нем, и в заключение секут. Встряхнувшись, он приходит обратно в острог и чрез несколько дней снова принимается за ремесло целовальника. Иные из гуляк, разумеется богатенькие, мечтают и о прекрасном поле. За большие деньги они пробираются иногда, тайком, вместо работы, куда-нибудь из крепости на форштадт, в сопровождении подкупленного конвойного. Там, в каком-нибудь укромном домике, где-нибудь на самом краю города, задается пир на весь мир и ухлопываются действительно большие суммы. За деньги и арестантом не брезгают; конвойный же подбирается как-нибудь заранее, с знанием дела. Обыкновенно такие конвойные сами — будущие кандидаты в острог. Впрочем, за деньги всё можно сделать, и такие путешествия остаются почти всегда в тайне. Надо прибавить, что они весьма редко случаются; на это надо много денег, и любители прекрасного пола прибегают к другим средствам, совершенно безопасным.

Еще с первых дней моего острожного житья один молодой арестант, чрезвычайно хорошенький мальчик, возбудил во мне особенное любопытство. Звали его Сироткин. Был он довольно загадочное существо во многих отношениях. Прежде всего меня поразило его прекрасное лицо; ему было не более двадцати трех лет от роду. Находился он в особом отделении, то есть в бессрочном, следственно, считался одним из самых важных военных пре-

ступников. Тихий и кроткий, он говорил мало, редко смеялся. Глаза у него были голубые, черты правильные, личико чистенькое, нежное, волосы светло-русые. Даже полуобритая голова мало его безобразила: такой он был хорошенький мальчик. Ремесла он не имел никакого, но деньги добывал хоть понемногу, но часто. Был он приметно ленив, ходил неряхой. Разве кто другой оденет его хорошо, иногда даже в красную рубашку, и Сироткин, видимо, рад обновке: ходит по казармам, себя показывает. Он не пил, в карты не играл, почти ни с кем не ссорился. Ходит, бывало, за казармами — руки в карманах, смирный, задумчивый. О чем он мог думать, трудно было себе и представить. Окликнешь иногда его, из любопытства, спросишь о чем-нибудь, он тотчас же ответит и даже как-то почтительно, не по-арестантски, но всегда коротко, неразговорчиво; глядит же на вас как десятилетний ребенок. Заведутся у него деньги — он не купит себе чего-нибудь необходимого, не отдаст починить куртку, не заведет новых сапогов, а купит калачика, пряничка и скушает, — точно ему семь лет от роду. «Эх ты, Сироткин! — говорят, бывало, ему арестанты, — сирота ты казанская!» В нерабочее время он обыкновенно скитается по чужим казармам; все почти заняты своим делом, одному ему нечего делать. Скажут ему что-нибудь, почти всегда в насмешку (над ним и его товарищами таки часто посмеивались), — он, не сказав ни слова, поворотится и идет в другую казарму; а иногда, если уж очень просмеют его, покраснеет. Часто я думал: за что это смирное, простодушное существо явилось в острог? Раз я лежал в больнице в арестантской палате. Сироткин был также болен и лежал подле меня; как-то под вечер мы с ним разговорились; он невзначай одушевился и, к слову, рассказал мне, как его отдавали в солдаты, как, провожая его, плакала над ним его мать и как тяжело ему было в рекрутах. Он прибавил, что никак не мог вытерпеть рекрутской жизни: потому что там все были такие сердитые, строгие, а командиры всегда почти были им недовольны...

— Как же кончилось? — спросил я. — За что ж ты сюда-то попал? Да еще в особое отделение... Ах ты, Сироткин, Сироткин!

— Да я-с, Александр Петрович, всего год пробыл в батальоне; а сюда пришел за то, что Григорья Петровича, моего ротного командира, убил.

— Слышал я это, Сироткин, да не верю. Ну, кого ты мог убить?

— Так случилось, Александр Петрович. Уж оченно мне тяжело стало.

— Да как же другие-то рекруты живут? Конечно, тяжело сначала, а потом привыкают, и, смотришь, выходит славный солдат. Тебя, должно быть, мать забаловала; пряничками да молочком до восемнадцати лет кормила.

— Матушка-то меня, правда, очень любила-с. Когда я в некруты пошел, она после меня слегла да, слышно, и не вставала... Горько мне уж очень под конец по некрутству стало. Командир невзлюбил, за всё наказывает, — а и за что-с? Я всем покоряюсь,

живу в акурат; винишка не пью, ничем не заимствуюсь; а уж это, Александр Петрович, плохое дело, коли чем заимствуется человек. Все кругом такие жестокосердые, — всплакнуть негде. Бывало, пойдешь куда за угол да там и поплачешь. Вот и стою я раз в карауле. Уж ночь; поставили меня на часы, на абвахте, у сошек. Ветер: осень была, а темень такая, что хоть глаз раздери. И так тошно, тошно мне стало! Взял я к ноге ружье, штык отомкнул, положил подле; скинул правый сапог, дуло наставил себе в грудь, налег на него и большим пальцем ноги спустил курок. Смотрю — осечка! Я ружье осмотрел, прочистил затравку, пороху нового подсыпал, кремешок пообил и опять к груди приставил. Что же-с? порох вспыхнул, а выстрела опять нет! Что ж это, думаю? Взял я, надел сапог, штык примкнул, молчу и расхаживаю. Тут-то я и положил это дело сделать: хоть куда хошь, только вон из некрутства! Через полчаса едет командир; главным рундом правил. Прямо на меня: «Разве так стоят в карауле?» Я взял ружье на руку, да и всадил в него штык по самое дуло. Четыре тысячи прошел, да и сюда, в особое отделение...

Он не лгал. Да и за что же его прислали бы в особое отделение? Обыкновенные преступления наказываются гораздо легче. Впрочем, только один Сироткин и был из всех своих товарищей такой красавчик. Что же касается других, подобных ему, которых было у нас всех человек до пятнадцати, то даже странно было смотреть на них: только два-три лица были еще сносны; остальные же все такие вислоухие, безобразные, неряхи; иные даже седые. Если позволят обстоятельства, я скажу когда-нибудь о всей этой кучке подробнее. Сироткин же часто был дружен с Газиным, тем самым, по поводу которого я начал эту главу, упомянув, что он пьяный ввалился в кухню и что это спутало мои первоначальные понятия об острожной жизни.

Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Я видел в Тобольске знаменитого своими злодеяниями разбойника Каменева; видел потом Соколова, подсудимого арестанта, из беглых солдат, страшного убийцу. Но ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин. Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. В остроге носились об нем странные слухи: знали, что он был из военных; но арестанты толковали меж собой, не знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска; в Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и наконец-то попал в наш острог, в особое отделение. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь

в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Всё это, может быть, и выдумывали, вследствие общего тяжелого впечатления, которое производил собою на всех Газин, но все эти выдумки как-то шли к нему, были к лицу. А между тем в остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Он торговал вином и был в остроге одним из самых зажиточных целовальников. Но в год раза два ему приходилось напиваться самому пьяным, и вот тут-то высказывалось всё зверство его натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались; он бросался на всякого встречного. Но скоро нашли способ справляться с ним. Человек десять из его казармы бросались вдруг на него все разом и начинали бить. Невозможно представить себе ничего жесточе этого битья: его били в грудь, под сердце, под ложечку, в живот; били много и долго и переставали только тогда, когда он терял все свои чувства и становился как мертвый. Другого бы не решились так бить: так бить — значило убить, но только не Газина. После битья его, совершенно бесчувственного, завертывали в полушубок и относили на нары. «Отлежится, мол!» И действительно, наутро он вставал почти здоровый и молча и угрюмо выходил на работу. И каждый раз, когда Газин напивался пьян, в остроге все уже знали, что день кончится для него непременно побоями. Да и сам он знал это и все-таки напивался. Так шло несколько лет. Наконец, заметили, что и Газин начинает поддаваться. Он стал жаловаться на разные боли, стал заметно хиреть; всё чаще и чаще ходил в госпиталь... «Поддался-таки!» — говорили про себя арестанты.

Он вошел в кухню в сопровождении того гаденького полячка со скрипкой, которого обыкновенно нанимали гулявшие для полноты своего увеселения, и остановился посреди кухни, молча и внимательно оглядывая всех присутствующих. Все замолчали. Наконец, увидя тогда меня и моего товарища, он злобно и насмешливо посмотрел на нас, самодовольно улыбнулся, что-то как будто сообразил про себя и, сильно покачиваясь, подошел к нашему столу.

— А позвольте спросить, — начал он (он говорил по-русски), — вы из каких доходов изволите здесь чаи распивать?

Я молча переглянулся с моим товарищем, понимая, что всего лучше молчать и не отвечать ему. С первого противоречия он пришел бы в ярость.

— Стало быть, у вас деньги есть? — продолжал он допрашивать. — Стало быть, у вас денег куча, а? А разве вы затем в каторгу пришли, чтоб чаи распивать? Вы чаи распивать пришли? Да говорите же, чтоб вас!..

Но видя, что мы решились молчать и не замечать его, он побагровел и задрожал от бешенства. Подле него, в углу, стояла большая сельница (лоток), в которую складывался весь нарезанный хлеб, приготовляемый для обеда или ужина арестантов. Она была так велика, что в ней помещалось хлеба для половины острога; теперь же стояла пустая. Он схватил ее обеими руками и взмахнул над нами. Еще немного, и он бы раздробил нам головы. Несмотря на то что убийство или намерение убить грозило чрезвычайными неприятностями всему острогу: начались бы розыски, обыски, усиление строгостей, а потому арестанты всеми силами старались не доводить себя до подобных общих крайностей, — несмотря на это, теперь все притихли и выжидали. Ни одного слова в защиту нас! Ни одного крика на Газина! — до такой степени была сильна в них ненависть к нам! Им, видимо, приятно было наше опасное положение... Но дело кончилось благополучно: только что он хотел опустить сельницу, кто-то крикнул из сеней:

— Газин! Вино украли!..

Он грохнул сельницу на пол и как сумасшедший бросился из кухни.

— Ну, бог спас! — говорили меж собой арестанты. И долго потом они говорили это.

Я не мог узнать потом, было ли это известие о покраже вина справедливое или кстати придуманное, нам во спасение.

Вечером, уже в темноте, перед запором казарм, я ходил около паль, и тяжелая грусть пала мне на душу, и никогда после я не испытывал такой грусти во всю мою острожную жизнь. Тяжело переносить первый день заточения, где бы то ни было: в остроге ли, в каземате ли, в каторге ли... Но, помню, более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, — мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека; взвешены все обстоятельства обоих дел; и по тому и по другому делу выходит почти одно наказание. А между тем, посмотрите, какая разница в преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за ничто, за луковицу: вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, батька! Ты меня посылал на добычу: вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». — «Дурак! Луковица — ан копейка! Сто душ — сто луковиц, вот те и рубль!» (острожная

легенда). А другой убил, защищая от сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери. Один убил по бродяжеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу. Правда, есть вариация в сроках присуждаемых наказаний. Но вариаций этих сравнительно немного; а вариаций в одном и том же роде преступлений — бесчисленное множество. Что характер, то и вариация. Но положим, что примирить, сгладить эту разницу невозможно, что это своего рода неразрешимая задача — квадратура круга, положим так. Но если б даже это неравенство и не существовало, — посмотрите на другую разницу, на разницу в самых последствиях наказания... Вот человек, который в каторге чахнет, тает как свечка; и вот другой, который до поступления в каторгу и не знал даже, что есть на свете такая развеселая жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей. Да, приходят в острог и такие. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве, во всю каторгу. Он даже считает себя правым. А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он еще и не видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он еще никогда не видал таких; он считает их самым высшим обществом, которое только может быть в свете. Неужели наказание для этих двух одинаково чувствительно? Но, впрочем, что заниматься неразрешимыми вопросами! Бьет барабан, пора по казармам.

IV

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Началась последняя поверка. После этой поверки запирались казармы, каждая особым замком, и арестанты оставлялись запертыми вплоть до рассвета.

Поверка производилась унтер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстраивали иногда на дворе, и приходил

караульный офицер. Но чаще вся эта церемония происходила домашним образом: поверяли по казармам. Так было и теперь. Поверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконец бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму. В ней помещалось человек до тридцати арестантов, сбитых довольно тесно на нарах. Спать было еще рано. Каждый, очевидно, должен был чем-нибудь заняться.

Из начальства в казарме оставался только один инвалид, о котором я уже упоминал прежде. В каждой казарме тоже был старший из арестантов, назначаемый самим плац-майором, разумеется, за хорошее поведение. Очень часто случалось, что и старшие в свою очередь попадались в серьезных шалостях; тогда их секли, немедленно разжалывали в младшие и замещали другими. В нашей казарме старшим оказался Аким Акимыч, который, к удивлению моему, нередко покрикивал на арестантов. Арестанты отвечали ему обыкновенно насмешками. Инвалид был умнее его и ни во что не вмешивался, а если и случалось ему шевелить когда языком, то не более как из приличия, для очистки совести. Он молча сидел на своей койке и тачал сапог. Арестанты не обращали на него почти никакого внимания.

В этот первый день моей острожной жизни я сделал одно наблюдение и впоследствии убедился, что оно верно. Именно: что все не арестанты, кто бы они ни были, начиная с непосредственно имеющих связь с арестантами, как-то: конвойных, караульных солдат, до всех вообще, имевших хоть какое-нибудь дело с каторжным бытом, — как-то преувеличенно смотрят на арестантов. Точно они каждую минуту в беспокойстве ожидают, что арестант нет-нет да и бросится на кого-нибудь из них с ножом. Но что всего замечательнее — сами арестанты сознавали, что их боятся, и это, видимо, придавало им что-то вроде куражу. А между тем самый лучший начальник для арестантов бывает именно тот, который их не боится. Да и вообще, несмотря на кураж, самим арестантам гораздо приятнее, когда к ним имеют доверие. Этим их можно даже привлечь к себе. Случалось в мое острожное время, хотя и чрезвычайно редко, что кто-нибудь из начальства заходил в острог без конвоя. Надо было видеть, как это поражало арестантов, и поражало с хорошей стороны. Такой бесстрашный посетитель всегда возбуждал к себе уважение, и если б даже действительно могло случиться что-нибудь дурное, то при нем бы оно не случилось. Внушаемый арестантами страх повсеместен, где только есть арестанты, и, право, не знаю, отчего он собственно происходит. Некоторое основание он, конечно, имеет, начиная с самого наружного вида арестанта, признанного разбойника; кроме того, всякий, подходящий к каторге, чувствует, что вся эта куча людей собралась здесь не своею охотою и что, несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом: он останется с чувствами, с жаждой мщения и жизни, с страстями и с потребностями удовлетво-

рить их. Но, несмотря на то, я положительно уверен, что бояться арестантов все-таки нечего. Не так легко и не так скоро бросается человек с ножом на другого человека. Одним словом, если и возможна опасность, если она и бывает когда, то, по редкости подобных несчастных случаев, можно прямо заключить, что она ничтожна. Разумеется, я говорю теперь только об арестантах решеных, из которых даже многие рады, что добрались наконец до острога (до того хороша бывает иногда жизнь новая!), а следовательно, расположены жить спокойно и мирно; да, кроме того, и действительно беспокойным из своих сами не дадут много куражиться. Каждый каторжный, как бы он смел и дерзок ни был, боится всего в каторге. Подсудимый же арестант — другое дело. Этот действительно способен броситься на постороннего человека так, ни за что, единственно потому, например, что ему завтра должно выходить к наказанию; а если затеется новое дело, то, стало быть, отдаляется и наказание. Тут есть причина, цель нападения: это — «переменить свою участь» во что бы ни стало и как можно скорее. Я даже знаю один странный психологический случай в этом роде.

У нас в остроге, в военном разряде, был один арестант, из солдатиков, не лишенный прав состояния, присланный года на два в острог по суду, страшный фанфарон и замечательный трус. Вообще фанфаронство и трусость встречаются в русском солдате чрезвычайно редко. Наш солдат смотрит всегда таким занятым, что если б и хотел, то ему бы некогда было фанфаронить. Но если уж он фанфарон, то почти всегда бездельник и трус. Дутов (фамилия арестанта) отбыл наконец свой коротенький срок и вышел опять в линейный батальон. Но так как все ему подобные, посылаемые в острог для исправления, окончательно в нем балуются, то обыкновенно и случается так, что они, побыв на воле не более двух-трех недель, поступают снова под суд и являются в острог обратно, только уж не на два или на три года, а во «всегдашний» разряд, на пятнадцать или на двадцать лет. Так и случилось. Недели через три по выходе из острога, Дутов украл из-под замка; сверх того, нагрубил и набуянил. Был отдан под суд и приговорен к строгому наказанию. Испугавшись предстоящего наказания донельзя, до последней степени, как самый жалкий трус, он накануне того дня, когда его должны были прогнать сквозь строй, бросился с ножом на вошедшего в арестантскую комнату караульного офицера. Разумеется, он очень хорошо понимал, что таким поступком он чрезвычайно усилит свой приговор и срок каторжной работы. Но расчет был именно в том, чтоб хоть на несколько дней, хоть на несколько часов отдалить страшную минуту наказания! Он до того был трус, что, бросившись с ножом, он даже не ранил офицера, а сделал всё для проформы, для того только, чтоб оказалось новое преступление, за которое бы его опять стали судить.

Минута перед наказанием, конечно, ужасна для приговоренного, и мне в несколько лет пришлось видеть довольно подсудимых накануне рокового для них дня. Обыкновенно я встречался

с подсудимыми арестантами в госпитале, в арестантских палатах, когда лежал больной, что случалось довольно часто. Известно всем арестантам во всей России, что самые сострадательные для них люди — доктора. Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа. Тот никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно оно ни было, и прощает ему всё за понесенное им наказание и вообще за несчастье. Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников несчастными. Это глубоко знаменательное определение. Оно тем более важно, что сделано бессознательно, инстинктивно. Доктора же — истинное прибежище арестантов во многих случаях, особенно для подсудимых, которые содержатся тяжеле решеных... И вот подсудимый, рассчитав вероятный срок ужасного для него дня, уходит часто в госпиталь, желая хоть сколько-нибудь отдалить тяжелую минуту. Когда же он обратно выписывается, почти наверно зная, что роковой срок завтра, то всегда почти бывает в сильном волнении. Иные стараются скрыть свои чувства из самолюбия, но неловкий, напускной кураж не обманывает их товарищей. Все понимают, в чем дело, и молчат про себя из человеколюбия. Я знал одного арестанта, молодого человека, убийцу, из солдат, приговоренного к полному числу палок. Он до того заробел, что накануне наказания решился выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку. Кстати: вино всегда является у подсудимого арестанта перед наказанием. Оно проносится еще задолго до срока, добывается за большие деньги, и подсудимый скорее будет полгода отказывать себе в самом необходимом, но скопит нужную сумму на четверть штофа вина, чтоб выпить его за четверть часа до наказания. Между арестантами вообще существует убеждение, что хмельной не так больно чувствует плеть или палки. Но я отвлекся от рассказа. Бедный малый, выпив свою крышку вина, действительно тотчас же сделался болен: с ним началась рвота с кровью, и его отвезли в госпиталь почти бесчувственного. Эта рвота до того расстроила его грудь, что через несколько дней в нем открылись признаки настоящей чахотки, от которой он умер через полгода. Доктора, лечившие его от чахотки, не знали, отчего она произошла.

Но, рассказывая о часто встречающемся малодушии преступников перед наказанием, я должен прибавить, что, напротив, некоторые из них изумляют наблюдателя необыкновенным бесстрашием. Я помню несколько примеров отваги, доходившей до какой-то бесчувственности, и примеры эти были не совсем редки. Особенно помню я мою встречу с одним страшным преступником. В один летний день распространился в арестантских палатах слух, что вечером будут наказывать знаменитого разбойника Орлова, из беглых солдат, и после наказания приведут в палаты. Больные арестанты в ожидании Орлова утверждали, что накажут его жестоко. Все были в некотором волнении, и, признаюсь, я тоже ожидал

появления знаменитого разбойника с крайним любопытством. Давно уже я слышал о нем чудеса. Это был злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, — человек с страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Он повинился во многих убийствах и был приговорен к наказанию палками, сквозь строй. Привели его уже вечером. В палате уже стало темно, и зажгли свечи. Орлов был почти без чувств, страшно бледный, с густыми, всклоченными, черными как смоль волосами. Спина его вспухла и была кроваво-синего цвета. Всю ночь ухаживали за ним арестанты, переменяли ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали лекарство, точно они ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем. На другой же день он очнулся вполне и прошелся раза два по палате! Это меня изумило: он прибыл в госпиталь слишком слабый и измученный. Он прошел зараз целую половину всего предназначенного ему числа палок. Доктор остановил экзекуцию только тогда, когда заметил, что дальнейшее продолжение наказания грозило преступнику неминуемой смертью. Кроме того, Орлов был малого роста и слабого сложения, и к тому же истощен долгим содержанием под судом. Кому случалось встречать когда-нибудь подсудимых арестантов, тот, вероятно, надолго запомнил их изможденные, худые и бледные лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на то, Орлов быстро поправлялся. Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре. Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. Из любопытства я познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он. Я видел уже раз, в Тобольске, одну знаменитость в таком же роде, одного бывшего атамана разбойников. Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное отупение. Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслаждений, сладострастия, плотоугодия. Я уверен, что Коренев — имя того разбойника — даже упал бы духом и трепетал бы от страха перед наказанием, несмотря на то что способен был резать даже не поморщившись. Совершенно противоположен ему был Орлов. Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я поражен был его странным высокомерием. Он на всё смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое бы могло подействовать на него одним авторитетом. На всё он смотрел как-то неожи-

данно спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло удивить его. И хотя он вполне понимал, что другие арестанты смотрят на него уважительно, но нисколько не рисовался перед ними. А между тем тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения. Был он очень неглуп и как-то странно откровенен, хотя отнюдь не болтлив. На вопросы мои он прямо отвечал мне, что ждет выздоровления, чтоб поскорей выходить остальное наказание, и что он боялся сначала, перед наказанием, что не перенесет его. «Но теперь, — прибавил он, подмигнув мне глазом, — дело кончено. Выхожу остальное число ударов, и тотчас же отправят с партией в Нерчинск, а я-то с дороги бегу! Непременно бегу! Вот только б скорее спина зажила!» И все эти пять дней он с жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же он был иногда очень смешлив и весел. Я пробовал с ним заговаривать об его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большими. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым простодушным смехом, без всякой иронии, и, я уверен, оставшись один и вспоминая мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться. Наконец, он выписался еще с не совсем поджившей спиной; я тоже пошел в этот раз на выписку, и из госпиталя нам случилось возвращаться вместе: мне в острог, а ему в кордегардию подле нашего острога, где он содержался и прежде. Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности. Я думаю, он сделал это потому, что был очень доволен собой и настоящей минутой. В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее. Назавтра же его вывели к вторичному наказанию...

Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то особенный вид — вид настоящего жилища, домашнего очага. Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей, вполне как дома. Днем унтер-офицеры, караульные и вообще начальство могут во всякую минуту прибыть в острог, а потому все обитатели острога как-то и держат себя иначе, как будто не вполне успокоившись, как будто поминутно ожидая чего-то, в какой-то тревоге. Но только что заперли казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделье. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большею частью деревянный. Кто засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежу. Мефитический воздух казармы усиливался с часу на час. Кучка гуляк

засела в уголку на корточках перед разостланным ковром за карты. Почти в каждой казарме был такой арестант, который держал у себя аршинный худенький коврик, свечку и до невероятности засаленные, жирные карты. Всё это вместе называлось: майдан. Содержатель получал плату с играющих, копеек пятнадцать за ночь; тем он и промышлял. Игроки играли обыкновенно в три листа, в горку и проч. Все игры были азартные. Каждый играющий высыпал перед собою кучу медных денег — всё, что у него было в кармане, и вставал с корточек, только проигравшись в пух или обыграв товарищей. Игра кончалась поздно ночью, а иногда длилась до рассвета, до самой той минуты, как отворялась казарма. В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши, проигравшиеся и пропившиеся или так просто, от природы, нищие. Я говорю «от природы» и особенно напираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко очень нерадивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь на посылках, обыкновенно у гуляк или у внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива — для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке; их назначение — исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. Они всегда нищие. Я заметил, что такие личности водятся и не в одном народе, а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях. Так-то случалось и в каждой казарме, в каждом остроге, и только что составлялся майдан, один из таких немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни один майдан не мог обойтись без прислужника. Его нанимали обыкновенно игроки все вообще, на всю ночь, копеек за пять серебром, и главная его обязанность была стоять всю ночь на карауле. Большею частью он мерз часов шесть или семь в темноте, в сенях, на тридцатиградусном морозе, прислушиваясь к каждому стуку, к каждому звону, к каждому шагу на дворе. Плац-майор или караульные являлись иногда в острог довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечки, которые можно было видеть еще со двора. По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из сеней на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от майдана, то и случаи таких промахов были чрезвычайно редки. Пять копеек, конечно, смешно ничтожная плата, даже и для острога; но меня всегда поражала в остроге суровость

и безжалостность нанимателей, и в этом и во всех других случаях. «Деньги взял, так и служи!» Это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош наниматель брал всё, что мог брать, брал, если возможно, лишнее и еще считал, что он одолжает наемщика. Гуляка, хмельной, бросающий деньги направо и налево без счету, непременно обсчитывал своего прислужника, и это заметил я не в одном остроге, не у одного майдана.

Я сказал уже, что в казарме почти все уселись за какие-нибудь занятия: кроме игроков, было не более пяти человек совершенно праздных; они тотчас же легли спать. Мое место на нарах приходилось у самой двери. С другой стороны нар, голова с головой со мною, помещался Аким Акимыч. Часов до десяти или до одиннадцати он работал, клеил какой-то разноцветный китайский фонарик, заказанный ему в городе, за довольно хорошую плату. Фонарики он делал мастерски, работал методически, не отрываясь; когда же кончил работу, то аккуратно прибрался, разостлал свой тюфячок, помолился богу и благонравно улегся на свою постель. Благонравие и порядок он простирал, по-видимому, до самого мелочного педантизма; очевидно, он должен был считать себя чрезвычайно умным человеком, как и вообще все тупые и ограниченные люди. Не понравился он мне с первого же дня, хотя, помню, в этот первый день я много о нем раздумывал и всего более дивился, что такая личность, вместо того чтоб успевать в жизни, очутилась в остроге. Впоследствии мне не раз придется говорить об Акиме Акимыче.

Но опишу вкратце состав всей нашей казармы. В ней приходилось мне жить много лет, и это всё были мои будущие сожители и товарищи. Понятно, что я вглядывался в них с жадным любопытством. Слева от моего места на нарах помещалась кучка кавказских горцев, присланных большею частию за грабежи и на разные сроки. Их было: два лезгина, один чеченец и трое дагестанских татар. Чеченец был мрачное и угрюмое существо; почти ни с кем не говорил и постоянно смотрел вокруг себя с ненавистью, исподлобья и с отравленной, злобно-насмешливой улыбкой. Один из лезгинов был уже старик, с длинным, тонким, горбатым носом, отъявленный разбойник с виду. Зато другой, Нурра, произвел на меня с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление. Это был человек еще нестарый, росту невысокого, сложенный, как Геркулес, совершенный блондин с светло-голубыми глазами, курносый, с лицом чухонки и с кривыми ногами от постоянной прежней езды верхом. Всё тело его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказе он был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен, хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще всем, что было нечестно; но ссор не затевал

и только отворачивался с негодованием. Сам он во всё продолжение своей каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен. Молитвы исполнял он свято; в посты перед магометанскими праздниками постился как фанатик и целые ночи выстаивал на молитве. Его все любили и в честность его верили. «Нурра — лев», — говорили арестанты; так за ним и оставалось название льва. Он совершенно был уверен, что по окончании определенного срока в каторге его воротят домой на Кавказ, и жил только этой надеждой. Мне кажется, он бы умер, если бы ее лишился. В первый же мой день в остроге я резко заметил его. Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица среди злых, угрюмых и насмешливых лиц остальных каторжных. В первые полчаса, как я пришел в каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять, что это означало. Говорил же он по-русски очень плохо. Вскоре после того он опять подошел ко мне и опять, улыбаясь, дружески ударил меня по плечу. Потом опять и опять, и так продолжалось три дня. Это означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль меня, что он чувствует, как мне тяжело знакомиться с острогом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве. Добрый и наивный Нурра!

Дагестантских татар было трое, и все они были родные братья. Два из них уже были пожилые, но третий, Алей, был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать — прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются? Те же не сочли и за нужное сообщать ему это. Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания: он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какою-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и

угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто всё еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутливом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того доходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во всё время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни. Есть натуры до того прекрасные от природы, до того награжденные богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможною. За них вы всегда спокойны. Я и теперь спокоен за Алея. Где-то он теперь?..

Раз, уже довольно долго после моего прибытия в острог, я лежал на нарах и думал о чем-то очень тяжелом. Алей, всегда работящий и трудолюбивый, в этот раз ничем не был занят, хотя еще было рано спать. Но у них в это время был свой мусульманский праздник, и они не работали. Он лежал, заложив руки за голову, и тоже о чем-то думал. Вдруг он спросил меня:

— Что, тебе очень теперь тяжело?

Я оглядел его с любопытством, и мне показался странным этот быстрый прямой вопрос от Алея, всегда деликатного, всегда разборчивого, всегда умного сердцем: но, взглянув внимательнее, я увидел в его лице столько тоски, столько муки от воспоминаний, что тотчас же нашел, что ему самому было очень тяжело и именно в эту самую минуту. Я высказал ему мою догадку. Он вздохнул и грустно улыбнулся. Я любил его улыбку, всегда нежную и сердечную. Кроме того, улыбаясь, он выставлял два ряда жемчужных зубов, красоте которых могла бы позавидовать первая красавица в мире.

— Что, Алей, ты, верно, сейчас думал о том, как у вас в Дагестане празднуют этот праздник? Верно, там хорошо?

— Да, — отвечал он с восторгом, и глаза его просияли. — А почему ты знаешь, что я думал об этом?

— Еще бы не знать! Что, там лучше, чем здесь?

— О! зачем ты это говоришь...

— Должно быть, теперь какие цветы у вас, какой рай!..

— О-ох, и не говори лучше. — Он был в сильном волнении.

— Послушай, Алей, у тебя была сестра?

— Была, а что тебе?

— Должно быть, она красавица, если на тебя похожа.

— Что на меня! Она такая красавица, что по всему Дагестану нет лучше. Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видал такую! У меня и мать красавица была.

— А любила тебя мать?

— Ах! Что ты говоришь! Она, верно, умерла теперь с горя по мне. Я любимый был у нее сын. Она меня больше сестры, больше всех любила... Она ко мне сегодня во сне приходила и надо мной плакала.

Он замолчал и в этот вечер уже больше не сказал ни слова. Но с этих пор он искал каждый раз говорить со мной, хотя сам из почтения, которое он неизвестно почему ко мне чувствовал, никогда не заговаривал первый. Зато очень был рад, когда я обращался к нему. Я расспрашивал его про Кавказ, про его прежнюю жизнь. Братья не мешали ему со мной разговаривать, и им даже это было приятно. Они тоже, видя, что я всё более и более люблю Алея, стали со мной гораздо ласковее.

Алей помогал мне в работе, услуживал мне чем мог в казармах, и видно было, что ему очень приятно было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне, и в этом старании угодить не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, которое он уже и не скрывал ко мне. Между прочим, у него было много способностей механических: он выучился порядочно шить белье, тачал сапоги и, впоследствии, выучился сколько мог столярному делу. Братья хвалили его и гордились им.

— Послушай, Алей, — сказал я ему однажды, — отчего ты не выучишься читать и писать по-русски? Знаешь ли, как это может тебе пригодиться здесь, в Сибири, впоследствии?

— Очень хочу. Да у кого выучиться?

— Мало ли здесь грамотных! Да хочешь, я тебя выучу?

— Ах, выучи, пожалуйста! — и он даже привстал на нарах и с мольбою сложил руки, смотря на меня.

Мы принялись с следующего же вечера. У меня был русский перевод Нового завета — книга, не запрещенная в остроге. Без азбуки, по одной этой книге, Алей в несколько недель выучился превосходно читать. Месяца через три он уже совершенно понимал книжный язык. Он учился с жаром, с увлечением.

Однажды мы прочли с ним всю Нагорную проповедь. Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривал как будто с особенным чувством.

Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел.

Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице.

— Ах, да! — отвечал он, — да, Иса святой пророк, Иса божии слова говорил. Как хорошо!

— Что ж тебе больше всего нравится?

— А где он говорит: прощай, люби, не обижай и врагов люби. Ах, как хорошо он говорит!

Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно-благосклонною, то есть чисто мусульманскою улыбкою (которую я так люблю и именно люблю важность этой улыбки), обратились ко мне и подтвердили, что Иса был божий пророк и что он делал великие чудеса; что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела... и что это и у них в книгах написано. Говоря это, они вполне были уверены, что делают мне великое удовольствие, восхваляя Ису, а Алей был вполне счастлив, что братья его решились и захотели сделать мне это удовольствие.

Письмо у нас пошло тоже чрезвычайно успешно. Алей достал бумаги (и не позволил мне купить ее на мои деньги), перьев, чернил и в каких-нибудь два месяца выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьев. Гордость и довольство их не имели пределов. Они не знали, чем возблагодарить меня. На работах, если нам случалось работать вместе, они наперерыв помогали мне и считали это себе за счастье. Я уже не говорю про Алея. Он любил меня, может быть, так же, как и братьев. Никогда не забуду, как он выходил из острога. Он отвел меня за казарму и там бросился мне на шею и заплакал. Никогда прежде он не целовал меня и не плакал. «Ты для меня столько сделал, столько сделал, — говорил он, — что отец мой, мать мне бы столько не сделали: ты меня человеком сделал, бог заплатит тебе, а я тебя никогда не забуду...»

Где-то, где-то теперь мой добрый, милый, милый Алей!..

Кроме черкесов, в казармах наших была еще целая кучка поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные; их было человек шесть. Некоторые из них были люди образованные; об них я буду говорить особо и подробно впоследствии. От них же я иногда, в последние годы моей жизни в остроге, доставал кой-какие книги. Первая книга, прочтенная мною, произвела на меня сильное, странное, особенное впечатле-

ние. Об этих впечатлениях я когда-нибудь скажу особо. Для меня они слишком любопытны, и я уверен, что многим они будут совершенно непонятны. Не испытав, нельзя судить о некоторых вещах. Скажу одно: что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Он потерял, конечно, много — родину, семью, всё, но среда его остается та же. Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... Это — рыба, вытащенная из воды на песок... И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него в вдесятеро мучительнейшее. Это истина... даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать.

Но поляки составляли особую цельную кучку. Их было шестеро, и они были вместе. Из всех каторжных нашей казармы они любили только одного жида, и может быть единственно потому, что он их забавлял. Нашего жидка, впрочем, любили даже и другие арестанты, хотя решительно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать шестьдесят плетей. Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти его клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться, — сказал он мне однажды, — а я непременно хоцу зениться». Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами. Он пришел прежде меня, и один из поляков описывал мне подробно его прибытие.

Это пресмешная история, которую я расскажу впоследствии; об Исае Фомиче я буду говорить еще не раз.

Остальной люд в нашей казарме состоял из четырех старообрядцев, стариков и начетчиков, между которыми был и старик из Стародубовских слобод, из двух-трех малороссов, мрачных людей, из молоденького каторжного, с тоненьким личиком и с тоненьким носиком, лет двадцати трех, уже убившего восемь душ, из кучки фальшивых монетчиков, из которых один был потешник всей нашей казармы, и, наконец, из нескольких мрачных и угрюмых личностей, обритых и обезображенных, молчаливых и завистливых, с ненавистью смотревших исподлобья кругом себя и намеревавшихся так смотреть, хмуриться, молчать и ненавистничать еще долгие годы — весь срок своей каторги. Всё это только мелькнуло передо мной в этот первый, безотрадный вечер моей новой жизни, — мелькнуло среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мефитическом воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота. Я лег на голых нарах, положив в голову свое платье (подушки у меня еще не было), накрылся тулупом, но долго не мог заснуть, хотя и был весь измучен и изломан от всех чудовищных и неожиданных впечатлений этого первого дня. Но новая жизнь моя только еще начиналась. Многое еще ожидало меня впереди, о чем я никогда не мыслил, чего и не предугадывал...

V

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

Три дня спустя по прибытии моем в острог мне велено было выходить на работу. Очень памятен мне этот первый день работы, хотя в продолжение его не случилось со мной ничего очень необыкновенного, по крайней мере взяв в соображение всё и без того необыкновенное в моем положении. Но это было тоже одно из первых впечатлений, а я еще продолжал ко всему жадно присматриваться. Все эти три первые дня я провел в самых тяжелых ощущениях. «Вот конец моего странствования: я в остроге! — повторял я себе поминутно, — вот пристань моя на многие, долгие годы, мой угол, в который я вступаю с таким недоверчивым, с таким болезненным ощущением... А кто знает? Может быть, — когда, через много лет, придется оставить его, — еще пожалею о нем!..» — прибавлял я не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно бередить свою рану, точно желая полюбоваться своей болью, точно в сознании всей великости несчастия есть действительно наслаждение. Мысль со временем пожалеть об этом угле — меня самого поражала ужасом: я и тогда уже предчувствовал, до какой чудовищной степени приживчив человек. Но это еще было впереди, а покамест теперь кругом меня всё было враждебно и — страшно... хоть не

всё, но, разумеется, так мне казалось. Это дикое любопытство, с которым оглядывали меня мои новые товарищи-каторжники, усиленная их суровость с новичком из дворян, вдруг появившимся в их корпорации, суровость, иногда доходившая чуть не до ненависти, — всё это до того измучило меня, что я сам желал уж поскорее работы, чтоб только поскорее узнать и изведать всё мое бедствие разом, чтоб начать жить, как и все они, чтоб войти со всеми поскорее в одну колею. Разумеется, я тогда многого не замечал и не подозревал, что у меня было под самым носом: между враждебным я еще не угадывал отрадного. Впрочем, несколько приветливых, ласковых лиц, которых я встретил даже в эти три дня, покамест сильно меня ободрили. Всех ласковее и приветливее со мной был Аким Акимыч. Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальных каторжных я не мог не заметить тоже несколько добрых и веселых. «Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, — спешил я подумать себе в утешение, — кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, *остальных*, которые *остались* там, за острогом». Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем — боже мой! — если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!

Вот, например, тут был один человек, которого только через много-много лет я узнал вполне, а между тем он был со мной и постоянно около меня почти во всё время моей каторги. Это был арестант Сушилов. Как только заговорил я теперь о каторжниках, которые были *не хуже* других, то тотчас же невольно вспомнил о нем. Он мне прислуживал. У меня тоже был и другой прислужник. Аким Акимыч еще с самого начала, с первых дней, рекомендовал мне одного из арестантов — Осипа, говоря, что за тридцать копеек в месяц он будет мне стряпать ежедневно особое кушанье, если мне уж так противно казенное и если я имею средства завести свое. Осип был один из четырех поваров, назначаемых арестантами по выбору в наши две кухни, хотя, впрочем, оставлялось вполне и на их волю принять или не принять такой выбор; а приняв, можно было хоть завтра же опять отказаться. Повара уж так и не ходили на работу, и вся должность их состояла в печении хлеба и варке щей. Звали их у нас не поварами, а стряпками (в женском роде), впрочем, не из презрения к ним, тем более что на кухню выбирался народ толковый и по возможности честный, а так, из милой шутки, чем наши повара нисколько не обижались. Осипа почти всегда выбирали, и почти несколько лет сряду он постоянно был стряпкой и отказывался иногда только на время, когда его уж очень забирала тоска, а вместе с тем и охота проносить вино. Он был редкой честности и кротости человек, хотя и пришел за контрабанду. Это был тот самый контрабандист, высокий, здоровый малый, о котором уже я упоминал; трус до всего, особенно до розог, смирный, безответный, ласковый со всеми, ни с кем *никогда* не поссорившийся, но который не мог не проносить вина, несмотря на всю свою трусость, по страсти к контрабанде. Он вместе с дру-

гими поварами торговал тоже вином, хотя, конечно, не в таком размере, как, например, Газин, потому что не имел смелости на многое рискнуть. С этим Осипом я всегда жил очень ладно. Что же касается до средств иметь свое кушанье, то их надо было слишком немного. Я не ошибусь, если скажу, что в месяц у меня выходило на мое прокормление всего рубль серебром, разумеется кроме хлеба, который был казенный, и иногда щей, если уж я был очень голоден, несмотря на мое к ним отвращение, которое, впрочем, почти совсем прошло впоследствии. Обыкновенно я покупал кусок говядины, по фунту на день. А зимой говядина у нас стоила грош. За говядиной ходил на базар кто-нибудь из инвалидов, которых у нас было по одному в каждой казарме, для надсмотра за порядком, и которые сами, добровольно, взяли себе в обязанность ежедневно ходить на базар за покупками для арестантов и не брали за это почти никакой платы, так разве пустяки какие-нибудь. Делали они это для собственного спокойствия, иначе им невозможно бы было в остроге ужиться. Таким образом, они проносили табак, кирпичный чай, говядину, калачи и проч. и проч., кроме только разве одного вина. Об вине их не просили, хотя иногда и потчевали. Осип стряпал мне несколько лет сряду всё один и тот же кусок зажаренной говядины. Уж как он был зажарен — это другой вопрос, да не в том было и дело. Замечательно, что с Осипом я в несколько лет почти не сказал двух слов. Много раз начинал заговаривать с ним, но он как-то был неспособен поддерживать разговор: улыбнется, бывало, или ответит *да* или *нет*, да и только. Даже странно было смотреть на этого Геркулеса семи лет от роду.

Но, кроме Осипа, из людей, мне помогавших, был и Сушилов. Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне; даже не помню, когда и как это сделалось. Он стал на меня стирать. За казармами для этого нарочно была устроена большая помойная яма. Над этой-то ямой, в казенных корытах, и мылось арестантское белье. Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтоб мне угодить: наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза четыре в месяц; всё это делал усердно, суетливо, как будто бог знает какие на нем лежали обязанности, — одним словом, совершенно связал свою судьбу с моею и взял все мои дела на себя. Он никогда не говорил, например: «У вас столько рубах, у вас куртка разорвана» и проч., а всегда: «У *нас* теперь столько-то рубах, у *нас* куртка разорвана». Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни. Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомесла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку. Я платил ему сколько мог, то есть грошами, и он всегда безответно оставался доволен. Он не мог не служить кому-нибудь и, казалось, выбрал меня особенно потому, что я был обходительнее других и

честнее на расплату. Был он из тех, которые никогда не могли разбогатеть и поправиться и которые у нас брались сторожить майданы, простаивая по целым ночам в сенях на морозе, прислушиваясь к каждому звуку на дворе на случай плац-майора, и брали за это по пяти копеек серебром чуть не за всю ночь, а в случае просмотра теряли всё и отвечали спиной. Я уж об них говорил. Характеристика этих людей — уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Всё это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и приниженный, даже забитый, хотя его и никто у нас не бил, а так уж, от природы забитый. Мне его всегда было отчего-то жаль. Я даже и взглянуть на него не мог без этого чувства; а почему жаль — я бы сам не мог ответить. Разговаривать с ним я тоже не мог; он тоже разговаривать не умел, и видно, что ему это было в большой труд, и он только тогда оживлялся, когда, чтоб кончить разговор, дашь ему что-нибудь сделать, попросишь его сходить, сбегать куда-нибудь. Я даже, наконец, уверился, что доставляю ему этим удовольствие. Он был не высок и не мал ростом, не хорош и не дурен, не глуп и не умен, не молод и не стар, немножко рябоват, отчасти белокур. Слишком определительного об нем никогда ничего нельзя было сказать. Одно только: он, как мне кажется и сколько я мог догадаться, принадлежал к тому же товариществу, как и Сироткин, и принадлежал единственно по своей забитости и безответности. Над ним иногда посмеивались арестанты, главное, за то, что он *сменялся* дорогою, идя в партии в Сибирь, и сменился за красную рубашку и за рубль серебром. Вот за эту-то ничтожную цену, за которую он себя продал, над ним смеялись арестанты. Смениться — значит перемениться с кем-нибудь именем, а следственно, и участью. Как ни чуден кажется этот факт, а он справедлив, и в мое время он еще существовал между препровождающимися в Сибирь арестантами в полной силе, освященный преданиями и определенный известными формами. Сначала я никак не мог этому поверить, хотя и пришлось наконец поверить очевидности.

Это вот каким образом делается. Препровождается, например, в Сибирь партия арестантов. Идут всякие: и в каторгу, и в завод, и на поселенье; идут вместе. Где-нибудь дорогою, ну хоть в Пермской губернии, кто-нибудь из ссыльных пожелает сменяться с другим. Например, какой-нибудь Михайлов, убийца или по другому капитальному преступлению, находит идти на многие годы в каторгу для себя невыгодным. Положим, он малый хитрый, тертый, дело знает; вот он и высматривает кого-нибудь из той же партии попростее, позабитее, побезответнее и которому определено наказание небольшое сравнительно: или в завод на малые годы, или на поселенье, или даже в каторгу, только поменьше сроком. Наконец находит Сушилова. Сушилов из дворовых людей и сослан просто на поселенье. Идет он уже тысячи полторы верст,

разумеется без копейки денег, потому что у Сушилова никогда не может быть ни копейки, — идет изнуренный, усталый, на одном казенном продовольстве, без сладкого куска хоть мимоходом, в одной казенной одежде, всем прислуживая за жалкие медные гроши. Михайлов заговаривает с Сушиловым, сходится, даже дружится и, наконец, на каком-нибудь этапе поит его вином. Наконец, предлагает ему: не хочет ли он сменяться? Я, дескать, Михайлов, вот так и так, иду в каторгу не каторгу, а в какое-то «особое отделение». Оно хоть и каторга, но особая, получше, стало быть. Об особом отделении, во время существования его, даже из начальства-то не все знали, хоть бы, например, и в Петербурге. Это был такой отдельный и особый уголок, в одном из уголков Сибири, и такой немноголюдный (при мне было в нем до семидесяти человек), что трудно было и на след его напасть. Я встречал потом людей, служивших и знающих о Сибири, которые от меня только в первый раз услыхали о существовании «особого отделения». В Своде законов сказано об нем всего строк шесть: «Учреждается при таком-то остроге особое отделение, для самых важных преступников, впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ». Даже сами арестанты этого «отделения» не знали: что оно, навечно или на срок? Сроку не было положено, сказано — впредь до открытия самых тяжких работ, и только; стало быть, «вдоль по каторге». Немудрено, что ни Сушилов, да и никто из партии этого не знал, не исключая и самого сосланного Михайлова, который разве только имел понятие об особом отделении, судя по своему преступлению, слишком тяжкому и за которое уже он прошел тысячи три или четыре. Следственно, не пошлют же его в хорошее место. Сушилов же шел на поселение; чего же лучше? «Не хочешь ли сменяться?» Сушилов под хмельком, душа простая, полон благодарности к обласкавшему его Михайлову, и потому не решается отказать. К тому же он слышал уже в партии, что меняться можно, что другие же меняются, следственно, необыкновенного и неслыханного тут нет ничего. Соглашаются. Бессовестный Михайлов, пользуясь необыкновенною простотою Сушилова, покупает у него имя за красную рубашку и за рубль серебром, которые тут же и дает ему при свидетелях. Назавтра Сушилов уже не пьян, но его поят опять, ну, да и плохо отказываться: полученный рубль серебром уже пропит, красная рубашка немного спустя тоже. Не хочешь, так деньги отдай. А где взять целый рубль серебром Сушилову? А не отдаст, так артель заставит отдать: за этим смотрят в артели строго. К тому же если дал обещание, то исполни, — и на этом артель настоит. Иначе сгрызут. Забьют, пожалуй, или просто убьют, по крайней мере застращают.

В самом деле, допусти артель хоть один раз в таком деле поблажку, то и обыкновение смены именами кончится. Коли можно будет отказываться от обещания и нарушать сделанный торг, уже взявши деньги, — кто же будет его потом исполнять? Одним сло-

вом — тут артельное, общее дело, а потому и партия к этому делу очень строга. Наконец Сушилов видит, что уж не отмолишься, и решается вполне согласиться. Объявляется всей партии; ну, там кого еще следует тоже дарят и поят, если надо. Тем, разумеется, всё равно: Михайлов или Сушилов пойдут к черту на рога, ну, а вино-то выпито; угостили, — следственно, и с их стороны молчок. На первом же этапе делают, например, перекличку; доходит до Михайлова: «Михайлов!» Сушилов откликается: *я!* «Сушилов!» Михайлов кричит: *я* — и пошли дальше. Никто и не говорит уж больше об этом. В Тобольске ссыльных рассортировывают. «Михайлова» на поселение, а «Сушилова» под усиленным конвоем препровождают в особое отделение. Далее никакой уже протест невозможен; да и чем в самом деле доказать? На сколько лет затянется такое дело? Что за него еще будет? Где, наконец, свидетели? Отрекутся, если б и были. Так и остается в результате, что Сушилов за рубль серебром да за красную рубаху в «особое отделение» пришел.

Арестанты смеялись над Сушиловым — не за то, что он сменился (хотя к сменившимся на более тяжелую работу с легкой вообще питают презрение, как ко всяким попавшимся впросак дуракам), а за то, что он взял только красную рубаху и рубль серебром: слишком уж ничтожная плата. Обыкновенно меняются за большие суммы, опять-таки судя относительно. Берут даже и по нескольку десятков рублей. Но Сушилов был так безответен, безличен и для всех ничтожен, что над ним и смеяться-то как-то не приходилось.

Долго мы жили с Сушиловым, уже несколько лет. Мало-помалу он привязался ко мне чрезвычайно; я не мог этого не заметить, так что и я очень привык к нему. Но однажды — никогда не могу простить себе этого — он чего-то по моей просьбе не выполнил, а между тем только что взял у меня денег, и я имел жестокость сказать ему: «Вот, Сушилов, деньги-то вы берете, а дело-то не делаете». Сушилов смолчал, сбегал по моему делу, но что-то вдруг загрустил. Прошло дня два. Я думал: не может быть, чтоб он это от моих слов. Я знал, что один арестант, Антон Васильев, настоятельно требовал с него какой-то грошовый долг. Верно, денег нет, а он боится спросить у меня. На третий день я и говорю ему: «Сушилов, вы, кажется, у меня хотели денег спросить, для Антона Васильева? Нате». Я сидел тогда на нарах; Сушилов стоял передо мной. Он был, кажется, очень поражен, что я сам ему предложил денег, сам вспомнил о его затруднительном положении, тем более что в последнее время он, по его мнению, уж слишком много у меня забрал, так что и надеяться не смел, что я еще дам ему. Он посмотрел на деньги, потом на меня, вдруг отвернулся и вышел. Всё это меня очень поразило. Я пошел за ним и нашел его за казармами. Он стоял у острожного частокола, лицом к забору, прижав к нему голову и облокотясь на него рукой. «Сушилов, что с вами?» — спросил я его. Он не смотрел на

меня, и я, к чрезвычайному удивлению, заметил, что он готов заплакать: «Вы, Александр Петрович... думаете, — начал он прерывающимся голосом и стараясь смотреть в сторону, — что я вам... за деньги... а я... я... ээх!» Тут он оборотился опять к частоколу, так что даже стукнулся об него лбом, — и как зарыдает!.. Первый раз я видел в каторге человека плачущего. Насилу я утешил его, и хоть он с этих пор, если возможно это, еще усерднее начал служить мне и «наблюдать меня», но по некоторым, почти неуловимым признакам я заметил, что его сердце никогда не могло простить мне попрек мой. А между тем другие смеялись же над ним, шпыняли его при всяком удобном случае, ругали его иногда крепко, — а он жил же с ними ладно и дружелюбно и никогда не обижался. Да, очень трудно бывает распознать человека, даже и после долгих лет знакомства!

Вот почему с первого взгляда каторга и не могла мне представиться в том настоящем виде, как представилась впоследствии. Вот почему я и сказал, что если и смотрел на всё с таким жадным, усиленным вниманием, то все-таки не мог разглядеть много такого, что у меня было под самым носом. Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжелое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовала тому встреча моя с А—вым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня в острог и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу. Я, впрочем, узнал еще до прибытия в острог, что встречусь там с А—вым. Он отравил мне это первое тяжелое время и усилил мои душевные муки. Не могу умолчать о нем.

Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А—в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору всё, что делается в остроге, и был дружен с его денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь

переломъ. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно». Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А—ве. У нас был отцеубийца, из дворян; я уже упоминал о нем; но я убедился по многим чертам и фактам, что даже и тот был несравненно благороднее и человечнее А—ва. На мои глаза, во всё время моей острожной жизни, А—в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на всё, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А—ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренно никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе! Я сказал уже, что в остроге всё так исподлилось, что шпионство и доносы процветали и арестанты нисколько не сердились за это. Напротив, с А—м все они были очень дружны и обращались с ним несравненно дружелюбнее, чем с нами. Милости же к нему нашего пьяного майора придавали ему в их глазах значение и вес. Между прочим, он уверил майора, что он может снимать портреты (арестантов он уверял, что был гвардии поручиком), и тот потребовал, чтоб его высылали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтоб рисовать майорский портрет. Тут-то он и сошелся с денщиком Федькой, имевшим чрезвычайное влияние на своего барина, а следственно, на всех и на всё в остроге. А—в шпионил на нас по требованию майора же, а тот, хмельной, когда бил его по щекам, то его же ругал шпионом и доносчиком. Случалось, и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал А—ву продолжать портрет. Наш майор, кажется, действительно верил, что А—в был замечательный художник, чуть не Брюллов, о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но

каторжный, и хоть будь ты разбрюллов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю. Между прочим, он заставлял А—ва снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что А—в великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец, майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем всё более и более становится на него непохожим, рассердился, исколотил художника и сослал его за наказание в острог, на черную работу. А—в, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки и от всех наслаждений,которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне. По крайней мере майор с удалением А—ва перестал преследовать М., арестанта, на которого А—в беспрерывно ему наговаривал, и вот за что: М. во время прибытия А—ва в острог был один. Он очень тосковал; не имел ничего общего с прочими арестантами, глядел на них с ужасом и омерзением, не замечал и проглядел в них всё, что могло бы подействовать на него примирительно, и не сходился с ними. Те платили ему тою же ненавистью. Вообще положение людей, подобных М., в остроге ужасно. Причина, по которой А—в попал в острог, была М. неизвестна. Напротив, А—в, догадавшись, с кем имеет дело, тотчас же уверил его, что он сослан совершенно за противоположное доносу, почти за то же, за что сослан был и М. М. страшно обрадовался товарищу, другу. Он ходил за ним, утешал его в первые дни каторги, предполагая, что он должен был очень страдать, отдал ему последние свои деньги, кормил его, поделился с ним необходимейшими вещами. Но А—в тотчас же возненавидел его именно за то, что тот был благороден, за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то именно, что был совершенно не похож на него, и всё, что М., в прежних разговорах, передал ему об остроге и о майоре, всё это А—в поспешил при первом случае донести майору. Майор страшно возненавидел за это и угнетал М., и если б не влияние коменданта, он довел бы его до беды. А—в же не только не смущался, когда потом М. узнал про его низость, но даже любил встречаться с ним и с насмешкой смотреть на него. Это, видимо, доставляло ему наслаждение. Мне несколько раз указывал на это сам М. Эта подлая тварь потом бежала с одним арестантом и с конвойным, но об этом побеге я скажу после. Он очень сначала и ко мне подлизывался, думая, что я не слыхал о его истории. Повторяю, он отравил мне первые дни моей каторги еще большей тоской. Я ужаснулся той страшной подлости и низости, в которую меня ввергнули, среди которой я очутился. Я подумал, что здесь и всё так же подло и низко. Но я ошибался: я судил обо всех по А—ву.

В эти три дня я в тоске слонялся по острогу, лежал на своих нарах, отдал шить надежному арестанту, указанному мне Аким Акимычем, из выданного мне казенного холста рубашки, разу-

меется за плату (по скольку-то грошей с рубашки), завел себе, по настоятельному совету Акима Акимыча, складной тюфячок (из войлока, обшитого холстом), чрезвычайно тоненький, как блин, и подушку, набитую шерстью, страшно жесткую с непривычки. Аким Акимыч сильно хлопотал об устройстве мне всех этих вещей и сам в нем участвовал, собственноручно сшил мне одеяло из лоскутков старого казенного сукна, собранного из выносившихся панталон и курток, купленных мною у других арестантов. Казенные вещи, которым выходил срок, оставлялись в собственность арестанта; они тотчас же продавались тут же в остроге, и как бы ни была заношена вещь, все-таки имела надежду сойти с рук за какую-нибудь цену. Всему этому я сначала очень удивлялся. Вообще это было время моего первого столкновения с народом. Я сам вдруг сделался таким же простонародьем, таким же каторжным, как и они. Их привычки, понятия, мнения, обыкновения стали как будто тоже моими, по крайней мере по форме, по закону, хотя я и не разделял их в сущности. Я был удивлен и смущен, точно и не подозревал прежде ничего этого и не слыхал ни о чем, хотя и знал и слышал. Но действительность производит совсем другое впечатление, чем знание и слухи. Мог ли я, например, хоть когда-нибудь прежде подозревать, что такие вещи, такие старые обноски могут считаться тоже вещами? А вот сшил же себе из этих старых обносков одеяло! Трудно было и представить себе, какого сорта было сукно, определенное на арестантское платье. С виду оно как будто и в самом деле походило на сукно, толстое, солдатское; но, чуть-чуть поношенное, оно обращалось в какой-то бредень и раздиралось возмутительно. Впрочем, суконное платье давалось на годичный срок, но и с этим сроком трудно было справиться. Арестант работает, носит на себе тяжести; платье обтирается и обдирается скоро. Тулупы же выдавались на три года и обыкновенно служили в продолжение всего этого срока и одеждой, и одеялами, и подстилками. Но тулупы крепки, хотя и не редкость было на ком-нибудь видеть к концу третьего года, то есть срока выноски, тулуп, заплатанный простою холстиной. Несмотря на то, даже очень выношенные, по окончании определенного им срока, продавались копеек за сорок серебром. Некоторые же, получше сохранившиеся, продавались за шесть или даже за семь гривен серебром, а в каторге это были большие деньги.

Деньги же — я уже говорил об этом — имели в остроге страшное значение, могущество. Положительно можно сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь деньги в каторге, в десять раз меньше страдал, чем совсем не имевший их, хотя последний обеспечен тоже всем казенным, и к чему бы, кажется, иметь ему деньги? — как рассуждало наше начальство. Опять-таки, повторяю, что, если б арестанты лишены были всякой возможности иметь свои деньги, они или сходили бы с ума, или мерли бы, как мухи (несмотря на то что были во всем обеспечены), или,

наконец, пустились бы в неслыханные злодейства, — одни от тоски, другие — чтоб поскорее быть как-нибудь казненным и уничтоженным или так как-нибудь «переменить участь» (техническое выражение). Если же арестант, добыв почти кровавым потом свою копейку или решась для приобретения ее на необыкновенные хитрости, сопряженные часто с воровством и мошенничеством, в то же время так безрассудно, с таким ребяческим бессмыслием тратит их, то это вовсе не доказывает, что он их не ценит, хотя бы и казалось так с первого взгляда. К деньгам арестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе. А арестанты большие мечтатели. Об этом я кой-что скажу после, но, к слову пришлось: поверят ли, что я видал сосланных на *двадцатилетний* срок, которые мне самому говорили, очень спокойно, такие, например, фразы: «А вот подожди, даст бог, кончу срок, и тогда...» Весь смысл слова «арестант» означает человека без воли; а, тратя деньги, он поступает уже по *своей воле*. Несмотря ни на какие клейма, кандалы и ненавистные пали острога, заслоняющие ему божий мир и огораживающие его как зверя в клетке, он может достать вина, то есть страшно запрещенное наслаждение, попользоваться клубничкой, даже иногда (хоть и не всегда) подкупить своих ближайших начальников, инвалидов и даже унтер-офицера, которые сквозь пальцы будут смотреть на то, что он нарушает закон и дисциплину; даже может, сверх торгу, еще покуражиться над ними, а покуражиться арестант ужасно любит, то есть представиться пред товарищами и уверить даже себя *хоть на время*, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется, — одним словом, может накутить, набуянить, разобидеть кого-нибудь в прах и доказать ему, что он всё это *может*, что всё это в «наших руках», то есть уверить себя в том, о чем бедняку и помыслить невозможно. Кстати: вот отчего, может быть, в арестантах, даже и в трезвом виде, замечается всеобщая наклонность к куражу, к хвастовству, к комическому и наивнейшему возвеличению собственной личности, хотя бы призрачному. Наконец, во всем этом кутеже есть свой риск, — значит, всё это имеет хоть какой-нибудь призрак жизни, хоть отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за свободу? Какой миллионщик, если б ему сдавили горло петлей, не отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха?

Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе несколько лет так смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с того ни с сего — точно бес в него влез — зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное преступление рискнул: или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или изнасиловал и проч. Смотрят

на него и удивляются. А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его, — это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем, колотит в свою крышу и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уж не до рассудка: тут судороги. Возьмем еще в соображение, что почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением; а в таком случае, ему, естественно, всё равно, что большое, что малое проявление. Кутить — так уж кутить, рискнуть — так уж рискнуть на всё, даже хоть на убийство. И только ведь стоит начать: опьянеет потом человек, даже не удержишь! А потому всячески бы лучше не доводить до этого. Всем было бы спокойнее.

Да; но как это сделать?

VI

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

При вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится, несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе братский уход за «несчастными», сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое. Не могу не припомнить здесь вкратце об одной встрече. В городе, в котором находился наш острог, жила одна дама, Настасья Ивановна, вдова. Разумеется, никто из нас, в бытность в остроге, не мог познакомиться с ней лично. Казалось, назначением жизни своей она избрала помощь ссыльным, но более всех заботилась о нас. Было ли в семействе у ней какое-нибудь подобное же несчастье, или кто-нибудь из особенно дорогих и близких ее сердцу людей пострадал по такому же преступлению, но только она как будто за особое счастье почитала сделать для нас всё, что только могла. Многого она, конечно, не могла: она была очень бедна. Но мы, сидя в остроге, чувствовали, что там, за острогом, есть у нас преданнейший друг. Между прочим, она нам часто сообщала известия, в которых

мы очень нуждались. Выйдя из острога и отправляясь в другой город, я успел побывать у ней и познакомиться с нею лично. Она жила где-то в форштадте, у одного из своих близких родственников. Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна; даже нельзя было узнать, умна ли она, образованна ли? Замечалась только в ней, на каждом шагу, одна бесконечная доброта, непреодолимое желание угодить, облегчить, сделать для вас непременно что-нибудь приятное. Всё это так и виднелось в ее тихих, добрых взглядах. Я провел вместе с другим из острожных моих товарищей у ней почти целый вечер. Она так и глядела нам в глаза, смеялась, когда мы смеялись, спешила соглашаться со всем, что бы мы ни сказали; суетилась угостить нас хоть чем-нибудь, чем только могла. Подан был чай, закуска, какие-то сласти, и если б у ней были тысячи, она бы, кажется, им обрадовалась только потому, что могла бы лучше нам угодить да облегчить наших товарищей, оставшихся в остроге. Прощаясь, она вынесла нам по сигарочнице на память. Эти сигарочницы она склеила для нас сама из картона (уж бог знает, как они были склеены), оклеила их цветной бумажкой, точно такою же, в какую переплетаются краткие арифметики для детских школ (а может быть, и действительно на оклейку пошла какая-нибудь арифметика). Кругом же обе папиросочницы были, для красоты, оклеены тоненьким бордюрчиком из золотой бумажки, за которою она, может быть, нарочно ходила в лавки. «Вот вы курите же папироски, так, может быть, и пригодится вам», — сказала она, как бы извиняясь робко перед нами за свой подарок... Говорят иные (я слышал и читал это), что высочайшая любовь к ближнему есть в то же время и величайший эгоизм. Уж в чем тут-то был эгоизм — никак не пойму.

Хоть у меня вовсе не было при входе в острог больших денег, но я как-то не мог тогда серьезно досадовать на тех из каторжных, которые почти в первые часы моей острожной жизни, уже обманув меня раз, пренаивно приходили по другому, по третьему и даже по пятому разу занимать у меня. Но признаюсь в одном откровенно: мне очень было досадно, что весь этот люд, с своими наивными хитростями, непременно должен был, как мне казалось, считать меня простофилей и дурачком и смеяться надо мной, именно потому, что я в пятый раз давал им деньги. Им непременно должно было казаться, что я поддаюсь на их обманы и хитрости, и если б, напротив, я им отказывал и прогонял их, то, я уверен, они стали бы несравненно более уважать меня. Но как я ни досадовал, а отказать все-таки не мог. Досадовал же я потому, что серьезно и заботливо думал в эти первые дни о том, как и на какой ноге поставлю я себя в остроге, или, лучше сказать, на какой ноге я должен был стоять с ними. Я чувствовал и понимал, что вся эта среда для меня совершенно новая, что я в совершенных потемках, а что в потемках нельзя прожить столько лет. Следовало приготовиться. Разумеется, я решил,

что прежде всего надо поступать прямо, как внутреннее чувство и совесть велят. Но я знал тоже, что ведь это только афоризм, а передо мной все-таки явится самая неожиданная практика.

И потому, несмотря на все мелочные заботы о своем устройстве в казарме, о которых я уже упоминал и в которые вовлекал меня по преимуществу Аким Акимыч, несмотря на то что они несколько и развлекали меня, — страшная, ядущая тоска всё более и более меня мучила. «Мертвый дом!» — говорил я сам себе, присматриваясь иногда в сумерки, с крылечка нашей казармы, к арестантам, уже собравшимся с работы и лениво слонявшимся по площадке острожного двора, из казарм в кухни и обратно. Присматривался к ним и по лицам и движениям их старался узнавать, что они за люди и какие у них характеры? Они же шлялись передо мной с нахмуренными лбами или уже слишком развеселые (эти два вида наиболее встречаются и почти характеристика каторги), ругались или просто разговаривали или, наконец, прогуливались в одиночку, как будто в задумчивости, тихо, плавно, иные с усталым и апатическим видом, другие (даже и здесь!) — с видом заносчивого превосходства, с шапками набекрень, с тулупами внакидку, с дерзким, лукавым взглядом и с нахальной пересмешкой. «Всё это моя среда, мой теперешний мир, — думал я, — с которым, хочу не хочу, а должен жить...» Я пробовал было расспрашивать и разузнавать об них у Акима Акимыча, с которым очень любил пить чай, чтоб не быть одному. Мимоходом сказать, чай, в это первое время, был почти единственною моею пищею. От чаю Аким Акимыч не отказывался и сам наставлял наш смешной, самодельный, маленький самовар из жести, который дал мне на подержание М. Аким Акимыч выпивал обыкновенно один стакан (у него были и стаканы), выпивал молча и чинно, возвращая мне его, благодарил и тотчас же принимался отделывать мое одеяло. Но того, что мне надо было узнать, — сообщить не мог и даже не понимал, к чему я так особенно интересуюсь характерами окружающих нас и ближайших к нам каторжных, и слушал меня даже с какой-то хитренькой улыбочкой, очень мне памятной. «Нет, видно, надо самому испытывать, а не расспрашивать», — подумал я.

На четвертый день, так же как и в тот раз, когда я ходил перековываться, выстроились рано поутру арестанты, в два ряда, на площадке перед кордегардией, у острожных ворот. Впереди, лицом к ним, и сзади — вытянулись солдаты, с заряженными ружьями и с примкнутыми штыками. Солдат имеет право стрелять в арестанта, если тот вздумает бежать от него; но в то же время и отвечает за свой выстрел, если сделал его не в случае самой крайней необходимости; то же самое и в случае открытого бунта каторжников. Но кто же бы вздумал бежать явно? Явился инженерный офицер, кондуктор, а также инженерные унтер-офицеры и солдаты, приставы над производившимися работами. Сделали перекличку; часть арестантов, ходившая в швальни,

отправлялась прежде всех; до них инженерное начальство и не касалось; они работали собственно на острог и обшивали его. Затем отправились в мастерские, а затем и на обыкновенные черные работы. В числе человек двадцати других арестантов отправился и я. За крепостью, на замерзшей реке, были две казенные барки, которые за негодностью нужно было разобрать, чтоб по крайней мере старый лес не пропал даром. Впрочем, весь этот старый материал, кажется, очень мало стоил, почти ничего. Дрова в городе продавались по цене ничтожной, и кругом лесу было множество. Посылали почти только для того, чтоб арестантам не сидеть сложа руки, что и сами-то арестанты хорошо понимали. За такую работу они всегда принимались вяло и апатически, и почти совсем другое бывало, когда работа сама по себе была дельная, ценная и особенно когда можно было выпросить себе на урок. Тут они словно чем-то одушевлялись и хоть им вовсе не было никакой от этого выгоды, но, я сам видел, выбивались из сил, чтоб ее поскорей и получше докончить; даже самолюбие их тут как-то заинтересовывалось. А в настоящей работе, делавшейся более для проформы, чем для надобности, трудно было выпросить себе урок, а надо было работать вплоть до барабана, бившего призыв домой в одиннадцать часов утра. День был теплый и туманный; снег чуть не таял. Вся наша кучка отправилась за крепость на берег, слегка побрякивая цепями, которые хотя и были скрыты под одеждою, но все-таки издавали тонкий и резкий металлический звук с каждым шагом. Два-три человека отделились за необходимым инструментом в цейхауз. Я шел вместе со всеми и даже как будто оживился: мне хотелось поскорее увидеть и узнать, что за работа? Какая это каторжная работа? И как я сам буду в первый раз в жизни работать?

Помню всё до малейшей подробности. На дороге встретился нам какой-то мещанин с бородкой, остановился и засунул руку в карман. Из нашей кучки немедленно отделился арестант, снял шапку, принял подаяние — пять копеек — и проворно воротился к своим. Мещанин перекрестился и пошел своею дорогою. Эти пять копеек в то же утро проели на калачах, разделив их на всю нашу партию поровну.

Из всей этой кучки арестантов одни были, по обыкновению, угрюмы и неразговорчивы, другие равнодушны и вялы, третьи лениво болтали промеж собой. Один был ужасно чему-то рад и весел, пел и чуть не танцевал дорогой, прибрякивая с каждым прыжком кандалами. Это был тот самый невысокий и плотный арестант, который в первое утро мое в остроге поссорился с другим у воды, во время умывания, за то, что другой осмелился безрассудно утверждать про себя, что он птица каган. Звали этого развеселившегося парня Скуратов. Наконец, он запел какую-то лихую песню, из которой я помню припев:

Без меня меня женили —
Я на мельнице был.

Недоставало только балалайки.

Его необыкновенно веселое расположение духа, разумеется, тотчас же возбудило в некоторых из нашей партии негодование, даже принято было чуть не за обиду.

— Завыл! — с укоризною проговорил один арестант, до которого, впрочем, вовсе не касалось дело.

— Одна была песня у волка, и ту перенял, туляк! — заметил другой, из мрачных, хохлацким выговором.

— Я-то, положим, туляк, — немедленно возразил Скуратов, — а вы в вашей Полтаве галушкой подавились.

— Ври! Сам-то что едал! Лаптем щи хлебал.

— А теперь словно черт ядрами кормит, — прибавил третий.

— Я и вправду, братцы, изнеженный человек, — отвечал с легким вздохом Скуратов, как будто раскаиваясь в своей изнеженности и обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности, — с самого сызмалетства на черносливе да на пампрусских булках испытан (то есть воспитан. Скуратов нарочно коверкал слова), родимые же братцы мои и теперь еще в Москве свою лавку имеют, в прохожем ряду ветром торгуют, купцы богатеющие.

— А ты чем торговал?

— А по разным качествам и мы происходили. Вот тогда-то, братцы, и получил я первые двести...

— Неужто рублей! — подхватил один любопытный, даже вздрогнув, услышав про такие деньги.

— Нет, милый человек, не рублей, а палок. Лука, а Лука!

— Кому Лука, а тебе Лука Кузьмич, — нехотя отозвался маленький и тоненький арестантик с востреньким носиком.

— Ну Лука Кузьмич, черт с тобой, так уж и быть.

— Кому Лука Кузьмич, а тебе дядюшка.

— Ну, да черт с тобой и с дядюшкой, не стоит и говорить! А хорошее было слово хотел сказать. Ну, так вот, братцы, как это случилось, что недолго я нажил в Москве; дали мне там напоследок пятнадцать кнутиков да и отправили вон. Вот я...

— Да за что отправили-то?.. — перебил один, прилежно следивший за рассказом.

— А не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе; так что я не успел, братцы, настоящим образом в Москве разбогатеть. А оченно, оченно, оченно того хотел, чтоб богатым быть. И уж так мне этого хотелось, что и не знаю, как и сказать.

Многие рассмеялись. Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, или, лучше, шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей и, разумеется, ровно ничего, кроме брани, за это не получали. Он принадлежал к особенному и замечательному типу, о котором мне, может быть, еще придется поговорить.

— Да тебя и теперь вместо соболя бить можно, — заметил Лука Кузьмич. — Ишь, одной одежи рублей на сто будет.

На Скуратове был самый ветхий, самый заношенный тулупишка, на котором со всех сторон торчали заплаты. Он довольно равнодушно, но внимательно осмотрел его сверху донизу.

— Голова зато дорого стоит, братцы, голова! — отвечал он. — Как и с Москвой прощался, тем и утешен был, что голова со мной вместе пойдет. Прощай, Москва, спасибо за баню, за вольный дух, славно исполосовали! А на тулуп нечего тебе, милый человек, смотреть...

— Небось на твою голову смотреть?

— Да и голова-то у него не своя, а подаянная, — опять ввязался Лука. — Ее ему в Тюмени Христа ради подали, как с партией проходил.

— Что ж ты, Скуратов, небось мастерство имел?

— Како мастерство! Поводырь был, гаргосов водил, у них голыши таскал, — заметил один из нахмуренных, — вот и всё его мастерство.

— Я девствительно пробовал было сапоги тачать, — отвечал Скуратов, совершенно не заметив колкого замечания. — Всего одну пару и стачал.

— Что ж, покупали?

— Да, нарвался такой, что, видно, бога не боялся, отца-мать не почитал; наказал его господь, — купил.

Все вокруг Скуратова так и покатились со смеху.

— Да потом еще раз работал, уж здесь, — продолжал с чрезвычайным хладнокровием Скуратов, — Степану Федорычу Поморцеву, поручику, головки приставлял.

— Что ж он, доволен был?

— Нет, братцы, недоволен. На тысячу лет обругал да еще коленком напинал меня сзади. Оченно уж рассердился. Эх, солгала моя жизнь, солгала каторжная!

Погодя того немножко,
Ак-кулинин муж на двор... —

неожиданно залился он снова и пустился притопывать вприпрыжку ногами.

— Ишь, безобразный человек! — проворчал шедший подле меня хохол, с злобным презрением скосив на него глаза.

— Бесполезный человек! — заметил другой окончательным и серьезным тоном.

Я решительно не понимал, за что на Скуратова сердятся, да и вообще — почему все веселые, как уже успел я заметить в эти первые дни, как будто находились в некотором презрении? Гнев хохла и других я относил к личностям. Но это были не личности, а гнев за то, что в Скуратове не было выдержки, не было строгого напускного вида собственного достоинства, которым заражена была вся каторга до педантства, — одним словом, за то, что он был, по их же выражению, «бесполезный» человек. Однако на веселых не на всех сердились и не всех так третировали, как

Скуратова и других, ему подобных. Кто как с собой позволял обходиться: человек добродушный и без затей тотчас же подвергался унижению. Это меня даже поразило. Но были и из веселых, которые умели и любили огрызнуться и спуску никому не давали: тех принуждены были уважать. Тут же, в этой же кучке людей, был один из таких зубастых, а в сущности развеселый и премилейший человек, но которого с этой стороны я узнал уже после, видный и рослый парень, с большой бородавкой на щеке и с прекомическим выражением лица, впрочем довольно красивого и сметливого. Называли его пионером, потому что когда-то он служил в пионерах; теперь же находился в особом отделении. Про него мне еще придется говорить.

Впрочем, и не все «серьезные» были так экспансивны, как негодующий на веселость хохол. В каторге было несколько человек, метивших на первенство, на знание всякого дела, на находчивость, на характер, на ум. Многие из таких действительно были люди умные, с характером и действительно достигали того, на что метили, то есть первенства и значительного нравственного влияния на своих товарищей. Между собою эти умники были часто большие враги — и каждый из них имел много ненавистников. На прочих арестантов они смотрели с достоинством и даже с снисходительностью, ссор ненужных не затевали, у начальства были на хорошем счету, на работах являлись как будто распорядителями, и ни один из них не стал бы придираться, например, за песни: до таких мелочей они не унижались. Со мной все такие были замечательно вежливы, во всё продолжение каторги, но не очень разговорчивы; тоже как будто из достоинства. Об них тоже придется поговорить подробнее.

Пришли на берег. Внизу, на реке, стояла замерзшая в воде старая барка, которую надо было ломать. На той стороне реки синела степь; вид был угрюмый и пустынный. Я ждал, что так все и бросятся за работу, но об этом и не думали. Иные расселись на валявшихся по берегу бревнах; почти все вытащили из сапог кисеты с туземным табаком, продававшимся на базаре в листах по три копейки за фунт, и коротенькие талиновые чубучки с маленькими деревянными трубочками-самодельщиной. Трубки закурились; конвойные солдаты обтянули нас цепью и с скучнейшим видом принялись нас стеречь.

— И кто догадался ломать эту барку? — промолвил один как бы про себя, ни к кому, впрочем, не обращаясь. — Щепок, что ль захотелось?

— А кто нас не боится, тот и догадался, — заметил другой.

— Куда это мужичье-то валит? — помолчав, спросил первый, разумеется не заметив ответа на прежний вопрос и указывая вдаль на толпу мужиков, пробиравшихся куда-то гуськом по цельному снегу. Все лениво оборотились в ту сторону и от нечего делать принялись их пересмеивать. Один из мужичков, последний, шел как-то необыкновенно смешно, расставив руки и свесив

набок голову, на которой была длинная мужичья шапка, гречневиком. Вся фигура его цельно и ясно обозначалась на белом снегу.

— Ишь, братан Петрович, как оболокся! — заметил один, передразнивая выговором мужиков. Замечательно, что арестанты вообще смотрели на мужиков несколько свысока, хотя половина из них были из мужиков.

— Задний-то, ребята, ходит, точно редьку садит.

— Это тяжкодум, у него денег много, — заметил третий.

Все засмеялись, но как-то тоже лениво, как будто нехотя. Между тем подошла калашница, бойкая и разбитная бабенка.

У ней взяли калачей на подаянный пятак и разделили тут же поровну.

Молодой парень, торговавший в остроге калачами, забрал десятка два и крепко стал спорить, чтоб выторговать три, а не два калача, как следовало по обыкновенному порядку. Но калашница не соглашалась.

— Ну, а того-то не дашь?

— Чего еще?

— Да чего мыши-то не едят.

— Да чтоб те язвило! — взвизгнула бабенка и засмеялась.

Наконец появился и пристав над работами, унтер-офицер с палочкой.

— Эй вы, что расселись! Начинать!

— Да что, Иван Матвеич, дайте урок, — проговорил один из «начальствующих», медленно подымаясь с места.

— Чего давеча на разводке не спрашивали? Барку растащи, вот те и урок.

Кое-как наконец поднялись и спустились к реке, едва волоча ноги. В толпе тотчас же появились и «распорядители», по крайней мере на словах. Оказалось, что барку не следовало рубить зря, а надо было по возможности сохранить бревна и в особенности поперечные кокоры, прибитые по всей длине своей ко дну барки деревянными гвоздями, — работа долгая и скучная.

— Вот надоть бы перво-наперво оттащить это бревнушко. Принимайся-ка, ребята! — заметил один вовсе не распорядитель и не начальствующий, а просто чернорабочий, бессловесный и тихий малый, молчавший до сих пор, и, нагнувшись, обхватил руками толстое бревно, поджидая помощников. Но никто не помог ему.

— Да, подымешь небось! И ты не подымешь, да и дед твой, медведь, приди, — и тот не подымет! — проворчал кто-то сквозь зубы.

— Так что ж, братцы, как начинать-то? Я уж и не знаю... — проговорил озадаченный выскочка, оставив бревно и приподымаясь.

— Всей работы не переработаешь... чего выскочил?

— Трем курам корму раздать обочтется, а туда же первый... Стрепета!

— Да я, братцы, ничего, — отговаривался озадаченный, — я только так...

— Да что ж мне на вас чехлы понадеть, что ли? Аль солить вас прикажете на зиму? — крикнул опять пристав, с недоумением смотря на двадцатиголовую толпу, не знавшую, как приняться за дело. — Начинать! Скорей!

— Скорей скорого не сделаешь, Иван Матвеич.

— Да ты и так ничего не делаешь, эй! Савельев! Разговор Петрович! Тебе говорю: что стоишь, глаза продаешь!.. начинать!

— Да я что ж один сделаю?..

— Уж задайте урок, Иван Матвеич.

— Сказано — не будет урока. Растащи барку и иди домой. Начинать!

Принялись наконец, но вяло, нехотя, неумело. Даже досадно было смотреть на эту здоровенную толпу дюжих работников, которые, кажется, решительно недоумевали, как взяться за дело. Только было принялись вынимать первую, самую маленькую кокору — оказалось, что она ломается, «сама ломается», как принесено было в оправдание приставу; следственно, так нельзя было работать, а надо было приняться как-нибудь иначе. Пошло долгое рассуждение промеж собой о том, как приняться иначе, что делать? Разумеется, мало-помалу дошло до ругани, грозило зайти и подальше... Пристав опять прикрикнул и помахал палочкой, но кокора опять сломалась. Оказалось наконец, что топоров мало и что надо еще принести какой-нибудь инструмент. Тотчас же отрядили двух парней, под конвоем, за инструментом в крепость, а в ожидании все остальные преспокойно уселись на барке, вынули свои трубочки и опять закурили.

Пристав наконец плюнул.

— Ну, от вас работа не заплачет! Эх, народ, народ! — проворчал он сердито, махнул рукой и пошел в крепость, помахивая палочкой.

Через час пришел кондуктор. Спокойно выслушав арестантов, он объявил, что дает на урок вынуть еще четыре кокоры, но так, чтоб уж они не ломались, а целиком, да, сверх того, отделил разобрать значительную часть барки, с тем что тогда уж можно будет идти домой. Урок был большой, но, батюшки, как принялись! Куда делась лень, куда делось недоумение! Застучали топоры, начали вывертывать деревянные гвозди. Остальные подкладывали толстые шесты и, налегая на них в двадцать рук, бойко и мастерски выламывали кокоры, которые, к удивлению моему, выламывались теперь совершенно целые и неиспорченные. Дело кипело. Все вдруг как-то замечательно поумнели. Ни лишних слов, ни ругани, всяк знал, что сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать. Ровно за полчаса до барабана заданный урок

был окончен, и арестанты пошли домой, усталые, но совершенно довольные, хоть и выиграли всего-то каких-нибудь полчаса против указанного времени. Но относительно меня я заметил одну особенность: куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы, везде я был не у места, везде мешал, везде меня чуть не с бранью отгоняли прочь.

Какой-нибудь последний оборвыш, который и сам-то был самым плохим работником и не смел пикнуть перед другими каторжниками, побойчее его и потолковее, и тот считал вправе крикнуть на меня и прогнать меня, если я становился подле него, под тем предлогом, что я ему мешаю. Наконец, один из бойких прямо и грубо сказал мне: «Куда лезете, ступайте прочь! Что соваться куда не спрашивают».

— Попался в мешок! — тотчас же подхватил другой.

— А ты лучше кружку возьми, — сказал мне третий, — да и ступай сбирать на каменное построение да на табашное разорение, а здесь тебе нечего делать.

Приходилось стоять отдельно, а отдельно стоять, когда все работают, как-то совестно. Но когда действительно так случилось, что я отошел и стал на конец барки, тотчас же закричали:

— Вон каких надавали работников; чего с ними сделаешь? Ничего не сделаешь!

Всё это, разумеется, было нарочно, потому что всех это тешило. Надо было поломаться над бывшим дворянчиком, и, конечно, они были рады случаю.

Очень понятно теперь, почему, как уже я говорил прежде, первым вопросом моим при вступлении в острог было: как вести себя, как поставить себя перед этими людьми? Я предчувствовал, что часто будут у меня такие же столкновения с ними, как теперь на работе. Но, несмотря ни на какие столкновения, я решился не изменять плана моих действий, уже отчасти обдуманного мною в это время; я знал, что он справедлив. Именно: я решил, что надо держать себя как можно проще и независимее, отнюдь не выказывать особенного старания сближаться с ними; но и не отвергать их, если они сами пожелают сближения. Отнюдь не бояться их угроз и ненависти и, по возможности, делать вид, что не замечаю того. Отнюдь не сближаться с ними на некоторых известных пунктах и не давать потачки некоторым их привычкам и обычаям, одним словом — не напрашиваться самому на полное их товарищество. Я догадался с первого взгляда, что они первые презирали бы меня за это. Однако, по их понятиям (и я узнал это впоследствии наверно), я все-таки должен был соблюдать и уважать перед ними даже дворянское происхождение мое, то есть нежиться, ломаться, брезгать ими, фыркать на каждом шагу, белоручничать. Так именно они понимали, что такое дворянин. Они, разумеется, ругали бы меня за это, но все-таки уважали бы про себя. Такая роль была не по мне; я никогда не

бывал дворянином по их понятиям; но зато я дал себе слово никакой уступкой не унижать перед ними ни образования моего, ни образа мыслей моих. Если б я стал, им в угоду, подлещаться к ним, соглашаться с ними, фамильярничать с ними и пускаться в разные их «качества», чтоб выиграть их расположение, — они бы тотчас же предположили, что я делаю это из страха и трусости, и с презрением обошлись бы со мной. А—в был не пример: он ходил к майору, и они сами боялись его. С другой стороны, мне и не хотелось замыкаться перед ними в холодную и недоступную вежливость, как делали поляки. Я очень хорошо видел теперь, что они презирают меня за то, что я хотел работать, как и они, не нежился и не ломался перед ними; и хоть я наверно знал, что потом они принуждены будут переменить обо мне свое мнение, но все-таки мысль, что теперь они как будто имеют право презирать меня, думая, что я на работе заискивал перед ними, — эта мысль ужасно огорчала меня.

Когда вечером, по окончании послеобеденной работы, я воротился в острог, усталый и измученный, страшная тоска опять одолела меня. «Сколько тысяч еще таких дней впереди, — думал я, — всё таких же, всё одних и тех же!» Молча, уже в сумерки, скитался я один за казармами, вдоль забора, и вдруг увидал нашего Шарика, бегущего прямо ко мне. Шарик был наша острожная собака, так, как бывают ротные, батарейные и эскадронные собаки. Она жила в остроге с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это была довольно большая собака, черная с белыми пятнами, дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом. Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла смирно, ласково смотрела на меня и в знак удовольствия тихо махала хвостом. Теперь, долго меня не видя, — меня, первого, который в несколько лет вздумал ее приласкать, — она бегала и отыскивала меня между всеми и, отыскав за казармами, с визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со мной сталось, но я бросился целовать ее, я обнял ее голову; она вскочила мне передними лапами на плеча и начала лизать мне лицо. «Так вот друг, которого мне посылает судьба!» — подумал я, и каждый раз, когда потом, в это первое тяжелое и угрюмое время, я возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне даже приятно было думать, как будто хвалясь перед собой своей же мукой, что вот на всем свете только и осталось теперь для меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг — моя верная собака Шарик.

VII

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА. ПЕТРОВ

Но время шло, и я мало-помалу стал обживаться. С каждым днем всё менее и менее смущали меня обыденные явления моей новой жизни. Происшествия, обстановка, люди — всё как-то примелькалось к глазам. Примириться с этой жизнью было невозможно, но признать ее за совершившийся факт давно пора было. Все недоразумения, которые еще остались во мне, я затаил внутри себя, как только мог глуше. Я уже не слонялся по острогу как потерянный и не выдавал тоски своей. Дико любопытные взгляды каторжных уже не останавливались на мне так часто, не следили за мной с такою выделанною наглостью. Я тоже, видно, примелькался им, чему я был очень рад. По острогу я уже расхаживал как у себя дома, знал свое место на нарах и даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть. Регулярно каждую неделю ходил брить половину своей головы. Каждую субботу, в шабашное время, нас вызывали для этого, поочередно, из острога в кордегардию (не выбрившийся уже сам отвечал за себя), и там цирюльники из батальонов мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня даже и теперь мороз проходит по коже при воспоминании об этой пытке. Впрочем, скоро нашлось лекарство: Аким Акимыч указал мне одного арестанта, военного разряда, который за копейку брил собственной бритвой кого угодно и тем промышлял. Многие из каторжных ходили к нему, чтоб избежать казенных цирюльников, а между тем народ был не неженка. Нашего арестанта-цирюльника звали *майором* — почему — не знаю, и чем он мог напоминать майора — тоже не могу сказать. Теперь, как пишу это, так и представляется мне этот майор, высокий, сухощавый и молчаливый парень, довольно глуповатый, вечно углубленный в свое занятие и непременно с ремнем в руке, на котором он денно и нощно направлял свою донельзя сточенную бритву, и, кажется, весь уходил в это занятие, приняв его, очевидно, за назначение всей своей жизни. В самом деле, он был до крайности доволен, когда бритва была хороша и когда кто-нибудь приходил побриться: мыло было у него теплое, рука легкая, бритье бархатное. Он видимо наслаждался и гордился своим искусством и небрежно принимал заработанную копейку, как будто и в самом деле дело было в искусстве, а не в копейке. Больно досталось А—ву от нашего плац-майора, когда он, фискаля ему на острог, упомянул раз имя нашего острожного цирюльника и неосторожно назвал его *майором*. Плац-майор рассвирепел и обиделся до последней степени. «Да знаешь ли ты, подлец, что такое майор! — кричал он с пеной у рта, по-свойски расправляясь с А—вым, — понимаешь ли ты, что такое майор! И вдруг какой-нибудь подлец каторжный, и сметь его звать май-

ором, мне в глаза, в моем присутствии!..» Только А—в мог уживаться с таким человеком.

С самого первого дня моей жизни в остроге я уже начал мечтать о свободе. Расчет, когда кончатся мои острожные годы, в тысяче разных видах и применениях, сделался моим любимым занятием. Я даже и думать ни о чем не мог иначе и уверен, что так поступает всякий, лишенный на срок свободы. Не знаю, думали ль, рассчитывали ль каторжные так же, как я, но удивительное легкомыслие их надежд поразило меня с первого шагу. Надежда заключенного, лишенного свободы, — совершенно другого рода, чем настоящим образом живущего человека. Свободный человек, конечно, надеется (например, на перемену судьбы, на исполнение какого-нибудь предприятия), но он живет, он действует; настоящая жизнь увлекает его своим круговоротом вполне. Не то для заключенного. Тут, положим, тоже жизнь — острожная, каторжная; но кто бы ни был каторжник и на какой бы срок он ни был сослан, он решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за что-то положительное, окончательное, за часть действительной жизни. Всякий каторжник чувствует, что он не *у себя дома*, а как будто в гостях. На двадцать лет он смотрит как будто на два года и совершенно уверен, что и в пятьдесят пять лет по выходе из острога он будет такой же молодец, как и теперь, в тридцать пять. «Поживем еще!» — думает он и упрямо гонит от себя все сомнения и прочие досадные мысли. Даже сосланные без срока, особого отделения, и те рассчитывали иногда, что вот нет-нет, а вдруг придет разрешение из Питера: «Переслать в Нерчинск, в рудники, и назначить сроки». Тогда славно: во-первых, в Нерчинск чуть не полгода идти, а в партии идти против острога куды лучше! А потом кончить в Нерчинске срок и тогда... И ведь так рассчитывает иной седой человек!

В Тобольске видел я прикованных к стене. Он сидит на цепи, этак в сажень длиною; тут у него койка. Приковали его за что-нибудь из ряду вон страшное, совершенное уже в Сибири. Сидят по пяти лет, сидят и по десяти. Большею частью из разбойников. Одного только между ними я видел как будто из господ; где-то он когда-то служил. Говорил он смирнехонько, пришепетывая; улыбочка сладенькая. Он показывал нам свою цепь, показывал, как надо ложиться удобнее на койку. То-то, должно быть, была своего рода птица! Все они вообще смирно ведут себя и кажутся довольными, а между тем каждому чрезвычайно хочется поскорее высидеть свой срок. К чему бы, кажется? А вот к чему: выйдет он тогда из душной промозглой комнаты с низкими кирпичными сводами и пройдется по двору острога, и... и только. За острог уж его не выпустят никогда. Он сам знает, что спущенные с цепи навечно уже содержатся при остроге, до самой смерти своей, и в кандалах. Он это знает, и все-таки ему ужасно хочется поскорее кончить свой цепной срок. Ведь без этого желания мог ли бы он просидеть

пять или шесть лет на цепи, не умереть или не сойти с ума? Стал ли бы еще иной-то сидеть?

Я чувствовал, что работа может спасти меня, укрепить мое здоровье, тело. Постоянное душевное беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня совершенно. «Чаще быть на воздухе, каждый день уставать, приучаться носить тяжести — и по крайней мере я спасу себя, — думал я, — укреплю себя, выйду здоровый, бодрый, сильный, нестарый». Я не ошибся: работа и движение были мне очень полезны. Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой. «Нет, — думал я, на него глядя, — я хочу жить и буду жить». Зато и доставалось же мне сначала от каторжных за любовь к работе, и долго они язвили меня презрением и насмешками. Но я не смотрел ни на кого и бодро отправлялся куда-нибудь, например хоть обжигать и толочь алебастр, — одна из первых работ, мною узнанных. Это была работа легкая. Инженерное начальство, по возможности, готово было облегчать работу дворянам, что, впрочем, было вовсе не поблажкой, а только справедливостью. Странно было бы требовать с человека, вполовину слабейшего силой и никогда не работавшего, того же урока, который задавался по положению настоящему работнику. Но это «баловство» не всегда исполнялось, даже исполнялось-то как будто украдкой: за этим надзирали строго со стороны. Довольно часто приходилось работать работу тяжелую, и тогда, разумеется, дворяне выносили двойную тягость, чем другие работники. На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил всё один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. Сарай, в котором обжигали и толкли алебастр, стоял тоже на пустынном и крутом берегу реки. Зимой, особенно в сумрачный день, смотреть на реку и на противоположный далекий берег было скучно. Что-то тоскливое, надрывающее сердце было в этом диком и пустынном пейзаже. Но чуть ли еще не тяжелей было, когда на бесконечной белой пелене снега ярко сияло солнце; так бы и улетел куда-нибудь в эту степь, которая начиналась на другом берегу и расстилалась к югу одной непрерывной скатертью тысячи на полторы верст. Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной беспо-

лезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в нее алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжелую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щеки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и все-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек.

Другая работа, на которую я посылался, — в мастерской вертеть точильное колесо. Колесо было большое, тяжелое. Требовалось немалых усилий вертеть его, особенно когда токарь (из инженерных мастеровых) точил что-нибудь вроде лестничной балясины или ножки от большого стола, для казенной мебели какому-нибудь чиновнику, на что требовалось чуть не бревно. Одному в таком случае было вертеть не под силу, и обыкновенно посылали двоих — меня и еще одного из дворян, Б. Так эта работа в продолжение нескольких лет и оставалась за нами, если только приходилось что-нибудь точить. Б. был слабосильный, тщедушный человек, еще молодой, страдавший грудью. Он прибыл в острог с год передо мною вместе с двумя другими из своих товарищей — одним стариком, всё время острожной жизни денно и нощно молившимся богу (за что очень уважали его арестанты) и умершим при мне, и с другим, еще очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогою нес уставшего с пол-этапа Б., что продолжалось семьсот верст сряду. Нужно было видеть их дружбу между собою. Б. был человек с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздраженным болезнью. С колесом справлялись мы вместе, и это даже занимало нас обоих. Мне эта работа давала превосходный моцион.

Особенно тоже я любил разгребать снег. Это бывало обыкновенно после буранов, и бывало очень нередко в зиму. После суточного бурана заметало иной дом до половины окон, а иной чуть не совсем заносило. Тогда, как уже прекращался буран и выступало солнце, выгоняли нас большими кучами, а иногда и всем острогом — отгребать сугробы снега от казенных зданий. Каждому давалась лопата, всем вместе урок, иногда такой, что надо было удивляться, как можно с ним справиться, и все дружно принимались за дело. Рыхлый, только что слегшийся и слегка примороженный сверху снег ловко брался лопатой, огромными комками, и разбрасывался кругом, еще на воздухе

обращаясь в блестящую пыль. Лопата так и врезалась в белую, сверкающую на солнце массу. Арестанты почти всегда работали эту работу весело. Свежий зимний воздух, движение разгорячали их. Все становились веселее; раздавался хохот, вскрикиванья, остроты. Начинали играть в снежки, не без того, разумеется, чтоб через минуту не закричали благоразумные и негодующие на смех и веселость, и всеобщее увлечение обыкновенно кончалось руганью.

Мало-помалу я стал распространять и круг моего знакомства. Впрочем, сам я не думал о знакомствах: я всё еще был неспокоен, угрюм и недоверчив. Знакомства мои начались сами собою. Из первых стал посещать меня арестант Петров. Я говорю *посещать* и особенно напираю на это слово. Петров жил в особом отделении и в самой отдаленной от меня казарме. Связей между нами, повидимому, не могло быть никаких; общего тоже решительно ничего у нас не было и быть не могло. А между тем в это первое время Петров как будто обязанностью почитал чуть не каждый день заходить ко мне в казарму или останавливать меня в шабашное время, когда, бывало, я хожу за казармами, по возможности подальше от всех глаз. Мне сначала это было неприятно. Но он как-то так умел сделать, что вскоре его посещения даже стали развлекать меня, несмотря на то что это был вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый человек. С виду был он невысокого роста, сильного сложения, ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, бледный, с широкими скулами, с смелым взглядом, с белыми, частыми и мелкими зубами и с вечной щепотью тертого табаку за нижней губой. Класть за губу табак было в обычае у многих каторжных. Он казался моложе своих лет. Ему было лет сорок, а на вид только тридцать. Говорил он со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держал себя в высшей степени на равной ноге, то есть чрезвычайно порядочно и деликатно. Если он замечал, например, что я ищу уединения, то, поговорив со мной минуты две, тотчас же оставлял меня и каждый раз благодарил за внимание, чего, разумеется, не делал никогда и ни с кем из всей каторги. Любопытно, что такие же отношения продолжались между нами не только в первые дни, но и в продолжение нескольких лет сряду и почти никогда не становились короче, хотя он действительно был мне предан. Я даже и теперь не могу решить: чего именно ему от меня хотелось, зачем он лез ко мне каждый день? Хоть ему и случалось воровать у меня впоследствии, но он воровал как-то *нечаянно*; денег же почти никогда у меня не просил, следственно, приходил вовсе не за деньгами или за каким-нибудь интересом.

Не знаю тоже почему, но мне всегда казалось, что он как будто вовсе не жил вместе со мною в остроге, а где-то далеко в другом доме, в городе, и только посещал острог мимоходом, чтоб узнать новости, проведать меня, посмотреть, как мы все живем. Всегда он куда-то спешил, точно где-то кого-то оставил

и там ждут его, точно где-то что-то недоделал. А между тем как будто и не очень суетился. Взгляд у него тоже был какой-то странный: пристальный, с оттенком смелости и некоторой насмешки, но глядел он как-то вдаль, через предмет; как будто из-за предмета, бывшего перед его носом, он старался рассмотреть какой-то другой, подальше. Это придавало ему рассеянный вид. Я нарочно смотрел иногда: куда пойдет от меня Петров? Где это его так ждут? Но от меня он торопливо отправлялся куда-нибудь в казарму или в кухню, садился там подле кого-нибудь из разговаривающих, слушал внимательно, иногда и сам вступал в разговор даже очень горячо, а потом вдруг как-то оборвет и замолчит. Но говорил ли он, сидел ли молча, а все-таки видно было, что он так только, мимоходом, что где-то там есть дело и там его ждут. Страннее всего то, что дела у него не было никогда, никакого; жил он в совершенной праздности (кроме казенных работ, разумеется). Мастерства никакого не знал, да и денег у него почти никогда не водилось. Но он и об деньгах не много горевал. И об чем он говорил со мной? Разговор его бывал так же странен, как и он сам. Увидит, например, что я хожу где-нибудь один за острогом, и вдруг круто поворотит в мою сторону. Ходил он всегда скоро, поворачивал всегда круто. Придет шагом, а кажется, будто он подбежал.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я вам не помешал?

— Нет.

— Я вот хотел вас про Наполеона спросить. Он ведь родня тому, что в двенадцатом году был? (Петров был из кантонистов и грамотный.)

— Родня.

— Какой же он, говорят, президент?

Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно поскорее об чем-то узнать. Точно он справку наводил по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства.

Я объяснил, какой он президент, и прибавил, что, может быть, скоро и императором будет.

— Это как?

Объяснил я, по возможности, и это. Петров внимательно слушал, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонив в мою сторону ухо.

— Гм. А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной с самого высокого человека?

— Да, есть такие.

— Какие же это?

Я объяснил, сколько знал, и это.

— А где же они живут?

— В жарких землях. На острове Суматре есть.

— Это в Америке, что ли? Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят?

— Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете.

Я объяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов.

— А-а! А вот я прошлого года про графиню Лавальер читал, от адъютанта Арефьев книжку приносил. Так это правда или так только — выдумано? Дюма сочинение.

— Разумеется, выдумано.

— Ну, прощайте. Благодарствуйте.

И Петров исчезал, и в сущности никогда почти мы не говорили иначе, как в этом роде.

Я стал о нем справляться. М., узнавши об этом знакомстве, даже предостерегал меня. Он сказал мне, что многие из каторжных вселяли в него ужас, особенно сначала, с первых дней острога, но ни один из них, ни даже Газин, не производил на него такого ужасного впечатления, как этот Петров.

— Это самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных, — говорил М. — Он на всё способен; он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается, так, просто зарежет, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, он не в полном уме.

Этот отзыв сильно заинтересовал меня. Но М. как-то не мог мне дать отчета, почему ему так казалось. И странное дело: несколько лет сряду я знал потом Петрова, почти каждый день говорил с ним; всё время он был ко мне искренно привязан (хоть и решительно не знаю за что) — и во все эти несколько лет хотя он и жил в остроге благоразумно и ровно ничего не сделал ужасного, но я каждый раз, глядя на него и разговаривая с ним, убеждался, что М. был прав и что Петров, может быть, самый решительный, бесстрашный и не знающий над собою никакого принуждения человек. Почему это так мне казалось — тоже не могу дать отчета.

Замечу, впрочем, что этот Петров был тот самый, который хотел убить плац-майора, когда его позвали к наказанию и когда майор «спасся чудом», как говорили арестанты, — уехав перед самой минутой наказания. В другой раз, еще до каторги, случилось, что полковник ударил его на учении. Вероятно, его и много раз перед этим били; но в этот раз он не захотел снести и заколол своего полковника открыто, среди бела дня, перед развернутым фронтом. Впрочем, я не знаю в подробности всей его истории; он никогда мне ее не рассказывал. Конечно, это были только вспышки, когда натура объявлялась вдруг вся, целиком. Но все-таки они были в нем очень редки. Он действительно был благоразумен и даже смирен. Страсти в нем таились, и даже сильные, жгучие; но горячие угли были постоянно посыпаны золою и тлели

тихо. Ни тени фанфаронства или тщеславия я никогда не замечал в нем, как, например, у других. Он ссорился редко, зато и ни с кем особенно не был дружен, разве только с одним Сироткиным, да и то когда тот был ему нужен. Раз, впрочем, я видел, как он серьезно рассердился. Ему что-то не давали, какую-то вещь; чем-то обделили его. Спорил с ним арестант-силач, высокого роста, злой, задира, насмешник и далеко не трус, Василий Антонов, из гражданского разряда. Они уже долго кричали, и я думал, что дело кончится много-много что простыми колотушками, потому что Петров хоть и очень редко, но иногда даже дирался и ругался, как самый последний из каторжных. Но в этот раз случилось не то: Петров вдруг побледнел, губы его затряслись и посинели; дышать стал он трудно. Он встал с места и медленно, очень медленно, своими неслышными, босыми шагами (летом он очень любил ходить босой) подошел к Антонову. Вдруг разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли; муху было бы слышно. Все ждали, что будет. Антонов вскочил ему навстречу; на нем лица не было... Я не вынес и вышел из казармы. Я ждал, что еще не успею сойти с крыльца, как услышу крик зарезанного человека. Но дело кончилось ничем и на этот раз: Антонов, не успел еще Петров дойти до него, молча и поскорее выкинул ему спорную вещь. (Дело шло о какой-то самой жалкой ветошке, о каких-то подвертках.) Разумеется, минуты через две Антонов все-таки ругнул его помаленьку, для очистки совести и для приличия, чтоб показать, что не совсем же он так уж струсил. Но на ругань Петров не обратил никакого внимания, даже и не отвечал: дело было не в ругани и выигралось оно в его пользу; он остался очень доволен и взял себе ветошку. Через четверть часа он уже по-прежнему слонялся по острогу с видом совершенного безделья и как будто искал, не заговорят ли где-нибудь о чем-нибудь полюбопытнее, чтоб приткнуть туда и свой нос и послушать. Его, казалось, всё занимало, но как-то так случалось, что ко всему он по большей части оставался равнодушен и только так слонялся по острогу без дела, метало его туда и сюда. Его можно было тоже сравнить с работником, с дюжим работником, от которого затрещит работа, но которому покамест не дают работы, и вот он в ожидании сидит и играет с маленькими детьми. Не понимал я тоже, зачем он живет в остроге, зачем не бежит? Он не задумался бы бежать, если б только крепко того захотел. Над такими людьми, как Петров, рассудок властвует только до тех пор, покамест они чего не захотят. Тут уж на всей земле нет препятствия их желанию. А я уверен, что он бежать сумел бы ловко, надул бы всех, по неделе мог бы сидеть без хлеба где-нибудь в лесу, или в речном камыше. Но, видно, он еще не набрел на эту мысль и не пожелал этого *вполне*. Большого рассуждения, особенного здравого смысла я никогда в нем не замечал. Эти люди так и родятся об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей их туда и сюда; так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дела вполне по желанию; тут уж им и голова нипочем.

Удивлялся я иногда, как это такой человек, который зарезал своего начальника за побои, так беспрекословно ложится у нас под розги. Его иногда и секли, когда он попадался с вином. Как и все каторжные без ремесла, он иногда пускался проносить вино. Но он и под розги ложился как будто с собственного согласия, то есть как будто сознавал, что за дело; в противном случае ни за что бы не лег, хоть убей. Дивился я на него тоже, когда он, несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня. Находило на него это как-то полосами. Это он украл у меня Библию, которую я ему дал только донести из одного места в другое. Дорога была в несколько шагов, но он успел найти по дороге покупщика, продал ее и тотчас же пропил деньги. Верно, уж очень ему пить захотелось, а уж что очень захотелось, то *должно* быть исполнено. Вот такой-то и режет человека за четвертак, чтоб за этот четвертак выпить косушку, хотя в другое время пропустит мимо с сотнею тысяч. Вечером он мне сам и объявил о покраже, только без всякого смущения и раскаянья, совершенно равнодушно, как о самом обыкновенном приключении. Я было пробовал хорошенько его побранить; да и жалко мне было мою Библию. Он слушал, не раздражаясь, даже очень смирно; соглашался, что Библия очень полезная книга, искренно жалел, что ее у меня теперь нет, но вовсе не сожалел о том, что украл ее; он глядел с такою самоуверенностью, что я тотчас же и перестал браниться. Брань же мою он сносил, вероятно рассудив, что ведь нельзя же без этого, чтоб не изругать его за такой поступок, так уж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает; но что в сущности всё это вздор, такой вздор, что серьезному человеку и говорить-то было бы совестно. Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме наук и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Часто я задавал себе вопрос: что ему в этих книжных знаниях, о которых он меня обыкновенно расспрашивает? Случалось, что во время этих разговоров я нет-нет да и посмотрю на него сбоку: уж не смеется ли он надо мной? Но нет; обыкновенно он слушал серьезно, внимательно, хотя, впрочем, не очень, и это последнее обстоятельство мне иногда досаждало. Вопросы задавал он точно, определительно, но как-то не очень дивился полученным от меня сведениям и принимал их даже рассеянно... Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что, кроме разговора о книжках, я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего.

Я уверен, что он даже любил меня, и это меня очень поражало. Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне то особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, признав меня за такое... не знаю. И хоть всё это не мешало ему меня обворо-

вывать, но, я уверен, и обворовывая, он жалел меня. «Эх, дескать! — думал он, может быть, запуская руку в мое добро, — что ж это за человек, который и за добро-то свое постоять не может!» Но за это-то он, кажется, и любил меня. Он мне сам сказал один раз, как-то нечаянно, что я уже «слишком доброй души человек» и «уж так вы просты, так просты, что даже жалость берет». «Только вы, Александр Петрович, не примите в обиду, — прибавил он через минуту, — я ведь так от души сказал».

С этакими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или переворота и таким образом разом попадают на свою полную деятельность. Они не люди слова и не могут быть зачинщиками и главными предводителями дела; но они главные исполнители его и первые начинают. Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, — и все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы. Я не верю, чтоб Петров хорошо кончил; он в какую-нибудь одну минуту всё разом кончит, и если не пропал еще до сих пор, значит, случай его не пришел. Кто знает, впрочем? Может, и доживет до седых волос и преспокойно умрет от старости, без цели слоняясь туда и сюда. Но, мне кажется, М. был прав, говоря, что это был самый решительный человек из всей каторги.

VIII

РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧКА

Насчет решительных трудно сказать; в каторге, как и везде, их было довольно мало. С виду, пожалуй, и страшный человек; сообразишь, бывало, что про иного рассказывают, и даже сторонишься от него. Какое-то безотчетное чувство заставляло меня даже обходить этих людей сначала. Потом я во многом изменился в моем взгляде даже на самых страшных убийц. Иной и не убил, да страшнее другого, который по шести убийствам пришел. Об иных же преступлениях трудно было составить даже самое первоначальное понятие: до того в совершении их было много странного. Я именно потому говорю, что у нас в простонародье иные убийства происходят от самых удивительных причин. Существует, например, и даже очень часто, такой тип убийцы: живет этот человек тихо и смирно. Доля горькая — терпит. Положим, он мужик, дворовый человек, мещанин, солдат. Вдруг что-нибудь у него сорвалось; он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. Тут-то и начинается странность: на время человек вдруг выскакивает из мерки. Первого он зарезал притеснителя, врага; это хоть и преступно, но понятно; тут повод был; но потом уж он режет и не врагов, режет первого встречного и поперечного, режет для потехи,

за грубое слово, за взгляд, для четки или просто: «Прочь с дороги, не попадайся, я иду!» Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. Точно, перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтоб он сам к себе не чувствовал. Знает он к тому же, что ждет его страшная казнь. Всё это может быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами, так что уж сам наконец рад бы броситься вниз головою: поскорей, да и дело с концом! И случается это всё даже с самыми смирными и неприметными дотоле людьми. Иные из них в этом чаду даже рисуются собой. Чем забитее был он прежде, тем сильнее подмывает его теперь пощеголять, задать страху. Он наслаждается этим страхом, любит самое отвращение, которое возбуждает в других. Он напускает на себя какую-то *отчаянность,* и такой «отчаянный» иногда сам уж поскорее ждет наказания, ждет, чтоб *порешили* его, потому что самому становится наконец тяжело носить на себе эту напускную *отчаянность*. Любопытно, что большею частью всё это настроение, весь этот напуск, продолжается ровно вплоть до эшафота,а потом как отрезало: точно и в самом деле этот срок какой-то форменный, как будто назначенный заранее определенными для того правилами. Тут человек вдруг смиряется, стушевывается, в тряпку какую-то обращается. На эшафоте нюнит — просит у народа прощения. Приходит в острог, и смотришь: такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него: «Да неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек?»

Конечно, иные и в остроге не скоро смиряются. Всё еще сохраняется какой-то форс, какая-то хвастливость: вот, дескать, я ведь не то, что вы думаете; я «по шести душам». Но кончает тем, что все-таки смиряется. Иногда только потешит себя, вспоминая свой удалой размах, свой кутеж, бывший раз в его жизни, когда он был «отчаянным», и очень любит, если только найдет простячка, с приличной важностью перед ним поломаться, похвастаться и рассказать ему свои подвиги, не показывая, впрочем, и вида, что ему самому рассказать хочется. Вот, дескать, какой я был человек!

И с какими утонченностями наблюдается эта самолюбивая осторожность, как лениво небрежен бывает иногда такой рассказ! Какое изученное фатство проявляется в тоне, в каждом словечке рассказчика. И где этот народ выучился!

Раз в эти первые дни, в один длинный вечер, праздно и тоскливо лежа на нарах, я прослушал один из таких рассказов и по неопытности принял рассказчика за какого-то колоссального, страшного злодея, за неслыханный железный характер, тогда как в это же время чуть не подшучивал над Петровым. Темой рассказа

было, как он, Лука Кузьмич, не для чего иного, как единственно для одного своего удовольствия, *уложил* одного майора. Этот Лука Кузьмич был тот самый маленький, тоненький, с востреньким носиком, молоденький арестантик нашей казармы, из хохлов, о котором уже как-то и упоминал я. Был он в сущности русский, а только родился на юге, кажется, дворовым человеком. В нем действительно было что-то вострое, заносчивое: «мала птичка, да ноготок востер». Но арестанты инстинктивно раскусывают человека. Его очень немного уважали, или, как говорят в каторге, «ему очень немного уважали». Он был ужасно самолюбив. Сидел он в этот вечер на нарах и шил рубашку. Шитье белья было его ремеслом. Подле него сидел тупой и ограниченный парень, но добрый и ласковый, плотный и высокий, его сосед по нарам, арестант Кобылин. Лучка, по соседству, часто с ним ссорился и вообще обращался свысока, насмешливо и деспотически, чего Кобылин отчасти и не замечал по своему простодушию. Он вязал шерстяной чулок и равнодушно слушал Лучку. Тот рассказывал довольно громко и явственно. Ему хотелось, чтобы все его слушали, хотя, напротив, и старался делать вид, что рассказывает одному Кобылину.

— Это, брат, пересылали меня из нашего места, — начал он, ковыряя иглой, — в Ч—в, по бродяжеству значит.

— Это когда же, давно было? — спросил Кобылин.

— А вот горох поспеет — другой год пойдет. Ну, как пришли в К—в — и посадили меня туда на малое время в острог. Смотрю: сидят со мной человек двенадцать, всё хохлов, высокие, здоровые, дюжие, точно быки. Да смирные такие: еда плохая, вертит ими ихний майор, как его милости *завгодно* (Лучка нарочно перековеркал слово). Сижу день, сижу другой; вижу — трус народ. «Что ж вы, говорю, такому дураку поблажаете?» — «А поди-кась сам с ним поговори!» — даже ухмыляются на меня. Молчу я.

— И пресмешной же тут был один хохол, братцы, — прибавил он вдруг, бросая Кобылина и обращаясь ко всем вообще. — Рассказывал, как его в суде порешили и как он с судом разговаривал, а сам заливается-плачет; дети, говорит, у него остались, жена. Сам матерóй такой, седой, толстый. «Я ему, говорит, бачу: ни! А вин, бисов сын, всё пишет, всё пишет. Ну, бачу соби, да щоб ты здох, а я б подывився! А вин всё пишет, всё пишет, да як писне!.. Тут и пропала моя голова!» Дай-ка, Вася, ниточку; гнилые каторжные.

— Базарные, — отвечал Вася, подавая нитку.

— Наши швальные лучше. Анамеднись Невалида посылали, и у какой он там подлой бабы берет? — продолжал Лучка, вдевая на свет нитку.

— У кумы, значит.

— Значит, у кумы.

— Так что же, как же майор-то? — спросил совершенно забытый Кобылин.

Того только и было нужно Лучке. Однако ж он не сейчас продолжал свой рассказ, даже как будто и внимания не удостоил Кобылина. Спокойно расправил нитки, спокойно и лениво передернул под собой ноги и наконец-то уж заговорил:

— Взбудоражил наконец я моих хохлов, потребовали майора. А я еще с утра у соседа жулик * спросил, взял да и спрятал, значит, на случай. Рассвирепел майор. Едет. Ну, говорю, не трусить, хохлы! А у них уж душа в пятки ушла; так и трясутся. Вбежал майор; пьяный. «Кто здесь! Как здесь! Я царь, я и бог!»

— Как сказал он: «Я царь, я и бог», — я и выдвинулся, — продолжал Лучка, — нож у меня в рукаве.

«Нет, говорю, ваше высокоблагородие, — а сам помаленьку всё ближе да ближе, — нет, уж это как же может быть, говорю, ваше высокоблагородие, чтобы вы были у нас царь да и бог?»

«А, так это ты, так это ты? — закричал майор. — Бунтовщик!»

«Нет, говорю (а сам всё ближе да ближе), нет, говорю, ваше высокоблагородие, как, может, известно и ведомо вам самим, бог наш, всемогущий и вездесущий, един есть, говорю. И царь наш един, над всеми нами самим богом поставленный. Он, ваше высокоблагородие, говорю, монарх. А вы, говорю, ваше высокоблагородие, еще только майор — начальник наш, ваше высокоблагородие, царскою милостью, говорю, и своими заслугами».

«Как-как-как-как!» — так и закудахтал, говорить не может, захлебывается. Удивился уж очень.

«Да, вот как», — говорю; да как кинусь на него вдруг да в самый живот ему так-таки весь нож и впустил. Ловко пришлось. Покатился да только ногами задрыгал. Я нож бросил.

«Смотрите, говорю, хохлы, подымайте его теперь!»

Здесь уже я сделаю одно отступление. К несчастью, такие выражения: «Я царь, я и бог» — и много других подобных этому были в немалом употреблении в старину между многими из командиров. Надо, впрочем, признаться, что таких командиров остается уже немного, а может быть, и совсем перевелись. Замечу тоже, что особенно щеголяли и любили щеголять такими выражениями большею частью командиры, сами вышедшие из нижних чинов. Офицерский чин как будто переворачивает всю их внутренность, а вместе и голову. Долго кряхтя под лямкой и перейдя все степени подчиненности, они вдруг видят себя офицерами, командирами, благородными и с непривычки и первого упоения преувеличивают понятие о своем могуществе и значении; разумеется, только относительно подчиненных им нижних чинов. Перед высшими же они по-прежнему в подобострастии, совершенно уже не нужном и даже противном для многих начальников. Иные подобострастники даже с особенным умилением спешат заявить перед своими высшими командирами, что ведь они и сами из нижних чинов, хоть и офицеры, и «свое место завсегда помнят». Но относительно нижних чинов

---

* Нож.

они становились чуть не неограниченными повелителями. Конечно, теперь вряд ли уж есть такие и вряд ли найдется такой, чтоб прокричал: «Я царь, я и бог». Но, несмотря на это, я все-таки замечу, что ничто так не раздражает арестантов, да и вообще всех нижних чинов, как вот этакие выражения начальников. Эта нахальность самовозвеличения, это преувеличенное мнение о своей безнаказанности рождает ненависть в самом покорном человеке и выводит его из последнего терпения. К счастью, всё это дело почти прошлое, даже и в старину-то строго преследовалось начальством. Несколько примеров тому и я знаю.

Да и вообще раздражает нижний чин всякая свысока небрежность, всякая брезгливость в обращении с ними. Иные думают, например, что если хорошо кормить, хорошо содержать арестанта, всё исполнять по закону, так и дело с концом. Это тоже заблуждение. Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, хоть и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место перед начальником; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек. А так как он действительно человек, то, следственно, и надо с ним обращаться по-человечески. Боже мой! да *человеческое* обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнул образ божий. С этими-то «несчастными» и надо обращаться наиболее по-человечески. Это спасение и радость их. Я встречал таких добрых, благородных командиров. Я видел действие, которое производили они на этих униженных. Несколько ласковых слов — и арестанты чуть не воскресали нравственно. Они, как дети, радовались и, как дети, начинали любить. Замечу еще одну странность: сами арестанты не любят слишком фамильярного и *слишком* уж добродушного с собой обхождения начальников. Ему хочется уважать начальника, а тут он как-то перестает его уважать. Арестанту любо, например, чтоб у начальника его были ордена, чтоб он был видный собою, в милости у какого-нибудь высокого начальника, чтоб был и строг, и важен, и справедлив, и достоинство бы свое соблюдал. Таких арестанты больше любят: значит, и свое достоинство сохранил, и их не обидел, стало быть, и всё хорошо и красиво.

. . . .

— Уж и жарили ж тебя, должно быть, за это? — спокойно заметил Кобылин.

— Гм. Жарили-то, брат, оно правда, что жарили. Алей, дай-ка ножницы! Чтой-то, братцы, сегодня майдана нет?

— Даве пропились, — заметил Вася. — Если б не пропились, так оно, пожалуй, и было бы.

— Если б! За если б и в Москве сто рублей дают, — заметил Лучка.

— А сколько тебе, Лучка, дали за всё про всё? — заговорил опять Кобылин.

— Дали, друг любезный, сто пять. А что скажу, братцы, ведь чуть меня не убили, — подхватил Лучка, опять бросая Кобылина. — Вот как вышли мне эти сто пять, повезли меня в полном параде. А никогда-то до сего я еще плетей не отведывал. Народу привалило видимо-невидимо, весь город сбежался: разбойника наказывать будут, убивец, значит. Уж и как глуп этот народ, так и не знаю как и сказать. Тимошка * раздел, положил, кричит: «Поддержись, ожгу!» — жду: что будет? Как он мне влепит раз, — хотел было я крикнуть, раскрыл было рот, а крику-то во мне и нет. Голос, значит, остановился. Как влепит два, ну, веришь иль не веришь, я уж и не слыхал, как *два* просчитали. А как очнулся, слышу, считают: семнадцатый. Так меня, брат, раза четыре потом с кобылы снимали, по получасу отдыхал: водой обливали. Гляжу на всех выпуча глаза да и думаю: «Тут же помру...»

— А и не помер? — наивно спросил Кобылин.

Лучка обвел его в высочайшей степени презрительным взглядом; раздался хохот.

— Балясина, как есть!

— На чердаке нездорово, — заметил Лучка, точно раскаиваясь, что мог заговорить с таким человеком.

— Умом, значит, решен, — скрепил Вася.

Лучка хоть и убил шесть человек, но в остроге его никогда и никто не боялся, несмотря на то что, может быть, он душевно желал прослыть страшным человеком...

IX

ИСАЙ ФОМИЧ. БАНЯ. РАССКАЗ БАКЛУШИНА

Наступал праздник рождества Христова. Арестанты ожидали его с какою-то торжественностью, и, глядя на них, я тоже стал ожидать чего-то необыкновенного. Дня за четыре до праздника повели нас в баню. В мое время, особенно в первые мои годы, арестантов редко водили в баню. Все обрадовались и начали собираться. Назначено было идти после обеда, и в эти послеобеда уже не было работы. Всех больше радовался и суетился из нашей казармы Исай Фомич Бумштейн, каторжный из евреев, о котором уже я упоминал в четвертой главе моего рассказа. Он любил париться до отупения, до бесчувственности, и каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, вспомнить и о нашей каторжной бане (которая стоит того, чтоб об ней не забыть), то на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исая Фомича, товарища моей каторги и сожителя по казарме. Господи, что за уморительный и смешной был этот человек! Я уже сказал несколько слов про его

* Палач.

фигурку: лет пятидесяти, тщедушный, сморщенный, с ужаснейшими клеймами на щеках и на лбу, худощавый, слабосильный, с белым цыплячьим телом. В выражении лица его виднелось беспрерывное, ничем непоколебимое самодовольство и даже блаженство. Кажется, он ничуть не сожалел, что попал в каторгу. Так как он был ювелир, а ювелира в городе не было, то и работал беспрерывно по господам и по начальству города одну ювелирскую работу. Ему все-таки хоть сколько-нибудь, да платили. Он не нуждался, жил даже *богато*, но откладывал деньги и давал под заклад на проценты всей каторге. У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки, весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельную (что дозволяется законами) и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой двенадцатилетний срок, чтоб «зениться». В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исай Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи. «Он у нас один, не троньте Исая Фомича», — говорили арестанты, и Исай Фомич хотя и понимал, в чем дело, но, видимо, гордился своим значением, что очень тешило арестантов. Он уморительнейшим образом прибыл в каторгу (еще до меня, но мне рассказывали). Вдруг однажды, перед вечером, в шабашное время, распространился в остроге слух, что привели жидка и бреют в кордегардии и что он сейчас войдет. Из евреев тогда в каторге еще ни одного не было. Арестанты ждали его с нетерпением и тотчас же обступили, как он вошел в ворота. Острожный унтер-офицер провел его в гражданскую казарму и указал ему место на нарах. В руках у Исая Фомича был его мешок с выданными ему казенными вещами и своими собственными. Он положил мешок, взмостился на нары и уселся, подобрав под себя ноги, не смея ни на кого поднять глаза. Кругом него раздавался смех и острожные шуточки, имевшие в виду еврейское его происхождение. Вдруг сквозь толпу протеснился молодой арестант, неся в руках самые старые, грязные и разорванные летние свои шаровары, с придачею казенных подверток. Он присел подле Исая Фомича и ударил его по плечу.

— Ну, друг любезный, я тебя здесь уже шестой год поджидаю. Вот смотри, много ли дашь?

И он разложил перед ним принесенные лохмотья.

Исай Фомич, который при входе в острог сробел до того, что даже глаз не смел поднять на эту толпу насмешливых, изуродованных и страшных лиц, плотно обступивших его кругом, и от робости еще не успел сказать слова, увидев заклад, вдруг встрепенулся и бойко начал перебирать пальцами лохмотья. Даже прикинул на свет. Все ждали, что он скажет.

— Что ж, рубля-то серебром небось не дашь? А ведь стоило бы! — продолжал закладчик, подмигивая Исаю Фомичу.

— Рубля серебром нельзя, а семь копеек можно.

И вот первые слова, произнесенные Исаем Фомичом в остроге. Все так и покатились со смеху.

— Семь! Ну давай хоть семь; твое счастье! Смотри ж, береги заклад; головой мне за него отвечаешь.

— Проценту три копейки, будет десять копеек, — отрывисто и дрожащим голосом продолжал жидок, опуская руку в карман за деньгами и боязливо поглядывая на арестантов. Он и трусил-то ужасно, и дело-то ему хотелось обделать.

— В год, что ли, три копейки проценту?

— Нет, не в год, а в месяц.

— Тугонек же ты, жид. А как тебя величать?

— Исай Фомиць.

— Ну, Исай Фомич, далеко ты у нас пойдешь! Прощай.

Исай Фомич еще раз осмотрел заклад, сложил и бережно сунул его в свой мешок при продолжавшемся хохоте арестантов.

Его действительно все как будто даже любили и никто не обижал, хотя почти все были ему должны. Сам он был незлобив, как курица, и, видя всеобщее расположение к себе, даже куражился, но с таким простодушным комизмом, что ему тотчас же это прощалось. Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его, и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и преловко отшучивался.

— Эй, жид, приколочу!

— Ты меня один раз ударишь, а я тебя десять, — молодцевато отвечает Исай Фомич.

— Парх проклятый!

— Нехай буде парх.

— Жид пархатый!

— Нехай буде такочки. Хоть пархатый, да богатый; гро́ши ма.

— Христа продал.

— Нехай буде такочки.

— Славно, Исай Фомич, молодец! Не троньте его, он у нас один! — кричат с хохотом арестанты.

— Эй, жид, хватишь кнута, в Сибирь пойдешь.

— Да я и так в Сибири.

— Еще дальше ушлют.

— А что там пан бог есть?

— Да есть-то есть.

— Ну нехай; был бы пан бог да гро́ши, так везде хорошо будет.

— Молодец, Исай Фомич, видно, что молодец! — кричат кругом, а Исай Фомич хоть и видит, что над ним же смеются, но бодрится; всеобщие похвалы приносят ему видимое удовольствие, и он на всю казарму начинает тоненьким дискантиком петь: «Ля-

ля-ля-ля-ля!» — какой-то нелепый и смешной мотив, единственную песню, без слов, которую он пел в продолжение всей каторги. Потом, познакомившись ближе со мной, он уверял меня под клятвою, что это та самая песня и именно тот самый мотив, который пели все шестьсот тысяч евреев, от мала до велика, переходя через Чермное море, и что каждому еврею заповедано петь этот мотив в минуту торжества и победы над врагами.

Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш. Исай Фомич был до того невинно хвастлив и тщеславен, что это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствие. Он с педантскою и выделанною важностью накрывал в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу (*рижу,* как он выговаривал). Это была пестрая накидка из шерстяной материи, которую он тщательно хранил в своем сундуке. На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой какой-то деревянный ящичек, так что казалось, изо лба Исая Фомича выходит какой-то смешной рог. Затем начиналась молитва. Читал он ее нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты. Конечно, всё это было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было смешного и странного, но смешно было то, что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать навзрыд. Рыданья усиливаются, и он в изнеможении и чуть не с воем склоняет на книгу свою голову, увенчанную ковчегом; но вдруг, среди самых сильных рыданий, он начинает хохотать и причитывать нараспев каким-то умиленно торжественным, каким-то расслабленным от избытка счастья голосом. «Ишь его разбирает!» — говорят, бывало, арестанты. Я спрашивал однажды Исая Фомича: что значат эти рыдания и потом вдруг эти торжественные переходы к счастью и блаженству? Исай Фомич ужасно любил эти расспросы от меня. Он немедленно объяснил мне, что плач и рыдания означают мысль о потере Иерусалима и что закон предписывает при этой мысли как можно сильнее рыдать и бить себя в грудь. Но что в минуту самых сильных рыданий он, Исай Фомич, *должен вдруг,* как бы невзначай, вспомнить (это *вдруг* тоже предписано законом), что есть пророчество о возвращении евреев в Иерусалим. Тут он должен немедленно разразиться радостью, песнями, хохотом и проговаривать молитвы так, чтобы самым голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно больше торжественности и благородства. Этот переход *вдруг* и непременная обязанность этого перехода чрезвычайно нравились Исаю Фомичу: он видел в этом какой-то особенный, прехитрый кунштик и с хвастливым видом передавал мне это замысловатое правило закона. Раз, во время самого разгара молитвы, в комнату вошел плац-майор в сопровождении ка-

раульного офицера и конвойных. Все арестанты вытянулись в струнку у своих нар, один только Исай Фомич еще более начал кричать и кривляться. Он знал, что молитва дозволена, прерывать ее нельзя было, и, крича перед майором, не рисковал, разумеется, ничем. Но ему чрезвычайно приятно было поломаться перед майором и порисоваться перед нами. Майор подошел к нему на один шаг расстояния: Исай Фомич оборотился задом к своему столику и прямо в лицо майору начал читать нараспев свое торжественное пророчество, размахивая руками. Так как ему предписывалось и в эту минуту выражать в своем лице чрезвычайно много счастья и благородства, то он и сделал это немедленно, как-то особенно сощурив глаза, смеясь и кивая на майора головой. Майор удивился; но наконец фыркнул от смеха, назвал его тут же в глаза дураком и пошел прочь, а Исай Фомич еще более усилил свои крики. Через час, когда уж он ужинал, я спросил его: а что если б плац-майор, по глупости своей, на вас рассердился?

— Какой плац-майор?

— Как какой? Да разве вы не видали?

— Нет.

— Да ведь он стоял на один аршин перед вами, прямо перед вашим лицом.

Но Исай Фомич серьезнейшим образом начал уверять меня, что он не видал решительно никакого майора, что в это время, при этих молитвах, он впадает в какой-то экстаз, так что ничего уж не видит и не слышит, что кругом его происходит.

Как теперь вижу Исая Фомича, когда он в субботу слоняется, бывало, без дела по всему острогу, всеми силами стараясь ничего не делать, как это предписано в субботу по закону. Какие невозможные анекдоты рассказывал он мне каждый раз, когда приходил из своей молельни; какие ни на что не похожие известия и слухи из Петербурга приносил мне, уверяя, что получил их от своих жидков, а те из первых рук.

Но я слишком уж много разговорился об Исае Фомиче.

Во всем городе были только две публичные бани. Первая, которую содержал один еврей, была номерная, с платою по пятидесяти копеек за номер и устроенная для лиц высокого полета. Другая же баня была по преимуществу простонародная, ветхая, грязная, тесная, и вот в эту-то баню и повели наш острог. Было морозно и солнечно; арестанты радовались уже тому, что выйдут из крепости и посмотрят на город. Шутки, смех не умолкали дорогою. Целый взвод солдат провожал нас с заряженными ружьями, на диво всему городу. В бане тотчас же разделили нас на две смены: вторая дожидалась в холодном передбаннике, покамест первая смена мылась, что необходимо было сделать за теснотою бани. Но, несмотря на то, баня была до того тесна, что трудно было представить, как и половина-то наших могла в ней уместиться. Но Петров не отставал от меня; он сам без моего приглашения

подскочил помогать мне и даже предложил меня вымыть. Вместе с Петровым вызвался прислуживать мне и Баклушин, арестант из особого отделения, которого звали у нас пионером и о котором как-то я поминал как о веселейшем и милейшем из арестантов, каким он и был в самом деле. Мы с ним уже слегка познакомились. Петров помог мне даже раздеваться, потому что по непривычке я раздевался долго, а в передбаннике было холодно, чуть ли не так же, как на дворе. Кстати: арестанту очень трудно раздеваться, если он еще не совсем научился. Во-первых, нужно уметь скоро расшнуровывать подкандальники. Эти подкандальники делаются из кожи, вершка в четыре длиною, и надеваются на белье, прямо под железное кольцо, охватывающее ногу. Пара подкандальников стоит не менее шести гривен серебром, а между тем каждый арестант заводит их себе на свой счет, разумеется, потому что без подкандальников невозможно ходить. Кандальное кольцо не плотно охватывает ногу, и между кольцом и ногой может пройти палец; таким образом, железо бьет по ноге, трет ее, и в один день арестант без подкандальников успел бы натереть себе раны. Но снять подкандальники еще не трудно. Труднее научиться ловко снимать из-под кандалов белье. Это целый фокус. Сняв нижнее белье, положим, хоть с левой ноги, нужно пропустить его сначала между ногой и кандальным кольцом; потом, освободив ногу, продеть это белье назад сквозь то же кольцо; потом всё, уже снятое с левой ноги, продернуть сквозь кольцо на правой ноге; а затем всё продетое сквозь правое кольцо опять продеть к себе обратно. Такая же история и с надеваньем нового белья. Новичку даже трудно и догадаться, как это делается; первый выучил нас всему этому арестант Коренев, в Тобольске, бывший атаман разбойников, просидевший пять лет на цепи. Но арестанты привыкли и обходятся без малейшего затруднения. Я дал Петрову несколько копеек, чтоб запастись мылом и мочалкой; арестантам выдавалось, правда, и казенное мыло, на каждого по кусочку, величиною с двукопеечник, а толщиною с ломтик сыра, подаваемого по вечерам на закуску у «среднего рода» людей. Мыло продавалось тут же, в передбаннике, вместе с сбитнем, калачами и горячей водой. На каждого арестанта отпускалось, по условию с хозяином бани, только по одной шайке горячей воды; кто же хотел обмыться почище, тот за грош мог получить и другую шайку, которая и передавалась в самую баню через особо устроенное для того окошко из передбанника. Раздев, Петров повел меня даже под руку, заметив, что мне очень трудно ступать в кандалах. «Вы их кверху потяните, на икры, — приговаривал он, поддерживая меня, точно дядька, — а вот тут осторожнее, тут порог». Мне даже несколько совестно было; хотелось уверить Петрова, что я и один умею пройти; но он этому бы не поверил. Он обращался со мной решительно как с ребенком, несовершеннолетним и неумелым, которому всякий обязан помочь. Петров был отнюдь не слуга, прежде всего не слуга; разобидь я его, он бы знал, как со мной поступить. Денег за услуги я ему вовсе

пе обещал, да он и сам не просил. Что ж побуждало его так ходить за мной?

Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек разом, и уж по крайней мере, наверно, восемьдесят, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас пришло в баню до двухсот человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Я испугался и хотел вернуться назад, но Петров тотчас же ободрил меня. Кое-как, с величайшими затруднениями, протеснились мы до лавок через головы рассевшихся на полу людей, прося их нагнуться, чтоб нам можно было пройти. Но места на лавках все были заняты. Петров объявил мне, что надо купить место, и тотчас же вступил в торг с арестантом, поместившимся у окошка. За копейку тот уступил свое место, немедленно получил от Петрова деньги, которые тот нес, зажав в кулаке, предусмотрительно взяв их с собою в баню, и тотчас же юркнул под лавку прямо под мое место, где было темно, грязно и где липкая сырость наросла везде чуть не на полпальца. Но места и под лавками были все заняты; там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели скрючившись арестанты, плескаясь из своих шаек. Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя; грязная вода стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. На полке и на всех уступах, ведущих к нему, сидели, съежившись и скрючившись, мывшиеся. Но мылись мало. Простолюдины мало моются горячей водой и мылом; они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой — вот и вся баня. Веников пятьдесят на полке подымалось и опускалось разом; все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не жар; это было пекло. Всё это орало и гоготало, при звуке ста цепей, волочившихся по полу... Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа; раздавались визги и крики. У окошка в передбаннике, откуда подавали воду, шла ругань, теснота, целая свалка. Полученная горячая вода расплескивалась на головы сидевших на полу, прежде чем ее доносили до места. Нет-нет, а в окно или в приотворенную дверь выглянет усатое лицо солдата, с ружьем в руке, высматривающего, нет ли беспорядков. Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались еще уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы! У меня мороз прошел по коже, смотря на них. Поддадут —и пар застелет густым, горячим облаком всю баню; всё загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые головы, скрючен-

ные руки, ноги; а в довершение Исай Фомич гогочет во всё горло на самом высоком полке. Он парится до беспамятства, но, кажется, никакой жар не может насытить его; за копейку он нанимает парильщика, но тот наконец не выдерживает, бросает веник и бежит отливаться холодной водой. Исай Фомич не унывает и нанимает другого, третьего: он уже решается для такого случая не смотреть на издержки и сменяет до пяти парильщиков. «Здоров париться, молодец Исай Фомич!» — кричат ему снизу арестанты. Исай Фомич сам чувствует, что в эту минуту он выше всех и заткнул всех их за пояс; он торжествует и резким, сумасшедшим голосом выкрикивает свою арию: ля-ля-ля-ля-ля, покрывающую все голоса. Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место. Я не утерпел, чтоб не сообщить эту догадку Петрову; он только поглядел кругом и промолчал.

Я было хотел и ему купить место подле меня; но он уселся у моих ног и объявил, что ему очень ловко. Баклушин между тем покупал нам воду и подносил ее по мере надобности. Петров объявил, что вымоет меня с ног до головы, так что «будете совсем чистенькие», и усиленно звал меня париться. Париться я не рискнул. Петров вытер меня всего мылом. «А теперь я вам *ножки* вымою», — прибавил он в заключение. Я было хотел отвечать, что могу вымыть и сам, но уж не противоречил ему и совершенно отдался в его волю. В уменьшительном «ножки» решительно не звучало ни одной нотки рабской; просто-запросто Петров не мог назвать моих ног ногами, вероятно, потому, что у других, у настоящих людей, — ноги, а у меня еще только ножки.

Вымыв меня, он с такими же церемониями, то есть с поддержками и с предостережениями на каждом шагу, точно я был фарфоровый, доставил меня в передбанник и помог надеть белье и, уже когда совершенно кончил со мной, бросился назад в баню, париться.

Когда мы пришли домой, я предложил ему стакан чаю. От чаю он не отказался, выпил и поблагодарил. Мне пришло в голову раскошелиться и попотчевать его косушкой. Косушка нашлась и в нашей казарме. Петров был отменно доволен, выпил, крякнул и, заметив мне, что я совершенно оживил его, поспешно отправился в кухню, как будто там без него чего-то никак не могли решить. Вместо него ко мне явился другой собеседник, Баклушин (пионер), которого я еще в бане тоже позвал к себе на чай.

Я не знаю характера милее Баклушина. Правда, он не давал спуску другим, он даже часто ссорился, не любил, чтоб вмешивались в его дела, — одним словом, умел за себя постоять. Но он ссорился ненадолго, и, кажется, все у нас его любили. Куда он ни входил, все встречали его с удовольствием. Его знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей веселости. Это был высокий парень, лет тридцати, с молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым, и с бородавкой. Это лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя

встречных и поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников; но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он «пустой и бесполезный» человек. Он был полон огня и жизни. Познакомился он со мной еще с первых дней и объявил мне, что он из кантонистов, служил потом в пионерах и был даже замечен и любим некоторыми высокими лицами, чем, по старой памяти, очень гордился. Меня он тотчас же стал расспрашивать о Петербурге. Он даже и книжки читал. Придя ко мне на чай, он сначала рассмешил всю казарму, рассказав, как поручик Ш. отделал утром нашего плац-майора, и, сев подле меня, с довольным видом объявил мне, что, кажется, театр состоится. В остроге затевался театр на праздниках. Объявились актеры, устраивались помаленьку декорации. Некоторые из города обещались дать свои платья для актерских ролей, даже для женских; даже, через посредство одного денщика, надеялись достать офицерский костюм с эксельбантами. Только бы плац-майор не вздумал запретить, как прошлого года. Но прошлого года на рождестве майор был не в духе: где-то проигрался, да и в остроге к тому же нашалили, вот он и запретил со зла, а теперь, может быть, не захочет стеснять. Одним словом, Баклушин был в возбужденном состоянии. Видно было, что он один из главных зачинщиков театра, и я тогда же дал себе слово непременно побывать на этом представлении. Простодушная радость Баклушина об удаче театра была мне по сердцу. Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне, что не всё служил в Петербурге; что он там в чем-то провинился и его послали в Р., впрочем, унтер-офицером, в гарнизонный баталион.

— Вот оттуда-то меня уж и прислали сюда, — заметил Баклушин.

— Да за что же это? — спросил я его.

— За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? Ведь за то, что влюбился!

— Ну, за это еще не пришлют сюда, — возразил я смеясь.

— Правда, — прибавил Баклушин, — правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за немца, посудите сами!

— Однако ж как же это? Расскажите, это любопытно.

— Пресмешная история, Александр Петрович.

— Так тем лучше. Рассказывайте.

— Аль рассказать? Ну, так уж слушайте...

Я выслушал хоть не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства...

— Дело это было вот как, — начал Баклушин. — Как послали это они меня в Р., вижу — город хороший, большой, только немцев много. Ну, я, разумеется, еще молодой человек, у начальства на хорошем счету, хожу себе шапку набекрень, время провожу, значит. Немкам подмигиваю. И понравилась тут мне одна немочка, Луиза. Они обе были прачки, для самого ни на есть чистого

белья, она и ее тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а живут зажиточно. Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила, — этакая то есть милушка, что я и не встречал еще такой никогда. Я было сначала того да сего, а она мне: «Нет, этого не моги, Саша, потому я хочу всю невинность свою сохранить, чтоб тебе же достойной женой быть», и только ласкается, смеется таково звонко... да чистенькая такая была, я уж и не видал таких, кроме нее. Сама же взманила меня жениться. Ну как не жениться, подумайте! Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику... Вдруг смотрю — Луиза раз на свидание не вышла, другой не пришла, на третий не бывала... Я письмо отправляю; на письмо нет ответу. Что ж это, думаю? То есть кабы обманывала она меня, так ухитрилась бы, и на письмо бы отвечала, и на свидание бы приходила. А она и солгать-то не сумела; так просто отрезала. Это тетка, думаю. К тетке я ходить не смел; она хоть и знала, а мы все-таки под видом делали, то есть тихими стопами. Я как угорелый хожу, написал последнее письмо и говорю: «Коль не придешь, сам к тетке приду». Испугалась, пришла. Плачет; говорит, один немец, Шульц, дальний их родственник, часовщик, богатый и уж пожилой, изъявил желание на ней жениться, — «чтоб, говорит, и меня осчастливить, и самому на старости без жены не остаться; да и любит он меня, говорит, и давно уж намерение это держал, да всё молчал, собирался. Так вот, говорит, Саша, он богатый, и это для меня счастье; так неужели ж ты меня моего счастья хочешь лишить?» Я смотрю: она плачет, меня обнимает... Эх, думаю, ведь резон же она говорит! Ну, что толку за солдата выйти, хотя б я и унтер? «Ну, говорю, Луиза, прощай, бог с тобой; нечего мне тебя твоего счастья лишать. А что он, хорош?» — «Нет, говорит, пожилой такой, с длинным носом...» Даже сама рассмеялась. Ушел я от нее; что ж, думаю, не судьба! На другое это утро пошел я под его магазин, улицу-то она мне сказала. Смотрю в стекло: сидит немец, часы делает, лет этак сорока пяти, нос горбатый, глаза выпучены, во фраке и в стоячих воротничках, этаких длинных, важный такой. Я так и плюнул; хотел было у него тут же стекло разбить... да что, думаю! нечего трогать, пропало, как с возу упало! Пришел в сумерки в казарму, лег на койку и вот, верите ли, Александр Петрович, как заплачу...

Ну, проходит этак день, другой, третий. С Луизой не вижусь. А меж тем услыхал от одной кумы (старая была, тоже прачка, к которой Луиза иногда хаживала), что немец про нашу любовь знает, потому-то и решил поскорей свататься. А то бы еще года два поджидал. С Луизы будто бы он клятву такую взял, что она меня знать не будет; и что будто он их, и тетку и Луизу, покуда еще в черном теле держит; что, может, дескать, еще и раздумает, а что совсем-то еще и теперь не решился. Сказала она мне тоже, что послезавтра, в воскресенье, он их обеих утром на кофе звал и что будет еще один родственник, старик, прежде был купец, а

теперь бедный-пребедный, где-то в подвале надсмотрщиком служит. Как узнал я, что в воскресенье они, может быть, всё дело решат, так меня зло взяло, что и с собой совладать не могу. И весь этот день и весь следующий только и делал, что об этом думал. Так бы и съел этого немца, думаю.

В воскресенье утром, еще я ничего не знал, а как обедни отошли — вскочил, натянул шинель да и отправился к немцу. Думал я их всех застать. И почему я отправился к немцу и что там хотел сказать — сам не знаю. А на всякий случай пистолет в карман сунул. Был у меня этот пистолетишка так, дрянной, с прежним курком; еще мальчишкой я из него стрелял. Из него и стрелять-то нельзя уж было. Однако ж я его пулей зарядил; думаю: станут выгонять, грубить — я пистолет выну и их всех напугаю. Прихожу. В мастерской никого нет, а сидят все в задней комнате. Окромя их, ни души, прислуги никакой. У него всего-то прислуга одна немка была, она ж и кухарка. Я прошел магазин; вижу — дверь туда заперта, да старая этак дверь, на крючке. Сердце у меня бьется, я остановился, слушаю: говорят по-немецки. Я как толкну ногой из всей силы, дверь тотчас и растворилась. Смотрю: стол накрыт. На столе большой кофейник и кофей на спирте кипит. Сухари стоят; на другом подносе графин водки, селедка и колбаса и еще бутылка вина какого-то. Луиза и тетка, обе разодетые, на диване сидят. Против них на стуле сам немец, жених, причесанный, во фраке и в воротничках, так и торчат вперед. А сбоку на стуле еще немец сидит, старик уж, толстый, седой, и молчит. Как вошел я, Луиза так и побледнела. Тетка было привскочила, да и села, а немец нахмурился. Такой сердитый; встал и навстречу:

— Что вам, говорит, угодно?

Я было сконфузился, да злость уж меня сильно взяла.

— Чего, говорю, угодно! А ты гостя принимай, водкой потчуй. Я к тебе в гости пришел.

Немец подумал и говорит.

— Садит-с.

Сел я.

— Давай же, говорю, водки-то.

— Вот, говорит, водка; пейте, пожалуй.

— Да ты мне, говорю, хорошей водки давай. — Злость-то, значит, меня уж очень берет.

— Это хорошая водка.

Обидно мне стало, что уж слишком он так меня низко ставит. А всего пуще, что Луиза смотрит. Выпил я да и говорю:

— Да ты что ж так грубить начал, немец? Ты со мною подружись. Я по дружбе к тебе пришел.

— Я не могу быть ваш друг, говорит: ви простой солдат.

Ну, тут я и взбесился.

— Ах ты чучела, говорю, колбасник! Да знаешь ли ты, что от сей минуты я всё, что хочу, с тобой могу сделать? Вот хочешь, из пистолета тебя застрелю?

Вынул я пистолет, встал перед ним да и наставил дуло ему прямо в голову, в упор. Те сидят ни живы ни мертвы; пикнуть боятся; а старик, так тот как лист трясется, молчит, побледнел весь.

Немец удивился, однако ж опомнился.

— Я вас не боюсь, говорит, и прошу вас, как благородный человек, вашу шутку сейчас оставить, а я вас совсем не боюсь.

— Ой, врешь, говорю, боишься! — А чего! сам головы из-под пистолета пошевелить не смеет; так и сидит.

— Нет, говорит, ви это никак не смеет сделать.

— Да почему ж, говорю, не смеет-то?

— А потому, говорит, что это вам строго запрещено и вас строго наказать за это будут.

То есть черт этого дурака немца знает! Не поджег бы он меня сам, был бы жив до сих пор; за спором только и стало дело.

— Так не смею, говорю, по-твоему?

— Нет-т!

— Не смею?

— Ви это совершенно не смейт со мной сделать...

— Ну так вот же тебе, колбаса! — Да как цапну его, он и покатился на стуле. Те закричали.

Я пистолет в карман, да и был таков, а как в крепость входил, тут у крепостных ворот пистолет в крапиву и бросил.

Пришел я домой, лег на койку и думаю: вот сейчас возьмут. Час проходит, другой — не берут. И уж этак перед сумерками такая тоска на меня напала; вышел я; беспременно Луизу повидать захотелось. Прошел я мимо часовщика. Смотрю: там народ, полиция. Я к куме: вызови Луизу! Чуть-чуть подождал, вижу: бежит Луиза, так и бросилась мне на шею, сама плачет: «Всему я, говорит, виновата, что тетки послушалась». Сказала она мне тоже, что тетка тотчас же после давешнего домой пришла и так струсила, что заболела и — молчок; и сама никому не объявила и мне говорить запретила; боится; как угодно, пусть так и делают. «Нас, говорит, Луиза, никто давеча не видал. Он и служанку свою услал, потому боялся. Та бы ему в глаза вцепилась, кабы узнала, что он жениться хочет. Из мастеровых тоже никого в доме не было; всех удалил. Сам и кофей сварил, сам и закуску приготовил. А родственник, так тот и прежде всю жизнь свою молчал, ничего не говорил, а как случилось давеча дело, взял шапку и первый ушел. И, верно, тоже молчать будет», — сказала Луиза. Так оно и было. Две недели меня никто не брал, и подозрения на меня никакого не было. В эти же две недели, верьте не верьте, Александр Петрович, я всё счастье мое испытал. Каждый день с Луизой сходились. И уж так она, так она ко мне привязалась! Плачет: «Я, говорит, за тобой, куда тебя сошлют, пойду, всё для тебя покину!» Я уж думал всей жизни моей тут решиться: так она меня тогда разжалобила. Ну, а через две недели меня и взяли. Старик и тетка согласились да и доказали на меня...

— Но постойте, — прервал я Баклушина, — вас за это только могли всего-то лет на десять, ну на двенадцать, на полный срок, в гражданский разряд прислать; а ведь вы в особом отделении. Как это можно?

— Ну, уж это другое вышло дело, — сказал Баклушин. — Как привели меня в судную комиссию, капитан перед судом и обругай меня скверными словами. Я не стерпел да и говорю ему: «Ты что ругаешься-то? Разве не видишь, подлец, что перед зерцалом сидишь!» Ну, тут уж и пошло по-другому, по-новому стали судить да за всё вместе и присудили: четыре тысячи да сюда, в особое отделение. А как вывели меня к наказанию, вывели и капитана: меня по зеленой улице, а его лишить чинов и на Кавказ в солдаты. До свиданья, Александр Петрович. Заходите же к нам в представление-то.

X

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Наконец наступили и праздники. Еще в сочельник арестанты почти не выходили на работу. Вышли в швальни, в мастерские; остальные только побыли на разводке, и хоть и были кой-куда назначены, но почти все, поодиночке или кучками, тотчас же возвратились в острог, и после обеда никто уже не выходил из него. Да и утром бо́льшая часть ходила только по своим делам, а не по казенным: иные — чтоб похлопотать о пронесении вина и заказать новое; другие — повидать знакомых куманьков и кумушек или собрать к празднику должишки за сделанные ими прежде работы; Баклушин и участвовавшие в театре — чтоб обойти некоторых знакомых, преимущественно из офицерской прислуги, и достать необходимые костюмы. Иные ходили с заботливым и суетливым видом единственно потому, что и другие были суетливы и заботливы, и хоть иным, например, ниоткуда не предстояло получить денег, но они смотрели так, как будто и они тоже получат от кого-нибудь деньги; одним словом, все как будто ожидали к завтрашнему дню какой-то перемены, чего-то необыкновенного. К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядины, поросят, даже гусей. Многие из арестантов, даже самые скромные и бережливые, копившие круглый год свои копейки, считали обязанностью раскошелиться к такому дню и достойным образом справить разговень. Завтрашний день был настоящий, неотъемлемый у арестанта праздник, признанный за ним формально законом. В этот день арестант не мог быть выслан на работу, и таких дней всего было три в году.

И, наконец, кто знает, сколько воспоминаний должно было зашевелиться в душах этих отверженцев при встрече такого дня! Дни великих праздников резко отпечатлеваются в памяти просто-

людинов, начиная с самого детства. Это дни отдохновения от их тяжких работ, дни семейного сбора. В остроге же они должны были припоминаться с мучениями и тоской. Уважение к торжественному дню переходило у арестантов даже в какую-то форменность; немногие гуляли; все были серьезны и как будто чем-то заняты, хотя у многих совсем почти не было дела. Но и праздные и гуляки старались сохранять в себе какую-то важность... Смех как будто был запрещен. Вообще настроение дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушал общий тон, хоть бы невзначай, того осаживали с криком и бранью и сердились на него как будто за неуважение к самому празднику. Это настроение арестантов было замечательно, даже трогательно. Кроме врожденного благоговения к великому дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он, стало быть, отверженец, погибший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то же, что у людей. Они это чувствовали; это было видно и понятно.

Аким Акимыч тоже очень готовился к празднику. У него не было ни семейных воспоминаний, потому что он вырос сиротой в чужом доме и чуть не с пятнадцати лет пошел на тяжелую службу; не было в жизни его и особенных радостей, потому что всю жизнь свою провел он регулярно, однообразно, боясь хоть на волосок выступить из показанных ему обязанностей. Не был он и особенно религиозен, потому что благонравие, казалось, поглотило в нем все остальные его человеческие дары и особенности, все страсти и желания, дурные и хорошие. Вследствие всего этого он готовился встретить торжественный день не суетясь, не волнуясь, не смущаясь тоскливыми и совершенно бесполезными воспоминаниями, а с тихим, методическим благонравием, которого было ровно настолько, сколько нужно для исполнения обязанности и раз навсегда указанного обряда. Да и вообще он не любил много задумываться. Значение факта, казалось, никогда не касалось его головы, но раз указанные ему правила он исполнял с священною аккуратностью. Если б завтра же приказали ему сделать совершенно противное, он бы сделал и это с тою же самою покорностью и тщательностью, как делал и противоположное тому накануне. Раз, один только раз в жизни он попробовал пожить своим умом — и попал в каторгу. Урок не пропал для него даром. И хоть ему не суждено было судьбою понять хоть когда-нибудь, в чем именно он провинился, но зато он вывел из своего приключения спасительное правило — не рассуждать никогда и ни в каких обстоятельствах, потому что рассуждать «не его ума дело», как выражались промеж себя арестанты. Слепо преданный обряду, он даже и на праздничного поросенка своего, которого начинил кашей и изжарил (собственноручно, потому что умел и жарить), смотрел с каким-то предварительным уважением, точно это был не обыкновенный поросенок, которого всегда можно было

купить и изжарить, а какой-то особенный, праздничный. Может быть, он еще с детства привык видеть на столе в этот день поросенка и вывел, что поросенок необходим для этого дня, и я уверен, если б хоть раз в этот день он не покушал поросенка, то на всю жизнь у него бы осталось некоторое угрызение совести о неисполненном долге. До праздника он ходил в своей старой куртке и в старых панталонах, хоть и благопристойно заштопанных, но зато уж совсем заносившихся. Оказалось теперь, что новую пару, выданную ему еще месяца четыре назад, он тщательно сберегал в своем сундучке и не притрогивался к ней с улыбающейся мыслью торжественно обновить ее в праздник. Так он и сделал. Еще с вечера он достал свою новую пару, разложил, осмотрел, пообчистил, обдул и, исправив всё это, предварительно примерил ее. Оказалось, что пара была совершенно впору; всё было прилично, плотно застегивалось доверху, воротник, как из кордона, высоко подпирал подбородок; в талье образовалось даже что-то вроде мундирного перехвата, и Аким Акимыч даже осклабился от удовольствия и не без молодцеватости повернулся перед крошечным своим зеркальцем, которое собственноручно и давно уже оклеил в свободную минутку золотым бордюрчиком. Только один крючочек у воротника куртки оказался как будто не на месте. Сообразив это, Аким Акимыч решил переставить крючок; переставил, примерил опять, и оказалось уже совсем хорошо. Тогда он сложил всё по-прежнему и с успокоенным духом упрятал до завтра в сундучок. Голова его была обрита удовлетворительно; но, оглядев себя внимательно в зеркальце, он заметил, что как будто не совсем гладко на голове; показывались чуть видные ростки волос, и он немедленно сходил к «майору», чтоб обриться совершенно прилично и по форме. И хоть Акима Акимыча никто не стал бы завтра осматривать, но обрился он единственно для спокойствия своей совести, чтоб уж так, для такого дня, исполнить все свои обязанности. Благоговение к пуговке, к погончику, к петличке еще с детства неотъемлемо напечатлелось в уме его в виде неоспоримой обязанности, а в сердце — как образ последней степени красоты, до которой может достичь порядочный человек. Всё исправив, он, как старший арестант в казарме, распорядился приносом сена и тщательно наблюдал, как разбрасывали его по полу. То же самое было и в других казармах. Не знаю почему, но к рождеству всегда разбрасывали у нас по казарме сено. Потом, окончив все свои труды, Аким Акимыч помолился богу, лег на свою койку и тотчас же заснул безмятежным сном младенца, чтоб проснуться как можно раньше утром. Так же точно поступили, впрочем, и все арестанты. Во всех казармах улеглись гораздо раньше обыкновенного. Обыкновенные вечерние работы были оставлены; об майданах и помину не было. Всё ждало завтрашнего утра.

Оно наконец настало. Рано, еще до свету, едва только пробили зорю, отворили казармы, и вошедший считать арестантов караульный унтер-офицер поздравил их всех с праздником. Ему отвечали

тем же, отвечали приветливо и ласково. Наскоро помолившись, Аким Акимыч и многие, имевшие своих гусей и поросят на кухне, поспешно пошли смотреть, что с ними делается, как их жарят, где что стоит и так далее. Сквозь темноту из маленьких, залепленных снегом и льдом окошек нашей казармы видно было, что в обеих кухнях, во всех шести печах, пылает яркий огонь, разложенный еще до свету. По двору, в темноте, уже шныряли арестанты в своих полушубках, в рукава и внакидку; всё это стремилось в кухню. Но некоторые, впрочем очень немногие, успели уже побывать и у целовальников. Это были уже самые нетерпеливые. Вообще же все вели себя благопристойно, смирно и как-то не по-обыкновенному чинно. Не слышно было ни обычной ругани, ни обычных ссор. Все понимали, что день большой и праздник великий. Были такие, что сходили в другие казармы, поздравить кой-кого из своих. Проявлялось что-то вроде дружества. Замечу мимоходом: между арестантами почти совсем не замечалось дружества, не говорю общего, — это уж подавно, — а так, частного, чтоб один какой-нибудь арестант сдружился с другим. Этого почти совсем у нас не было, и это замечательная черта: так не бывает на воле. У нас вообще все были в обращении друг с другом черствы, сухи, за очень редкими исключениями, и это был какой-то формальный, раз принятый и установленный тон. Я тоже вышел из казармы; начинало чуть-чуть светать; звезды меркли; морозный тонкий пар подымался кверху. Из печных труб на кухне валил дым столбами. Некоторые из попавшихся мне навстречу арестантов сами охотно и ласково поздравили меня с праздником. Я благодарил и отвечал тем же. Из них были и такие, которые до сих пор еще ни слова со мной не сказали во весь этот месяц.

У самой кухни нагнал меня арестант из военной казармы, в тулупе внакидку. Он еще с полдвора разглядел меня и кричал мне: «Александр Петрович! Александр Петрович!» Он бежал на кухню и торопился. Я остановился и подождал его. Это был молодой парень, с круглым лицом, с тихим выражением глаз, очень неразговорчивый со всеми, а со мной не сказавший еще ни одного слова и не обращавший на меня доселе никакого внимания со времени моего поступления в острог; я даже не знал, как его и зовут. Он подбежал ко мне запыхавшись и стал передо мной в упор, глядя на меня с какой-то тупой, но в то же время и блаженной улыбкой.

— Что вам? — не без удивления спросил я его, видя, что он стоит передо мной, улыбается, глядит на меня во все глаза, а разговора не начинает.

— Да как же, праздник... — пробормотал он и, сам догадавшись, что не о чем больше говорить, бросил меня и поспешно отправился в кухню.

Замечу здесь кстати, что и после этого мы с ним ровно никогда не сходились и почти не сказали ни слова друг другу до самого моего выхода из острога.

На кухне около жарко разгоревшихся печей шла суетня и толкотня, целая давка. Всякий наблюдал за своим добром; стряпки принимались готовить казенное кушанье, потому что в этот день обед назначался раньше. Никто, впрочем, не начинал еще есть, хоть иным бы и хотелось, но наблюдалось перед другими приличие. Ждали священника, и уже после него полагались разговени. Между тем еще не успело совсем ободнять, как уже начали раздаваться за воротами острога призывные крики ефрейтора: «Поваров!» Эти крики раздавались чуть не поминутно и продолжались почти два часа. Требовали поваров с кухни, чтоб принимать приносимое со всех концов города в острог подаяние. Приносилось оно в чрезвычайном количестве в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряженников, шанег, блинов и прочих сдобных печений. Я думаю, не осталось ни одной хозяйки из купеческих и мещанских домов во всем городе, которая бы не прислала своего хлеба, чтоб поздравить с великим праздником «несчастных» и заключенных. Были подаяния богатые — сдобные хлебы из чистейшей муки, присланные в большом количестве. Были подаяния и очень бедные — такой какой-нибудь грошовый калачик и две каких-нибудь черные шаньги, чуть-чуть обмазанные сметаной: это уже был дар бедняка бедняку, из последнего. Всё принималось с одинаковою благодарностью, без различия даров и даривших. Принимавшие арестанты снимали шапки, кланялись, поздравляли с праздником и относили подаяние на кухню. Когда уже набрались целые груды подаянного хлеба, потребовали старших из каждой казармы, и они уже распределили всё поровну, по казармам. Не было ни спору, ни брани; дело вели честно, поровну. Что пришлось на нашу казарму, разделили уже у нас; делил Аким Акимыч и еще другой арестант; делили своей рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малейшего возражения, ни малейшей зависти от кого-нибудь; все остались довольны; даже подозрения не могло быть, чтоб подаяние можно утаить или раздать не поровну. Устроив свои дела в кухне, Аким Акимыч приступил к своему облачению, оделся со всем приличием и торжественностью, не оставив ни одного крючочка незастегнутым, и, одевшись, тотчас же приступил к настоящей молитве. Он молился довольно долго. На молитве стояло уже много арестантов, бо́льшею частью пожилых. Молодежь помногу не молилась: так разве перекрестится кто, вставая, даже и в праздник. Помолившись, Аким Акимыч подошел ко мне и с некоторою торжественностью поздравил меня с праздником. Я тут же позвал его на чай, а он меня на своего поросенка. Спустя немного прибежал ко мне и Петров поздравить меня. Он, кажется, уж выпил и хоть прибежал запыхавшись, но многого не сказал, а только постоял недолго передо мной с каким-то ожиданием и вскоре ушел от меня на кухню. Между тем в военной казарме приготовлялись к принятию священника. Эта казарма была устроена не так, как другие: в ней нары тянулись около стен, а не посредине комнаты, как во всех прочих казармах, так что это была единственная

в остроге комната, не загроможденная посредине. Вероятно, она и устроена была таким образом, чтоб в ней, в необходимых случаях, можно было собирать арестантов. Среди комнаты поставили столик, накрыли его чистым полотенцем, поставили на нем образ и зажгли лампадку. Наконец пришел священник с крестом и святою водою. Помолившись и пропев перед образом, он стал перед арестантами, и все с истинным благоговением стали подходить прикладываться к кресту. Затем священник обошел все казармы и окропил их святою водою. На кухне он похвалил наш острожный хлеб, славившийся своим вкусом в городе, и арестанты тотчас же пожелали ему послать два свежих и только что выпеченных хлеба; на отсылку их немедленно употреблен был один инвалид. Крест проводили с тем же благоговением, с каким и встретили, и затем почти тотчас же приехали плац-майор и комендант. Коменданта у нас любили и даже уважали. Он обошел все казармы в сопровождении плац-майора, всех поздравил с праздником, зашел в кухню и попробовал острожных щей. Щи вышли славные; отпущено было для такого дня чуть не по фунту говядины на каждого арестанта. Сверх того, сготовлена была просяная каша и масла отпустили вволю. Проводив коменданта, плац-майор велел начинать обедать. Арестанты старались не попадаться ему на глаза. Не любили у нас его злобного взгляда из-под очков, которым он и теперь высматривал направо и налево, не найдется ли беспорядков, не попадется ли какой-нибудь виноватый.

Стали обедать. Поросенок Акима Акимыча был зажарен превосходно. И вот не могу объяснить, как это случилось: тотчас же по отъезде плац-майора,каких-нибудь пять минут спустя, оказалось необыкновенно много пьяного народу, а между тем, еще за пять минут, все были почти совершенно трезвые. Явилось много рдеющих и сияющих лиц, явились балалайки. Полячок со скрипкой уже ходил за каким-то гулякой, нанятый на весь день, и пилил ему веселые танцы. Разговор становился хмельнее и шумнее. Но отобедали без больших беспорядков. Все были сыты. Многие из стариков и солидных отправились тотчас же спать, что сделал и Аким Акимыч, полагая, кажется, что в большой праздник после обеда непременно нужно заснуть. Старичок из стародубовских старообрядцев, вздремнув немного, полез на печку, развернул свою книгу и промолился до глубокой ночи, почти не прерывая молитвы. Ему тяжело было смотреть на «страм», как говорил он про всеобщую гулянку арестантов. Все черкесы уселись на крылечке и с любопытством, а вместе и с некоторым омерзением смотрели на пьяный народ. Мне повстречался Нурра: «Яман, яман! — сказал он мне, покачивая головою с благочестивым негодованием, — ух, яман! Аллах сердит будет!» Исай Фомич упрямо и высокомерно засветил в своем уголку свечку и начал работать, видимо показывая, что ни во что не считает праздник. Кой-где по углам начались майданы. Инвалидов не боялись, а в случае унтер-офицера, который сам старался ничего не замечать, поставили сторожей. Караульный

офицер раза три заглядывал во весь этот день в острог. Но пьяные прятались, майданы снимались при его появлении, да и сам он, казалось, решился не обращать внимания на мелкие беспорядки. Пьяный человек в этот день считался уже беспорядком мелким. Мало-помалу народ разгуливался. Начинались и ссоры. Трезвых все-таки оставалось гораздо большая часть, и было кому присмотреть за нетрезвыми. Зато уж гулявшие пили без меры. Газин торжествовал. Он разгуливал с самодовольным видом около своего места на нарах, под которое смело перенес вино, хранившееся до того времени где-то в снегу за казармами, в потаенном месте, и лукаво посмеивался, смотря на прибывавших к нему потребителей. Сам он был трезв и не выпил ни капли. Он намерен был гулять в конце праздника, обобрав предварительно все денежки из арестантских карманов. По казармам раздавались песни. Но пьянство переходило уже в чадный угар, и от песен недалеко было до слез. Многие расхаживали с собственными балалайками, тулупы внакидку, и с молодецким видом перебирали струны. В особом отделении образовался даже хор, человек из восьми. Они славно пели под аккомпанемент балалаек и гитар. Чисто народных песен пелось мало. Помню только одну, молодецки пропетую:

Я вечор млада
Во пиру была.

И здесь я услышал новый вариант этой песни, которого прежде не встречал. В конце песни прибавлялось несколько стихов:

У меня ль, младой,
Дома убрано:
Ложки вымыла,
Во щи вылила;
С косяков сскребла,
Пироги спекла.

Пелись же большею частью песни так называемые у нас арестантские, впрочем все известные. Одна из них: «Бывало...» — юмористическая, описывающая, как прежде человек веселился и жил барином на воле, а теперь попал в острог. Описывалось, как он подправлял прежде «бламанже шенпанским», а теперь —

Дадут капусты мне с водою —
И ем, так за ушми трещит.

В ходу была тоже слишком известная:

Прежде жил я, мальчик, веселился
И имел свой капитал:
Капиталу, мальчик, я решился
И в неволю жить попал...

и так далее. Только у нас произносили не «капитал», а «копитал», производя капитал от слова «копить»; пелись тоже заунывные. Одна была чисто каторжная, тоже, кажется, известная:

Свет небесный воссияет,
Барабан зорю пробьет, —
Старший двери отворяет,
Писарь требовать идет.

Нас не видно за стенами,
Каково мы здесь живем;
Бог, творец небесный, с нами,
Мы и здесь не пропадем,
и т. д.

Другая пелась еще заунывнее, впрочем прекрасным напевом, сочиненная, вероятно, каким-нибудь ссыльным, с приторными и довольно безграмотными словами. Из нее я вспоминаю теперь несколько стихов:

Не увидит взор мой той страны,
В которой я рожден;
Терпеть мученья без вины
Навек я осужден.

На кровле филин прокричит,
Раздастся по лесам,
Заноет сердце, загрустит,
Меня не будет там.

Эта песня пелась у нас часто, но не хором, а в одиночку. Кто-нибудь, в гулевое время, выйдет, бывало, на крылечко казармы, сядет, задумается, подопрет щеку рукой и затянет ее высоким фальцетом. Слушаешь, и как-то душу надрывает. Голоса у нас были порядочные.

Между тем начинались уж и сумерки. Грусть, тоска и чад тяжело проглядывали среди пьянства и гульбы. Смеявшийся за час тому назад уже рыдал где-нибудь, напившись через край. Другие успели уже раза по два подраться. Третьи, бледные и чуть держась на ногах, шатались по казармам, заводили ссоры. Те же, у которых хмель был незадорного свойства, тщетно искали друзей, чтобы излить перед ними свою душу и выплакать свое пьяное горе. Весь этот бедный народ хотел повеселиться, провесть весело великий праздник — и, господи! какой тяжелый и грустный был этот день чуть не для каждого. Каждый проводил его, как будто обманувшись в какой-то надежде. Петров раза два еще забегал ко мне. Он очень немного выпил во весь день и был почти совсем трезвый. Но он до самого последнего часа всё чего-то ожидал, что непременно должно случиться, чего-то необыкновенного, праздничного, развеселого. Хоть он и не говорил об этом, но видно было по его глазам. Он сновал из казармы в казарму без устали. Но ничего особенного не случалось и не встречалось, кроме пьянства, пьяной бестолковой ругани и угоревших от хмеля голов. Сироткин бродил тоже в новой красной рубашке по всем казармам, хорошенький, вымытый, и тоже тихо и наивно, как будто ждал чего-то. Мало-помалу в казармах становилось несносно и омерзительно. Конечно, было много и смешного, но мне было как-то грустно

и жалко их всех, тяжело и душно между ними. Вон два арестанта спорят, кому кого угощать. Видно, что они уже долго спорят и прежь того даже поссорились. У одного в особенности есть какой-то давнишний зуб на другого. Он жалуется и, нетвердо ворочая языком, силится доказать, что тот поступил с ним несправедливо: был продан какой-то полушубок, утаены когда-то какие-то деньги, в прошлом году на масленице. Что-то еще, кроме этого, было... Обвиняющий — высокий и мускулистый парень, неглупый, смирный, но когда пьян — с стремлением дружиться и излить свое горе. Он и ругается и претензию показывает как будто с желанием еще крепче потом помириться с соперником. Другой — плотный, коренастый, невысокого роста, с круглым лицом, хитрый и пронырливый. Он выпил, может быть, больше своего товарища, но пьян только слегка. Он с характером и слывет богатым, но ему почему-то выгодно не раздражать теперь своего экспансивного друга, и он подводит его к целовальнику; друг утверждает, что он должен и обязан ему поднести, «если только ты честный человек есть».

Целовальник с некоторым уважением к требователю и с оттенком презрения к экспансивному другу, потому что тот пьет не на свои, а его потчуют, достает и наливает чашку вина.

— Нет, Степка, это ты должен, — говорит экспансивный друг, видя, что его взяла, — потому ефто твой долг.

— Да я с тобой и язык-то даром не стану мозолить! — отвечает Степка.

— Нет, Степка, это ты врешь, — подтверждает первый, принимая от целовальника чашку, — потому ты мне деньги должен; совести нет и глаза-то у тебя не свои, а заемные! Подлец ты, Степка, вот тебе; одно слово подлец!

— Ну чего рюмишь, вино расплескал! Честь ведут да дают, так пей! — кричит целовальник на экспансивного друга, — не до завтра над тобой стоять!

— Да и выпью, чего кричишь! С праздником, Степан Дорофеич! — вежливо и с легким поклоном обратился он, держа чашку в руках, к Степке, которого еще за полминуты обзывал подлецом. — Будь здоров на сто годов, а что жил, не в зачет! — Он выпил, крякнул и утерся. — Прежде, братцы, я много вина подымал, — заметил он с серьезною важностью, обращаясь как будто ко всем и ни к кому в особенности, — а теперь уж, знать, лета мои подходят. Благодарствую, Степан Дорофеич.

— Не на чем.

— Так я всё про то буду тебе, Степка, говорить; и, окромя того, что ты выходишь передо мной большой подлец, я тебе скажу...

— А я тебе вот что, пьяная ты харя, скажу, — перебивает потерявший терпение Степка. — Слушай да всякое мое слово считай: вот тебе свет пополам; тебе полсвета и мне полсвета. Иди и не встречайся ты больше мне. Надоел!

— Так не отдашь денег?

— Каких тебе еще денег, пьяный ты человек?

— Эй, на том свете сам придешь отдавать — не возьму! Наша денежка трудовая, да потная, да мозольная. Замаешься с моим пятаком на том свете.

— Да ну тебя к черту.

— Что нукаешь; не запрег.

— Пошел, пошел!

— Подлец!

— Варнак!

И пошла опять ругань, еще больше, чем до потчеванья.

Вот сидят на нарах отдельно два друга: один высокий, плотный, мясистый, настоящий мясник; лицо его красно. Он чуть не плачет, потому что очень растроган. Другой — тщедушный, тоненький, худой, с длинным носом, с которого как будто что-то каплет, и с маленькими свиными глазками, обращенными в землю. Это человек политичный и образованный; был когда-то писарем и трактует своего друга несколько свысока, что тому втайне очень неприятно. Они весь день вместе пили.

— Он меня дерзнул! — кричит мясистый друг, крепко качая голову писаря левой рукой, которою он обхватил его. «Дерзнул» — значит ударил. Мясистый друг, сам из унтер-офицеров, втайне завидует своему испитому другу, и потому оба они, один перед другим, щеголяют изысканностью слога.

— А я тебе говорю, что и ты не прав... — начинает догматически писарь, упорно не подымая на него своих глаз и с важностью смотря в землю.

— Он меня дерзнул, слышь ты! — прерывает друг, еще больше теребя своего милого друга.— Ты один мне теперь на всем свете остался, слышишь ты это? Потому я тебе одному говорю: он меня дерзнул!..

— А я опять скажу: такое кислое оправданье, милый друг, составляет только стыд твоей голове! — тоненьким и вежливым голоском возражает писарь,— а лучше согласись, милый друг, всё это пьянство через твое собственное непостоянство...

Мясистый друг несколько отшатывается назад, тупо глядит своими пьяными глазами на самодовольного писаришку и вдруг, совершенно неожиданно, изо всей силы ударяет своим огромным кулаком по маленькому лицу писаря. Тем и кончается дружба за целый день. Милый друг без памяти летит под нары...

Вот входит в нашу казарму один мой знакомый из особого отделения, бесконечно добродушный и веселый парень, неглупый, безобидно-насмешливый и необыкновенно простоватый с виду. Это тот самый, который, в первый мой день в остроге, в кухне за обедом искал, где живет богатый мужик, уверял, что он «с анбицией», и напился со мною чаю. Он лет сорока, с необыкновенно толстой губой и с большим мясистым носом, усеянным угрями. В руках его балалайка, на которой он небрежно перебирает струны. За ним следовал, точно прихвостень, чрезвычайно маленький

арестантик, с большой головой, которого я очень мало знал доселе. На него, впрочем, и никто не обращал никакого внимания. Он был какой-то странный, недоверчивый, вечно молчаливый и серьезный; ходил работать в швальню и, видимо, старался жить особняком и ни с кем не связываться. Теперь же, пьяный, он привязался, как тень, к Варламову. Он следовал за ним в ужасном волнении, размахивал руками, бил кулаком по стене, по нарам и даже чуть не плакал. Варламов, казалось, не обращал на него никакого внимания, как будто и не было его подле. Замечательно, что прежде эти два человека почти совсем друг с другом не сходились; у них и по занятиям и по характеру ничего нет общего. И разрядов они разных и живут по разным казармам. Звали маленького арестанта — Булкин.

Варламов, увидев меня, осклабился. Я сидел на своих нарах у печки. Он стал поодаль против меня, что-то сообразил, покачнулся и, неровными шагами подойдя ко мне, как-то молодцевато избоченился всем корпусом и, слегка потрогивая струны, проговорил речитативом, чуть-чуть постукивая сапогом:

Круглолица, белолица,
Распевает, как синица,
Милая моя;
Она в платьице атласном,
Гарнитуровом прекрасном,
Очень хороша.

Эта песня, казалось, вывела из себя Булкина; он замахал руками и, обращаясь ко всем, закричал:

— Всё-то врет, братцы, всё-то он врет! Ни одного слова не скажет вправду, всё врет!

— Старичку Александру Петровичу! — проговорил Варламов, с плутоватым смехом заглядывая мне в глаза, и чуть не полез со мной целоваться. Он был пьяненек. Выражение «Старичку такому-то...», то есть такому-то мое почтение, употребляется в простонародье по всей Сибири, хотя бы относилось к человеку двадцати лет. Слово «старичок» означает что-то почетное, почтительное, даже льстивое.

— Ну что, Варламов, как поживаете?

— Да по деньку на день. А уж кто празднику рад, тот спозаранку пьян; вы уж меня извините! — Варламов говорил несколько нараспев.

— И всё-то врет, всё-то он опять врет! — закричал Булкин, в каком-то отчаянии стуча рукою по нарам. Но тот как будто слово дал не обращать на него ни малейшего внимания, и в этом было чрезвычайно много комизму, потому что Булкин привязался к Варламову совершенно ни с того ни с сего еще с самого утра именно за то, что Варламов «всё врет», как ему отчего-то показалось. Он бродил за ним, как тень, привязывался к каждому его слову, ломал свои руки, обколотил их чуть не в кровь об стены и об нары и страдал, видимо страдал от убеждения, что Варламов «всё врет»! Если б

у него были волосы на голове, он бы, кажется, вырвал их от огорчения. Точно он взял на себя обязанность отвечать за поступки Варламова, точно на его совести лежали все недостатки Варламова. Но в том-то и штука, что тот даже и не глядел на него.

— Всё врет, всё врет, всё врет! Ни одно-то слово его ни к чему не подходит! — кричал Булкин.

— Да тебе-то что! — отвечали со смехом арестанты.

— Я вам, Александр Петрович, доложу, что был я очень красив из себя и очень меня любили девки... — начал вдруг ни с того ни с сего Варламов.

— Врет! Опять врет! — прерывает с каким-то визгом Булкин.

Арестанты хохочут.

— А я-то перед ними куражусь: рубаха на мне красная, шаровары плисовые; лежу себе, как этакой граф Бутылкин, ну то есть пьян, как швед, одно слово — чего изволите!

— Врет! — решительно подтверждает Булкин.

— А в те поры был у меня от батюшки дом двухэтажный каменный. Ну, в два-то года я два этажа и спустил, остались у меня одни ворота без столбов. Что ж, деньги — голуби: прилетят и опять улетят!

— Врет! — еще решительнее подтверждает Булкин.

— Так уж я вот ономнясь и послал моим родичам отсюда слезницу; авось деньжонок пришлют. Потому, говорили, я против родителев моих шел. Неуважительный был! Вот уж седьмой год, как послал.

— И нет ответу? — спросил я, засмеявшись.

— Да нет,— отвечал он, вдруг засмеявшись сам и всё ближе и ближе приближая свой нос к самому моему лицу.— А у меня, Александр Петрович, здесь полюбовница есть...

— У вас? Любовница?

— Онуфриев даве и говорит: «Моя пусть рябая, нехорошая, да зато у ней сколько одежи; а твоя хорошая, да нищая, с мешком ходит».

— Да разве правда?

— А и вправду нищая! — отвечал он и залился неслышным смехом; в казарме тоже захохотали. Действительно, все знали, что он связался с какой-то нищей и выдал ей в полгода всего десять копеек.

— Ну, так что ж? — спросил я, желая от него наконец отвязаться.

Он помолчал, умильно посмотрел на меня и нежно произнес:

— Так вот не соблаговолите ли мне по сей причине на косушку? Я ведь, Александр Петрович, всё чай пил сегодня,— прибавил он в умилении, принимая деньги,— и так я этого чаю нахлестался, что одышка взяла, а в брюхе как в бутылке болтается...

Меж тем как он принимал деньги, нравственное расстройство Булкина, казалось, дошло до последних пределов. Он жестикулировал, как отчаянный, чуть не плакал.

— Люди божии! — кричал он, обращаясь ко всей казарме в исступлении,— смотрите на него! Всё врет! Что ни скажет, всё-то, всё-то, всё-то он врет!

— Да тебе-то что? — кричат ему арестанты, удивляясь на его ярость,— несообразный ты человек!

— Не дам соврать! — кричит Булкин, сверкая глазами и стуча из всей силы кулаком по нарам,— не хочу, чтоб он врал!

Все хохочут. Варламов берет деньги, откланивается мне и, кривляясь, спешит из казармы, разумеется к целовальнику. И тут, кажется, он в первый раз замечает Булкина.

— Ну, пойдем! — говорит он ему, останавливаясь на пороге, точно он и впрямь был ему на что-то нужен.— Набалдашник! — прибавляет он с презрением, пропуская огорченного Булкина вперед себя и вновь начиная тренькать на балалайке...

Но что описывать этот чад! Наконец кончается этот удушливый день. Арестанты тяжело засыпают на нарах. Во сне они говорят и бредят еще больше, чем в другие ночи. Кой-где еще сидят за майданами. Давно ожидаемый праздник прошел. Завтра опять будни, опять на работу...

XI

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

На третий день праздника, вечером, состоялось первое представление в нашем театре. Предварительных хлопот по устройству, вероятно, было много, но актеры взяли всё на себя, так что все мы, остальные, и не знали: в каком положении дело? что именно делается? даже хорошенько не знали, что будет представляться. Актеры все эти три дня, выходя на работу, старались как можно более добыть костюмов. Баклушин, встречаясь со мной, только прищелкивал пальцами от удовольствия. Кажется, и на плац-майора нашел порядочный стих. Впрочем, нам было совершенно неизвестно, знал ли он о театре. Если знал, то позволил ли его формально или только решился молчать, махнув рукой на арестантскую затею и подтвердив, разумеется, чтоб всё было по возможности в порядке? Я думаю, он знал о театре, не мог не знать; но вмешиваться не хотел, понимая, что может быть хуже, если он запретит: арестанты начнут шалить, пьянствовать, так что гораздо лучше, если чем-нибудь займутся. Я, впрочем, предполагаю в плац-майоре такое рассуждение единственно потому, что оно самое естественное, самое верное и здравое. Даже так можно сказать: если б у арестантов не было на праздниках театра или какого-нибудь занятия в этом роде, то его следовало самому начальству выдумать. Но так как наш плац-майор отличался совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества, то очень немудрено, что я беру большой грех на себя, предполагая, что он знал о театре и позволил его. Такому человеку, как плац-майор,

надо было везде кого-нибудь придавить, что-нибудь отнять, кого-нибудь лишить права — одним словом, где-нибудь произвести распорядок. В этом отношении он был известен в целом городе. Какое ему дело, что именно от этих стеснений в остроге могли выйти шалости? На шалости есть наказания (рассуждают такие, как наш плац-майор), а с мошенниками-арестантами строгость и беспрерывное, буквальное исполнение закона — вот и всё, что требуется! Эти бездарные исполнители закона решительно не понимают, да и не в состоянии понять, что одно буквальное исполнение его, без смысла, без понимания духа его, прямо ведет к беспорядкам, да и никогда к другому не приводило. «В законах сказано, чего же больше?» — говорят они и искренно удивляются, что от них еще требуют, впридачу к законам, здравого рассудка и трезвой головы. Последнее особенно кажется многим из них излишнею и возмутительною роскошью, стеснением, нетерпимостью.

Но как бы то ни было, старший унтер-офицер не противоречил арестантам, а им только того и надо было. Я утвердительно скажу, что театр и благодарность за то, что его позволили, были причиною, что на праздниках не было ни одного серьезного беспорядка в остроге: ни одной злокачественной ссоры, ни одного воровства. Я сам был свидетелем, как свои же унимали иных разгулявшихся или ссорившихся единственно под тем предлогом, что запретят театр. Унтер-офицер взял с арестантов слово, что всё будет тихо и вести будут себя хорошо. Согласились с радостью и свято исполняли обещание; льстило тоже очень, что верят их слову. Надо, впрочем, сказать, что позволить театр решительно ничего не стоило начальству, никаких пожертвований. Предварительно места не огораживали: театр созидался и разнимался весь в какие-нибудь четверть часа. Продолжался он полтора часа, и, если б вдруг вышло свыше приказание прекратить представление,— дело бы обделалось в один миг. Костюмы были спрятаны в сундуках у арестантов. Но прежде чем скажу, как устроен был театр и какие именно были костюмы, скажу об афише театра, то есть что именно предполагалось играть.

Собственно писаной афишки не было. На второе, на третье представление явилась, впрочем, одна, написанная Баклушиным для гг. офицеров и вообще благородных посетителей, удостоивших наш театр, еще в первое представление, своим посещением. Именно: из господ приходил обыкновенно караульный офицер, и однажды зашел сам дежурный по караулам. Зашел тоже раз инженерный офицер; вот на случай этих-то посетителей и создалась афишка. Предполагалось, что слава острожного театра прогремит далеко в крепости и даже в городе, тем более что в городе не было театра. Слышно было, что составился на одно представление из любителей, да и только. Арестанты, как дети, радовались малейшему успеху, тщеславились даже. «Ведь кто знает,— думали и говорили у нас про себя и между собою,— пожалуй, и самое высшее начальство узнает; придут и посмотрят; увидят тогда, какие есть арестанты.

Это не простое солдатское представление, с какими-то чучелами, с плывучими лодками, с ходячими медведями и козами. Тут актеры, настоящие актеры, господские комедии играют; такого театра и в городе нет. У генерала Абросимова было раз, говорят, представление и еще будет; ну, так, может, только костюмами и возьмут, а насчет *разговору,* так еще кто знает перед нашими-то! До губернатора дойдет, пожалуй, и — чем черт не шутит? — может, и сам захочет прийти посмотреть. В городе-то нет театра...» Одним словом, фантазия арестантов, особенно после первого успеха, дошла на праздниках до последней степени, чуть ли не до наград или до уменьшения срока работ, хотя в то же время и сами они почти тотчас же предобродушно принимались смеяться над собою. Одним словом, это были дети, вполне дети, несмотря на то что иным из этих детей было по сороку лет. Но, несмотря на то что не было афиши, я уже знал в главных чертах состав предполагаемого представления. Первая пьеса была: «Филатка и Мирошка соперники». Баклушин еще за неделю до представления хвалился передо мной, что роль самого Филатки, которую он брал на себя, будет так представлена, что и в *санкт*-петербургском театре не видывали. Он расхаживал по казармам, хвастался немилосердно и бесстыдно, а вместе с тем и совершенно добродушно, а иногда вдруг, бывало, отпустит что-нибудь «по-тиатральному», то есть из своей роли,— и все хохочут, смешно или не смешно то, что он отпустил. Впрочем, надо признаться, и тут арестанты умели себя выдержать и достоинство соблюсти: восторгались выходками Баклушина и рассказами о будущем театре или только самый молодой и желторотый народ, без выдержки, или только самые значительные из арестантов, которых авторитет был незыблемо установлен, так что им уж нечего было бояться прямо выражать свои ощущения, какие бы они ни были, хотя бы самого наивного (то есть, по острожным понятиям, самого неприличного) свойства. Прочие же выслушивали слухи и толки молча, правда, не осуждали, не противоречили, но всеми силами старались отнестись к слухам о театре равнодушно и даже отчасти и свысока. Только уж в последнее время, в самый почти день представления, все начали интересоваться: что-то будет? как-то наши? что плац-майор? удастся ли так же, как в запрошлом году? и проч. Баклушин уверял меня, что все актеры подобраны великолепно, каждый «к своему месту». Что даже и занавес будет. Что Филаткину невесту будет играть Сироткин,— и вот сами увидите, каков он в женском-то платье! — говорил он, прищуриваясь и прищелкивая языком. У благодетельной помещицы будет платье с фальбалой, и пелеринка, и зонтик в руках, а благодетельный помещик выйдет в офицерском сюртуке с эксельбантами и с тросточкой. Затем следовала вторая пьеса, драматическая: «Кедрил-обжора». Название меня очень заинтересовало; но как я ни расспрашивал об этой пьесе — ничего не мог узнать предварительно. Узнал только, что взята она не из книги, а «по списку»; что пьесу достали у какого-то отставного унтер-офицера, в фор-

штадте, который, верно, сам когда-нибудь участвовал в представлении ее на какой-нибудь солдатской сцене. У нас в отдаленных городах и губерниях действительно есть такие театральные пьесы, которые, казалось бы, никому не известны, может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами собой откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра в известной полосе России. Кстати: я сказал «народного театра». Очень бы и очень хорошо было, если б кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе, исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже, может быть, не совсем ничтожный. Я верить не хочу, чтобы всё, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, было выдумано нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приемы и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти. Искать их надо у солдат, у фабричных, в фабричных городах и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились тоже они по деревням и по губернским городам между дворнями больших помещичьих домов. Я даже думаю, что многие старинные пьесы расплодились в списках по России не иначе, как через помещицкую дворню. У прежних старинных помещиков и московских бар бывали собственные театры, составленные из крепостных артистов. И вот в этих-то театрах и получилось начало нашего народного драматического искусства, которого признаки несомненны. Что же касается до «Кедрила-обжоры», то, как ни желалось мне, я ничего не мог узнать о нем предварительно, кроме того, что на сцене появляются злые духи и уносят Кедрила в ад. Но что такое значит Кедрил и, наконец, почему Кедрил, а не Кирилл? русское ли это или иностранное происшествие? — этого я никак не мог добиться. В заключение объявлялось, что будет представляться «пантомина под музыку». Конечно, всё это было очень любопытно. Актеров было человек пятнадцать — всё бойкий и бравый народ. Они гомозились про себя, делали репетиции, иногда за казармами, таились, прятались. Одним словом, хотели удивить всех нас чем-то необыкновенным и неожиданным.

В будни острог запирался рано, как только наступала ночь. В рождественский праздник сделано было исключение: не запирали до самой вечерней зари. Эта льгота давалась собственно для театра. В продолжение праздника обыкновенно каждый день, перед вечером, посылали из острога с покорнейшей просьбой к караульному офицеру: «позволить театр и не запирать подольше острога», прибавляя, что и вчера был театр и долго не запирался, а беспорядков никаких не было. Караульный офицер рассуждал так: «Беспорядков действительно вчера не было; а уж как сами слово дают, что не будет и сегодня, значит, сами за собой будут смотреть, а это всего крепче. К тому же не позволь представления, так, пожалуй (кто их знает? народ каторжный!), нарочно что-нибудь напакостят со зла и караульных подведут». Наконец, и то: в карауле

стоять скучно, а тут театр, да не просто солдатский, а арестантский, а арестанты народ любопытный: весело будет посмотреть. А посмотреть караульный офицер всегда вправе.

Приедет дежурный: «Где караульный офицер?» — «Пошел в острог арестантов считать, казармы запирать», — ответ прямой, и оправдание прямое. Таким образом, караульные офицеры каждый вечер в продолжение всего праздника позволяли театр и не запирали казарм вплоть до вечерней зари. Арестанты и прежде знали, что от караула не будет препятствия, и были покойны.

Часу в седьмом пришел за мной Петров, и мы вместе отправились на представленье. Из нашей казармы отправились почти все, кроме черниговского старовера и поляков. Поляки только в самое последнее представление, четвертого января, решились побывать в театре, и то после многих уверений, что там и хорошо, и весело, и безопасно. Брезгливость поляков нимало не раздражала каторжных, а встречены они были четвертого января очень вежливо. Их даже пропустили на лучшие места. Что же касается до черкесов и в особенности Исая Фомича, то для них наш театр был истинным наслаждением. Исай Фомич каждый раз давал по три копейки, а в последний раз положил на тарелку десять копеек, и блаженство изображалось на лице его. Актеры положили сбирать с присутствующих, кто сколько даст, на расходы по театру и на свое собственное *подкрепление*. Петров уверял, что меня пустят на одно из первых мест, как бы ни был набит битком театр, на том основании, что я, как богаче других, вероятно, и больше дам, а к тому же и толку больше ихнего знаю. Так и случилось. Но опишу первоначально залу и устройство театра.

Военная казарма наша, в которой устроился театр, была шагов в пятнадцать длиною. С двора вступали на крыльцо, с крыльца в сени, а из сеней в казарму. Эта длинная казарма, как уже и сказал я, была особого устройства: нары тянулись в ней по стене, так что средина комнаты оставалась свободной. Половина комнаты, ближайшая от выхода с крыльца, была отдана зрителям; другая же половина, которая сообщалась с другой казармой, назначалась для самой сцены. Прежде всего меня поразила занавесь. Она тянулась шагов на десять поперек всей казармы. Занавесь была такою роскошью, что действительно было чему подивиться. Кроме того, она была расписана масляной краской: изображались деревья, беседки, пруды и звезды. Составилась она из холста, старого и нового, кто сколько дал и пожертвовал, из старых арестантских онучек и рубах, кое-как сшитых в одно большое полотнище, и, наконец, часть ее, на которую не хватило холста, была просто из бумаги, тоже выпрошенной по листочку в разных канцеляриях и приказах. Наши же маляры, между которыми отличался и Брюллов — А—в, позаботились раскрасить и расписать ее. Эффект был удивительный. Такая роскошь радовала даже самых угрюмых и самых щепетильных арестантов, которые, как дошло до представления, оказались все без исключения такими же детьми, как и са-

мые горячие из них и нетерпеливые. Все были очень довольны, даже хвастливо довольны. Освещение состояло из нескольких сальных свечек, разрезанных на части. Перед занавесью стояли две скамейки из кухни, а перед скамейками три-четыре стула, которые нашлись в унтер-офицерской комнате. Стулья назначались на случай, для самых высших лиц офицерского звания. Скамейки же — для унтер-офицеров и инженерных писарей, кондукторов и прочего народа, хотя и начальствующего, но не в офицерских чинах, на случай, если б они заглянули в острог. Так и случилось: посторонние посетители у нас не переводились во весь праздник; иной вечер приходило больше, другой меньше, а в последнее представление так ни одного места на скамьях не оставалось незанятым. И, наконец, уже сзади скамеек, помещались арестанты, стоя, из уважения к посетителям, без фуражек, в куртках или в полушубках, несмотря на удушливый парной воздух комнаты. Конечно, места для арестантов полагалось слишком мало. Но, кроме того, что один буквально сидел на другом, особенно в задних рядах, заняты были еще нары, кулисы, и, наконец, нашлись любители, постоянно ходившие за театр, в другую казарму, и уже оттуда, из-за задней кулисы, высматривавшие представление. Теснота в первой половине казармы была неестественная и равнялась, может быть, тесноте и давке, которую я недавно еще видел в бане. Дверь в сени была отворена; в сенях, в которых было двадцать градусов морозу, тоже толпился народ. Нас, меня и Петрова, тотчас же пропустили вперед, почти к самым скамейкам, где было гораздо виднее, чем в задних рядах. Во мне отчасти видели ценителя, знатока, бывшего и не в таких театрах; видели, что Баклушин всё это время советовался со мной и относился ко мне с уважением; мне, стало быть, теперь честь и место. Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но всё это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим уменьем обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти. Но теперь, в театре, они посторонились передо мной. Они признавали, что в этом я могу судить лучше их, что я видал и знаю больше их. Самые не расположенные из них ко мне (я знаю это) желали теперь моей похвалы их театру и безо всякого самоунижения пустили меня на лучшее место. Я сужу теперь, припоминая тогдашнее мое впечатление. Мне тогда же показалось — я помню это,— что в их справедливом суде над собой было вовсе не принижение, а чувство собственного достоинства. Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. Петушиной же замашки быть впереди во всех местах и *во что бы то ни стало,* стоит ли, нет ли того человек,— этого в народе нет. Стоит

только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков — и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу,— напротив: сами они еще должны у него поучиться.

Петров наивно сказал мне, когда мы только еще собирались в театр, что меня пустят вперед и потому еще, что я дам больше денег. Положенной цены не было: всякий давал, что мог или что хотел. Почти все положили что-нибудь, хоть по грошу, когда пошли сбирать на тарелку. Но если меня пустили вперед отчасти и за деньги, в предположении, что я дам больше других, то опять-таки сколько было в этом чувства собственного достоинства! «Ты богаче меня и ступай вперед, и хоть мы здесь все равны, но ты положишь больше: следственно, такой посетитель, как ты, приятнее для актеров,— тебе и первое место, потому что все мы здесь не за деньги, а из уважения, а следственно, сортировать себя мы должны уже сами». Сколько в этом настоящей благородной гордости! Это не уважение к деньгам, а уважение к самому себе. Вообще же к деньгам, к богатству, в остроге не было особенного уважения, особенно если смотреть на арестантов на всех безразлично, в массе, в артели. Я не помню даже ни одного из них, серьезно унижавшегося из-за денег, если б пришлось даже рассматривать их и поодиночке. Были попрошайки, выпрашивавшие и у меня. Но в этом попрошайстве было больше шалости, плутовства, чем прямого дела; было больше юмору, наивности. Не знаю, понятно ли я выражаюсь... Но я забыл о театре. К делу.

До поднятия занавеса вся комната представляла странную и оживленную картину. Во-первых, толпа зрителей, сдавленная, сплюснутая, стиснутая со всех сторон, с терпением и с блаженством в лице ожидающая начала представления. В задних рядах люди, гомозящиеся один на другого. Многие из них принесли с собой поленья с кухни: установив кое-как у стенки толстое полено, человек взбирался на него ногами, обеими руками упирался в плеча впереди стоящего и, не изменяя положения, стоял таким образом часа два, совершенно довольный собою и своим местом. Другие укреплялись ногами на печи, на нижней приступке, и точно так же выстаивали всё время, опираясь на передовых. Это было в самых задних рядах, у стены. Сбоку, взмостившись на нары, стояла тоже сплошная толпа над музыкантами. Тут были хорошие места. Человек пять взмостились на самую печь и, лежа на ней, смотрели вниз. То-то блаженствовали! На подоконниках по другой стене тоже гомозились целые толпы опоздавших или не нашедших хорошего места. Все вели себя тихо и чинно. Всем хотелось себя высказать перед господами и посетителями с самой лучшей стороны. На всех лицах выражалось самое наивное ожидание. Все лица были красные и смоченные потом от жару и духоты. Что за странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих изборожденных, клейменых лбах и щеках, в этих взглядах

людей, доселе мрачных и угрюмых, в этих глазах, сверкавших иногда страшным огнем! Все были без шапок, и с правой стороны все головы представлялись мне бритыми. Но вот на сцене слышится возня, суетня. Сейчас подымется занавесь. Вот заиграл оркестр... Этот оркестр стоит упоминания. Сбоку, по нарам, разместилось человек восемь музыкантов: две скрипки (одна была в остроге, другую у кого-то заняли в крепости, а артист нашелся и дома), три балалайки — всё самодельщина, две гитары и бубен вместо контрабаса. Скрипки только визжали и пилили, гитары были дрянные, зато балалайки были неслыханные. Проворство переборки струн пальцами решительно равнялось самому ловкому фокусу. Игрались всё плясовые мотивы. В самых плясовых местах балалаечники ударяли костями пальцев о деку балалайки; тон, вкус, исполнение, обращение с инструментами, характер передачи мотива — всё это было свое, оригинальное, арестантское. Один из гитаристов тоже великолепно знал свой инструмент. Это был тот самый из дворян, который убил своего отца. Что же касается до бубна, то он просто делал чудеса: то завертится на пальце, то большим пальцем проведут по его коже, то слышатся частые, звонкие и однообразные удары, то вдруг этот сильный, отчетливый звук как бы рассыпается горохом на бесчисленное число маленьких, дребезжащих и шушуркающих звуков. Наконец, появились еще две гармонии. Честное слово, я до тех пор не имел понятия о том, что можно сделать из простых, простонародных инструментов; согласие звуков, сыгранность, а главное, дух, характер понятия и передачи самой сущности мотива были просто удивительные. Я в первый раз понял тогда совершенно, что именно есть бесконечно разгульного и удалого в разгульных и удалых русских плясовых песнях. Наконец поднялась занавесь. Все пошевелились, все переступили с одной ноги на другую, задние привстали на цыпочки; кто-то упал с полена; все до единого раскрыли рты и уставили глаза, и полнейшее молчание воцарилось... Представление началось.

Подле меня стоял Алей, в группе своих братьев и всех остальных черкесов. Они все страстно привязались к театру и ходили потом каждый вечер. Все мусульмане, татары и проч., как замечал я не один раз, всегда страстные охотники до всяких зрелищ. Подле них прикурнул и Исай Фомич, который, казалось, с поднятием занавеса весь превратился в слух, в зрение и в самое наивное, жадное ожидание чудес и наслаждений. Даже жалко было бы, если б он разочаровался в своих ожиданиях. Милое лицо Алея сияло такой детскою, прекрасною радостью, что, признаюсь, мне ужасно было весело на него смотреть, и я, помню, невольно каждый раз при какой-нибудь смешной и ловкой выходке актера, когда раздавался всеобщий хохот, тотчас же оборачивался к Алею и заглядывал в его лицо. Он меня не видал; не до меня ему было! Очень недалеко от меня, с левой стороны, стоял арестант, пожилой, всегда нахмуренный, всегда недовольный и ворчливый. Он тоже

заметил Алея и, я видел, несколько раз с полуулыбкой оборачивался поглядеть на него: так он был мил! «Алей Семеныч» называл он его, не знаю зачем. Начали «Филаткой и Мирошкой». Филатка (Баклушин) был действительно великолепен. Он сыграл свою роль с удивительною отчетливостью. Видно было, что он вдумывался в каждую фразу, в каждое движение свое. Каждому пустому слову, каждому жесту своему он умел придать смысл и значение, совершенно соответственное характеру своей роли. Прибавьте к этому старанию, к этому изучению удивительную, неподдельную веселость, простоту, безыскусственность, и вы, если б видели Баклушина, сами согласились бы непременно, что это настоящий прирожденный актер, с большим талантом. Филатку я видел не раз на московском и петербургском театрах и положительно говорю — столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже Баклушина. В сравнении с ним они были пейзане, а не настоящие мужики. Им слишком хотелось представить мужика. Баклушина, сверх того, возбуждало соперничество: всем известно было, что во второй пьесе роль Кедрила будет играть арестант Поцейкин, актер, которого все почему-то считали даровитее, лучше Баклушина, и Баклушин страдал от этого, как ребенок. Сколько раз приходил он ко мне в эти последние дни и изливал свои чувства. За два часа до представления его трясла лихорадка. Когда хохотали и кричали ему из толпы: «Лихо, Баклушин! Ай да молодец!» — всё лицо его сияло счастьем, настоящее вдохновение блистало в глазах его. Сцена целования с Мирошкой, когда Филатка кричит ему предварительно «утрись!» и сам утирается, вышла уморительно смешна. Все так и покатились со смеху. Но всего занимательнее для меня были зрители; тут уж все были нараспашку. Они отдавались своему удовольствию беззаветно. Крики ободрения раздавались всё чаще и чаще. Вот один подталкивает товарища и наскоро сообщает ему свои впечатления, даже не заботясь и, пожалуй, не видя, кто стоит подле него; другой, при какой-нибудь смешной сцене, вдруг с восторгом оборачивается к толпе, быстро оглядывает всех, как бы вызывая всех смеяться, машет рукой и тотчас же опять жадно обращается к сцене. Третий просто прищелкнет языком и пальцами и не может смирно устоять на месте; а так как некуда идти, то только переминается с ноги на ногу. К концу пьесы общее веселое настроение дошло до высшей степени. Я ничего не преувеличиваю. Представьте острог, кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь, однообразную, как водяная капель в хмурый, осенний день,— и вдруг всем этим пригнетенным и заключенным позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть тяжелый сон, устроить целый театр, да еще как устроить: на гордость и на удивление всему городу,— знай, дескать, наших, каковы арестанты! Их, конечно, всё занимало, костюмы например. Ужасно любопытно было для них увидеть, например, такого-то Ваньку Отпетого, али Нецветаева, али Баклушина совсем в другом платье, чем в каком столько уж лет их каждый день видели. «Ведь арестант,

тот же арестант, у самого кандалы побрякивают, а вот выходит же теперь в сюртуке, в круглой шляпе, в плаще — точно штатской! Усы себе приделал, волосы. Вон платочек красный из кармана вынул, обмахивается, барина представляет, точно сам ни дать ни взять барин!» И все в восторге. Благодетельный помещик вышел в адъютантском мундире, правда очень старсньком, в эполетах, в фуражке с кокардочкой и произвел необыкновенный эффект. На эту роль было два охотника, и — поверят ли? — оба, точно маленькие дети, ужасно поссорились друг с другом за то, кому играть: обоим хотелось показаться в офицерском мундире с эксельбантами! Их уж разнимали другие актеры и присудили большинством голосов отдать роль Нецветаеву, не потому, что он был казистее и красивее другого и таким образом лучше бы походил на барина, а потому, что Нецветаев уверил всех, что он выйдет с тросточкой и будет так ею помахивать и по земле чертить, как настоящий барин и первейший франт, чего Ваньке Отпетому и не представить, потому настоящих господ он никогда и не видывал. И действительно, Нецветаев, как вышел с своей барыней перед публику, только и делал, что быстро и бегло чертил тоненькой камышовой тросточкой, которую откудова-то достал, по земле, вероятно считая в этом признаки самой высшей господственности, крайнего щегольства и фешени. Вероятно, когда-нибудь еще в детстве, будучи дворовым, босоногим мальчишкой, случилось ему увидать красиво одетого барина с тросточкой и плениться его уменьем вертеть ею, и вот впечатление навеки и неизгладимо осталось в душе его, так что теперь, в тридцать лет от роду, припомнилось всё, как было, для полного пленения и прельщения всего острога. Нецветаев был до того углублен в свое занятие, что уж и не смотрел ни на кого и никуда, даже говорил, не подымая глаз, и только и делал, что следил за своей тросточкой и за ее кончиком. Благодетельная помещица была тоже в своем роде чрезвычайно замечательна: она явилась в старом, изношенном кисейном платье, смотревшем настоящей тряпкой, с голыми руками и шеей, страшно набеленным и нарумяненным лицом, в спальном коленкоровом чепчике, подвязанном у подбородка, с зонтиком в одной руке и с веером из разрисованной бумаги в другой, которым она беспрерывно обмахивалась. Залп хохоту встретил барыню; да и сама барыня не выдержала и несколько раз принималась хохотать. Играл барыню арестант Иванов. Сироткин, переодетый девушкой, был очень мил. Куплеты тоже сошли хорошо. Одним словом, пьеса кончилась к самому полному и всеобщему удовольствию. Критики не было, да и быть не могло.

Проиграли еще раз увертюру «Сени, мои сени», и вновь поднялась занавесь. Это Кедрил. Кедрил что-то вроде Дон-Жуана; по крайней мере и барина и слугу черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт, но это, видно, отрывок; начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России, где-то на постоялом дворе. Трактирщик вводит в комнату

барина в шинели и в круглой исковерканной шляпе. За ним идет его слуга Кедрил с чемоданом и с завернутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть обжора. Играет его арестант Поцейкин, соперник Баклушина; барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик, Нецветаев, предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин, мрачный и озабоченный, бормочет про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил трус и обжора. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит как лист. Он бы убежал, но трусит барина. Да, сверх того, ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитер по-своему, трус, надувает барина на каждом шагу и в то же время боится его. Это замечательный тип слуги, в котором как-то неясно и отдаленно сказываются черты Лепорелло, и действительно замечательно переданный. Поцейкин с решительным талантом, и, на мой взгляд, актер еще лучше Баклушина. Я, разумеется, встретясь на другой день с Баклушиным, не высказал ему своего мнения вполне: я бы слишком огорчил его. Арестант, игравший барина, сыграл тоже недурно. Вздор он нес ужаснейший, ни на что не похожий; но дикция была правильная, бойкая, жест соответственный. Покамест Кедрил возится с чемоданами, барин ходит в раздумье по сцене и объявляет во всеуслышание, что в нынешний вечер конец его странствованиям. Кедрил любопытно прислушивается, гримасничает, говорит a parte [1] и смешит с каждым словом зрителей. Ему не жаль барина; но он слышал о чертях; ему хочется узнать, что это такое, и вот он вступает в разговоры и в расспросы. Барин наконец объявляет ему, что когда-то в какой-то беде он обратился к помощи ада и черти помогли ему, выручили; но что сегодня срок и, может быть, сегодня же они придут, по условию, за душой его. Кедрил начинает шибко трусить. Но барин не теряет духа и велит ему приготовить ужин. Услыша про ужин, Кедрил оживляется, вынимает курицу, вынимает вино, — и нет-нет, а сам отщипнет от курицы и отведает. Публика хохочет. Вот скрипнула дверь, ветер стучит ставнями; Кедрил дрожит и наскоро, почти бессознательно упрятывает в рот огромный кусок курицы, который и проглотить не может. Опять хохот. «Готово ли?» — кричит барин, расхаживая по комнате. «Сейчас, сударь... я вам... приготовлю», — говорит Кедрил, сам садится за стол и преспокойно начинает уплетать барское кушанье. Публике, видимо, любо проворство и хитрость слуги и то, что барин в дураках. Надо признаться, что и Поцейкин стоил действительно похвалы. Слова: «Сейчас, сударь, я вам приготовлю» — он выговорил превосходно. Сев за стол, он начинает есть с жадностью и вздрагивает с каждым шагом барина, чтоб тот не заметил его проделок; чуть тот повернется на месте, он прячется под стол и тащит с собой курицу. Наконец он утоляет свой первый голод; пора подумать

---

[1] в сторону (*итал.*).

о барине. «Кедрил, скоро ли ты?» — кричит барин. «Готово-с!» — бойко отвечает Кедрил, спохватившись, что барину почти ничего не остается. На тарелке действительно лежит одна куриная ножка. Барин, мрачный и озабоченный, ничего не замечая, садится за стол, а Кедрил с салфеткой становится за его стулом. Каждое слово, каждый жест, каждая гримаса Кедрила, когда он, оборачиваясь к публике, кивает на простофилю барина, встречаются с неудержимым хохотом зрителями. Но вот, только что барин принимается есть, появляются черти. Тут уж ничего понять нельзя, да и черти появляются как-то уж слишком не по-людски: в боковой кулисе отворяется дверь и является что-то в белом, а вместо головы у него фонарь со свечой; другой фантом тоже с фонарем на голове, в руках держит косу. Почему фонари, почему коса, почему черти в белом? никто не может объяснить себе. Впрочем, об этом никто не задумывается. Так уж, верно, тому и быть должно. Барин довольно храбро оборачивается к чертям и кричит им, что он готов, чтоб они брали его. Но Кедрил трусит, как заяц; он лезет под стол, но, несмотря на весь свой испуг, не забывает захватить со стола бутылку. Черти на минуту скрываются; Кедрил вылезает из-за стола; но только что барин принимается опять за курицу, как три черта снова врываются в комнату, подхватывают барина сзади и несут его в преисподнюю. «Кедрил! спасай меня!» — кричит барин. Но Кедрилу не до того. Он в этот раз и бутылку, и тарелку, и даже хлеб стащил под стол. Но вот он теперь один, чертей нет, барина тоже. Кедрил вылезает, осматривается, и улыбка озаряет лицо его. Он плутовски прищуривается, садится на барское место и, кивая публике, говорит полушепотом:

— Ну, я теперь один... без барина!..

Все хохочут тому, что он без барина; но вот он еще прибавляет полушепотом, конфиденциально обращаясь к публике и всё веселее и веселее подмигивая глазком:

— Барина-то черти взяли!..

Восторг зрителей беспредельный! Кроме того, что барина черти взяли, это было так высказано, с таким плутовством, с такой насмешливо-торжествующей гримасой, что действительно невозможно не аплодировать. Но недолго продолжается счастье Кедрила. Только было он распорядился бутылкой, налил себе в стакан и хотел пить, как вдруг возвращаются черти, крадутся сзади на цыпочках и цап-царап его под бока. Кедрил кричит во всё горло; от трусости он не смеет оборотиться. Защищаться тоже не может: в руках бутылка и стакан, с которыми он не в силах расстаться. Разинув рот от ужаса, он с полминуты сидит, выпуча глаза на публику, с таким уморительным выражением трусливого испуга, что решительно с него можно было писать картину. Наконец его несут, уносят; бутылка с ним, он болтает ногами и кричит, кричит. Крики его раздаются еще за кулисами. Но занавесь опускается, и все хохочут, все в восторге... Оркестр начинает камаринскую.

Начинают тихо, едва слышно, но мотив растет и растет, темп учащается, раздаются молодецкие прищелкиванья по декам балалайки... Это камаринская во всем своем размахе, и, право, было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас в остроге. Начинается пантомина под музыку. Камаринская не умолкает во всё продолжение пантомины. Представлена внутренность избы. На сцене мельник и жена его. Мельник в одном углу чинит сбрую, в другом углу жена прядет лен. Жену играет Сироткин, мельника Нецветаев.

Замечу, что наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, чем видите глазами. Вместо задней стены протянут какой-то ковер или попона; сбоку какие-то дрянные ширмы. Левая же сторона ничем не заставлена, так что видны нары. Но зрители невзыскательны и соглашаются дополнять воображением действительность, тем более что арестанты к тому очень способны: «Сказано сад, так и почитай за сад, комната так комната, изба так изба — всё равно, и церемониться много нечего». Сироткин в костюме молодой бабенки очень мил. Между зрителями раздается вполголоса несколько комплиментов. Мельник кончает работу, берет шапку, берет кнут, подходит к жене и объясняет ей знаками, что ему надо идти, но что если без него жена кого примет, то... и он показывает на кнут. Жена слушает и кивает головой. Этот кнут, вероятно, ей очень знаком: бабенка от мужа погуливает. Муж уходит. Только что он за дверь, жена грозит ему вслед кулаком. Но вот стучат; дверь отворяется, и опять является сосед, тоже мельник, мужик в кафтане и с бородой. В руках у него подарок, красный платок. Бабенка смеется; но только что сосед хочет обнять ее, как в двери опять стук. Куда деваться? Она наскоро прячет его под стол, а сама опять за веретено. Является другой обожатель: это писарь, в военной форме. До сих пор пантомина шла безукоризненно, жест был безошибочно правилен. Можно было даже удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать: сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и в тяжкой доле! Но арестант, игравший писаря, вероятно, когда-то был на провинциальном или домашнем театре, и ему вообразилось, что наши актеры, все до единого, не понимают дела и не так ходят, как следует ходить на сцене. И вот он выступает, как, говорят, выступали в старину на театрах классические герои: ступит длинный шаг и, еще не придвинув другой ноги, вдруг остановится, откинет назад весь корпус, голову, гордо поглядит кругом и — ступит другой шаг. Если такая ходьба была смешна в классических героях, то в военном писаре, в комической сцене, еще смешнее. Но публика наша думала, что, вероятно, так там и надо, и длинные шаги долговязого писаря приняла как совершившийся факт, без особенной критики. Едва только писарь успел выйти на средину сцены, как послышался еще стук: хозяйка опять переполошилась. Куда девать писаря? в сундук,

благо отперт. Писарь лезет в сундук, и бабенка его накрывает крышкой. На этот раз является гость особенный, тоже влюбленный, но особого свойства. Это брамин и даже в костюме. Неудержимый хохот раздается между зрителями. Брамина играет арестант Кошкин, и играет прекрасно. У него фигура браминская. Жестами объясняет он всю степень любви своей. Он приподымает руки к небу, потом прикладывает их к груди, к сердцу; но только что он успел разнежиться — раздается сильный удар в дверь. По удару слышно, что это хозяин. Испуганная жена вне себя, брамин мечется как угорелый и умоляет, чтоб его спрятали. Наскоро она становит его за шкаф, а сама, забыв отпереть, бросается к своей пряже и прядет, прядет, не слыша стука в дверь своего мужа, с перепуга сучит нитку, которой у нее нет в руках, и вертит веретено, забыв поднять его с пола. Сироткин очень хорошо и удачно изобразил этот испуг. Но хозяин выбивает дверь ногою и с кнутом в руке подходит к жене. Он всё заметил и подкараулил и прямо показывает ей пальцами, что у ней спрятаны трое. Затем ищет спрятанных. Первого находит соседа и провожает его тузанами из комнаты. Струсивший писарь хотел было бежать, приподнял головой крышку и тем сам себя выдал. Хозяин подстегивает его кнутиком, и на этот раз влюбленный писарь прискакивает вовсе не по-классически. Остается брамин; хозяин долго ищет его, наконец находит в углу за шкафом, вежливо откланивается ему и за бороду вытягивает на средину сцены. Брамин пробует защищаться, кричит: «Окаянный, окаянный!» (единственные слова, сказанные в пантомине), но муж не слушает и расправляется по-свойски. Жена, видя, что дело доходит теперь до нее, бросает пряжу, веретено и бежит из комнаты; донцó валится на землю, арестанты хохочут. Алей, не глядя на меня, теребит меня за руку и кричит мне: «Смотри! брамин, брамин!» — а сам устоять не может от смеху. Занавесь падает. Начинается другая сцена...

Но нечего описывать всех сцен. Их было еще две или три. Все они смешны и неподдельно веселы. Если сочинили их не сами арестанты, то по крайней мере в каждую из них положили своего. Почти каждый актер импровизировал от себя, так что в следующие вечера один и тот же актер одну и ту же роль играл несколько иначе. Последняя пантомина, фантастического свойства, заключилась балетом. Хоронился мертвец. Брамин с многочисленной прислугой делает над гробом разные заклинания, но ничто не помогает. Наконец раздается «Солнце на закате», мертвец оживает, и все в радости начинают плясать. Брамин пляшет вместе с мертвецом, и пляшет совершенно особенным образом, по-брамински. Тем и кончается театр, до следующего вечера. Наши все расходятся веселые, довольные, хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не по-всегдашнему, а почти с спокойным духом,— а с чего бы, кажется? А между тем это не мечта моего воображения. Это правда, истина. Только немного позволили

этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-острожному — и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут... Но вот уже глубокая ночь. Я вздрагиваю и просыпаюсь случайно: старик всё еще молится на печке и промолится там до самой зари; Алей тихо спит подле меня. Я припоминаю, что, и засыпая, он еще смеялся, толкуя вместе с братьями о театре, и невольно засматриваюсь на его спокойное детское лицо. Мало-помалу я припоминаю всё: последний день, праздники, весь этот месяц... в испуге приподымаю голову и оглядываю спящих моих товарищей при дрожащем тусклом свете шестериковой казенной свечи. Я смотрю на их бедные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету,— всматриваюсь — и точно мне хочется увериться, что всё это не продолжение безобразного сна, а действительная правда. Но это правда: вот слышится чей-то стон; кто-то тяжело откинул руку и брякнул цепями. Другой вздрогнул во сне и начал говорить, а дедушка на печи молится за всех «православных христиан», и слышно его мерное, тихое, протяжное: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!..»

«Не навсегда же я здесь, а только ведь на несколько лет!» — думаю я и склоняю опять голову на подушку.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ГОСПИТАЛЬ

Вскоре после праздников я сделался болен и отправился в наш военный госпиталь. Он стоял особняком, в полуверсте от крепости. Это было длинное одноэтажное здание, окрашенное желтой краской. Летом, когда происходили ремонтные работы, на него выходило чрезвычайное количество вохры. На огромном дворе госпиталя помещались службы, дома для медицинского начальства и прочие пригодные постройки. В главном же корпусе располагались одни только палаты. Палат было много, но арестантских всего только две, всегда очень наполненных, но особенно летом, так что приходилось часто сдвигать кровати. Наполнялись наши палаты всякого рода «несчастным народом». Ходили туда наши, ходили разного рода военные подсудимые, содержавшиеся на разных абвахтах, решеные, нерешеные и пересылочные; ходили и из исправительной роты — странного заведения, в которое отсылались провинившиеся и малонадежные солдатики из батальонов для поправления своего поведения и откуда года через два и больше они обыкновенно выходили такими мерзавцами, каких

на редкость и встретить. Заболевшие из арестантов у нас обыкновенно поутру объявляли о болезни своей унтер-офицеру. Их тотчас же записывали в книгу и с этой книгой отсылали больного с конвойным в батальонный лазарет. Там доктор предварительно свидетельствовал всех больных из всех военных команд, расположенных в крепости, и кого находил действительно больным, записывал в госпиталь. Меня отметили в книге, и во втором часу, когда уже все наши отправились из острога на послеобеденную работу, я пошел в госпиталь. Больной арестант обыкновенно брал с собой сколько мог денег, хлеба, потому что на тот день не мог ожидать себе в госпитале порции, крошечную трубочку и кисет с табаком, кремнем и огнивом. Эти последние предметы тщательно запрятывались в сапоги. Я вступил в ограду госпиталя не без некоторого любопытства к этой новой, не знакомой еще мне варьяции нашего арестантского житья-бытья.

День был теплый, хмурый и грустный — один из тех дней, когда такие заведения, как госпиталь, принимают особенно деловой, тоскливый и кислый вид. Мы с конвойным вошли в приемную, где стояли две медные ванны и где уже дожидались двое больных, из подсудимых, тоже с конвойными. Вошел фельдшер, лениво и со властию оглядел нас и еще ленивее отправился доложить дежурному лекарю. Тот явился скоро; осмотрел, обошелся очень ласково и выдал нам «скорбные листы», в которых были обозначены наши имена. Дальнейшее же расписание болезни, назначение лекарств, порции и проч. предоставлялось уже тому из ординаторов, который заведовал арестантскими палатами. Я уже и прежде слышал, что арестанты не нахвалятся своими лекарями. «Отцов не надо!» — отвечали они мне на мои расспросы, когда я отправлялся в больницу. Между тем мы переоделись. Платье и белье, в котором мы пришли, от нас отобрали и одели нас в белье госпитальное да, сверх того, выдали нам длинные чулки, туфли, колпаки и толстые суконные бурого цвета халаты, подшитые не то холстом, не то каким-то пластырем. Одним словом, халат был до последней степени грязен; но оценил я его вполне уже на месте. Затем нас повели в арестантские палаты, которые были расположены в конце длиннейшего коридора, высокого и чистого. Наружная чистота везде была очень удовлетворительна; всё, что с первого раза бросалось в глаза, так и лоснилось. Впрочем, это могло мне так показаться после нашего острога. Двое подсудимых пошли в палату налево, я направо. У двери, замкнутой железным болтом, стоял часовой с ружьем, подле него подчасок. Младший унтер-офицер (из госпитального караула) велел пропустить меня, и я очутился в длинной и узкой комнате, по обеим продольным стенам которой стояли кровати, числом около двадцати двух, между которыми три-четыре еще были не заняты. Кровати были деревянные, окрашенные зеленой краской, слишком знакомые всем и каждому у нас на Руси, — те самые кровати, которые, по какому-то предопределе-

нию, никак не могут быть без клопов. Я поместился в углу, на той стороне, где были окна.

Как уже и сказал я, тут были и наши арестанты, из острога. Некоторые из них уже знали меня или по крайней мере видели прежде. Гораздо более было из подсудимых и из исправительной роты. Труднобольных, то есть не встававших с постели, было не так много. Другие же, легкобольные или выздоравливавшие, или сидели на койках, или ходили взад и вперед по комнате, где между двумя рядами кроватей оставалось еще пространство, достаточное для прогулки. В палате был чрезвычайно удушливый, больничный запах. Воздух был заражен разными неприятными испарениями и запахом лекарств, несмотря на то что почти весь день в углу топилась печка. На моей койке был надет полосатый чехол. Я снял его. Под чехлом оказалось суконное одеяло, подшитое холстом, и толстое белье слишком сомнительной чистоты. Возле койки стоял столик, на котором была кружка и оловянная чашка. Всё это для приличия прикрывалось выданным мне маленьким полотенцем. Внизу столика была еще полка: там сохранялись у пивших чай чайники, жбаны с квасом и проч.; но пивших чай между больными было очень немного. Трубки же и кисеты, которые были почти у каждого, не исключая даже и чахоточных, прятались под койки. Доктор и другие из начальников почти никогда их не осматривали, а если и заставали кого с трубкой, то делали вид, что не замечают. Впрочем, и больные были почти всегда осторожны и ходили курить к печке. Разве уж ночью курили прямо с кроватей; но ночью никто не обходил палат, кроме разве иногда офицера, начальника госпитального караула.

До тех пор я никогда не лежал ни в какой больнице; всё окружающее потому было для меня чрезвычайно ново. Я заметил, что возбуждаю некоторое любопытство. Обо мне уже слышали и оглядывали меня очень бесцеремонно, даже с оттенком некоторого превосходства, как оглядывают в школах новичка или в присутственных местах просителя. Справа подле меня лежал один подсудимый, писарь, незаконный сын одного отставного капитана. Он судился по фальшивым деньгам и лежал уже с год, кажется ничем не больной, но уверявший докторов, что у него аневризм. Он достиг цели: каторга и телесное наказанье миновали его, и он, еще год спустя, был отослан в Т—к для содержания где-то при больнице. Это был плотный, коренастый парень лет двадцати восьми, большой плут и законник, очень неглупый, чрезвычайно развязный и самонадеянный малый, до болезни самолюбивый, пресерьезно уверивший самого себя, что он честнейший и правдивейший человек в свете и даже вовсе ни в чем не виноватый, и так и оставшийся навсегда с этой уверенностью. Он первый заговорил со мною, с любопытством стал меня расспрашивать и довольно подробно рассказал мне о внешних порядках госпиталя. Разумеется, прежде всего он заявил мне, что он капитанский сын. Ему чрезвычайно хотелось казаться дворяни-

ном или по крайней мере «из благородных». Вслед за ним подошел ко мне один больной из исправительной роты и начал уверять, что он знал многих из прежде сосланных дворян, называя их по имени и отчеству. Это был уже седой солдат; на лице его было написано, что он всё это врет. Звали его Чекунов. Он, очевидно, ко мне подлизывался, вероятно подозревая у меня деньги. Заметив у меня сверток с чаем и сахаром, он тотчас же предложил свои услуги: достать чайник и заварить мне чаю. Чайник мне обещал прислать назавтра М—цкий из острога с кем-нибудь из арестантов, ходивших в госпиталь на работу. Но Чекунов обделал всё дело. Он достал какой-то чугунок, даже чашку, вскипятил воду, заварил чаю — одним словом, услуживал с необыкновенным усердием, чем возбудил тотчас же в одном из больных несколько ядовитых насмешек на свой счет. Этот больной был чахоточный, лежавший напротив меня, по фамильи Устьянцев, из подсудимых солдат, тот самый, который, испугавшись наказания, выпил крышку вина, крепко настояв в нем табаку, и тем нажил себе чахотку; о нем я уже упоминал как-то прежде. До сих пор он лежал молча и трудно дыша, пристально и серьезно ко мне приглядываясь и с негодованием следя за Чекуновым. Необыкновенная, желчная серьезность придавала какой-то особенно комический оттенок его негодованию. Наконец он не выдержал:

— Ишь, холоп! Нашел барина! — проговорил он с расстановками и задыхающимся от бессилия голосом. Он был уже в последних днях своей жизни.

Чекунов с негодованием оборотился к нему:

— Это кто холоп? — произнес он, презрительно глядя на Устьянцева.

— Ты холоп! — отвечал тот таким самоуверенным тоном, как будто имел полное право распекать Чекунова и даже был приставлен к нему для этой цели.

— Я холоп?

— Ты и есть. Слышите, добрые люди, не верит! Удивляется!

— Да тебе-то что! Вишь, они одни, как без рук. Без слуги непривычно, известно. Почему не услужить, мохнорылый ты шут!

— Это кто мохнорылый?

— Ты мохнорылый.

— Я мохнорылый?

— Ты и есть!

— А ты красавец? У самого лицо, как воронье яйцо... коли я мохнорылый.

— Мохнорылый и есть! Ведь уж бог убил, лежал бы себе да помирал! Нет, туда же, сбирает! Ну, чего сбираешь!

— Чего! Нет, уж я лучше сапогу поклонюсь, а не лаптю. Отец мой не кланялся и мне не велел. Я... я...

Он было хотел продолжать, но страшно закашлялся на несколько минут, выплевывая кровью. Скоро холодный, изнурительный пот выступил на узеньком лбу его. Кашель мешал ему,

а то бы он всё говорил; по глазам его видно было, как хотелось ему еще поругаться; но в бессилии он только отмахивался рукою... Так что Чекунов под конец уж и позабыл его.

Я почувствовал, что злость чахоточного направлена скорее на меня, чем на Чекунова. За желание Чекунова подслужиться и тем достать копейку никто бы не стал на него сердиться или смотреть на него с особым презрением. Всяк понимал, что он это делает просто из-за денег. На этот счет простой народ вовсе не так щепетилен и чутко умеет различать дело. Устьянцеву не понравился собственно я, не понравился ему мой чай и то, что я и в кандалах, как барин, как будто не могу обойтись без прислуги, хотя я вовсе не звал и не желал никакой прислуги. Действительно, мне всегда хотелось всё делать самому, и даже я особенно желал, чтоб и виду не подавать о себе, что я белоручка, неженка, барствую. В этом отчасти состояло даже мое самолюбие, если уж к слову сказать пришлось. Но вот, — и решительно не понимаю, как это всегда так случалось, — но я никогда не мог отказаться от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой; а по наружности и выходило как-то само собой, что я действительно барин, не могу обойтись без прислуги и барствую. Это, конечно, было мне очень досадно. Но Устьянцев был чахоточный, раздражительный человек. Прочие же из больных соблюдали вид равнодушия, даже с некоторым оттенком высокомерия. Помню, все были заняты одним особенным обстоятельством: из арестантских разговоров я узнал, что в тот же вечер приведут к нам одного подсудимого, которого в эту минуту наказывают шпицрутенами. Арестанты ждали новичка с некоторым любопытством. Говорили, впрочем, что наказанье будет легкое — всего только пятьсот.

Понемногу я огляделся кругом. Сколько я мог заметить, действительно больные лежали здесь всё более цинготною и глазною болезнями — местными болезнями тамошнего края. Таких было в палате несколько человек. Из других, действительно больных, лежали лихорадками, разными болячками, грудью. Здесь не так, как в других палатах, здесь были собраны в кучу все болезни, даже венерические. Я сказал — *действительно* больных, потому что было несколько и пришедших *так*, безо всякой болезни, «отдохнуть». Доктора допускали таких охотно, из сострадания, особенно когда было много пустых кроватей. Содержание на абвахтах и в острогах казалось сравнительно с госпитальным до того плохо, что многие арестанты с удовольствием приходили лежать, несмотря на спертый воздух и запертую палату. Были даже особенные любители лежанья и вообще госпитального житья-бытья; всех более, впрочем, из исправительной роты. Я с любопытством осматривал моих новых товарищей, но, помню, особенное любопытство тогда же возбудил во мне один, уже умиравший, из на-

шего острога, тоже чахоточный и тоже в последних днях, лежавший через кровать от Устьянцева и, таким образом, тоже почти против меня. Звали его Михайлов; еще две недели тому назад я видел его в остроге. Он давно уже был болен, и давно бы пора ему было идти лечиться; но он с каким-то упорным и совершенно ненужным терпеньем преодолевал себя, крепился и только на праздниках ушел в госпиталь, чтоб умереть в три недели от ужасной чахотки; точно сгорел человек. Меня поразило теперь его страшно изменившееся лицо, — лицо, которое я из первых заметил по вступлении моем в острог; оно мне тогда как-то в глаза кинулось. Подле него лежал один исправительный солдат, уже старый человек, страшный и отвратительный неряха... Но, впрочем, не пересчитывать же всех больных... Я вспомнил теперь и об этом старикашке единственно потому, что он произвел на меня тогда тоже некоторое впечатление и в одну минуту успел дать мне довольно полное понятие о некоторых особенностях арестантской палаты. У этого старичонки, помню, был тогда сильнейший насморк. Он всё чихал и всю неделю потом чихал даже и во сне, как-то залпами, по пяти и по шести чихов за раз, аккуратно каждый раз приговаривая: «Господи, далось же такое наказанье!» В ту минуту он сидел на постели и с жадностью набивал себе нос табаком из бумажного сверточка, чтоб сильнее и аккуратнее прочихаться. Чихал он в бумажный платок, собственный, клетчатый, раз сто мытый и до крайности полинялый, причем както особенно морщился его маленький нос, слагаясь в мелкие бесчисленные морщинки, и выставлялись осколки старых, почернелых зубов вместе с красными слюнявыми деснами. Прочихавшись, он тотчас же развертывал платок, внимательно рассматривал обильно накопившуюся в нем мокроту и немедленно смазывал ее на свой бурый казенный халат, так что вся мокрота оставалась на халате, а платок только что разве оставался сыренек. Так он делал всю неделю. Это копотливое, скряжническое сбережение собственного платка в ущерб казенному халату вовсе не возбуждало со стороны больных никакого протеста, хотя комунибудь из них же после него пришлось бы надеть этот же самый халат. Но наш простой народ небрезглив и негадлив даже до странности. Меня же так и покоробило в ту минуту, и я тотчас же с омерзением и любопытством невольно начал осматривать только что надетый мною халат. Тут я заметил, что он уже давно возбуждал мое внимание своим сильным запахом; он успел уже на мне нагреться и пахнул всё сильнее и сильнее лекарствами, пластырями и, как мне казалось, каким-то гноем, что было немудрено, так как он с незапамятных лет не сходил с плеч больных. Может быть, холщовую подкладку его на спине и промывали когданибудь; но наверно не знаю. Зато в настоящее время эта подкладка была пропитана всеми возможными неприятными соками, примочками, пролившеюся водою из прорезанных мушек и проч. К тому же в арестантские палаты очень часто являлись только

что наказанные шпицрутенами, с израненными спинами; их лечили примочками, и потому халат, надевавшийся прямо на мокрую рубашку, никаким образом не мог портиться: так всё на нем и оставалось. И всё время мое в остроге, все эти несколько лет, как только мне случалось бывать в госпитале (а бывал я частенько), я каждый раз с боязливою недоверчивостью надевал халат. Особенно же не нравились мне иногда встречавшиеся в этих халатах вши, крупные и замечательно жирные. Арестанты с наслаждением казнили их, так что когда под толстым, неуклюжим арестантским ногтем щелкнет, бывало, казненный зверь, то даже по лицу охотника можно было судить о степени полученного им удовлетворения. Очень тоже не любили у нас клопов и тоже, бывало, подымались иногда всей палатой истреблять их в иной длинный, скучный зимний вечер. И хотя в палате, кроме тяжелого запаху, снаружи всё было по возможности чисто, но внутренней, так сказать подкладочной, чистотой у нас далеко не щеголяли. Больные привыкли к этому и даже считали, что так и надо, да и самые порядки к особенной чистоте не располагали. Но о порядках я скажу после...

Только что Чекунов подал мне чай (мимоходом сказать, на палатной воде, которая приносилась разом на целые сутки и как-то слишком скоро портилась в нашем воздухе), отворилась с некоторым шумом дверь, и за усиленным конвоем введен был только что наказанный шпицрутенами солдатик. Это было в первый раз, как я видел наказанного. Впоследствии их приводили часто, иных даже приносили (слишком уж тяжело наказанных), и каждый раз это доставляло большое развлечение больным. Встречали у нас такового обыкновенно с усиленно-строгим выражением лиц и с какою-то даже несколько натянутою серьезностью. Впрочем, прием отчасти зависел и от степени важности преступления, а следственно, и от количества наказания. Очень больно битый и, по репутации, большой преступник пользовался и бо́льшим уважением и бо́льшим вниманием, чем какой-нибудь бежавший рекрутик, вот как тот, например, которого привели теперь. Но и в том и в другом случае ни особенных сожалений, ни каких-нибудь особенно раздражительных замечаний не делалось. Молча помогали несчастному и ухаживали за ним, особенно если он не мог обойтись без помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдают битого в опытные и искусные руки. Помощь обыкновенно была в частой и необходимой перемене смоченной в холодной воде простыни или рубашки, которою одевали истерзанную спину, особенно если наказанный сам уже был не в силах наблюдать за собой, да, кроме того, в ловком выдергивании заноз из болячек, которые зачастую остаются в спине от сломавшихся об нее палок. Последняя операция обыкновенно очень бывает неприятна больному. Но вообще меня всегда удивляла необыкновенная стойкость в перенесении боли наказанными. Много я их перевидал, иногда уже слишком битых, и почти ни один из них не стонал!

Только лицо как будто всё изменится, побледнеет; глаза горят; взгляд рассеянный, беспокойный, губы трясутся, так что бедняга нарочно прикусывает их, бывало, чуть не до крови зубами. Вошедший солдатик был парень лет двадцати трех, крепкого, мускулистого сложения, красивого лица, высокий, стройный, смуглотелый. Спина его была, впрочем, порядочно прообита. Сверху до самой поясницы всё его тело было обнажено; на плеча его была накинута мокрая простыня, от которой он дрожал всеми членами, как в лихорадке, и часа полтора ходил взад и вперед по палате. Я вглядывался в его лицо: казалось, он ни о чем не думал в эту минуту, смотрел странно и дико, беглым взглядом, которому, видимо, тяжело было остановиться на чем-нибудь внимательно. Мне показалось, что он пристально посмотрел на мой чай. Чай был горячий; пар валил из чашки, а бедняк иззяб и дрожал, стуча зуб об зуб. Я пригласил его выпить. Он молча и круто повернул ко мне, взял чашку, выпил стоя и без сахару, причем очень торопился и как-то особенно старался не глядеть на меня. Выпив всё, он молча поставил чашку и, даже не кивнув мне головою, пошел опять сновать взад и вперед по палате. Но ему было не до слов и не до киваний! Что же касается до арестантов, то все они сначала почему-то избегали всякого разговору с наказанным рекрутиком; напротив, помогши ему вначале, они как будто сами старались потом не обращать на него более никакого внимания, может быть желая как можно более дать ему покоя и не докучать ему никакими дальнейшими допросами и «участиями», чем он, кажется, был совершенно доволен.

Между тем смерклось, зажгли ночник. У некоторых из арестантов оказались даже свои собственные подсвечники, впрочем очень не у многих. Наконец, уже после вечернего посещения доктора, вошел караульный унтер-офицер, сосчитал всех больных, и палату заперли, внеся в нее предварительно ночной ушат... Я с удивлением узнал, что этот ушат остается здесь всю ночь, тогда как настоящее ретирадное место было тут же в коридоре, всего только два шага от дверей. Но уж таков был заведенный порядок. Днем арестанта еще выпускали из палаты, впрочем не более как на одну минуту; ночью же ни под каким видом. Арестантские палаты не походили на обыкновенные, и больной арестант даже и в болезни нес свое наказание. Кем первоначально заведен был этот порядок — не знаю; знаю только, что настоящего порядка в этом не было никакого и что никогда вся бесполезная сушь формалистики не выказывалась крупнее, как, например, в этом случае. Порядок этот шел, разумеется, не от докторов. Повторяю: арестанты не нахвалились своими лекарями, считали их за отцов, уважали их. Всякий видел от них себе ласку, слышал доброе слово; а арестант, отверженный всеми, ценил это, потому что видел неподдельность и искренность этого доброго слова и этой ласки. Она могла и не быть; с лекарей бы никто не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее:

следственно, они были добры из настоящего человеколюбия. И, уж разумеется, они понимали, что больному, кто бы он ни был, арестант ли, нет ли, нужен такой же, например, свежий воздух, как и всякому другому больному, даже самого высшего чина. Больные в других палатах, выздоравливающие, например, могли свободно ходить по коридорам, задавать себе большой моцион, дышать воздухом, не настолько отравленным, как воздух палатный, спертый и всегда необходимо наполненный удушливыми испарениями. И страшно и гадко представить себе теперь, до какой же степени должен был отравляться этот и без того уже отравленный воздух по ночам у нас, когда вносили этот ушат, при теплой температуре палаты и при известных болезнях, при которых невозможно обойтись без выхода. Если я сказал теперь, что арестант и в болезни нес свое наказание, то, разумеется, не предполагал и не предполагаю, что такой порядок устроен был именно только для одного наказания. Разумеется, это была бы бессмысленная с моей стороны клевета. Больных уже нечего наказывать. А если так, то само собою разумеется, что, вероятно, какая-нибудь строгая, суровая необходимость принуждала начальство к такой вредной по своим последствиям мере. Какая же? Но вот тем-то и досадно, что ничем другим нельзя хоть сколько-нибудь объяснить необходимость этой меры и, сверх того, многих других мер, до того непонятных, что не только объяснить, но даже предугадать объяснение их невозможно. Чем объяснить такую бесполезную жестокость? Тем, видите ли, что арестант придет в больницу, нарочно притворившись больным, обманет докторов, выйдет ночью в сортир и, пользуясь темнотою, убежит? Серьезно доказывать всю нескладность такого рассуждения почти невозможно. Куда убежит? Как убежит? В чем убежит? Днем выпускают по одному; так же могло бы быть и ночью. У двери стоит часовой с заряженным ружьем. Ретирадное место буквально в двух шагах от часового, но, несмотря на то, туда сопровождает больного подчасок и не спускает с него глаз всё время. Там только одно окно, по-зимнему с двумя рамами и с железной решеткой. Под окном же на дворе, у самых окон арестантских палат, тоже ходит всю ночь часовой. Чтоб выйти в окно, нужно выбить раму п решетку. Кто ж это позволит? Но положим, он убьет предварительно подчаска, так что тот и не пикнет и никто того не услышит. Но, допустив даже эту нелепость, нужно ведь все-таки ломать окно и решетку. Заметьте, что тут же подле часового спят палатные сторожа, а в десяти шагах, у другой арестантской палаты, стоит другой часовой с ружьем, возле него другой подчасок и другие сторожа. И куда бежать зимой в чулках, в туфлях, в больничном халате и в колпаке? А если так, если так мало опасности (то есть по-настоящему совершенно нет никакой), — для чего такое серьезное отягощение больных, может быть в последние дни и часы их жизни, больных, которым свежий воздух еще нужней, чем здоровым? Для чего? Я никогда не мог понять этого...

Но если уж спрошено раз: «Для чего?», и так как уж пришлось к слову, то не могу не вспомнить теперь и еще об одном недоумении, столько лет торчавшем передо мной в виде самого загадочного факта, на который я тоже никаким образом не мог подыскать ответа. Не могу не сказать об этом хотя несколько слов, прежде чем приступлю к продолжению моего описания. Я говорю о кандалах, от которых не избавляет никакая болезнь решеного каторжника. Даже чахоточные умирали на моих глазах в кандалах. И между тем все к этому привыкли, все считали это чем-то совершившимся, неотразимым. Вряд ли даже и задумывался кто-нибудь об этом, когда даже и из докторов никому и в ум не пришло, во все эти несколько лет, хоть один раз походатайствовать у начальства о расковке труднобольного арестанта, особенно в чахотке. Положим, кандалы сами по себе не бог знает какая тягость. Весу они бывают от восьми до двенадцати фунтов. Носить десять фунтов здоровому человеку неотягчительно. Говорили мне, впрочем, что от кандалов после нескольких лет начинают будто бы ноги сохнуть. Не знаю, правда ли это, хотя, впрочем, тут есть некоторая вероятность. Тягость, хоть и малая, хоть и в десять фунтов, прицепленная к ноге навсегда, все-таки ненормально увеличивает вес члена и чрез долгое время может оказать некоторое вредное действие... Но положим, что для здорового всё ничего. Так ли для больного? Положим, что и обыкновенному больному ничего. Но таково ли, повторяю, для труднобольных, таково ли, повторяю, для чахоточных, у которых и без того уже сохнут руки и ноги, так что всякая соломинка становится тяжела? И, право, если б медицинское начальство выхлопотало облегчение хотя бы только одним чахоточным, то уж и это одно было бы истинным и великим благодеянием. Положим, скажет кто-нибудь, что арестант злодей и недостоин благодеяний; но ведь неужели же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перст божий? Да и поверить нельзя, чтоб это делалось для одного наказания. Чахоточный и по суду избавляется от наказания телесного. Следственно, тут опять-таки заключается какая-нибудь таинственная, важная мера, в видах спасительной предосторожности. Но какая? — понять нельзя. Ведь нельзя же в самом деле бояться, что чахоточный убежит. Кому это придет в голову, особенно имея в виду известную степень развития болезни? Прикинуться же чахоточным, обмануть докторов, чтоб убежать, — невозможно. Не такая болезнь; ее с первого взгляда видно. Да и кстати сказать: неужели заковывают человека в ножные кандалы для того только, чтоб он не бежал или чтоб это помешало ему бежать? Совсем нет. Кандалы — одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная. Так по крайней мере предполагается. Бежать же они никогда никому помешать не могут. Самый неумелый, самый неловкий арестант сумеет их без большого труда очень скоро подпилить или сбить заклепку камнем. Ножные кандалы решительно ни от чего не предостерегают;

а если так, если назначаются они решеному каторжному только для одного наказания, то опять спрашиваю: неужели ж наказывать умирающего?

И вот теперь, как я пишу это, ярко припоминается мне один умирающий, чахоточный, тот самый Михайлов, который лежал почти против меня, недалеко от Устьянцева, и который умер, помнится, на четвертый день по прибытии моем в палату. Может быть, я и заговорил теперь о чахоточных, невольно повторяя те впечатления и те мысли, которые тогда же пришли мне в голову по поводу этой смерти. Самого Михайлова, впрочем, я мало знал. Это был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, не более, высокий, тонкий и чрезвычайно благообразной наружности. Он жил в особом отделении и был до странности молчалив, всегда как-то тихо, как-то спокойно грустный. Точно он «засыхал» в остроге. Так по крайней мере о нем потом выражались арестанты, между которыми он оставил о себе хорошую память. Вспоминаю только, что у него были прекрасные глаза, и, право, не знаю, почему он мне так отчетливо вспоминается. Он умер часа в три пополудни, в морозный и ясный день. Помню, солнце так и пронизывало крепкими косыми лучами зеленые слегка подмерзшие стекла в окнах нашей палаты. Целый поток их лился на несчастного. Умер он не в памяти и тяжело, долго отходил, несколько часов сряду. Еще с утра глаза его уже начинали не узнавать подходивших к нему. Его хотели как-нибудь облегчить, видели, что ему очень тяжело; дышал он трудно, глубоко, с хрипеньем; грудь его высоко подымалась, точно ему воздуху было мало. Он сбил с себя одеяло, всю одежду и, наконец, начал срывать с себя рубашку: даже и та казалась ему тяжелою. Ему помогли и сняли с него и рубашку. Страшно было смотреть на это длинное-длинное тело, с высохшими до кости ногами и руками, с опавшим животом, с поднятою грудью, с ребрами, отчетливо рисовавшимися, точно у скелета. На всем теле его остались один только деревянный крест с ладонкой и кандалы, в которые, кажется, он бы теперь мог продеть иссохшую ногу. За полчаса до смерти его все у нас как будто притихли, стали разговаривать чуть не шепотом. Кто ходил — ступал как-то неслышно. Разговаривали меж собой мало, о вещах посторонних, изредка только взглядывали на умиравшего, который хрипел всё более и более. Наконец он блуждающей и нетвердой рукой нащупал на груди свою ладонку и начал рвать ее с себя, точно и та была ему в тягость, беспокоила, давила его. Сняли и ладонку. Минут через десять он умер. Стукнули в дверь к караульному, дали знать. Вошел сторож, тупо посмотрел на мертвеца и отправился к фельдшеру. Фельдшер, молодой и добрый малый, немного излишне занятый своею наружностью, довольно, впрочем, счастливою, явился скоро; быстрыми шагами, ступая громко по притихшей палате, подошел к покойнику и с каким-то особенно развязным видом, как будто нарочно выдуманным для этого случая, взял его за пульс, пощу-

пал, махнул рукою и вышел. Тотчас же отправились дать знать караулу: преступник был важный, особого отделения; его и за мертвого-то признать надо было с особыми церемониями. В ожидании караульных кто-то из арестантов тихим голосом подал мысль, что не худо бы закрыть покойнику глаза. Другой внимательно его выслушал, молча подошел к мертвецу и закрыл глаза. Увидев тут же лежавший на подушке крест, взял его, осмотрел и молча надел его опять Михайлову на шею; надел и перекрестился. Между тем мертвое лицо костенело; луч света играл на нем; рот был полураскрыт, два ряда белых, молодых зубов сверкали из-под тонких, прилипших к деснам губ. Наконец вошел караульный унтер-офицер при тесаке и в каске, за ним два сторожа. Он подходил, всё более и более замедляя шаги, с недоумением посматривая на затихших и со всех сторон сурово глядевших на него арестантов. Подойдя на шаг к мертвецу, он остановился как вкопанный, точно оробел. Совершенно обнаженный, иссохший труп, в одних кандалах, поразил его, и он вдруг отстегнул чешую, снял каску, чего вовсе не требовалось, и широко перекрестился. Это было суровое, седое, служилое лицо. Помню, в это же самое мгновенье тут же стоял Чекунов, тоже седой старик. Всё время он молча и пристально смотрел в лицо унтер-офицера, прямо в упор, и с каким-то странным вниманием вглядывался в каждый жест его. Но глаза их встретились, и у Чекунова вдруг отчего-то дрогнула нижняя губа. Он как-то странно скривил ее, оскалил зубы и быстро, точно нечаянно кивнув унтер-офицеру на мертвеца, проговорил:

— Тоже ведь мать была! — и отошел прочь.

Помню, эти слова меня точно пронзили... И для чего он их проговорил, и как пришли они ему в голову? Но вот труп стали поднимать, подняли вместе с койкой; солома захрустела, кандалы звонко, среди всеобщей тишины, брякнули об пол... Их подобрали. Тело понесли. Вдруг все громко заговорили. Слышно было, как унтер-офицер, уже в коридоре, посылал кого-то за кузнецом. Следовало расковать мертвеца...

Но я отступил от предмета...

II

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Доктора обходили палаты поутру; часу в одиннадцатом являлись они у нас все вместе, сопровождая главного доктора, а прежде них, часа за полтора, посещал палату наш ординатор. В то время у нас был ординатором один молоденький лекарь, знающий дело, ласковый, приветливый, которого очень любили арестанты и находили в нем только один недостаток: «слишком уж смирен». В самом деле, он был как-то неразговорчив, даже как будто конфузился нас, чуть не краснел, изменял порции чуть не по первой

просьбе больных и даже, кажется, готов был назначать им и лекарства по их же просьбе. Впрочем, он был славный молодой человек. Надо признаться, много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа, и это, сколько я заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского простого народа к медицине и к заморским лекарствам. В самом деле, простолюдин скорее несколько лет сряду, страдая самою тяжелою болезнию, будет лечиться у знахарки или своими домашними, простонародными лекарствами (которыми отнюдь не надо пренебрегать), чем пойдет к доктору или лежать в госпитале. Но, кроме того, что тут есть одно чрезвычайно важное обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине, именно: всеобщее недоверие всего простолюдья ко всему, что носит на себе печать административного, форменного; кроме того, народ запуган и предубежден против госпиталей разными страхами, россказнями, нередко нелепыми, но иногда имеющими свое основание. Но, главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во всё продолжение болезни, строгости насчет еды, рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями (хотя и не без исключений, но большею частию) все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародья. По крайней мере я пишу о том, что сам видел и испытал неоднократно и во многих местах, и не имею оснований думать, чтоб в других местах слишком часто поступалось иначе. Конечно, в некоторых уголках лекаря берут взятки, сильно пользуются от своих больниц, почти пренебрегают больными, даже забывают совсем медицину. Это еще есть; но я говорю про большинство или, лучше сказать, про тот дух, про то направление, которое осуществляется теперь, в наши дни, в медицине. Те же, отступники дела, волки в овечьем стаде, что бы ни представляли в свое оправдание, как бы ни оправдывались, например хоть *средой*, которая заела и их в свою очередь, всегда будут неправы, особенно если при этом потеряли и человеколюбие. А человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств. Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не всё же, и часто иной хитрый и понимающий дело плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто подлость, особенно если умеет красно говорить или писать. Впрочем, я опять отбился от темы; я хотел только сказать, что простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям. Узнав,

каковы они на деле, он быстро теряет многие из своих предубеждений. Прочая же обстановка наших лечебниц до сих пор во многом не соответствует духу народа, до сих пор враждебна своими порядками привычкам нашего простолюдья и не в состоянии приобрести полного доверия и уважения народного. Так мне по крайней мере кажется из некоторых моих собственных впечатлений.

Наш ординатор обыкновенно останавливался перед каждым больным, серьезно и чрезвычайно внимательно осматривал его и опрашивал, назначал лекарства, порции. Иногда он и сам замечал, что больной ничем не болен; но так как арестант пришел отдохнуть от работы или полежать на тюфяке, вместо голых досок, и, наконец, все-таки в теплой комнате, а не в сырой кордегардии, где в тесноте содержатся густые кучи бледных и испитых подсудимых (подсудимые у нас почти всегда, на всей Руси, бледные и испитые — признак, что их содержание и душевное состояние почти всегда тяжелее, чем у решеных), то наш ординатор спокойно записывал им какую-нибудь febris catarhalis[1] и оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой febris catarhalis все смеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятая у нас, по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным, формула для обозначения притворной болезни; «запасные колотья», как переводили сами арестанты febris catarhalis. Иногда больной злоупотреблял мягкосердием лекаря и продолжал лежать до тех пор, пока его не выгоняли силой. Тогда нужно было посмотреть на нашего ординатора: он как будто робел, как будто стыдился прямо сказать больному, чтоб он выздоравливал и скорее бы просился на выписку, хотя и имел полное право просто-запросто безо всяких разговоров и умасливаний выписать его, написав ему в скорбном листе sanat est.[2] Он сначала намекал ему, потом как бы упрашивал: «Не пора ли, дескать? ведь уж ты почти здоров, в палате тесно» — и проч. и проч., до тех пор, пока больному самому становилось совестно и он сам наконец просился на выписку. Старший доктор хоть был и человеколюбивый и честный человек (его тоже очень любили больные), но был несравненно суровее, решительнее ординатора, даже при случае выказывал суровую строгость, и за это его у нас как-то особенно уважали. Он являлся в сопровождении всех госпитальных лекарей, после ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее впечатление. Пришедших с «запасными колотьями» он никогда не отвергал и не отсылал назад; но если больной сам упорствовал, то просто-запросто выписывал его: «Ну что ж, брат, полежал довольно, отдохнул, ступай, надо честь знать». Упорствовали обыкновенно или ленивые до работ, особенно в ра-

---

[1] катаральная лихорадка (*лат.*).
[2] здоров (*лат.*).

бочее, летнее время, или из подсудимых, ожидавших себе наказания. Помню, с одним из таких употреблена была особенная строгость, жестокость даже, чтоб склонить его к выписке. Пришел он с глазною болезнию: глаза красные, жалуется на сильную колючую боль в глазах. Его стали лечить мушками, пиявками, брызгами в глаза какой-то разъедающей жидкостью и проч., но болезнь все-таки не проходила, глаза не очищались. Мало-помалу догадались доктора, что болезнь притворная: воспаление постоянно небольшое, хуже не делается, да и не вылечивается, всё в одном положении, случай подозрительный. Арестанты все давно уже знали, что он притворяется и людей обманывает, хотя он сам и не признавался в этом. Это был молодой парень, даже красивый собой, но производивший какое-то неприятное впечатление на всех нас: скрытный, подозрительный, нахмуренный, ни с кем не говорит, глядит исподлобья, от всех таится, точно всех подозревает. Я помню — иным даже приходило в голову, чтоб он не сделал чего-нибудь. Он был солдат, сильно проворовался, был уличен, и ему выходили тысяча палок и арестантские роты. Чтоб отдалить минуту наказания, как я уже упоминал прежде, решаются иногда подсудимые на страшные выходки: пырнет ножом накануне казни кого-нибудь из начальства или своего же брата арестанта, его и судят по-новому, и отдаляется наказание еще месяца на два, и цель его достигается. Ему нужды нет до того, что его будут наказывать через два же месяца вдвое, втрое суровее; только бы теперь-то отдалить грозную минуту хоть на несколько дней, а там что бы ни было — до того бывает иногда силен упадок духа в этих несчастных. У нас иные уже шептались промеж себя, чтоб остерегаться его: пожалуй, зарежет кого-нибудь ночью. Впрочем, так только говорили, а особенных предосторожностей никаких не брали даже те, у которых койки приходились с ним рядом. Видели, впрочем, что он по ночам растирает глаза известкой со штукатурки и чем-то еще другим, чтоб к утру они опять стали красные. Наконец главный доктор погрозил ему заволокой. В упорной глазной болезни, продолжающейся долго и когда уже все медицинские средства бывают испытаны, чтоб спасти зрение, доктора решаются на сильное и мучительное средство: ставят больному заволоку, точно лошади. Но бедняк и тут не согласился выздороветь. Что за упрямый был это характер, или уж слишком трусливый: ведь заволока была хоть и не так, как палки, но тоже очень мучительна. Больному собирают сзади на шее кожу рукой, сколько можно захватить, протыкают все захваченное тело ножом, отчего происходит широкая и длинная рана по всему затылку, и продевают в эту рану холстинную тесемку, довольно широкую, почти в палец; потом каждый день, в определенный час, эту тесемку передергивают в ране, так что как будто вновь ее разрезают, чтоб рана вечно гноилась и не заживала. Бедняк переносил, впрочем с ужасными мучениями, и эту пытку упорно несколько дней и наконец только согласился

выписаться. Глаза его в один день стали совершенно здоровые, и, как только зажила его шея, он отправился на абвахту, чтоб назавтра же выйти опять на тысячу палок.

Конечно, тяжела минута перед наказанием, тяжела до того, что, может быть, я грешу, называя этот страх малодушием и трусостию. Стало быть, тяжело, когда подвергаются двойному, тройному наказанию, только бы не сейчас оно исполнилось. Я упоминал, впрочем, п о таких, которые сами просились скорее на выписку еще с не зажившей от первых палок спиной, чтоб выходить остальные удары и окончательно выйти из-под суда; а содержание под судом, на абвахте, конечно, для всех несравненно хуже каторги. Но, кроме разницы темпераментов, большую роль играет в решимости и бесстрашии некоторых закоренелая привычка к ударам и к наказанию. Многократно битый как-то укрепляется духом и спиной и смотрит, наконец, на наказание скептически, почти как на малое неудобство, и уже не боится его. Говоря вообще, это верно. Один наш арестантик, из особого отделения, крещеный калмык Александр или Александра, как звали его у нас, странный малый, плутоватый, бесстрашный и в то же время очень добродушный, рассказывал мне, как он выходил свои четыре тысячи, рассказывал смеясь и шутя, но тут же клялся пресерьезно, что если б с детства, с самого нежного, первого своего детства, он не вырос под плетью, от которой буквально всю жизнь его в своей орде не сходили рубцы с его спины, то он бы ни за что не вынес этих четырех тысяч. Рассказывая, он как будто благословлял это воспитание под плетью. «Меня за всё били, Александр Петрович, — говорил он мне раз, сидя на моей койке, под вечер, перед огнями, — за всё про всё, за что ни попало, били лет пятнадцать сряду, с самого того дня, как себя помнить начал, каждый день по нескольку раз; не бил, кто не хотел; так что я под конец уж совсем привык». Как он попал в солдаты, не знаю; не помню; впрочем, может, он и рассказывал; это был всегдашний бегун и бродяга. Только помню его рассказ о том, как он ужасно струсил, когда его приговорили к четырем тысячам за убийство начальника. «Я знал, что меня будут наказывать строго и что, может, из-под палок не выпустят, и хоть я и привык к плетям, да ведь четыре тысячи палок — шутка! да еще всё начальство озлилось! Знал я, наверно знал, что не пройдет даром, не выхожу; не выпустят из-под палок. Я сначала попробовал было окреститься, думаю, авось простят, и хоть мне свои же тогда говорили, что ничего из этого не выйдет, не простят, да думаю: все-таки попробую, все-таки им жальче будет крещеного-то. Меня и в самом деле окрестили и при святом крещении нарекли Александром; ну, а палки все-таки палками остались; хоть бы одну простили; даже обидно мне стало. Я и думаю про себя: постой же, я вас всех и взаправду надую. И ведь что вы думаете, Александр Петрович, надул! Я ужасно умел хорошо мертвым представиться, то есть не то чтобы совсем мертвым, а вот-

вот сейчас душа вон из тела уйдет. Повели меня; ведут одну тысячу: жжет, кричу; ведут другую, ну, думаю, конец мой идет, из ума совсем вышибли, ноги подламываются, я грох об землю: глаза у меня стали мертвые, лицо синее, дыхания нет, у рта пена. Подошел лекарь: сейчас, говорит, умрет. Понесли меня в госпиталь, а я тотчас ожил. Так меня еще два раза потом выводили, и уж злились они, очень на меня злились, а я их еще два раза надул; третью тысячу только одну прошел, обмер, а как пошел четвертую, так каждый удар, как ножом по сердцу, проходил, каждый удар за три удара шел, так больно били! Остервенились на меня. Эта-то вот скаредная последняя тысяча (чтоб ее!) всех трех первых стоила, и кабы не умер я перед самым концом (всего палок двести только оставалось), забили бы тут же насмерть, ну да и я не дал себя в обиду: опять надул и опять обмер; опять поверили, да и как не поверить, лекарь верит, так что на двухстах-то последних, хоть изо всей злости били потом, так били, что в другой раз две тысячи легче, да нет, нос утри, не забили, а отчего не забили? А всё тоже потому, что сыздетства под плетью рос. Оттого и жив до сегодня. Ох, били-то меня, били на моем веку!» — прибавил он в конце рассказа как бы в грустном раздумье, как бы силясь припомнить и пересчитать, сколько раз его били. «Да нет, — прибавил он, перебивая минутное молчание, — и не пересчитать, сколько били; да и куды перечесть! Счету такого не хватит». Он взглянул на меня и рассмеялся, но так добродушно, что я сам не мог не улыбнуться ему в ответ. «Знаете ли, Александр Петрович, я ведь и теперь, коли сон ночью вижу, так непременно — что меня бьют: других и снов у меня не бывает». Он действительно часто кричал по ночам и кричал, бывало, во всё горло, так что его тотчас будили толчками арестанты: «Ну, что, черт, кричишь!» Был он парень здоровый, невысокого росту, вертлявый и веселый, лет сорока пяти, жил со всеми ладно, и хоть очень любил воровать и очень часто бывал у нас бит за это, но ведь кто ж у нас не проворовывался и кто ж у нас не был бит за это?

Прибавлю к этому одно: удивлялся я всегда тому необыкновенному добродушию, тому беззлобию, с которым рассказывали все эти битые о том, как их били, и о тех, кто их бил. Часто ни малейшего даже оттенка злобы или ненависти не слышалось в таком рассказе, от которого у меня подчас подымалось сердце и начинало крепко и сильно стучать. А они, бывало, рассказывают и смеются, как дети. Вот М—цкий, например, рассказывал мне о своем наказании; он был не дворянин и прошел пятьсот. Я узнал об этом от других и сам спросил его: правда ли это и как это было? Он ответил как-то коротко, как будто с какою-то внутреннею болью, точно стараясь не глядеть на меня, и лицо его покраснело; через полминуты он посмотрел на меня, и в глазах его засверкал огонь ненависти, а губы затряслись от негодования. Я почувствовал, что он никогда не мог забыть этой страницы из своего прошед-

шего. Но наши, почти все (не ручаюсь, чтоб не было исключений), смотрели на это совсем иначе. Не может быть, думал я иногда, чтоб они считали себя совсем виновными и достойными казни, особенно когда согрешили не против своих, а против начальства. Большинство из них совсем себя не винило. Я сказал уже, что угрызений совести я не замечал, даже в тех случаях, когда преступление было против своего же общества. О преступлениях против начальства и говорить нечего. Казалось мне иногда, что в этом последнем случае был свой особенный, так сказать, какой-то практический или, лучше, фактический взгляд на дело. Принималась во внимание судьба, неотразимость факта, и не то что обдуманно как-нибудь, а так уж, бессознательно, как вера какая-нибудь. Арестант, например, хоть и всегда наклонен чувствовать себя правым в преступлениях против начальства, так что и самый вопрос об этом для него немыслим, но все-таки он практически сознавал, что начальство смотрит на его преступление совсем иным взглядом, а стало быть, он и должен быть наказан, и квиты. Тут борьба обоюдная. Преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частию и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. Совесть его спокойна, а совестью он и силен и не смущается нравственно, а это главное. Он как бы чувствует, что есть на что опереться, и потому не ненавидит, а принимает случившееся с ним за факт неминуемый, который не им начался, не им и кончится и долго-долго еще будет продолжаться среди раз поставленной, пассивной, но упорной борьбы. Какой солдат ненавидит лично турку, когда с ним воюет; а ведь турка же режет его, колет, стреляет в него. Впрочем, не все рассказы были уж совершенно хладнокровны и равнодушны. Про поручика Жеребятникова, например, рассказывали даже с некоторым оттенком негодования, впрочем не очень большого. С этим поручиком Жеребятниковым я познакомился еще в первое время моего лежания в больнице, разумеется из арестантских рассказов. Потом как-то я увидел его и в натуре, когда он стоял у нас в карауле. Это был человек лет под тридцать, росту высокого, толстый, жирный, с румяными, заплывшими жиром щеками, с белыми зубами и с ноздревским раскатистым смехом. По лицу его было видно, что это самый незадумывающийся человек в мире. Он до страсти любил сечь и наказывать палками, когда, бывало, назначали его экзекутором. Спешу присовокупить, что на поручика Жеребятникова я уж и тогда смотрел как на урода между своими же, да так смотрели на него и сами арестанты. Были и кроме него исполнители, в старину разумеется, в ту недавнюю старину, о которой «свежо предание, а верится с трудом», любившие исполнить свое дело рачительно и с усердием. Но большею частию это происходило наивно и без особого увлечения. Пору-

чик же был чем-то вроде утонченнейшего гастронома в исполнительном деле. Он любил, он страстно любил исполнительное искусство, и любил единственно для искусства. Он наслаждался им и, как истаскавшийся в наслаждениях, полинявший патриций времен Римской империи, изобретал себе разные утонченности, разные противуестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу. Вот выводят арестанта к наказанию; Жеребятников экзекутором; один взгляд на длинный выстроенный ряд людей с толстыми палками уже вдохновляет его. Он самодовольно обходит ряды и подтверждает усиленно, чтобы каждый исполнял свое дело рачительно, совестливо, не то... Но уж солдатики знали, что значит это *не то*. Но вот приводят самого преступника, и если он еще до сих пор был не знаком с Жеребятниковым, если не слыхал еще про него всей подноготной, то вот какую, например, штуку тот с ним выкидывал. (Разумеется, это одна из сотни штучек; поручик был неистощим в изобретениях.) Всякий арестант в ту минуту, когда его обнажают, а руки привязывают к прикладам ружей, на которых таким образом тянут его потом унтер-офицеры через всю зеленую улицу, — всякий арестант, следуя общему обычаю, всегда начинает в эту минуту слезливым, жалобным голосом молить экзекутора, чтобы наказывал послабее и не усугублял наказание излишнею строгостию: «Ваше благородие, — кричит несчастный, — помилуйте, будьте отец родной, заставьте за себя век бога молить, не погубите, помилосердствуйте!» Жеребятников только, бывало, того и ждет; тотчас остановит дело и тоже с чувствительным видом начинает разговор с арестантом:

— Друг ты мой, — говорит он, — да что же мне-то делать с тобой? Не я наказую, закон!

— Ваше благородие, всё в ваших руках, помилосердствуйте!

— А ты думаешь, мне не жалко тебя? Ты думаешь, мне в удовольствие смотреть, как тебя будут бить? Ведь я тоже человек! Человек я аль нет, по-твоему?

— Вестимо, ваше благородие, знамо дело; вы отцы, мы дети. Будьте отцом родным! — кричит арестант, начиная уже надеяться.

— Да, друг ты мой, рассуди сам; ум-то ведь у тебя есть, чтоб рассудить: ведь я и сам знаю, что по человечеству должен и на тебя, грешника, смотреть снисходительно и милостиво.

— Сущую правду изволите, ваше благородие, говорить!

— Да, милостиво смотреть, как бы ты ни был грешен. Да ведь тут не я, а закон! Подумай! Ведь я богу служу и отечеству; я ведь тяжкий грех возьму на себя, если ослаблю закон, подумай об этом!

— Ваше благородие!

— Ну, да уж что! Уж так и быть, для тебя! Знаю, что грешу, но уж так и быть... Помилую я тебя на этот раз, накажу легко. Ну, а что если я тем самым тебе вред принесу? Я тебя вот теперь

помилую, накажу легко, а ты понадеешься, что и другой раз так же будет, да и опять преступление сделаешь, что тогда? Ведь на моей же душе...

— Ваше благородие! Другу, недругу закажу! Вот как есть перед престолом небесного создателя...

— Ну, да уж хорошо, хорошо! А поклянешься мне, что будешь себя впредь хорошо вести?

— Да разрази меня господи, да чтоб мне на том свете...

— Не клянись, грешно. Я и слову твоему поверю, даешь слово?

— Ваше благородие!!!

— Ну, слушай же, милую я тебя только ради сиротских слез твоих; ты сирота?

— Сирота, ваше благородие, как перст один, ни отца, ни матери...

— Ну, так ради сиротских слез твоих; но смотри же, в последний раз... ведите его, — прибавляет он таким мягкосердым голосом, что арестант уж и не знает, какими молитвами бога молить за такого милостивца. Но вот грозная процессия тронулась, повели; загремел барабан, замахали первые палки... «Катай его! — кричит во всё свое горло Жеребятников. — Жги его! Лупи, лупи! Обжигай! Еще ему, еще ему! Крепче сироту, крепче мошенника! Сажай его, сажай!» И солдаты лупят со всего размаха, искры сыплются из глаз бедняка, он начинает кричать, а Жеребятников бежит за ним по фрунту и хохочет, хохочет, заливается, бока руками подпирает от смеха, распрямиться не может, так что даже жалко его под конец станет, сердешного. И рад-то он, и смешно-то ему, и только разве изредка перервется его звонкий, здоровый, раскатистый смех, и слышится опять: «Лупи его, лупи! Обжигай его, мошенника, обжигай сироту!..»

А вот еще какие он изобретал варьяции: выведут к наказанию; арестант опять начинает молить. Жеребятников на этот раз не ломается, не гримасничает, а пускается в откровенности:

— Видишь что, любезный, — говорит он, — накажу я тебя как следует, потому ты и стоишь того. Но вот что я для тебя, пожалуй, сделаю: к прикладам я тебя не привяжу. Один пойдешь, только по-новому: беги что есть силы через весь фрунт! Тут хоть и каждая палка ударит, да ведь дело-то будет короче, как думаешь? Хочешь испробовать?

Арестант слушает с недоумением, с недоверчивостью и задумывается. «Что ж, — думает он про себя, — а может, оно и вправду вольготнее будет; пробегу что есть мочи, так мука впятеро короче будет, а может, и не всякая палка ударит».

— Хорошо, ваше благородие, согласен.

— Ну, и я согласен, катай! Смотрите ж, не зевать! — кричит он солдатам, зная, впрочем, наперед, что ни одна палка не манкирует виноватой спины; промахнувшийся солдат тоже очень хорошо знает, чему подвергается. Арестант пускается бежать что

есть силы по «зеленой улице», но, разумеется, не пробегает и пятнадцати рядов; палки, как барабанная дробь, как молния, разом, вдруг, низвергаются на его спину, и бедняк с криком упадает, как подкошенный, как сраженный пулей. «Нет, ваше благородие, лучше уж по закону», — говорит он, медленно подымаясь с земли, бледный и испуганный, а Жеребятников, который заранее знал всю эту штуку и что из нее выйдет, хохочет, заливается. Но и не описать всех его развлечений и всего, что про него у нас рассказывали!

Несколько другим образом, в другом тоне и духе, рассказывали у нас об одном поручике Смекалове, исполнявшем должность командира при нашем остроге, прежде еще, чем назначили к этой должности нашего плац-майора. Про Жеребятникова хоть и рассказывали довольно равнодушно, без особенной злобы, но все-таки не любовались его подвигами, не хвалили его, а видимо им гнушались. Даже как-то свысока презирали его. Но про поручика Смекалова вспоминали у нас с радостию и наслаждением. Дело в том, что это вовсе не был какой-нибудь особенный охотник высечь; в нем отнюдь не было чисто жеребятнического элемента. Но все-таки он был отнюдь не прочь и высечь; в том-то и дело, что самые розги его вспоминались у нас с какою-то сладкою любовью, — так умел угодить этот человек арестантам! А и чем? Чем заслужил он такую популярность? Правда, наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово; говорю об этом как об факте, не разбирая его на этот раз ни с той, ни с другой стороны. Нетрудно было угодить этому народу и приобрести у него популярность. Но поручик Смекалов приобрел *особенную* популярность — так что даже о том, как он сек, припоминалось чуть не с умилением. «Отца не надо», — говорят, бывало, арестанты и даже вздыхают, сравнивая по воспоминаниям их прежнего временного начальника, Смекалова, с теперешним плац-майором. «Душа человек!» Был он человек простой, может, даже и добрый по-своему. Но случается, бывает не только добрый, но даже и великодушный человек в начальниках; и что ж? — все не любят его, а над иным так, смотришь, и просто смеются. Дело в том, что Смекалов умел как-то так сделать, что все его у нас признавали за *своего* человека, а это большое уменье или, вернее сказать, прирожденная способность, над которой и не задумываются даже обладающие ею. Странное дело: бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Не брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу, — вот где, кажется мне, причина! Барчонка-белоручки в них не видать, духа барского не слыхать, а есть в них какой-то особенный простонародный запах, прирожденный им, и, боже мой, как чуток народ к этому запаху! Чего он не отдаст за него! Милосерднейшего человека готов променять даже на самого строгого, если этот припахивает ихним собственным посконным запахом. Что ж, если этот припахиваю-

щий человек, сверх того, и действительно добродушен, хотя бы и по-своему? Тут уж ему и цены нет! Поручик Смекалов, как уже и сказал я, иной раз и больно наказывал, но он как-то так умел сделать, что на него не только не злобствовали, но даже, напротив, теперь, в мое время, как уже всё давно прошло, вспоминали о его *штучках* при сечении со смехом и с наслаждением. Впрочем, у него было немного штук: фантазии художественной не хватало. По правде, была всего-то одна штучка, одна-единственная, с которой он чуть не целый год у нас пробавлялся; но, может быть, она именно и мила-то была тем, что была единственная. Наивности в этом было много. Приведут, например, виноватого арестанта. Смекалов сам выйдет к наказанию, выйдет с усмешкою, с шуткою, об чем-нибудь тут же расспросит виноватого, об чем-нибудь постороннем, о его личных, домашних, арестантских делах, и вовсе не с какою-нибудь целью, не с заигрыванием каким-нибудь, а так просто — *потому что ему действительно знать хочется об этих делах*. Принесут розги, а Смекалову стул; он сядет на него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить... «Нет уж, брат, ложись, чего уж тут...» — скажет Смекалов; арестант вздохнет и ляжет «Ну-тка, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?» — «Как не знать, ваше благородие, мы крещеные, сыздетства учились». — «Ну, так читай». И уж арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука раз тридцать уже и прежде с другими повторялась. Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает; знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой штуке тоже давно уж наслышаны, и все-таки он повторяет ее опять, — так она ему раз навсегда понравилась, может быть именно потому, что он ее сам сочинил, из литературного самолюбия. Арестант начинает читать, люди с розгами ждут, а Смекалов даже принагнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит наконец до слова «*на небеси*». Того только и надо. «Стой! — кричит воспламененный поручик и мигом с вдохновенным жестом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит: — А ты ему поднеси!»

И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый, несмотря на то что розга по команде «*поднеси*» свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритвой резнуть по его виноватому телу. И радуется Смекалов, радуется именно тому, что вот как же это он так хорошо придумал — и *сам* сочинил: «на небеси» и «поднеси» — и кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и высеченный тоже уходит чуть не довольный собой и Смекаловым и, смотришь, через полчаса уж рассказывает в остроге, как и теперь, в тридцать первый раз, была повторена уже тридцать раз

прежде сего повторенная штука. «Одно слово, душа человек! Забавник!»

Даже подчас какой-то маниловщиной отзывались воспоминания о добрейшем поручике.

— Бывало, идешь этта, братцы, — рассказывает какой-нибудь арестантик, и всё лицо его улыбается от воспоминания, — идешь, а он уж сидит себе под окошком в халатике, чай пьет, трубочку покуривает. Снимешь шапку. — Куда, Аксенов, идешь?

— Да на работу, Михаил Васильич, перво-наперво в мастерскую надоть, — засмеется себе... То есть душа человек! Одно слово душа!

— И не нажить такого! — прибавляет кто-нибудь из слушателей.

III

ПРОДОЛЖЕНИЕ *

Я заговорил теперь о наказаниях, равно как и об разных исполнителях этих интересных обязанностей, собственно потому, что, переселясь в госпиталь, получил только тогда и первое наглядное понятие обо всех этих делах. До тех пор я знал об этом только понаслышке. В наши две палаты сводились все наказанные шпицрутенами подсудимые из всех батальонов, арестантских отделений и прочих военных команд, расположенных в нашем городе и во всем его округе. В это первое время, когда я ко всему, что совершалось кругом меня, еще так жадно приглядывался, все эти странные для меня порядки, все эти наказанные и готовившиеся к наказанию естественно производили на меня сильнейшее впечатление. Я был взволнован, смущен и испуган. Помню, что тогда же я вдруг и нетерпеливо стал вникать во все подробности этих новых явлений, слушать разговоры и рассказы на эту тему других арестантов, сам задавал им вопросы, добивался решений. Мне желалось, между прочим, знать непременно все степени приговоров и исполнений, все оттенки этих исполнений, взгляд на всё это самих арестантов; я старался вообразить себе психологическое состояние идущих на казнь. Я сказал уже, что перед наказанием редко кто бывает хладнокровен, не исключая даже и тех, которые уже предварительно были много и неоднократно биты. Тут вообще находит на осужденного какой-то острый, но чисто физический страх, невольный и неотразимый, подавляющий всё нравственное существо человека. Я и потом, во все эти несколько лет острожной жизни, невольно приглядывался к тем из подсудимых, которые, пролежав в госпитале после первой половины наказания и залечив свои спины, выписывались из госпиталя, чтобы назавтра же выходить остальную по-

---

* Всё, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь, я слышал, всё это изменилось и изменяется.

ловину назначенных по конфирмации палок. Это разделение наказания на две половины случается всегда по приговору лекаря, присутствующего при наказании. Если назначенное по преступлению число ударов большое, так что арестанту всего разом не вынести, то делят ему это число на две, даже на три части, судя по тому, что скажет доктор во время уже самого наказания, то есть может ли наказуемый продолжать идти сквозь строй дальше, или это будет сопряжено с опасностью для его жизни. Обыкновенно пятьсот, тысяча и даже полторы тысячи выходятся разом; но если приговор в две, в три тысячи, то исполнение делится на две половины и даже на три. Те, которые, залечив после первой половины свою спину, выходили из госпиталя, чтоб идти под вторую половину, в день выписки и накануне бывали обыкновенно мрачны, угрюмы, неразговорчивы. Замечалась в них некоторая отупелость ума, какая-то неестественная рассеянность. В разговоры такой человек не пускается и больше молчит; любопытнее всего, что с таким и сами арестанты никогда не говорят и не стараются заговаривать о том, что его ожидает. Ни лишнего слова, ни утешения; даже стараются и вообще-то мало внимания обращать на такого. Это, конечно, лучше для подсудимого. Бывают исключения, как вот, например, Орлов, о котором я уже рассказывал. После первой половины наказания он только на то и досадовал, что спина его долго не заживает и что нельзя ему поскорее выписаться, чтоб поскорей выходить остальные удары, отправиться с партией в назначенную ему ссылку и бежать с дороги. Но этого развлекала цель, и бог знает, что у него на уме. Это была страстная и живучая натура. Он был очень доволен, в сильно возбужденном состоянии, хотя и подавлял свои ощущения. Дело в том, что он еще перед первой половиной наказания думал, что его не выпустят из-под палок и что он должен умереть. До него доходили уже разные слухи о мерах начальства, еще когда он содержался под судом; он уже и тогда готовился к смерти. Но, выходив первую половину, он ободрился. Он явился в госпиталь избитый до полусмерти; я еще никогда не видал таких язв; но он пришел с радостью в сердце, с надеждой, что останется жив, что слухи были ложные, что его вот выпустили же теперь из-под палок, так что теперь, после долгого содержания под судом, ему уже начинали мечтаться дорога, побег, свобода, поля и леса... Через два дня после выписки из госпиталя он умер в том же госпитале, на прежней же койке, не выдержав второй половины. Но я уже упоминал об этом.

И, однако, те же арестанты, которые проводили такие тяжелые дни и ночи перед самым наказанием, переносили самую казнь мужественно, не исключая и самых малодушных. Я редко слышал стоны даже в продолжение первой ночи по их прибытии, нередко даже от чрезвычайно тяжело избитых; вообще народ умеет переносить боль. Насчет боли я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определительно узнать, как велика эта боль, с чем ее,

наконец, можно сравнить? Право, не знаю, для чего я добивался этого. Одно только помню, что не из праздного любопытства. Повторяю, я был взволнован и потрясен. Но у кого я ни спрашивал, я никак не мог добиться удовлетворительного для меня ответа. Жжет, как огнем палит, — вот всё, что я мог узнать, и это был единственный у всех ответ. Жжет, да и только. В это же первое время, сойдясь поближе с М—м, я расспрашивал и его. «Больно, — отвечал он, — очень, а ощущение — жжет, как огнем; как будто жарится спина на самом сильном огне». Одним словом, все показывали в одно слово. Впрочем, помню, я тогда же сделал одно странное замечание, за верность которого особенно не стою; но общность приговора самих арестантов сильно его поддерживает: это то, что розги, если даются в большом количестве, самое тяжелое наказание из всех у нас употребляемых. Казалось бы, что это с первого взгляда нелепо и невозможно. Но, однако же, с пятисот, даже с четырехсот розог можно засечь человека до смерти; а свыше пятисот почти наверно. Тысячи розог не вынесет разом даже человек самого сильнейшего сложения. Между тем пятьсот палок можно перенести безо всякой опасности для жизни. Тысячу палок может вынести, без опасения за жизнь, даже и не сильного сложения человек. Даже с двух тысяч палок нельзя забить человека средней силы и здорового сложения. Арестанты все говорили, что розги хуже палок. «Розги садче, — говорили они, — муки больше». Конечно, розги мучительнее палок. Они сильнее раздражают, сильнее действуют на нервы, возбуждают их свыше меры, потрясают свыше возможности. Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиз де Сада и Бренвилье. Я думаю, что в этом ощущении есть нечто такое, отчего у этих джентльменов замирает сердце, сладко и больно вместе. Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен. К тому же пример, возможность такого своеволия действуют и на всё общество заразительно: такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. Одним

словом, право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению.

Палачом гнушаются же в обществе, но палачом-джентльменом далеко нет. Только недавно высказалось противное мнение, но высказалось еще только в книгах, отвлеченно. Даже те, которые высказывают его, не все еще успели затушить в себе эту потребность самовластия. Даже всякий фабрикант, всякий антрепренер непременно должен ощущать какое-то раздражительное удовольствие в том, что его работник зависит иногда весь, со всем семейством своим, единственно от него. Это наверно так; не так скоро поколение отрывается от того, что сидит в нем наследственно; не так скоро отказывается человек от того, что вошло в кровь его, передано ему, так сказать, с матерним молоком. Не бывает таких скороспелых переворотов. Сознать вину и родовой грех еще мало, очень мало; надобно совсем от него отучиться. А это не так скоро делается.

Я заговорил о палаче. Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке. Но не равно развиваются звериные свойства человека. Если же в ком-нибудь они пересиливают в своем развитии все другие его свойства, то такой человек, конечно, становится ужасным и безобразным. Палачи бывают двух родов: одни бывают добровольные, другие — подневольные, обязанные. Добровольный палач, конечно, во всех отношениях ниже подневольного, которым, однако, так гнушается народ, гнушается до ужаса, до гадливости, до безотчетного, чуть не мистического страха. Откуда же этот почти суеверный страх к одному палачу и такое равнодушие, чуть не одобрение к другому? Бывают примеры до крайности странные: я знавал людей даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, и между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит под розгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно кричать и молить о пощаде. Так принято; это считается и приличным и необходимым, и когда однажды жертва не хотела кричать, то исполнитель, которого я знал и который в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично обиделся при этом случае. Он хотел было сначала наказать легко, но, не слыша обычных «ваше благородие, отец родной, помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить» и проч., рассвирепел и дал розог пятьдесят лишних, желая добиться и крику и просьб, — и добился. «Нельзя-с, грубость есть», — отвечал он мне очень серьезно. Что же касается до настоящего палача, подневольного, обязанного, то известно: это арестант решеный и приговоренный в ссылку, но оставленный в палачах; поступивший сначала в науку к другому палачу и, выучившись у него, оставленный навек при остроге, где он содер-

жится особо, в особой комнате, имеющий даже свое хозяйство, но находящийся почти всегда под конвоем. Конечно, живой человек не машина; палач бьет хоть и по обязанности, но иногда тоже входит в азарт, но хоть бьет не без удовольствия для себя, зато почти никогда не имеет личной ненависти к своей жертве. Ловкость удара, знание своей науки, желание показать себя перед своими товарищами и перед публикой подстрекают его самолюбие. Он хлопочет ради искусства. Кроме того, он знает очень хорошо, что он всеобщий отверженец, что суеверный страх везде встречает и провожает его, и нельзя ручаться, чтоб это не имело на него влияния, не усиливало в нем его ярости, его звериных наклонностей. Даже дети знают, что он «отказывается от отца и матери». Странное дело, сколько мне ни случалось видеть палачей, все они были люди развитые, с толком, с умом и с необыкновенным самолюбием, даже с гордостью. Развилась ли в них эта гордость в отпор всеобщему к ним презрению; усиливалась ли она сознанием страха, внушаемого ими их жертве, и чувством господства над нею, — не знаю. Может быть, даже самая парадность и театральность той обстановки, с которою они являются перед публикой на эшафоте, способствуют развитию в них некоторого высокомерия. Помню, мне пришлось однажды в продолжение некоторого времени часто встречать и близко наблюдать одного палача. Это был малый среднего роста, мускулистый, сухощавый, лет сорока, с довольно приятным и умным лицом и с кудрявой головой. Он был всегда необыкновенно важен, спокоен; снаружи держал себя по-джентльменски, отвечал всегда коротко, рассудительно и даже ласково, но как-то высокомерно ласково, как будто он чем-то чванился предо мною. Караульные офицеры часто с ним при мне заговаривали и, право, даже с некоторым как будто уважением к нему. Он это сознавал и перед начальником нарочно удвоивал свою вежливость, сухость и чувство собственного достоинства. Чем ласковее разговаривал с ним начальник, тем неподатливее сам он казался, и хотя отнюдь не выступал из утонченнейшей вежливости, но, я уверен, в эту минуту он считал себя неизмеримо выше разговаривавшего с ним начальника. На лице его это было написано. Случалось, что иногда в очень жаркий летний день посылали его под конвоем с длинным тонким шестом избивать городских собак. В этом городке было чрезвычайно много собак, совершенно никому не принадлежавших и плодившихся с необыкновенною быстротою. В каникулярное время они становились опасными, и для истребления их, по распоряжению начальства, посылался палач. Но даже и эта унизительная должность, по-видимому, нимало не унижала его. Надо было видеть, с каким достоинством он расхаживал по городским улицам в сопровождении усталого конвойного, пугая уже одним видом своим встречных баб и детей, как он спокойно и даже свысока смотрел на всех встречавшихся. Впрочем, палачам жить привольно. У них есть деньги, едят они очень хорошо, пьют вино. Деньги достаются им

через взятки. Гражданский подсудимый, которому выходит по суду наказание, предварительно хоть чем-нибудь, хоть из последнего, да подарит палача. Но с иных, с богатых подсудимых, они сами берут, назначая им сумму сообразно с вероятными средствами арестанта, берут и по тридцати рублей, а иногда даже и более. С очень богатыми даже очень торгуются. Очень слабо наказать палач, конечно, не может; он отвечает за это своей же спиной. Но зато, за известную взятку, он обещается жертве, что не прибьет ее очень больно. Почти всегда соглашаются на его предложение; если ж нет, он действительно наказывает варварски, и это вполне в его власти. Случается, что он налагает значительную сумму даже на очень бедного подсудимого; родственники ходят, торгуются, кланяются, и беда, если не удовлетворят его. В таких случаях много помогает ему суеверный страх, им внушаемый. Каких диковинок про палачей не рассказывают! Впрочем, сами арестанты уверяли меня, что палач может убить с одного удара. Но, во-первых, когда ж это было испытано? А, впрочем, может быть. Об этом говорили слишком утвердительно. Палач же сам ручался мне, что он это может сделать. Говорили тоже, что он может ударить со всего размаха по самой спине преступника, но так, что даже самого маленького рубчика не вскочит после удара и преступник не почувствует ни малейшей боли. Впрочем, обо всех этих фокусах и утонченностях известно уже слишком много рассказов. Но если даже палач и возьмет взятку, чтоб наказать легко, то все-таки первый удар дается им со всего размаха и изо всей силы. Это даже обратилось между ними в обычай. Последующие удары он смягчает, особенно если ему предварительно заплатили. Но первый удар, заплатили иль нет ему, — его. Право, не знаю, для чего это у них так делается? Для того ли, чтоб сразу приучить жертву к дальнейшим ударам, по тому расчету, что после очень трудного удара уже не так мучительны покажутся легкие, или тут просто желание пофорсить перед жертвой, задать ей страху, огорошить ее с первого раза, чтоб понимала она, с кем дело имеет, показать себя, одним словом. Во всяком случае палач перед началом наказания чувствует себя в возбужденном состоянии духа, чувствует силу свою, сознает себя властелином; он в эту минуту актер; на него дивится и ужасается публика, и, уж конечно, не без наслаждения кричит он своей жертве перед первым ударом: «Поддержись, ожгу!» — обычные и роковые слова в этом случае. Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую.

В это первое время, в госпитале, я заслушивался всех этих арестантских рассказов. Лежать было нам всем ужасно скучно. Каждый день так похож один на другой! Утром еще развлекало нас посещение докторов и потом скоро после них обед. Еда, разумеется, в таком однообразии представляла значительное развлечение. Порции были разные, распределенные по болезням лежавших. Иные получали только один суп с какой-то крупой;

другие только одну кашицу; третьи одну только манную кашу, на которую было очень много охотников. Арестанты от долгого лежания изнеживались и любили лакомиться. Выздоравливавшим и почти здоровым давали кусок вареной говядины, «быка», как у нас говорили. Всех лучше была порция цинготная — говядина с луком, с хреном и с проч., а иногда и с крышкой водки. Хлеб был, тоже смотря по болезням, черный или полубелый, порядочно выпеченный. Эта официальность и тонкость в назначении порций только смешила больных. Конечно, в иной болезни человек и сам ничего не ел. Но зато те больные, которые чувствовали аппетит, ели, что хотели. Иные менялись порциями, так что порция, подходящая к одной болезни, переходила к совершенно другой. Другие, которые лежали на слабой порции, покупали говядину или цинготную порцию, пили квас, госпитальное пиво, покупая его у тех, кому оно назначалось. Иные съедали даже по две порции. Эти порции продавались или перепродавались за деньги. Говяжья порция ценилась довольно высоко: она стоила пять копеек ассигнациями. Если в нашей палате не было у кого купить, посылали сторожа в другую арестантскую палату, а нет — так и в солдатские палаты, в «вольные», как у нас говорили. Всегда находились охотники продать. Они оставались на одном хлебе, зато зашибали деньгу. Бедность была, конечно, всеобщая, но те, которые имели деньжонки, посылали даже на базар за калачами, даже за лакомствами и проч. Наши сторожа исполняли все эти поручения совершенно бескорыстно. После обеда наступало самое скучное время; кто от нечего делать спал, кто болтал, кто ссорился, кто что-нибудь вслух рассказывал. Если не приводили новых больных, было еще скучнее. Приход новичка почти всегда производил некоторое впечатление, особенно если он был никому не знакомый. Его оглядывали, старались узнать, что он и как, откуда и по каким делам. Особенно интересовались в этом случае пересыльными: те всегда что-нибудь да рассказывали, впрочем не о своих интимных делах; об этом, если сам человек не заговаривал, никогда не расспрашивали, а так: откуда шли? с кем? какова дорога? куда пойдут? и проч. Иные, тут же слыша новый рассказ, припоминали как бы мимоходом что-нибудь из своего собственного: об разных пересылках, партиях, исполнителях, о партионных начальниках. Наказанные шпицрутенами являлись тоже об эту пору, к вечеру. Они всегда производили довольно сильное впечатление, как, впрочем, и было уже упомянуто; но не каждый же день их приводили, и в тот день, когда их не было, становилось у нас как-то вяло, как будто все эти лица одно другому страшно надоели, начинались даже ссоры. У нас радовались даже сумасшедшим, которых приводили на испытание. Уловка прикинуться сумасшедшим, чтоб избавиться от наказания, употреблялась изредка подсудимыми. Одних скоро обличали или, лучше сказать, они сами решались изменять политику своих действий, и арестант, прокуралесив два-три дня, вдруг ни с того ни с сего

становился умным, утихал и мрачно начинал проситься на выписку. Ни арестанты, ни доктора не укоряли такого и не стыдили, напоминая ему его недавние фокусы; молча выписывали, молча провожали, и дня через два-три он являлся к нам наказанный. Такие случаи бывали, впрочем, вообще редки. Но настоящие сумасшедшие, приводившиеся на испытание, составляли истинную кару божию для всей палаты. Иных сумасшедших, веселых, бойких, кричащих, пляшущих и поющих, арестанты сначала встречали чуть не с восторгом. «Вот забава-то!» — говаривали они, смотря на иного только что приведенного кривляку. Но мне ужасно трудно и тяжело было видеть этих несчастных. Я никогда не мог хладнокровно смотреть на сумасшедших.

Впрочем, скоро беспрерывные кривлянья и беспокойные выходки приведенного и встреченного с хохотом сумасшедшего решительно всем у нас надоедали и дня в два выводили всех из терпения окончательно. Одного из них держали у нас недели три, и приходилось просто бежать из палаты. Как нарочно, в это время привели еще сумасшедшего. Этот произвел на меня особенное впечатление. Случилось это уже на третий год моей каторги. В первый год, или, лучше сказать, в первые же месяцы моей острожной жизни, весной, я ходил с одной партией на работу за две версты, в кирпичный завод, с печниками, подносчиком. Надо было исправить для будущих летних кирпичных работ печи. В это утро в заводе М-цкий и Б. познакомили меня с проживавшим там надсмотрщиком, унтер-офицером Острожским. Это был поляк, старик лет шестидесяти, высокий, сухощавый, чрезвычайно благообразной и даже величавой наружности. В Сибири он находился с давнишних пор на службе и хоть происходил из простонародья, пришел как солдат бывшего в тридцатом году войска, но М-цкий и Б. его любили и уважали. Он всё читал католическую Библию. Я разговаривал с ним, и он говорил так ласково, так разумно, так занимательно рассказывал, так добродушно и честно смотрел. С тех пор я не видал его года два, слышал только, что по какому-то делу он находился под следствием, и вдруг его ввели к нам в палату как сумасшедшего. Он вошел с визгами, с хохотом и с самыми неприличными, с самыми камаринскими жестами пустился плясать по палате. Арестанты были в восторге, но мне стало так грустно... Через три дня мы все уже не знали, куда с ним деваться. Он ссорился, дрался, визжал, пел песни, даже ночью, делал поминутно такие отвратительные выходки, что всех начинало просто тошнить. Он никого не боялся. На него надевали горячешную рубашку, но от этого становилось нам же хуже, хотя без рубашки он затевал ссоры и лез драться чуть не со всеми. В эти три недели иногда вся палата подымалась в один голос и просила главного доктора перевести наше нещечко в другую арестантскую палату. Там в свою очередь выпрашивали дня через два перевести его к нам. А так как сумасшедших случилось у нас разом двое, беспокойных и забияк, то одна палата с другою

чередовались и менялись сумасшедшими. Но оказывались оба хуже. Все вздохнули свободнее, когда их от нас увели наконец куда-то...

Помню тоже еще одного странного сумасшедшего. Привели однажды летом одного подсудимого, здорового и с виду очень неуклюжего парня, лет сорока пяти, с уродливым от оспы лицом, с заплывшими красными маленькими глазами и с чрезвычайно угрюмым и мрачным видом. Поместился он рядом со мною. Оказался он очень смирным малым, ни с кем не заговаривал и сидел как будто что-то обдумывая. Стало смеркаться, и вдруг он обратился ко мне. Прямо, без дальних предисловий, но с таким видом, как будто сообщает мне чрезвычайную тайну, он стал мне рассказывать, что на днях ему выходит две тысячи, но что этого теперь не будет, потому что дочь полковника Г. об нем хлопочет. Я с недоумением посмотрел на него и отвечал, что в таком случае, мне кажется, дочь полковника ничего не в состоянии сделать. Я еще ни о чем не догадывался; его привели вовсе не как сумасшедшего, а как обыкновенного больного. Я спросил его, чем он болен? Он ответил мне, что не знает и что его зачем-то сюда прислали, но что он совершенно здоров, а полковничья дочь в него влюблена; что она раз, две недели тому назад, проезжала мимо абвахты, а он на ту пору и выгляни из-за решетчатого окошечка. Она, как увидала его, тотчас же и влюбилась. И с тех пор под разными видами была уже три раза на абвахте; первый раз заходила вместе с отцом к брату, офицеру, стоявшему в то время у них в карауле; другой раз пришла с матерью раздать подаяние и, проходя мимо, шепнула ему, что она его любит и выручит. Странно было, с какими тонкими подробностями рассказывал он мне всю эту нелепость, которая, разумеется, вся целиком родилась в расстроенной, бедной голове его. В свое избавление от наказания он верил свято. О страстной любви к нему этой барышни говорил спокойно и утвердительно, и, несмотря уже на общую нелепость рассказа, так дико было слышать такую романтическую историю о влюбленной девице от человека под пятьдесят лет, с такой унылой, огорченной и уродливой физиономией. Странно, что мог сделать страх наказанья с этой робкой душой. Может быть, он действительно кого-нибудь увидел в окошко, и сумасшествие, приготовлявшееся в нем от страха, возраставшего с каждым часом, вдруг разом нашло свой исход, свою форму. Этот несчастный солдат, которому, может быть, во всю жизнь ни разу и не подумалось о барышнях, выдумал вдруг целый роман, инстинктивно хватаясь хоть за эту соломинку. Я выслушал молча и сообщил о нем другим арестантам. Но когда другие стали любопытствовать, он целомудренно замолчал. Назавтра доктор долго опрашивал его, и так как он сказал ему, что ничем не болен, и по осмотру оказался действительно таким, то его и выписали. Но о том, что у него в листе написано было sanat, мы узнали уже, когда доктора вышли из палаты, так что сказать им, в чем дело, уже нельзя было.

Да мы и сами-то еще тогда вполне не догадывались, в чем было главное дело. А между тем всё дело состояло в ошибке приславшего его к нам начальства, не объяснившего, для чего его присылали. Тут случилась какая-то небрежность. А может быть, даже и приславшие еще только догадывались и были вовсе не уверены в его сумасшествии, действовали по темным слухам и прислали его на испытанье. Как бы то ни было, несчастного вывели через два дня к наказанию. Оно, кажется, очень поразило его своею неожиданностью; он не верил, что его накажут, до последней минуты и, когда повели его по рядам, стал кричать: «Караул!» В госпитале его положили на этот раз уже не в нашу, а, за неимением в ней коек, в другую палату. Но я справлялся о нем и узнал, что он во все восемь дней ни с кем не сказал ни слова, был смущен и чрезвычайно грустен... Потом его куда-то услали, когда зажила его спина. Я по крайней мере уже больше не слыхал о нем ничего.

Что же касается вообще до лечения и лекарств, то, сколько я мог заметить, легкобольные почти не исполняли предписаний и не принимали лекарств, но труднобольные и вообще действительно больные очень любили лечиться, принимали аккуратно свои микстуры и порошки; но более всего у нас любили наружные средства. Банки, пиявки, припарки и кровопускания, которые так любит и которым так верит наш простолюдин, принимались у нас охотно и даже с удовольствием. Меня заинтересовало одно странное обстоятельство. Эти самые люди, которые были так терпеливы в перенесении мучительнейших болей от палок и розог, нередко жаловались, кривлялись и даже стонали от каких-нибудь банок. Разнеживались ли они уж очень, или так просто франтили, — уж не знаю, как это объяснить. Правда, наши банки были особого рода. Машинку, которою просекается мгновенно кожа, фельдшер когда-то, в незапамятные времена, затерял или испортил, или, может быть, она сама испортилась, так что он уже принужден был делать необходимые надрезы тела ланцетом. Надрезов делают для каждой банки около двенадцати. Машинкой не больно. Двенадцать ножичков ударят вдруг, мгновенно, и боль не слышна. Но надрезывание ланцетом другое дело. Ланцет режет сравнительно очень медленно; боль слышна; а так как, например, при десяти банках приходится сделать сто двадцать таких надрезов, то всё вместе, конечно, было чувствительно. Я испытал это, но хотя и было больно и досадно, но все-таки не так же, чтоб не удержаться и стонать. Даже смешно было иногда смотреть на иного верзилу и здоровяка, как он корчится и начинает нюнить. Вообще это можно было сравнить с тем, когда иной человек, твердый и даже спокойный в каком-нибудь серьезном деле, хандрит и капризничает дома, когда нечего делать, не ест, что подают, бранится и ругается; всё не по нем, все ему досаждают, все ему грубят, все его мучают — одним словом, с жиру бесится, как говорят иногда о таких господах, встречающихся, впрочем,

и в простонародии; а в нашем остроге, при взаимном всеобщем сожитии, даже слишком часто. Бывало, в палате свои уже начнут дразнить такого неженку, а иной просто выругает; вот он и замолчит, точно и в самом деле того и ждал, чтоб его выругали, чтоб замолчать. Особенно не любил этого Устьянцев и никогда не пропускал случая поругаться с неженкой. Он и вообще не пропускал случая с кем-нибудь сцепиться. Это было его наслаждением, потребностью, разумеется от болезни, отчасти и от тупоумия. Смотрит, бывало, сперва серьезно и пристально и потом каким-то спокойным, убежденным голосом начинает читать наставления. До всего ему было дело; точно он был приставлен у нас для наблюдения за порядком или за всеобщею нравственностью.

— До всего доходит, — говорят, бывало, смеясь, арестанты. Его, впрочем, щадили и избегали ругаться с ним, а так только иногда смеялись.

— Ишь, наговорил! На трех возах не вывезешь.

— Чего наговорил? Перед дураком шапки не снимают известно. Чего ж он от ланцета кричит? Любил медок, люби и холодок, терпи, значит.

— Да тебе-то что?

— Нет, братцы, — перебил один из наших арестантиков, — рожки ничего; я испробовал; а вот нет хуже боли, когда тебя за ухо долго тянут.

Все засмеялись.

— А тебя нешто тянули?

— А ты думал нет? Известно, тянули.

— То-то ухи-то у тебя торчком стоят.

У этого арестантика, Шапкина, действительно были предлинные, в обе стороны торчавшие уши. Он был из бродяг, еще молодой, малый дельный и тихий, говоривший всегда с каким-то серьезным, затаенным юмором, что придавало много комизму иным его рассказам.

— Да с чего мне думать-то, что тебя за ухо тянули? Да и как я это вздумаю, туголобый ты человек? — ввязался снова Устьянцев, с негодованием обращаясь к Шапкину, хотя, впрочем, тот вовсе не к нему относился, а ко всем вообще, но Шапкин даже и не посмотрел на него.

— А тебя кто тянул? — спросил кто-то.

— Кто? Известно кто, исправник. Это, братцы, по бродяжеству было. Пришли мы тогда в К., а было нас двое, я да другой, тоже бродяга, Ефим без прозвища. По дороге мы у одного мужика в Толминой деревне разжились маненько. Деревня такая есть, То́лмина. Ну, вошли да и поглядываем: разжиться бы и здесь, да и драло. В поле четыре воли, а в городе жутко — известно. Ну, перво-наперво зашли в кабачок. Огляделись. Подходит к нам один, прогорелый такой, локти продраны, в немецком платье. То да се.

— А вы как, говорит, позвольте спросить, по документу?*

— Нет, говорим, без документа.

— Так-с. И мы тоже-с. Тут у меня еще двое благоприятелей, говорит, тоже у генерала Кукушкина** служат. Так вот смею спросить, мы вот подкутили маненько да и деньжонками пока не разжились. Полштофика благоволите нам.

— С нашим полным удовольствием, говорим. Ну, выпили. И указали тут они нам одно дело, по столевской, то есть по нашей, части. Дом тут стоял, с краю города, и богатый тут жил один мещанин, добра пропасть, ночью и положили проведать. Да только мы у богатого-то мещанина тут все впятером, в ту же ночь, и попались. Взяли нас в часть, а потом к самому исправнику. Я, говорит, их сам допрошу. Выходит с трубкой, чашку чаю за ним несут, здоровенный такой, с бакенбардами. Сел. А тут уж, кроме нас, еще троих привели, тоже бродяги. И смешной же это человек, братцы, бродяга: ну, ничего не помнит, хоть ты кол ему на голове теши, всё забыл, ничего не знает. Исправник прямо ко мне: «Ты кто таков?» Так и зарычал, как из бочки. Ну, известно, то же, что и все, сказываю: ничего, дескать, не помню, ваше высокоблагородие, всё позабыл.

— Постой, говорит, я еще с тобой поговорю, рожа-то мне знакомая, — сам бельмы на меня так и пялит. А я его допрежь сего никогда и не видывал. К другому: — Ты кто?

— Махни-драло, ваше высокоблагородие.

— Это так тебя и зовут Махни-драло?

— Так и зовут, ваше высокоблагородие.

— Ну, хорошо, ты Махни-драло, а ты? — к третьему, значит.

— А я за ним, ваше высокоблагородие.

— Да прозываешься-то ты как?

— Так и прозываюсь А я за ним, ваше высокоблагородие.

— Да кто ж тебя, подлеца, так назвал?

— Добрые люди назвали, ваше высокоблагородие. На свете не без добрых людей, ваше высокоблагородие, известно.

— А кто такие эти добрые люди?

— А запамятовал маненько, ваше высокоблагородие, уж извольте простить великодушно.

— Всех позабыл?

— Всех позабыл, ваше высокоблагородие.

— Да ведь были ж у тебя тоже отец и мать?.. Их-то хоть помнишь ли?

— Надо так полагать, что были, ваше высокоблагородие, а впрочем, тоже маненько запамятовал; может, и были, ваше высокоблагородие.

— Да где ж ты жил до сих пор?

---

* По паспорту.

** То есть в лесу, где поет кукушка. Он хочет сказать, что они тоже бродяги.

— В лесу, ваше высокоблагородие.

— Всё в лесу?

— Всё в лесу.

— Ну, а зимой?

— Зимы не видал, ваше высокоблагородие.

— Ну, а ты, тебя как зовут?

— Топором, ваше высокоблагородие.

— А тебя?

— Точи не зевай, ваше высокоблагородие.

— А тебя?

— Потачивай небось, ваше высокоблагородие.

— Все ничего не помните?

— Ничего не помним, ваше высокоблагородие.

Стоит, смеется, и они на него глядят, усмехаются. Ну, а другой раз и в зубы ткнет, как нарвешься. А народ-то всё здоровенный, жирные такие.

— Отвести их в острог, говорит, я с ними потом; ну, а ты оставайся, — это мне то есть говорит. — Пошел сюда, садись! — Смотрю: стол, бумага, перо. Думаю: «Чего ж он это ладит делать?» — Садись, говорит, на стул, бери перо, пиши! — а сам схватил меня за ухо да и тянет. Я смотрю на него, как черт на попа: «Не умею, говорю, ваше высокоблагородие». — Пиши!

— Помилосердуйте, ваше высокоблагородие. — Пиши, как умеешь, так и пиши! — а сам всё за ухо тянет, всё тянет, да как завернет! Ну, братцы, скажу, легче бы он мне триста розог всыпал, ажно искры посыпались, — пиши, да и только!

— Да что он, сдурел, что ли?

— Нет, не сдурел. А в Т—ке писарек занедолго штуку выкинул: деньги тяпнул казенные да с тем и бежал, тоже уши торчали. Ну, дали знать повсеместно. А я по приметам-то как будто и подошел, так вот он и пытал меня: умею ль я писать и как я пишу?

— Эко дело, парень! А больно?

— Говорю, больно.

Раздался всеобщий смех.

— Ну, а написал?

— Да чего написал? Стал пером водить, водил-водил по бумаге-то, он и бросил. Ну, плюх с десяток накидал, разумеется, да с тем и пустил, тоже в острог, значит.

— А ты разве умеешь писать?

— Прежде умел, а вот как перьями стали писать, так уж я и разучился...

Вот в таких рассказах, или, лучше сказать, в такой болтовне, проходило иногда наше скучное время. Господи, что это была за скука! Дни длинные, душные, один на другой точь-в-точь похожие. Хоть бы книга какая-нибудь! И между тем я, особенно вначале, часто ходил в госпиталь, иногда больной, иногда просто лежать; уходил от острога. Тяжело было там, еще тяжелее, чем

здесь, нравственно тяжелее. Злость, вражда, свара, зависть, беспрерывные придирки к нам, дворянам, злые, угрожающие лица! Тут же в госпитале все были более на равной ноге, жили более по-приятельски. Самое грустное время в продолжение целого дня приходилось вечером, при свечах, и в начале ночи. Укладываются спать рано. Тусклый ночник светит вдали у дверей яркой точкой, а в нашем конце полумрак. Становится смрадно и душно. Иной не может заснуть, встанет и сидит часа полтора на постели, склонив свою голову в колпаке, как будто о чем-то думает. Смотришь на него целый час и стараешься угадать, о чем он думает, чтобы тоже как-нибудь убить время. А то начнешь мечтать, вспоминать прошедшее, рисуются широкие и яркие картины в воображении; припоминаются такие подробности, которых в другое время и не припомнил бы и не прочувствовал бы так, как теперь. А то гадаешь про будущее: как-то выйдешь из острога? Куда? Когда это будет? Воротишься ль когда-нибудь на свою родимую сторону? Думаешь, думаешь, и надежда зашевелится в душе... А то иной раз просто начнешь считать: раз, два, три и т. д., чтоб как-нибудь среди этого счета заснуть. Я иногда насчитывал до трех тысяч и не засыпал. Вот кто-нибудь заворочается. Устьянцев закашляет своим гнилым, чахоточным кашлем и потом слабо застонет и каждый раз приговаривает: «Господи, я согрешил!» И странно слышать этот больной, разбитый и ноющий голос среди всеобщей тиши. А вот где-нибудь в уголке тоже не спят и разговаривают с своих коек. Один что-нибудь начнет рассказывать про свою быль, про далекое, про минувшее, про бродяжничество, про детей, про жену, про прежние порядки. Так и чувствуешь уже по одному отдаленному шепоту, что всё, об чем он рассказывает, никогда к нему опять не воротится, а сам он, рассказчик, — ломоть отрезанный; другой слушает. Слышен только тихий, равномерный шепот, точно вода журчит где-то далеко... Помню, однажды, в одну длинную зимнюю ночь, я прослушал один рассказ. С первого взгляда он мне показался каким-то горячешным сном, как будто я лежал в лихорадке и мне всё это приснилось в жару, в бреду...

IV

АКУЛЬКИН МУЖ

Рассказ

Ночь была уже поздняя, час двенадцатый. Я было заснул, но вдруг проснулся. Тусклый, маленький свет отдаленного ночника едва озарял палату... Почти все уже спали. Спал даже Устьянцев, и в тишине слышно было, как тяжело ему дышится и как хрипит у него в горле с каждым дыханьем мокрота. В отдалении, в сенях, раздались вдруг тяжелые шаги приближающейся караульной смены. Брякнуло прикладом об пол ружье. Отворилась

палата; ефрейтор, осторожно ступая, пересчитал больных. Через минуту заперли палату, поставили нового часового, караул удалился, и опять прежняя тишина. Тут только я заметил, что неподалеку от меня, слева, двое не спали и как будто шептались между собою. Это случалось в палатах: иногда дни и месяцы лежат один подле другого и не скажут ни слова, и вдруг как-нибудь разговорятся в ночной вызывающий час, и один начнет перед другим выкладывать всё свое прошедшее.

Они, по-видимому, давно уже говорили. Начала я не застал, да и теперь не всё мог расслышать; но мало-помалу привык и стал всё понимать. Мне не спалось: что же делать, как не слушать?.. Один рассказывал с жаром, полулежа на постели, приподняв голову и вытянув по направлению к товарищу шею. Он видимо был разгорячен, возбужден; ему хотелось рассказывать. Слушатель его угрюмо и совершенно равнодушно сидел на своей койке, протянув по ней ноги, изредка что-нибудь мычал в ответ или в знак участия рассказчику, но как будто более для приличия, а не в самом деле, и поминутно набивал из рожка свой нос табаком. Это был исправительный солдат Черевин, человек лет пятидесяти, угрюмый педант, холодный резонер и дурак с самолюбием. Рассказчик Шишков был еще молодой малый, лет под тридцать, наш гражданский арестант, работавший в швальне. До сих пор я мало обращал на него внимания; да и потом во всё время моей острожной жизни как-то не тянуло меня им заняться. Это был пустой и взбалмошный человек. Иногда молчит, живет угрюмо, держит себя грубо, по неделям не говорит. А иногда вдруг ввяжется в какую-нибудь историю, начнет сплетничать, горячится из пустяков, снует из казармы в казарму, передает вести, наговаривает, из себя выходит. Его побьют, он опять замолчит. Парень был трусоватый и жидкий. Все как-то с пренебрежением с ним обходились. Был он небольшого роста, худощавый; глаза какие-то беспокойные, а иногда как-то тупо задумчивые. Случалось ему что-нибудь рассказывать: начнет горячо, с жаром, даже руками размахивает — и вдруг порвет али сойдет на другое, увлечется новыми подробностями и забудет, о чем начал говорить. Он часто ругивался и непременно, бывало, когда ругается, попрекает в чем-нибудь человека, в какой-нибудь вине перед собой, с чувством говорит, чуть не плачет... На балалайке он играл недурно и любил играть, а на праздниках даже плясал, и плясал хорошо, когда, бывало, заставят... Его очень скоро можно было что-нибудь заставить сделать... Он не то чтоб уж так был послушен, а любил лезть в товарищество и угождать из товарищества.

Я долго не мог вникнуть, про что он рассказывает. Мне казалось тоже сначала, что он всё отступает от темы и увлекается посторонним. Он, может быть, и замечал, что Черевину почти дела нет до его рассказа, но, кажется, хотел нарочно убедить себя, что слушатель его — весь внимание, и, может быть, ему было бы очень больно, если б он убедился в противном.

— ...Бывало, выйдет на базар-то, — продолжал он, — все кланяются, чествуют, одно слово — богатей.

— Торги, говоришь, имел?

— Ну да, торги. Оно по мещанству-то промеж нами беднó. Голь как есть. Бабы-то с реки-то, на яр, эвона куда воду носят в огороде полить; маются-маются, а к осени и на щп-то не выберут. Разор. Ну, заимку большую имел, землю работниками пахал, троих держал, опять к тому ж своя пасека, медом торговали и скотом тоже, и по нашему месту, значит, был в великом уважении. Стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой. Этта выйдет в лисьей шубе на базар-то, так все-то чествуют. Чувствуют, значит. «Здравствуйте, батюшка, Анкудим Трофимыч!» — «Здравствуй, скажет, и ты». Никем то есть не побрезгает. «Живите больше, Анкудим Трофимыч!» — «А как твои дела?» — спросит. «Да наши дела, как сажа бела. Вы как, батюшка?» — «Живем и мы, скажет, по грехам нашим, тоже небо коптим». — «Живите больше, Анкудим Трофимыч!» Никем то есть не брезгует, а говорит — так всякое слово его словно в рубль идет. Начетчик был, грамотей, всё-то божественное читает. Посадит старуху перед собой: «Ну, слушай, жена, понимай!» — и начнет толковать. А старуха-то не то чтобы старая была, на второй уж на ней женился, для детей, значит, от первой-то не было. Ну, а от второй-то, от Марьи-то Степановны, два сына были еще невзрослые, младшего-то, Васю, шестидесяти лет прижил, а Акулька-то, дочь из всех старшая, значит, восемнадцати лет была.

— Это твоя-то, жена-то?

— Погоди, сначала тут Филька Морозов набухвостит. Ты, говорит Филька-то Анкудиму-то, делись; все четыреста целковых отдай, а я работник, что ли, тебе? не хочу с тобой торговать и Акульку твою, говорит, брать не хочу. Я теперь, говорит, закурил. У меня, говорит, теперь родители померли, так я и деньги пропью, да потом в наемщики, значит, в солдаты пойду, а через десять лет фельдмаршалом сюда к вам приеду. Анкудим-то ему деньги и отдал, совсем как есть рассчитался, — потому еще отец его с стариком-то на один капитал торговали. «Пропащий ты, говорит, человек». А он ему: «Ну, еще пропащий я или нет, а с тобой, седая борода, научишься шилом молоко хлебать. Ты, говорит, экономию с двух грошей загнать хочешь, всякую дрянь собираешь, — не годится ли в кашу. Я, дескать, на это плевать хотел. Копишь-копишь, да черта и купишь. У меня, говорит, характер. А Акульку твою все-таки не возьму: я, говорит, и без того с ней спал...»

— Да как же, говорит Анкудим-то, ты смеешь позорить честного отца, честную дочь? Когда ты с ней спал, змеиное ты сало, шучья ты кровь? — а сам и затрясся весь. Сам Филька рассказывал.

— Да не то что за меня, говорит, я так сделаю, что и ни за кого Акулька ваша теперь не пойдет, никто не возьмет, и Микита

Григорьич теперь не возьмет, потому она теперь бесчестная. Мы еще с осени с ней на житье схватились. А я теперь за сто раков не соглашусь. Вот на пробу давай сейчас сто раков — не соглашусь...

И закурил же он у нас, парень! Да так, что земля стоном стоит, по городу-то гул идет. Товарищей понабрал, денег куча, месяца три кутил, всё спустил. «Я, говорит, бывало, как деньги все покончу, дом спущу, все спущу, а потом либо в наемщики, либо бродяжить пойду!» С утра, бывало, до вечера пьян, с бубенчиками на паре ездил. И уж так его любили девки, что ужасти. На торбе хорошо играл.

— Значит, он с Акулькой еще допрежь того дело имел?

— Стой, подожди. Я тогда тоже родителя схоронил, а матушка моя пряники, значит, пекла, на Анкудима работали, тем и кормились. Житье у нас было плохое. Ну, тоже заимка за лесом была, хлебушка сеяли, да после отца-то всё порешили, потому я тоже закурил, братец ты мой. От матери деньги побоями вымогал...

— Это нехорошо, коли побоями. Грех великий.

— Бывало, пьян, братец ты мой, с утра до ночи. Дом у нас был еще так себе, ничего, хоть гнилой, да свой, да в избе-то хоть зайца гоняй. Голодом, бывало, сидим, по неделе тряпицу жуем. Мать-то меня, бывало, костит, костит; а мне чего!.. Я, брат, тогда от Фильки Морозова не отходил. С утра до ночи с ним. «Играй, говорит, мне на гитаре и танцуй, а я буду лежать и в тебя деньги кидать, потому как я самый богатый человек». И чего-чего он не делал! Краденого только не принимал: «Я, говорит, не вор, а честный человек». «А пойдемте, говорит, Акульке ворота дегтем мазать; потому не хочу, чтоб Акулька за Микиту Григорьича вышла. Это мне теперь дороже киселя, говорит». А за Микиту Григорьича старик еще допрежь сего хотел девку отдать. Микита-то старик тоже был, вдовец, в очках ходил, торговал. Он как услыхал, что про Акульку слухи пошли, да и на попятный: «Мне, говорит, Анкудим Трофимыч, это в большое бесчестье будет, да и жениться я, по старости лет, не желаю». Вот мы Акульке ворота и вымазали. Так уж драли ее, драли за это дома-то... Марья Степановна кричит: «Со света сживу!» А старик: «В древние годы, говорит, при честных патриархах, я бы ее, говорит, на костре изрубил, а ныне, говорит, в свете тьма и тлен». Бывало, суседи на всю улицу слышат, как Акулька ревма-ревет: секут с утра до ночи. А Филька на весь базар кричит: «Славная говорит, есть девка Акулька, собутыльница. Чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь! Я, говорит, им там кинулся в нос, помнить будут». В то время и я раз повстречал Акульку, с ведрами шла, да и кричу: «Здравствуйте, Акулина Кудимовна! Салфет вашей милости, чисто ходишь, где берешь, дай подписку, с кем живешь!» — да только и сказал; а она как посмотрела на меня, такие у ней большие глаза-то были, а сама похудела, как щепка. Как посмотрела на меня, мать-то думала, что она смеется со мною,

и кричит в подворотню: «Что ты зубы-то моешь, бесстыдница!» — так в тот день ее опять драть. Бывало, целый битый час дерет. «Засеку, говорит, потому она мне теперь не дочь».

— Распутная, значит, была.

— А вот ты слушай, дядюшка. Мы вот как это всё тогда с Филькой пьянствовали, мать ко мне и приходит, а я лежу: «Что ты, говорит, подлец, лежишь? Разбойник ты, говорит, этакой». Ругается, значит. «Женись, говорит, вот на Акульке женись. Они теперь и за тебя рады отдать будут, триста рублей одних денег дадут». А я ей: «Да ведь она, говорю, теперь уж на весь свет бесчестная стала». — «А ты дурак, говорит; венцом всё прикрывается; тебе ж лучше, коль она перед тобой на всю жизнь виновата выйдет. А мы бы ихними деньгами и справились; я уж с Марьей, говорит, Степановной говорила. Очень слушает». А я: «Деньги, говорю, двадцать целковых на стол, тогда женюсь». И вот, веришь иль нет, до самой свадьбы без просыпу был пьян. А тут еще Филька Морозов грозит: «Я тебе, говорит, Акулькин муж, все ребра сломаю, а с женой твоей, захочу, кажинную ночь спать буду». А я ему: «Врешь, собачье мясо!» Ну, тут он меня по всей улице осрамил. Я прибежал домой: «Не хочу, говорю, жениться, коли сейчас мне еще пятьдесят целковых не выложут!»

— А отдавали за тебя-то?

— За меня-то? А отчего нет? Мы ведь не бесчестные были. Мой родитель только под конец от пожару разорился, а то еще ихнего богаче жили. Анкудим-то и говорит: «Вы, говорит, голь перекатная». А я и отвечаю: «Немало, дескать, у вас дегтем-то ворота мазаны». А он мне: «Что ж, говорит, ты над нами куражишься? Ты докажи, что она бесчестная, а на всякий роток не накинешь платок. Вот бог, а вот, говорит, порог, не бери. Только деньги, что забрал, отдай». Вот я тогда с Филькой и порешил: с Митрием Быковым послал ему сказать, что я его на весь свет теперь обесчествую, и до самой свадьбы, братец ты мой, без просыпу был пьян. Только к венцу отрезвился. Как привезли нас этта от венца, посадили, а Митрофан Степаныч, дядя, значит, и говорит: «Хоть и не честно, да крепко, говорит, дело сделано и покончено». Старик-то, Анкудим-то, был тоже пьян и заплакал, сидит — а у него слезы по бороде текут. Ну я, брат, тогда вот как сделал: взял я в карман с собой плеть, еще до венца припас, и так и положил, что уж натешусь же я теперь над Акулькой, знай, дескать, как бесчестным обманом замуж выходить, да чтоб и люди знали, что я не дураком женился...

— И дело! Значит, чтоб она и впредь чувствовала...

— Нет, дядюшка, ты знай помалчивай. По нашему-то месту у нас тотчас же от венца и в клеть ведут, а те покамест там пьют. Вот и оставили нас с Акулькой в клети. Она такая сидит белая, ни кровинки в лице. Испужалась, значит. Волосы у ней были тоже совсем как лен белые. Глаза были большие. И всё, бывало, молчит, не слышно ее, словно немая в доме живет. Чудная совсем.

Что ж, братец, можешь ты это думать: я-то плеть приготовил и тут же у постели положил, а она, братец ты мой, как есть ни в чем не повинная передо мной вышла.

— Что ты!

— Ни в чем; как есть честная из честного дома. И за что же, братец ты мой, она после эфтова такую муку перенесла? За что ж ее Филька Морозов перед всем светом обесчестил?

— Да.

— Стал я это перед ней тогда, тут же с постели, на коленки, руки сложил: «Матушка, говорю, Акулина Кудимовна, прости ты меня, дурака, в том, что я тебя тоже за такую почитал. Прости ты меня, говорю, подлеца!» А она сидит передо мной на кровати, глядит на меня, обе руки мне на плеча положила, смеется, а у самой слезы текут; плачет и смеется... Я тогда как вышел ко всем: «Ну, говорю, встречу теперь Фильку Морозова — и не жить ему больше на свете!» А старики, так те уж кому молиться-то не знают: мать-то чуть в ноги ей не упала, воет. А старик и сказал: «Знали б да ведали, не такого бы мужа тебе, возлюбленная дочь наша, сыскали». А как вышли мы с ней в первое воскресенье в церковь: на мне смушачья шапка, тонкого сукна кафтан, шаровары плисовые; она в новой заячьей шубке, платочек шелковый, — то есть я ее стою и она меня стоит: вот как идем! Люди на нас любуются: я-то сам по себе, а Акулинушку тоже хоть нельзя перед другими похвалить, нельзя и похулить, а так что из десятка не выкинешь...

— Ну и хорошо.

— Ну и слушай. Я после свадьбы на другой же день, хоть и пьяный, да от гостей убег; вырвался этто я и бегу: «Давай, говорю, сюда бездельника Фильку Морозова, — подавай его сюда, подлеца!» Кричу по базару-то! Ну и пьян тоже был; так меня уж подле Власовых изловили да силком три человека домой привели. А по городу-то толк идет. Девки на базаре промеж себя говорят: «Девоньки, умницы, вы что знаете? Акулька-то честная вышла». А Филька-то мне мало время спустя при людях и говорит: «Продай жену — пьян будешь. У нас, говорит, солдат Яшка затем и женился: с женой не спал, а три года пьян был». Я ему говорю: «Ты подлец!» — «А ты, говорит, дурак. Ведь тебя нетрезвого повенчали. Что ж ты в эфтом деле, после того, смыслить мог?» Я домой пришел и кричу: «Вы, говорю, меня пьяного повенчали!» Мать было тут же вцепилась. «У тебя, говорю, матушка, золотом уши завешаны. Подавай Акульку!» Ну, и стал я ее трепать. Трепал я ее, брат, трепал, часа два трепал, доколе сам с ног не свалился; три недели с постели не вставала.

— Оно, конечно, — флегматически заметил Черевин, — их не бей, так они... а разве ты ее застал с полюбовником-то?

— Нет, застать не застал, — помолчав и как бы с усилием заметил Шишков. — Да уж обидно стало мне очень, люди совсем задразнили, и всему-то этому коновод был Филька. «У тебя, го-

ворит, жена для модели, чтобы люди глядели». Нас, гостей, созвал; такую откупорку задал: «Супруга, говорит, у него милосердивая душа, благородная, учтивая, обращательная, всем хороша, во как у него теперь! А забыл, парень, как сам ей дегтем ворота мазал?» Я-то пьян сидел, а он как схватит меня в ту пору за волосы, как схватит, пригнул книзу-то: «Пляши, говорит, Акулькин муж, я тебя так буду за волоса держать, а ты пляши, меня потешай!» — «Подлец ты!» — кричу. А он мне: «Я к тебе с канпанией приеду и Акульку, твою жену, при тебе розгами высеку, сколько мне будет угодно». Так я, верь не верь, после того целый месяц из дому боялся уйти: приедет, думаю, обесчествует. Вот за это самое и стал ее бить...

— Да чего ж бить-то? Руки свяжут, язык не завяжут. Бить тоже много не годится. Накажи, поучи, да и обласкай. На то жена.

Шишков некоторое время молчал.

— Обидно было, — начал он снова, — опять же эту привычку взял; иной день с утра до вечера бью: встала неладно, пошла нехорошо. Не побью, так скучно. Сидит она, бывало, молчит, в окно смотрит, плачет... Всё, бывало, плачет, жаль ее этто станет, а бью. Мать меня, бывало, за нее костит-костит: «Подлец ты, говорит, варначье твое мясо!» — «Убью, кричу, и не смей мне теперь никто говорить; потому меня обманом женили». Сначала старик Анкудим-то вступался, сам приходил: «Ты, говорит, еще не бог знает, какой член; я на тебя и управу найду!» А потом отступился. А Марья-то Степановна так смирилась совсем. Однажды пришла — слезно молит: «С докукой к тебе, Иван Семеныч, статья небольшая, а просьба велика. Вели свет видеть, батюшка, — кланяется, — смирись, прости ты ее! Нашу дочку злые люди оговорили: сам знаешь, честную брал...» В ноги кланяется, плачет. А я-то куражусь: «Я вас и слышать теперь не хочу! Что хочу теперь, то над всеми вами и делаю, потому я теперь в себе не властен; а Филька Морозов, говорю, мне приятель и первый друг...»

— Значит, опять вместе закурили?

— Куды! И приступу к нему нет. Совсем как есть опился. Всё свое порешил и в наемщики у мещанина нанялся; за старшого сына пошел. А уж по нашему месту, коли наемщик, так уж до самого того дня, как свезут его, всё перед ним в доме лежать должно, а он над всем полный господин. Деньги при сдаче получает сполна, а до того в хозяйском доме живет, по полугоду живут, и что только они тут настроят над хозяевами-то, так только святых вон понеси! Я, дескать, за твоего сына в солдаты иду, значит, ваш благодетель, так вы все мне уважать должны, не то откажусь. Так Филька-то у мещанина-то дым коромыслом пустил, с дочерью спит, хозяина за бороду кажинный день после обеда таскает — всё в свое удовольствие делает. Кажинный день ему баня, и чтоб вином пар поддавали, а в баню его чтоб бабы на своих руках носили. Домой с гулянки воротится, станет на улице: «Не хочу в ворота, разбирай заплот!» — так ему в другом месте, мимо во-

рот, заплот разбирать должны, он и пройдет. Наконец кончил, повезли сдавать, отрезвили. Народу-то, народу-то по всей-то улице валит: Фильку Морозова сдавать везут! Он на все стороны кланяется. А Акулька на ту пору с огорода шла; как Филька-то увидал ее, у самых наших ворот: «Стой!» — кричит, выскочил из телеги да прямо ей земной поклон: «Душа ты моя, говорит, ягода, любил я тебя два года, а теперь меня с музыкой в солдаты везут. Прости, говорит, меня, честного отца честная дочь, потому я подлец перед тобой, — во всем виноват!» И другой раз в землю ей поклонился. Акулька-то стала, словно испужалась сначала, а потом поклонилась ему в пояс да и говорит: «Прости и ты меня, добрый молодец, а я зла на тебе никакого не знаю». Я за ней в избу: «Что ты ему, собачье мясо, сказала?» А она, вот веришь мне или нет, посмотрела на меня: «Да я его, говорит, больше света теперь люблю!»

— Ишь ты!..

— Я в тот день целый день ей ни слова не говорил... Только к вечеру: «Акулька! я тебя теперь убью, говорю». Ночь-то этто не спится, вышел в сени кваску испить, а тут и заря заниматься стала. Я в избу вошел. «Акулька, говорю, собирайся на заимку ехать». А я еще и допрежь того собирался, и матушка знала, что поедем. «Вот это, говорит, дело: пора страдная, а работник, слышно, там третий день животом лежит». Я телегу запрег, молчу. Из нашего-то города как выехать, тут сейчас тебе бор пойдет на пятнадцать верст, а за бором-то наша заимка. Версты три бором проехали, я лошадь остановил: «Вставай, говорю, Акулина; твой конец пришел». Она смотрит на меня, испужалась, встала передо мной, молчит. «Надоела ты мне, говорю; молись богу!» Да как схвачу ее за волосы: косы-то были такие толстые, длинные, на руку их замотал, да сзади ее с обеих сторон коленками придавил, вынул нож, голову-то ей загнул назад да как тилисну по горлу ножом... Она как закричит, кровь-то как брызнет, я нож бросил, обхватил ее руками-то спереди, лег на землю, обнял ее и кричу над ней, ревма-реву; и она кричит, и я кричу; вся трепещет, бьется из рук-то, а кровь-то на меня, кровь-то — и на лицо-то и на руки так и хлещет, так и хлещет. Бросил я ее, страх на меня напал, и лошадь бросил, а сам бежать, бежать, домой к себе по задам забежал, да в баню: баня у нас такая старая, неслужащая стояла; под полок забился и сижу там. До ночи там просидел.

— А Акулька-то?

— А она-то, знать, после меня встала и тоже домой пошла. Так ее за сто шагов уж от того места потом нашли.

— Недорезал, значит.

— Да... — Шишков на минуту остановился.

— Этта жила такая есть, — заметил Черевин, — коли ее, эту самую жилу, с первого раза не перерезать, то всё будет биться человек, и сколько бы крови ни вытекло, не помрет.

— Да она ж померла. Мертвую повечеру-то нашли. Дали знать, меня стали искать и разыскали уж к ночи, в бане... Вот уж четвертый год, почитай, здесь живу, — прибавил он помолчав.

— Гм... Оно, конечно, коли не бить — не будет добра, — хладнокровно и методически заметил Черевин, опять вынимая рожок. Он начал нюхать, долго и с расстановкой. — Опять-таки тоже, парень, — продолжал он, — выходишь ты сам по себе оченно глуп. Я тоже этак свою жену с полюбовником раз застал. Так я ее зазвал в сарай; повод сложил надвое. «Кому, говорю, присягаешь? Кому присягаешь?» Да уж драл ее, драл, поводом-то, драл-драл, часа полтора ее драл, так она мне: «Ноги, кричит, твои буду мыть да воду эту пить». Овдотьей звали ее.

V

ЛЕТНЯЯ ПОРА

Но вот уже и начало апреля, вот уже приближается и святая неделя. Мало-помалу начинаются и летние работы. Солнце с каждым днем всё теплее и ярче; воздух пахнет весною и раздражительно действует на организм. Наступающие красные дни волнуют и закованного человека, рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный зимний или осенний день, и это заметно на всех арестантах. Они как будто и рады светлым дням, но вместе с тем в них усиливается какая-то нетерпеливость, порывчатость. Право, я заметил, что весной как будто чаще случались у нас острожные ссоры. Чаще слышался шум, крик, гам, затевались истории; а вместе с тем, случалось, подметишь вдруг где-нибудь на работе чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую даль, куда-нибудь туда, на другой берег Иртыша, где начинается необъятною скатертью, тысячи на полторы верст, вольная киргизская степь; подметишь чей-нибудь глубокий вздох, всей грудью, как будто так и тянет человека дохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им придавленную, закованную душу. «Эхма!» — говорит наконец арестант и вдруг, точно стряхнув с себя мечты и раздумье, нетерпеливо и угрюмо схватится за заступ или за кирпичи, которые надо перетащить с одного места на другое. Через минуту он уже и забывает свое внезапное ощущение и начинает смеяться или ругаться, судя по характеру; а то вдруг с необыкновенным, вовсе не соразмерным с потребностью жаром схватится за рабочий урок, если он задан ему, и начинает работать, — работать изо всех сил, точно желая задавить в себе тяжестью работы что-то такое, что само его теснит и давит изнутри. Всё это народ сильный, большею частью в цвете лет и сил... Тяжелы кандалы в эту пору! Я не поэтизирую в эту минуту и уверен в правде моей заметки. Кроме того, что в тепле, среди яркого солнца, когда

слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжеле становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля; кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где поприглянее и повольготнее; пьют и едят где что удастся, что бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под божьим оком. Кто говорит! Иногда и тяжело, и голодно, и изнурительно «служить у генерала Кукушкина». По целым суткам иной раз не приходится видеть хлеба; от всех надо прятаться, хорониться; приходится и воровать, и грабить, а иногда и зарезать. «Поселенец что младенец: на что взглянет, то и тянет», — говорят в Сибири про поселенцев. Это присловье во всей силе и даже с некоторой прибавкой может быть приложено и к бродяге. Бродяга редко не разбойник и всегда почти вор, разумеется больше по необходимости, чем по призванию. Есть закоренелые бродяги. Бегут иные, даже кончивши свои каторжные сроки, уже с поселения. Казалось бы, и доволен он на поселении и обеспечен, а нет! всё куда-то тянет, куда-то отзывает его. Жизнь по лесам, жизнь бедная и ужасная, но вольная и полная приключений, имеет что-то соблазнительное, какую-то таинственную прелесть для тех, кто уже раз испытал ее, и смотришь — бежал человек, иной даже скромный, аккуратный, который уже обещал сделаться хорошим оседлым человеком и дельным хозяином. Иной даже женится, заводит детей, лет пять живет на одном месте и вдруг в одно прекрасное утро исчезает куда-нибудь, оставляя в недоумении жену, детей и всю волость, к которой приписан. У нас в остроге мне указывали на одного из таких бегунов. Он никаких особенных преступлений не сделал, по крайней мере не слыхать было, чтоб говорили о нем в этом роде, а всё бегал, всю жизнь свою пробегал. Бывал он и на южной русской границе за Дунаем, и в киргизской степи, и в Восточной Сибири, и на Кавказе — везде побывал. Кто знает, может быть, при других обстоятельствах из него бы вышел какой-нибудь Робинзон Крузе с его страстью путешествовать. Впрочем, всё это мне об нем говорили другие; сам же он мало в остроге разговаривал, и то разве промолвит что-нибудь самое необходимое. Это был очень маленький мужичонка, лет уже пятидесяти, чрезвычайно смирный, с чрезвычайно спокойным и даже тупым лицом, спокойным до идиотства. Летом он любил сидеть на солнышке и непременно, бывало, мурлычет про себя какую-нибудь песенку, но так тихо, что за пять шагов от него уже не слышно. Черты лица его были какие-то одеревенелые; ел он мало, всё больше хлебушка; никогда-то он не купил ни одного калача, ни шкалика вина; да вряд ли у него и были когда-

нибудь деньги, вряд ли даже он умел и считать. Ко всему он относился совершенно спокойно. Острожных собачек иногда кормил из своих рук, а у нас острожных собак никто не кормил. Да русский человек вообще не любит кормить собак. Говорят, он был женат, и даже раза два; говорили, что у него есть где-то дети... За что он попал в острог, совершенно не знаю. Наши все ждали, что он и от нас улизнет; но или время его не пришло, или уж года ушли, но он жил себе да поживал, как-то созерцательно относясь ко всей этой странной среде, окружавшей его. Впрочем, положиться было нельзя; хотя, казалось бы, и зачем ему было бежать, что за выигрыш? А между тем все-таки, в целом, лесная, бродячая жизнь — рай перед острожной. Это так понятно; да и не может быть никакого сравнения. Хоть тяжелая доля, да всё своя воля. Вот почему всякий арестант на Руси, где бы он ни сидел, становится как-то беспокоен весною, с первыми приветными лучами весеннего солнца. Хоть и далеко не всякий намерен бежать: положительно можно сказать, что решается на это, по трудности и по ответственности, из сотни один; но зато остальные девяносто девять хоть помечтают о том, как бы можно было бежать и куда бы это бежать; хоть душу себе отведут на одном желании, на одном представлении возможности. Иной хоть припомнит, как он прежде когда-то бегал... Я говорю теперь о решеных. Но, разумеется, гораздо чаще и всех больше решаются на побег из подсудимых. Решеные же на срок только разве бегают в начале своего арестантства. Отбыв же два-три года каторги, арестант уже начинает ценить эти годы и мало-помалу соглашается про себя лучше уж закончить законным образом свой рабочий термин и выйти на поселение, чем решиться на такой риск и на такую гибель в случае неудачи. А неудача так возможна. Только разве десятому удается *переменить свою участь*. Из решеных рискуют тоже чаще других бежать осужденные на слишком долгие сроки. Пятнадцать-двадцать лет кажутся бесконечностью, и решеный на такой срок постоянно готов помечтать о перемене участи,хотя бы десять лет уже отбыл в каторге. Наконец, и клеймы отчасти мешают рисковать на побег. *Переменить же участь* — технический термин. Так и на допросах, если уличат в побеге, арестант отвечает, что он хотел переменить свою участь. Это немного книжное выражение буквально приложимо к этому делу. Всякий бегун имеет в виду не то что освободиться совсем, — он знает, что это почти невозможно, — но или попасть в другое заведение, или угодить на поселение, или судиться вновь, по новому преступлению, — совершенному уже по бродяжеству, — одним словом, куда угодно, только бы не на старое, надоевшее ему место, не в прежний острог. Все эти бегуны, если не найдут себе в продолжение лета какого-нибудь случайного, необыкновенного места, где бы перезимовать, — если, например, не наткнутся на какого-нибудь укрывателя беглых, которому в этом выгода; если, наконец, не добудут себе, иногда через убийство, какого-нибудь пас-

порта, с которым можно везде прожить, — все они к осени, если их не изловят предварительно, большею частию сами являются густыми толпами в города и в остроги, в качестве бродяг, и садятся в тюрьмы зимовать, конечно не без надежды бежать опять летом.

Весна действовала и на меня своим влиянием. Помню, как я с жадностью смотрел иногда сквозь щели паль и подолгу стоял, бывало, прислонившись головой к нашему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь, как зеленеет трава на нашем крепостном вале, как всё гуще и гуще синеет далекое небо. Беспокойство и тоска моя росли с каждым днем, и острог становился мне всё более и более ненавистным. Ненависть, которую я, в качестве дворянина, испытывал постоянно в продолжение первых лет от арестантов, становилась для меня невыносимой, отравляла всю жизнь мою ядом. В эти первые годы я часто уходил, безо всякой болезни, лежать в госпиталь, единственно для того, чтоб не быть в остроге, чтоб только избавиться от этой упорной, ничем не смиряемой всеобщей ненависти. «Вы — железные носы, вы нас заклевали!» — говорили нам арестанты, и как я завидовал, бывало, простонародью, приходившему в острог! Те сразу делались со всеми товарищами. И потому весна, призрак свободы, всеобщее веселье в природе, сказывалась на мне как-то тоже грустно и раздражительно. В конце поста, кажется на шестой неделе, мне пришлось говеть. Весь острог, еще с первой недели, разделен был старшим унтер-офицером на семь смен, по числу недель поста, для говения. В каждой смене оказалось, таким образом, человек по тридцати. Неделя говенья мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны — всё это расшевеливало в душе моей далекое-далекое минувшее, напоминало впечатления еще детских лет, и, помню, мне очень приятно было, когда, бывало, утром, по подмерзшей за ночь земле, нас водили под конвоем с заряженными ружьями в божий дом. Конвой, впрочем, не входил в церковь. В церкви мы становились тесной кучей у самых дверей, на самом последнем месте, так что слышно было только разве голосистого дьякона да изредка из-за толпы приметишь черную ризу да лысину священника. Я припоминал, как, бывало, еще в детстве, стоя в церкви, смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобострастно расступавшийся перед густым эполетом, перед толстым барином или перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, как у нас, молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей приниженности.

Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах, даже и не на этих; мы были закованные и ошельмованные; от нас все сторонились, нас все даже как будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, и, помню, мне это было даже как-то приятно, какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось в этом странном удовольствии. «Пусть же, коли так!» — думал я. Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. «Тоже ведь и я человек, — может быть, думал он или чувствовал, подавая, — перед богом-то все равны...» Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: «...но яко разбойника мя прийми», — почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется приняв эти слова буквально на свой счет.

Но вот пришла и святая. От начальства вышло нам по одному яйцу и по ломтю пшеничного сдобного хлеба. Из города опять завалили острог подаянием. Опять посещение с крестом священника, опять посещение начальства, опять жирные щи, опять пьянство и шатанье — всё точь-в-точь как и на рождестве, с тою разницею, что теперь можно было гулять на дворе острога и греться на солнышке. Было как-то светлее, просторнее, чем зимой, но как-то тоскливее. Длинный, бесконечный летний день становился как-то особенно невыносимым на праздниках. В будни по крайней мере сокращался день работою.

Летние работы действительно оказались гораздо труднее зимних. Работы шли всё больше по инженерным постройкам. Арестанты строили, копали землю, клали кирпичи; другие из них занимались слесарною, столярною или малярною частию при ремонтных исправлениях казенных домов. Третьи ходили в завод делать кирпичи. Эта последняя работа считалась у нас самою тяжелою. Кирпичный завод находился от крепости верстах в трех или в четырех. Каждый день в продолжение лета утром, часов в шесть, отправлялась целая партия арестантов, человек в пятьдесят, для делания кирпичей. На эту работу выбирали чернорабочих, то есть не мастеровых и не принадлежащих к какому-нибудь мастерству. Они брали с собою хлеба, потому что за дальностию места невыгодно было приходить домой обедать и, таким образом, делать верст восемь лишних, и обедали уже вечером, возвратясь в острог. Урок же задавался на весь день, и такой, что разве в целый рабочий день арестант мог с ним справиться. Во-первых, надо было накопать и вывезти глину, наносить самому воду, самому вытоптать глину в глиномятной яме и наконец-то сделать из нее что-то очень много кирпичей, кажется сотни две, чуть ли даже не две с половиной. Я всего только два раза ходил в завод. Возвращались заводские уже вечером, усталые, измученные, и постоянно целое лето попрекали других тем, что они делают самую трудную работу. Это было, кажется, их утешением. Несмотря на то, иные ходили туда даже с некоторою охотою: во-

первых, дело было за городом; место было открытое, привольное, на берегу Иртыша. Все-таки поглядеть кругом отраднее: не крепостная казенщина! Можно было и покурить свободно и даже полежать с полчаса с большим удовольствием. Я же или по-прежнему ходил в мастерскую, или на алебастр, или, наконец, употреблялся в качестве подносчика кирпичей при постройках. В последнем случае пришлось однажды перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме сажен на семьдесят расстояния, через крепостной вал, и работа эта продолжалась месяца два сряду. Мне она даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне видимо развивалась сила. Сначала я мог таскать только по восьми кирпичей, а в каждом кирпиче было по двенадцати фунтов. Но потом я дошел до двенадцати и до пятнадцати кирпичей, и это меня очень радовало. Физическая сила в каторге нужна не менее нравственной для перенесения всех материальных неудобств этой проклятой жизни.

А я еще хотел жить и после острога...

Я, впрочем, любил таскать кирпичи не за то только, что от этой работы укрепляется тело, а за то еще, что работа производилась на берегу Иртыша. Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление своею пустынностью. На берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать ее. Все прочие места наших работ были в крепости или подле нее. С самых первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. Дом нашего плац-майора казался мне каким-то проклятым, отвратительным местом, и я каждый раз с ненавистью глядел на него, когда проходил мимо. На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Всё для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет с своими двумя баранами. Всё это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой... Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпимая и действовала на меня раздражительно, горько. В этот первый год от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших лю-

дей, людей способных и мыслить и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось безо всяких видов, а нередко прямо из души, может быть более меня пострадавшей и вынесшей. Но к чему распространяться об этом? Я чрезвычайно был рад, если приходилось сильно устать, воротившись домой: авось засну! Потому что спать было у нас летом мученье, чуть ли еще не хуже, чем зимой. Вечера, правда, были иногда очень хороши. Солнце, целый день не сходившее с острожного двора, наконец закатывалось. Наступала прохлада, а за ней почти холодная (говоря сравнительно) степная ночь. Арестанты, в ожидании как запрут их, толпами ходят, бывало, по двору. Главная масса толпится, правда, более на кухне. Там всегда подымается какой-нибудь насущный острожный вопрос, толкуется о том, о сем, разбирается иногда какой-нибудь слух, часто нелепый, но возбуждающий необыкновенное внимание этих отрешенных от мира людей; то, например, пришло известие, что нашего плац-майора сгоняют долой. Арестанты легковерны, как дети; сами знают, что известие — вздор, что принес его известный болтун и «нелепый» человек — арестант Квасов, которому уже давно положили не верить и который что ни слово, то врет, — а между тем все схватываются за известие, судят, рядят, сами себя тешат, а кончится тем, что сами на себя рассердятся, самим за себя стыдно станет, что поверили Квасову.

— Да кто же его сгонит! — кричит один. — Небось шея толста, сдюжит!

— Да ведь и над ним, чай, старшие есть! — возражает другой, горячий и неглупый малый, видавший виды, но спорщик, каких свет не производил.

— Ворон ворону глаз не выклюет! — угрюмо, словно про себя замечает третий, уже седой человек, одиноко доедающий в углу свои щи.

— А старшие-то небось тебя придут спрашиваться — сменить его али нет? — прибавляет равнодушно четвертый, слегка тренькая на балалайке.

— А почему ж не меня? — с яростью возражает второй. — Значит, вся бедность просит, все тогда заявляйте, коли начнут опрашивать. А то у нас небось кричат, а к делу дойдет, так и на попятный!

— А ты думал как? — говорит балалаечник. — На то каторга.

— Анамеднись, — продолжает, не слушая и в горячке, спорщик, — муки оставалось. Поскребки собрали, самые что ни есть слезы, значит; послали продать. Нет, узнал; артельщик донес; отобрали; экономия, значит. Справедливо аль нет?

— Да ты кому хочешь жаловаться?

— Кому! Да самому левизору, что едет.

— Какому такому левизору?

— Это правда, братцы, что едет левизор, — говорит молодой разбитной парень, грамотный, из писарей и читавший «Герцогиню Лавальер» или что-то в этом роде. Он вечно веселый и потешник, но за некоторое знание дел и потертость его уважают. Не обращая внимания на возбужденное всеобщее любопытство о будущем ревизоре, он прямо идет к стряпке, то есть к повару, и спрашивает у него печенки. Наши стряпки часто чем-нибудь торговали в этом роде. Купят, например, на свои деньги большой кусок печенки, зажарят и продают по мелочи арестантам.

— На грош али на два? — спрашивает стряпка.

— Режь на два: пускай люди завидуют! — отвечает арестант. — Генерал, братцы, генерал такой из Петербурга едет, всю Сибирь осматривать будет. Это верно. У комендантских сказывали.

Известие производит необыкновенное волнение. С четверть часа идут расспросы: кто именно, какой генерал, какого чину и старше ли здешних генералов? О чинах, начальниках, кто из них старше, кто кого может согнуть и кто сам из них согнется, ужасно любят разговаривать арестанты, даже спорят и ругаются за генералов чуть не до драки. Казалось бы, что тут за выгода? Но подробным знанием генералов и вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего, доострожного значения человека в обществе. Вообще разговор о высшем начальстве считается самым изящным и важным разговором в остроге.

— Значит, и взаправду выходит, братцы, что майора-то сменять едут, — замечает Квасов, маленький, красненький человечек, горячий и крайне бестолковый. Он-то первый и принес известие о майоре.

— Задарит! — отрывисто возражает угрюмый седой арестант, уже управившийся со щами.

— А и то задарит, — говорит другой. — Мало он денег-то награбил! До нас еще баталионным был. Анамеднись на протопоповской дочери жениться хотел.

— Да ведь не женился: дверь указали; беден, значит. Какой он жених! Встал со стула — и всё с ним. О святой всё на картах продул. Федька сказывал.

— Да; мальчик не мот, а деньгам перевод.

— Эх, брат, вот и я женат был. Плохо жениться бедному: женись, а и ночь коротка! — замечает Скуратов, подвернувшийся тут же к разговору.

— Как же! Об тебе тут и речь, — замечает развязный парень из писарей. — А ты, Квасов, скажу я тебе, большой дурак. Неужели ж ты думаешь, что такого генерала майор задарит и что такой генерал будет нарочно из Петербурга ехать, чтоб майора ревизовать? Глуп же ты, парень, вот что скажу.

— А что ж? Уж коли он генерал, так и не возьмет, что ли? — скептически заметил кто-то из толпы.

— Знамо дело, не возьмет, а возьмет, так уж толсто возьмет.

— Вестимо, толсто; по чину.

— Генерал всегда возьмет, — решительно замечает Квасов.

— Ты, что ли, давал ему? — с презрением говорит вдруг вошедший Баклушин. — Да ты и генерала-то вряд ли когда видал?

— Ан видал?

— Врешь.

— Сам соври.

— Ребята, коли он видал, пусть сейчас при всех говорит, какого он знает генерала? Ну, говори, потому я всех генералов знаю.

— Я генерала Зиберта видел, — как-то нерешительно отвечает Квасов.

— Зиберта? Такого и генерала нет. Знать, в спину он тебе заглянул, Зиберт-то, когда, может, еще только подполковником был, а тебе со страху и показалось, что генерал.

— Нет, вы меня послушайте, — кричит Скуратов, — потому я женатый человек. Генерал такой девствительно был на Москве, Зиберт, из немцев, а русский. У русского попа кажинный год исповедовался о госпожинках, и всё, братцы, он воду пил, словно утка. Кажинный день сорок стаканов москворецкой воды выпивал. Это, сказывали, он от какой-то болезни водой лечился; мне сам его камардин сказывал.

— В брюхе-то с воды-то небось караси завелись? — замечает арестант с балалайкой.

— Ну, полно вам! Тут о деле идет, а они... Какой же это левизор, братцы? — заботливо замечает один суетливый арестант, Мартынов, старик из военных, бывший гусар.

— Ведь вот врет народ! — замечает один из скептиков. — И откуда что берут и во что кладут? А и всё-то вздор.

— Нет, не вздор! — догматически замечает Куликов, до сих пор величаво молчавший. Это парень с весом, лет под пятьдесят, чрезвычайно благообразного лица и с какой-то презрительно-величавой манерой. Он сознает это и этим гордится. Он отчасти цыган, ветеринар, добывает по городу деньги за лечение лошадей, а у нас в остроге торгует вином. Малый он умный и много видывал. Слова роняет, как будто рублем дарит.

— Это взаправду, братцы, — спокойно продолжает он, — я еще на прошлой неделе слышал; едет генерал, из очень важных, будет всю Сибирь ревизовать. Дело знамое, задарят и его, да только не наш восьмиглазый: он и сунуться к нему не посмеет. Генерал генералу рознь, братцы. Всякие бывают. Только я вам говорю, наш майор при всяком случае на теперешнем месте останется. Это верно. Мы народ без языка, а из начальства свои на своего же доносить не станут. Ревизор поглядит в острог, да с тем и уедет, и донесет, что всё хорошо нашел...

— То-то, братцы, а майор-то струсил: ведь с утра пьян.

— А вечером другую фуру везет. Федька сказывал.

— Черного кобеля не отмоешь добела. Впервой, что ль, он пьян?

— Нет, это уж что же, если и генерал ничего не сделает! Нет, уж полно ихним дурачествам подражать! — волнуясь, говорят промеж себя арестанты.

Весть о ревизоре мигом разносится по острогу. По двору бродят люди и нетерпеливо передают друг другу известие. Другие нарочно молчат, сохраняя свое хладнокровие, и тем, видимо, стараются придать себе больше важности. Третьи остаются равнодушными. На казарменных крылечках рассаживаются арестанты с балалайками. Иные продолжают болтать. Другие затягивают песни, но вообще все в этот вечер в чрезвычайно возбужденном состоянии.

Часу в десятом у нас всех сосчитывали, загоняли по казармам и запирали на ночь. Ночи были короткие: будили в пятом часу утра, засыпали же все никак не раньше одиннадцати. До тех пор всегда, бывало, идет еще суетня, разговоры, а иногда, как и зимой, бывают и майданы. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Хоть и обдает ночным холодком из окна с поднятой рамой, но арестанты мечутся на своих нарах всю ночь, словно в бреду. Блохи кишат мириадами. Они водятся у нас и зимою, и в весьма достаточном количестве, но начиная с весны разводятся в таких размерах, о которых я хоть и слыхивал прежде, но, не испытав на деле, не хотел верить. И чем дальше к лету, тем злее и злее они становятся. Правда, к блохам можно привыкнуть, я сам испытал это; но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучают, что лежишь, наконец, словно в лихорадочном жару, и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь. Наконец, когда перед самым утром угомонятся наконец и блохи, словно замрут, и когда под утренним холодком как будто действительно сладко заснешь, — раздается вдруг безжалостный треск барабана у острожных ворот и начинается зоря. С проклятием слушаешь, закутываясь в полушубок, громкие, отчетливые звуки, словно считаешь их, а между тем сквозь сон лезет в голову нестерпимая мысль, что так будет и завтра, и послезавтра, и несколько лет сряду, вплоть до самой свободы. Да когда ж это, думаешь, эта свобода и где она? А между тем надо просыпаться; начинается обыденная ходьба, толкотня... Люди одеваются, спешат на работу. Правда, можно было заснуть с час еще в полдень.

О ревизоре сказали правду. Слухи с каждым днем подтверждались всё более и более, и наконец все узнали уже наверно, что едет из Петербурга один важный генерал ревизовать всю Сибирь, что он уж приехал, что он уж в Тобольске. Каждый день новые слухи приходили в острог. Приходили вести и из города: слышно было, что все трусят, хлопочут, хотят товар лицом показать. Толковали, что у высшего начальства готовят приемы, балы, праздники. Арестантов высылали целыми кучами ровнять улицы в крепости, срывать кочки, подкрашивать заборы и столбики, подштукатуривать, подмазывать — одним словом, хотели в один миг всё исправить, что надо было лицом показать. Наши понимали

очень хорошо это дело и всё горячее и задорнее толковали между собою. Фантазия их доходила до колоссальных размеров. Собирались даже показать *претензию,* когда генерал станет спрашивать о довольстве. А между тем спорили и бранились между собою. Плац-майор был в волнении. Чаще наезжал в острог, чаще кричал, чаще кидался на людей, чаще забирал народ в кордегардию и усиленно смотрел за чистотой и благообразием. В это время, как нарочно, случилась в остроге одна маленькая историйка, которая, впрочем, вовсе не взволновала майора, как бы можно было ожидать, а, напротив, даже доставила ему удовольствие. Один арестант в драке пырнул другого шилом в грудь, почти под самое сердце.

Арестант, совершивший преступление, назывался Ломов; получившего рану звали у нас Гаврилкой; он был из закоренелых бродяг. Не помню, было ли у него другое прозвание; звали его у нас всегда Гаврилкой.

Ломов был из зажиточных т—х крестьян, К—ского уезда. Все Ломовы жили семьею: старик отец, три сына и дядя их, Ломов. Мужики они были богатые. Говорили по всей губернии, что у них было до трехсот тысяч ассигнациями капиталу. Они пахали, выделывали кожи, торговали, но более занимались ростовщичеством, укрывательством бродяг и краденого имущества и прочими художествами. Крестьяне на полуезда были у них в долгах, находились у них в кабале. Мужиками они слыли умными и хитрыми, но наконец зачванились, особенно когда одно очень важное лицо в тамошнем крае стало у них останавливаться по дороге, познакомился с стариком лично и полюбил его за сметливость и оборотливость. Они вдруг вздумали, что на них уж более нет управы, и стали всё сильнее и сильнее рисковать в разных беззаконных предприятиях. Все роптали на них; все желали им провалиться сквозь землю; но они задирали нос всё выше и выше. Исправники, заседатели стали им уже нипочем. Наконец они свихнулись и погибли, но не за худое, не за тайные преступления свои, а за напраслину. У них был верстах в десяти от деревни большой хутор, по-сибирски заимка. Там однажды проживало у них под осень человек шесть работников-киргизов, закабаленных с давнего времени. В одну ночь все эти киргизы-работники были перерезаны. Началось дело. Оно продолжалось долго. При деле раскрылось много других нехороших вещей. Ломовы были обвинены в умерщвлении своих работников. Сами они так рассказывали, и весь острог это знал: их заподозрили в том, что они слишком много задолжали работникам, а так как, несмотря на свое большое состояние, были скупы и жадны, то и перерезали киргизов, чтобы не платить им долгу. Во время следствия и суда всё состояние их пошло прахом. Старик умер. Дети были разосланы. Один из сыновей и его дядя попали в нашу каторгу на двенадцать лет. И что же? Они были совершенно невинны в смерти киргизов. Тут же в остроге объявился потом Гаврилка, известный

плут и бродяга, малый веселый и бойкий, который брал всё это дело на себя. Не слыхал я, впрочем, признавался ль он в этом сам, но весь острог был убежден совершенно, что киргизы его рук не миновали. Гаврилка с Ломовым еще бродягой имел дело. Он пришел в острог на короткий срок, как беглый солдат и бродяга. Киргизов он зарезал вместе с тремя другими бродягами; они думали сильно поживиться и пограбить в заимке.

Ломовых у нас не любили, не знаю за что. Один из них, племянник, был молодец, умный малый и уживчивого характера; но дядя его, пырнувший Гаврилку шилом, был глупый и вздорный мужик. Он со многими еще допрежь того ссорился, и его порядочно бивали. Гаврилку все любили за веселый и складный характер. Хоть Ломовы и знали, что он преступник, и они за его дело пришли, но с ним не ссорились; никогда, впрочем, и не сходились; да и он не обращал на них никакого внимания. И вдруг вышла ссора у него с дядей Ломовым за одну противнейшую девку. Гаврилка стал хвалиться ее благосклонностью; мужик стал ревновать и в один прекрасный полдень пырнул его шилом.

Ломовы хоть и разорились под судом, но жили в остроге богачами. У них, видимо, были деньги. Они держали самовар, пили чай. Наш майор знал об этом и ненавидел обоих Ломовых до последней крайности. Он видимо для всех придирался к ним и вообще добирался до них. Ломовы объясняли это майорским желанием взять с них взятку. Но взятки они не давали.

Конечно, если б Ломов хоть немного дальше просунул шило, он убил бы Гаврилку. Но дело кончилось решительно только одной царапиной. Доложили майору. Я помню, как он прискакал, запыхавшись и, видимо, довольный. Он удивительно ласково, точно с родным сыном, обошелся с Гаврилкой.

— Что, дружок, можешь в госпиталь так дойти али нет? Нет, уж лучше ему лошадь запречь. Запречь сейчас лошадь! — закричал он впопыхах унтер-офицеру.

— Да я, ваше высокоблагородие, ничего не чувствую. Он только слегка поколол, ваше высокоблагородие.

— Ты не знаешь, ты не знаешь, мой милый; вот увидишь... Место опасное; всё от места зависит; под самое сердце угодил, разбойник! А тебя, тебя, — заревел он, обращаясь к Ломову, — ну, теперь я до тебя доберусь!.. В кордегардию!

И действительно добрался. Ломова судили, и хоть рана оказалась самым легким поколом, но намерение было очевидное. Преступнику набавили рабочего сроку и провели сквозь тысячу. Майор был совершенно доволен...

Наконец прибыл и ревизор.

На второй же день по прибытии в город он приехал и к нам в острог. Дело было в праздник. Еще за несколько дней у нас было всё вымыто, выглажено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на них было белое, чистое. Летом все ходили, по положению, в полотняных белых куртках и панталонах. На спине

у каждого был вшит черный круг, вершка два в диаметре. Целый час учили арестантов, как отвечать, если на случай высокое лицо поздоровается. Производились репетиции. Майор суетился как угорелый. За час до появления генерала все стояли по своим местам как истуканы и держали руки по швам. Наконец в час пополудни генерал приехал. Это был важный генерал, такой важный, что, кажется, все начальственные сердца должны были дрогнуть по всей Западной Сибири с его прибытием. Он вошел сурово и величаво; за ним ввалилась большая свита сопровождавшего его местного начальства; несколько генералов, полковников. Был один штатский, высокий и красивый господин во фраке и башмаках, приехавший тоже из Петербурга и державший себя чрезвычайно непринужденно и независимо. Генерал часто обращался к нему, и весьма вежливо. Это необыкновенно заинтересовало арестантов: штатский, а такой почет, и еще от такого генерала! Впоследствии узнали его фамилию и кто он такой, но толков было множество. Наш майор, затянутый, с оранжевым воротником, с налитыми кровью глазами, с багровым угреватым лицом, кажется, не произвел на генерала особенно приятного впечатления. Из особенного уважения к высокому посетителю он был без очков. Он стоял поодаль, вытянутый в струнку, и всем существом своим лихорадочно выжидал мгновения на что-нибудь понадобиться, чтоб лететь исполнять желания его превосходительства. Но он ни на что не понадобился. Молча обошел генерал казармы, заглянул и на кухню, кажется, попробовал щей. Ему указали меня: так и так, дескать, из дворян.

— А! — отвечал генерал. — А как он теперь ведет себя?

— Покамест удовлетворительно, ваше превосходительство, — отвечали ему.

Генерал кивнул головою и минуты через две вышел из острога. Арестанты, конечно, были ослеплены и озадачены, но все-таки остались в некотором недоумении. Ни о какой претензии на майора, разумеется, не могло быть и речи. Да и майор был совершенно в этом уверен еще заранее.

VI

КАТОРЖНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Покупка Гнедка, случившаяся вскоре в остроге, заняла и развлекла арестантов гораздо приятнее высокого посещения. В остроге у нас полагалась лошадь для привоза воды, для вывоза нечистот и проч. Для ухода определялся к ней арестант. Он же с ней и ездил, разумеется под конвоем. Работы нашему коню было очень достаточно и утром и вечером. Гнедко служил у нас уже очень давно. Лошадка была добрая, но поизносившаяся. В одно прекрасное утро, перед самым Петровым днем, Гнедко, привезя вечернюю бочку, упал и издох в несколько минут. О нем пожа-

лели, все собрались кругом, толковали, спорили. Бывшие у нас отставные кавалеристы, цыганы, ветеринары и проч. выказали при этом даже много особенных познаний по лошадиной части, даже поругались между собою, но Гнедка не воскресили. Он лежал мертвый, со вздутым брюхом, в которое все считали обязанностью потыкать пальцем; доложили майору о приключившейся воле божией, и он решил, чтоб немедленно была куплена новая лошадь. В самый Петров день, поутру, после обедни, когда все у нас были в полном сборе, стали приводить продажных лошадей. Само собою разумеется, что препоручить покупку следовало самим арестантам. У нас были настоящие знатоки, и надуть двести пятьдесят человек, только этим прежде и занимавшихся, было трудно. Являлись киргизы, барышники, цыгане, мещане. Арестанты с нетерпением ждали появления каждого нового коня. Они были веселы, как дети. Всего более им льстило, что вот и они, точно вольные, точно действительно из *своего* кармана покупают *себе* лошадь и имеют полное право купить. Три коня было приведено и уведено, пока покончили дело на четвертом. Входившие барышники с некоторым изумлением и как бы робостью осматривались кругом и даже изредка оглядывались на конвойных, вводивших их. Двухсотенная ватага такого народу, бритая, проклейменная, в цепях и у себя дома, в своем каторжном гнезде, за порог которого никто не переступает, внушала к себе своего рода уважение. Наши же истощались в разных хитростях при испытании каждого приводимого коня. Куда-куда они ему ни заглядывали, чего у него ни ощупали и вдобавок с таким деловым, с таким серьезным и хлопотливым видом, как будто от этого зависело главное благосостояние острога. Черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом; у них глаза разгорались, и бегло болтали они на своем непонятном наречии, скаля свои белые зубы и кивая своими смуглыми горбоносыми лицами. Иной из русских так и прикуется всем вниманием к их спору, точно в глаза к ним вскочить хочет. Слов-то не понимает, так хочет хоть по выражению глаз догадаться, как решили: годится ли конь или нет? И даже странным показалось бы такое судорожное внимание иному постороннему наблюдателю. О чем бы, кажется, тут так особенно хлопотать иному арестанту, и арестанту-то какому-нибудь так себе, смиренному, забитому, который даже перед иным из своих же арестантов пикнуть не смеет! Точно он сам для себя покупал лошадь, точно и в самом деле для него не всё равно было, какая ни купится. Кроме черкесов, наиболее отличались бывшие цыгане и барышники: им уступали и первое место и первое слово. Тут даже произошел некоторого рода благородный поединок, особенно между двумя — арестантом Куликовым, прежним цыганом, конокрадом и барышником, и самоучкой-ветеринаром, хитрым сибирским мужичком, недавно пришедшим в острог и уже успевшим отбить у Куликова всю его городскую практику. Дело в том, что наших острожных самоучек-ветеринаров весьма ценили во всем

городе, и не только мещане или купцы, но даже самые высшие чины обращались в острог, когда у них заболевали лошади, несмотря на бывших в городе нескольких настоящих ветеринарных врачей. Куликов до прибытия Елкина, сибирского мужичка, не знал себе соперника, имел большую практику и, разумеется, получал денежную благодарность. Он сильно цыганил и шарлатанил и знал гораздо менее, чем выказывал. По доходам он был аристократ между нашими. По бывалости, по уму, по смелости и решимости он уже давно внушил к себе невольное уважение всем арестантам в остроге. Его у нас слушали и слушались. Но говорил он мало: говорил, как рублем дарил, и всё только в самых важных случаях. Был он решительный фат, но было в нем много действительной, неподдельной энергии. Он был уже в летах, но очень красив, очень умен. С нами, дворянами, обходился как-то утонченно вежливо и вместе с тем с необыкновенным достоинством. Я думаю, если б нарядить его и привезть под видом какого-нибудь графа в какой-нибудь столичный клуб, то он бы и тут нашелся, сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, немного, но с весом, и в целый вечер, может быть, не раскусили бы, что он не граф, а бродяга. Я говорю серьезно: так он был умен, сметлив и быстр на соображение. К тому же манеры его были прекрасные, щегольские. Должно быть, он видал в своей жизни виды. Впрочем, прошедшее его было покрыто мраком неизвестности. Жил он у нас в особом отделении. Но с прибытием Елкина, хоть и мужика, но зато хитрейшего мужика, лет пятидесяти, из раскольников, ветеринарная слава Куликова затмилась. В какие-нибудь два месяца он отбил у него почти всю его городскую практику. Он вылечивал, и очень легко, таких лошадей, от которых Куликов еще прежде давно отказался. Он даже вылечивал таких, от которых отказывались городские ветеринарные лекаря. Этот мужичок пришел вместе с другими за фальшивую монету. Надо было ему ввязаться, на старости лет, в такое дело компаньоном! Сам же он, смеясь над собой, рассказывал у нас, что из трех настоящих золотых у них вышел всего только один фальшивый. Куликов был несколько оскорблен его ветеринарными успехами, даже слава его между арестантами начала было меркнуть. Он держал любовницу в форштадте, ходил в плисовой поддевке, носил серебряное кольцо, серьгу и собственные сапоги с оторочкой, и вдруг, за неимением доходов, он принужден был сделаться целовальником, и потому все ждали, что теперь при покупке нового Гнедка враги, чего доброго, пожалуй, еще подерутся. Ждали с любопытством. У каждого из них была своя партия. Передовые из обеих партий уже начинали волноваться и помаленьку уже перекидывались ругательствами. Сам Елкин уже съежил было свое хитрое лицо в самую саркастическую улыбку. Но оказалось не то: Куликов и не подумал ругаться, но и без ругани поступил мастерски. Он начал с уступки, даже с уважением выслушал критические мнения своего соперника, но, поймав его на одном слове, скромно и

настойчиво заметил ему, что он ошибается, и, прежде чем Елкин успел опомниться и оговориться, доказал, что ошибается он вот именно в том-то и в том-то. Одним словом, Елкин был сбит чрезвычайно неожиданно и искусно, и хоть верх все-таки остался за ним, но и куликовская партия осталась довольна.

— Нет, ребята, его, знать, не скоро собьешь, за себя постоит; куды! — говорили одни.

— Елкин больше знает! — замечали другие, но как-то уступчиво замечали. Обе партии заговорили вдруг в чрезвычайно уступчивом тоне.

— Не то что знает, у него только рука полегче. А насчет скотины и Куликов не сробеет.

— Не сробеет парень!

— Не сробеет...

Нового Гнедка наконец выбрали и купили. Это была славная лошадка, молоденькая, красивая, крепкая и с чрезвычайно милым, веселым видом. Уж разумеется, по всем другим статьям она оказалась безукоризненною. Стали торговаться: просили тридцать рублей, наши давали двадцать пять. Торговались горячо и долго, сбавляли и уступали. Наконец самим смешно стало.

— Что ты из своего кошеля, что ли, деньги брать будешь? — говорили одни. — Чего торговаться-то?

— Казну, что ли, жалеть? — кричали другие.

— Да всё же, братцы, всё ж это деньги, — артельные...

— Артельные! Нет, видно, нашего брата, дураков, не сеют, а мы сами родимся...

Наконец за двадцать восемь рублей торг состоялся. Доложили майору, и покупка была решена. Разумеется, тотчас же вынесли хлеба с солью и с честию ввели нового Гнедка в острог. Кажется, не было арестанта, который при этом случае не потрепал его по шее или не погладил по морде. В этот же день запрягли Гнедка возить воду, и все с любопытством посмотрели, как новый Гнедко повезет свою бочку. Наш водовоз Роман поглядывал на нового конька с необыкновенным самодовольствием. Это был мужик лет пятидесяти, молчаливого и солидного характера. Да и все русские кучера бывают чрезвычайно солидного и даже молчаливого характера, как будто действительно верно, что постоянное обращение с лошадьми придает человеку какую-то особенную солидность и даже важность. Роман был тих, со всеми ласков, несловоохотен, нюхал из рожка табак и постоянно с незапамятных времен возился с острожными Гнедками. Новокупленный был уже третий. У нас были все уверены, что к острогу идет гнедая масть, что нам это будто бы *к дому*. Так подтверждал и Роман. Пегого, например, ни за что не купили бы. Место водовоза постоянно, по какому-то праву, оставалось навсегда за Романом, и у нас никто никогда и не вздумал бы оспаривать у него это право. Когда пал прежний Гнедко, никому и в голову не пришло, даже и майору, обвинить в чем-нибудь Романа: воля божия, да и толь-

ко, а Роман хороший кучер. Скоро Гнедко сделался любимцем острога. Арестанты хоть и суровый народ, но подходили часто ласкать его. Бывало, Роман, воротясь с реки, запирает ворота, отворенные ему унтер-офицером, а Гнедко, войдя в острог, стоит с бочкой и ждет его, косит на него глазами. «Пошел один!» — крикнет ему Роман, и Гнедко тотчас же повезет один, довезет до кухни и остановится, ожидая стряпок и парашников с ведрами, чтоб брать воду. «Умник, Гнедко! — кричат ему, — один привез!.. Слушается».

— Ишь в самом деле: скотина, а понимает!

— Молодец, Гнедко!

Гнедко мотает головою и фыркает, точно он и в самом деле понимает и доволен похвалами. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнедко ест и опять закивает головою, точно проговоривает: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты хороший человек!»

Я тоже любил подносить Гнедку хлеба. Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие, теплые губы, проворно подбиравшие подачку.

Вообще наши арестантики могли бы любить животных, и если б им это позволили, они с охотою развели бы в остроге множество домашней скотины и птицы. И, кажется, что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов, как не такое, например, занятие? Но этого не позволяли. Ни порядки наши, ни место этого не допускали.

В остроге во всё мое время перебывало, однако же, случайно несколько животных. Кроме Гнедка, были у нас собаки, гуси, козел Васька, да жил еще некоторое время орел.

В качестве постоянной острожной собаки жил у нас, как уже и сказано было мною прежде, Шарик, умная и добрая собака, с которой я был в постоянной дружбе. Но так как уж собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое и внимания не следует обращать, то и на Шарика у нас почти никто не обращал внимания. Жила себе собака, спала на дворе, ела кухонные выброски и никакого особенного интереса ни в ком не возбуждала, однако всех знала и всех в остроге считала своими хозяевами. Когда арестанты возвращались с работы, она уже по крику у кордегардии: «Ефрейтора!» — бежит к воротам, ласково встречает каждую партию, вертит хвостом и приветливо засматривает в глаза каждому вошедшему, ожидая хоть какой-нибудь ласки. Но в продолжение многих лет она не добилась никакой ласки ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех. Не помню, каким образом появилась у нас потом в остроге и другая собака, Белка. Третью же, Культяпку, я сам завел, принеся ее как-то с работы, еще щенком. Белка была странное создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между со-

бою. Кроме того, вся она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами; хвост был облезший, почти весь без шерсти, и постоянно поджатый. Оскорбленная судьбою, она, видимо, решилась смириться. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше, из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же еще за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнется на спину: «Делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, сапогом, точно считая это непременною своею обязанностью. «Вишь, подлая!» — говорят, бывало, арестанты. Но Белка даже и визжать не смела, и если уж слишком пронимало ее от боли, то как-то заглушенно и жалобно выла. Точно так же она перекувыркивалась и перед Шариком и перед всякой другой собакой, когда выбегала по своим делам за острог. Бывало, перекувырнется и лежит смиренно, когда какой-нибудь большой вислоухий пес бросится на нее с рыком и лаем. Но собаки любят смирение и покорность в себе подобных. Свирепый пес немедленно укрощался, с некоторою задумчивостью останавливался над лежащей перед ним вверх ногами покорной собакой и медленно с большим любопытством начинал ее обнюхивать во всех частях тела. Что-то в это время могла думать вся трепетавшая Белка? «А ну как, разбойник, рванет?» — вероятно, приходило ей в голову. Но, обнюхав внимательно, пес наконец бросал ее, не находя в ней ничего особенно любопытного. Белка тотчас же вскакивала и опять, бывало, пускалась, ковыляя, за длинной вереницей собак, провожавших какую-нибудь Жучку. И хоть она наверно знала, что с Жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а все-таки хоть издали поковылять — и то было для ней утешением в ее несчастьях. Об чести она уже, видимо, перестала думать. Потеряв всякую карьеру в будущем, она жила только для одного хлеба и вполне сознавала это. Я попробовал раз ее приласкать; это было для нее так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле, на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от умиления. Из жалости я ласкал ее часто. Зато она и встречать меня не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит болезненно и слезливо. Кончилось тем, что ее за острогом на валу разорвали собаки.

Совсем другого характера был Культяпка. Зачем я его принес из мастерской в острог еще слепым щенком, не знаю. Мне приятно было кормить и растить его. Шарик тотчас же принял Культяпку под свое покровительство и спал с ним вместе. Когда Культяпка стал подрастать, то он позволял ему кусать свои уши, рвать себя за шерсть и играть с ним, как обыкновенно играют взрослые собаки со щенками. Странно, что Культяпка почти не рос в вышину, а всё в длину и ширину. Шерсть была на нем лохматая, какого-то светло-мышиного цвету; одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок,

который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: «Был бы только виден восторг, а приличия ничего не значат!» Бывало, где бы я ни был, но по крику: «Культяпка!» — он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогою. Я ужасно полюбил этого маленького уродца. Казалось, судьба готовила ему в жизни довольство и одни только радости. Но в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьем женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал Кульпяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалял его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревавший, визжал от удовольствия. Но на другое же утро он исчез. Я долго искал его; точно в воду канул; и только через две недели всё объяснилось: Культяпкин мех чрезвычайно понравился Неустроеву. Он содрал его, выделал и подложил им бархатные зимние полусапожки, которые заказала ему аудиторша. Он показывал мне и полусапожки, когда они были готовы. Шерсть вышла удивительная. Бедный Культяпка!

В остроге у нас многие занимались выделкой кож и часто, бывало, приводили с собой собак с хорошей шерстью, которые в тот же миг исчезали. Иных воровали, а иных даже и покупали. Помню, раз за кухнями я увидал двух арестантов. Они об чем-то совещались и хлопотали. Один из них держал на веревке великолепнейшую большую собаку, очевидно дорогой породы. Какой-то негодяй лакей увел ее от своего барина и продал нашим башмачникам за тридцать копеек серебром. Арестанты собирались ее повесить. Это очень удобно делалось: кожу сдирали, а труп бросали в большую и глубокую помойную яму, находившуюся в самом заднем углу нашего острога и которая летом, в сильные жары, ужасно воняла. Ее изредка вычищали. Бедная собака, казалось, понимала готовившуюся ей участь. Она пытливо и с беспокойством взглядывала поочередно на нас троих и изредка только осмеливалась повертеть своим пушистым прижатым хвостом, точно желая смягчить нас этим знаком своей к нам доверенности. Я поскорей ушел, а они, разумеется, кончили свое дело благополучно.

Гуси у нас завелись как-то тоже случайно. Кто их развел и кому они собственно принадлежали, не знаю, но некоторое время они очень тешили арестантов и даже стали известны в городе. Они и вывелись в остроге и содержались на кухне. Когда выводок подрос, то все они, целым кагалом, повадились ходить вместе с арестантами на работу. Только, бывало, загремит барабан и двинется каторга к выходу, наши гуси с криком бегут за нами, распустив свои крылья, один за другим выскакивают через высокий порог из калитки и непременно отправляются на правый фланг, где и выстраиваются, ожидая окончания разводки. Примыкали

они всегда к самой большой партии и на работах паслись где-нибудь неподалеку. Только что двигалась партия с работы обратно в острог, подымались и они. В крепости разнеслись слухи, что гуси ходят с арестантами на работу. «Ишь, арестанты с своими гусями идут! — говорят, бывало, встречающиеся. — Да как это вы их обучили!» — «Вот вам на гусей!» — прибавлял другой и подавал подаяние. Но, несмотря на всю их преданность, к какому-то разговенью их всех перерезали.

Зато нашего козла Ваську ни за что бы не зарезали, если б не случилось особенного обстоятельства. Тоже не знаю, откуда он у нас взялся и кто принес его, но вдруг очутился в остроге маленький, беленький, прехорошенький козленок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его: надо же было в остроге, при конюшне, держать козла. Однако ж он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и презаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. Раз, когда уже у него прорезывались порядочные рожки, однажды вечером лезгин Бабай, сидя на казарменном крылечке в толпе других арестантов, вздумал с ним бодаться. Они уже долго стукались лбами, — это была любимая забава арестантов с козлом, — как вдруг Васька вспрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца и, только что Бабай отворотился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе передние копытцы и со всего размаха ударил Бабая в затылок, так что тот слетел кувырком с крыльца к восторгу всех присутствующих и первого Бабая. Одним словом, Ваську все ужасно любили. Когда он стал подрастать, над ним, вследствие общего и серьезного совещания, произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. «Не то пахнуть козлом будет», — говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть. Да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел, с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины. Бывало, идет и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську: рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любованье козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: «Не вызолотить ли рога Ваське!» Но только так поговорили, а не исполнили. Я, впрочем, помню, спросил Акима Акимыча, лучшего нашего золотильщика после Исая Фомича: можно ли действительно вызолотить козлу

рога? Он сначала внимательно посмотрел на козла, серьезно сообразил и отвечал, что, пожалуй, можно, «но будет непрочно-с и к тому же совершенно бесполезно». Тем дело и кончилось. И долго бы прожил Васька в остроге и умер бы разве от одышки, но однажды, возвращаясь во главе арестантов с работы, разубранный и разукрашенный, он попался навстречу майору, ехавшему на дрожках. «Стой! — заревел он. — Чей козел?» Ему объяснили. «Как! в остроге козел, и без моего позволения! Унтер-офицера!» Явился унтер-офицер, и тотчас же было повелено немедленно зарезать козла. Шкуру содрать, продать на базаре и вырученные деньги включить в казенную арестантскую сумму, а мясо отдать арестантам во щи. В остроге поговорили, пожалели, но, однако ж, не посмели ослушаться. Ваську зарезали над нашей помойной ямой. Мясо купил один из арестантов всё целиком, внеся острогу полтора целковых. На эти деньги купили калачей, а купивший Ваську распродал по частям, своим же, на жаркое. Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным.

Проживал у нас тоже некоторое время в остроге орел (карагуш), из породы степных небольших орлов. Кто-то принес его в острог раненого и измученного. Вся каторга обступила его; он не мог летать: правое крыло его висело по земле, одна нога была вывихнута. Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу, и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь. Когда на него насмотрелись и стали расходиться, он отковылял, хромая, прискакивая на одной ноге и помахивая здоровым крылом, в самый дальний конец острога, где забился в углу, плотно прижавшись к палям. Тут он прожил у нас месяца три и во всё время ни разу не вышел из своего угла. Сначала приходили часто глядеть на него, натравливали на него собаку. Шарик кидался на него с яростию, но, видимо, боялся подступить ближе, что очень потешало арестантов. «Зверь! — говорили они. — Не дается!» Потом и Шарик стал больно обижать его; страх прошел, и он, когда натравливали, изловчился хватать его за больное крыло. Орел защищался из всех сил когтями и клювом и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных, приходивших его рассматривать. Наконец всем он наскучил; все его бросили и забыли, и, однако ж, каждый день можно было видеть возле него клочки свежего мяса и черепок с водой. Кто-нибудь да наблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел несколько дней; наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях. Мне случилось не раз издали наблюдать его. Не видя никого и думая, что он один, он иногда решался недалеко выходить из угла и ковылял вдоль паль, шагов на двенадцать от своего места, потом возвращался назад, потом опять выходил, точно делал моцион. Завидя меня, он тотчас же изо всех сил, хромая и прискакивая, спешил на свое место и, откинув назад голову, разинув клюв, ощетинившись, тотчас же приготовлялся к бою. Никакими ласками

я не мог смягчить его: он кусался и бился, говядины от меня не брал и всё время, бывало, как я над ним стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза своим злым, пронзительным взглядом. Одиноко и злобно он ожидал смерти, не доверяя никому и не примиряясь ни с кем. Наконец арестанты точно вспомнили о нем, и хоть никто не заботился, никто и не поминал о нем месяца два, но вдруг во всех точно явилось к нему сочувствие. Заговорили, что надо вынести орла. «Пусть хоть околеет, да не в остроге», — говорили одни.

— Вестимо, птица вольная, суровая, не приучишь к острогу-то, — поддакивали другие.

— Знать, он не так, как мы, — прибавил кто-то.

— Вишь, сморозил: то птица, а мы, значит, человеки.

— Орел, братцы, есть царь лесов... — начал было Скуратов, но его на этот раз не стали слушать. Раз после обеда, когда пробил барабан на работу, взяли орла, зажав ему клюв рукой, потому что он начал жестоко драться, и понесли из острога. Дошли до вала. Человек двенадцать, бывших в этой партии, с любопытством желали видеть, куда пойдет орел. Странное дело: все были чем-то довольны, точно отчасти сами они получили свободу.

— Ишь собачье мясо: добро ему творишь, а он всё кусается! — говорил державший его, почти с любовью смотря на злую птицу.

— Отпущай его, Микитка!

— Ему, знать, черта в чемодане не строй. Ему волю подавай, заправскую волю-волюшку.

Орла сбросили с валу в степь. Это было глубокою осенью, в холодный и сумрачный день. Ветер свистал в голой степи и шумел в пожелтелой, иссохшей, клочковатой степной траве. Орел пустился прямо, махая больным крылом и как бы торопясь уходить от нас куда глаза глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала в траве его голова.

— Вишь его! — задумчиво проговорил один.

— И не оглянется! — прибавил другой. — Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!

— А ты думал, благодарить воротится? — заметил третий.

— Знамо дело, воля. Волю почуял.

— Слобода, значит.

— И не видать уж, братцы...

— Чего стоять-то? марш! — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу.

VII

ПРЕТЕНЗИЯ

Начиная эту главу, издатель записок покойного Александра Петровича Горянчикова считает своею обязанностью сделать читателям следующее сообщение.

В первой главе «Записок из Мертвого дома» сказано несколько слов об одном отцеубийце, из дворян. Между прочим, он поставлен был в пример того, с какой бесчувственностью говорят иногда арестанты о совершенных ими преступлениях. Сказано было тоже, что убийца не сознался перед судом в своем преступлении, но что, судя по рассказам людей, знавших все подробности его истории, факты были до того ясны, что невозможно было не верить преступлению. Эти же люди рассказывали автору «Записок», что преступник поведения был совершенно беспутного, ввязался в долги и убил своего отца, жаждая после него наследства. Впрочем, весь город, в котором прежде служил этот отцеубийца, рассказывал эту историю одинаково. Об этом последнем факте издатель «Записок» имеет довольно верные сведения. Наконец, в «Записках» сказано, что в остроге убийца был постоянно в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа; что это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя отнюдь не глупец, и что автор «Записок» никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. И тут же прибавлены слова: «Разумеется, я не верил этому преступлению».

На днях издатель «Записок из Мертвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога. Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия...

Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе.

Мы думаем тоже, что если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины Мертвого дома.

А теперь продолжаем.

Я уже говорил прежде, что я наконец освоился с моим положением в остроге. Но это «наконец» совершалось очень туго и мучительно, слишком мало-помалу. В сущности мне надо было почти год времени для этого, и это был самый трудный год моей жизни. Оттого-то он так весь целиком и уложился в моей памяти. Мне кажется, я каждый час этого года помню в последовательности. Говорил я тоже, что *привыкнуть* к этой жизни не могли и другие арестанты. Помню, как в этот первый год я часто размышлял про себя: «Что они, как? неужели могли привыкнуть? неужели спокойны?» И вопросы эти очень меня занимали. Я уже упоминал, что все арестанты жили здесь как бы не у себя дома, а как будто на

постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то. Люди, присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и уж непременно каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Это всегдашнее беспокойство, выказывавшееся хоть и молча, но видимо; эта странная горячность и нетерпеливость иногда невольно высказанных надежд, подчас до того неосновательных, что они как бы походили на бред, и, что более всего поражало, уживавшихся нередко в самых практических, по-видимому, умах, — всё это придавало необыкновенный вид и характер этому месту, до того, что, может быть, эти-то черты и составляли самое характерное его свойство. Как-то чувствовалось, почти с первого взгляда, что этого нет за острогом. Тут все были мечтатели, и это бросалось в глаза. Это чувствовалось болезненно, именно потому, что мечтательность сообщала большинству острога вид угрюмый и мрачный, нездоровый какой-то вид. Огромное большинство было молчаливо и злобно до ненависти, не любило выставлять своих надежд напоказ. Простодушие, откровенность были в презрении. Чем несбыточнее были надежды и чем больше чувствовал эту несбыточность сам мечтатель, тем упорнее и целомудреннее он их таил про себя, но отказаться от них он не мог. Кто знает, может быть, иной стыдился их про себя. В русском характере столько положительности и трезвости взгляда, столько внутренней насмешки над первым собою... Может быть, от этого постоянного затаенного недовольства собою и было столько нетерпеливости у этих людей в повседневных отношениях друг с другом, столько непримиримости и насмешки друг над другом. И если, например, выскакивал вдруг, из них же, какой-нибудь понаивнее и нетерпеливее и высказывал иной раз вслух то, что у всех было про себя на уме, пускался в мечты и надежды, то его тотчас же грубо осаживали, обрывали, осмеивали; но сдается мне, что самые рьяные из преследователей были именно те, которые, может быть, сами-то еще дальше него пошли в своих мечтах и надеждах. На наивных и простоватых, я сказал уже, смотрели у нас все вообще как на самых пошлых дураков и относились к ним презрительно. Каждый был до того угрюм и самолюбив, что начинал презирать человека доброго и без самолюбия. Кроме этих наивных и простоватых болтунов, все остальные, то есть молчаливые, резко разделялись на добрых и злых, на угрюмых и светлых. Угрюмых и злых было несравненно больше; если ж из них и случались иные уж так по природе своей говоруны, то все они непременно были беспокойные сплетники и тревожные завистники. До всего чужого им было дело, хотя своей собственной души, своих собственных тайных дел и они никому не выдавали напоказ. Это было не в моде, не принято. Добрые — очень маленькая кучка — были тихи, молчаливо таили про себя свои упования и, разумеется, более мрачных склонны были к надежде и вере в них. Впрочем, сдается мне, что в остроге был еще отдел вполне отчаявшихся. Таков был, например, и старик из Стародубских слобод; во всяком случае таких было очень мало.

Старик был с виду спокоен (я уже говорил о нем), но по некоторым признакам, я полагаю, душевное состояние его было ужасное. Впрочем, у него было свое спасение, свой выход: молитва и идея о мученичестве. Сошедший с ума, зачитавшийся в Библии арестант, о котором я уже упоминал и который бросился с кирпичом на майора, вероятно, тоже был из отчаявшихся, из тех, кого покинула последняя надежда; а так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве. Он объявил, что он бросился на майора без злобы, а единственно желая принять муки. И кто знает, какой психологический процесс совершился тогда в душе его! Без какой-нибудь цели и стремления к ней не живет ни один жив человек. Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращается нередко в чудовище... Цель у всех наших была свобода и выход из каторги.

Впрочем, вот я теперь силюсь подвести весь наш острог под разряды; но возможно ли это? Действительность бесконечно разнообразна сравнительно со всеми, даже и самыми хитрейшими, выводами отвлеченной мысли и не терпит резких и крупных различений. Действительность стремится к раздроблению. Жизнь своя особенная была и у нас, хоть какая-нибудь, да всё же была, и не одна официальная, а внутренняя, своя собственная жизнь.

Но, как уже и упоминал я отчасти, я не мог и даже не умел проникнуть во внутреннюю глубину этой жизни в начале моего острога, а потому все внешние проявления ее мучили меня тогда невыразимой тоской. Я иногда просто начинал ненавидеть этих таких же страдальцев, как я. Я даже завидовал им и обвинял судьбу. Я завидовал им в том, что они все-таки между своими, в товариществе, понимают друг друга, хотя в сущности им всем, как и мне, надоело и омерзело это товарищество из-под плети и палки, эта насильная артель, и всякий про себя смотрел от всех куда-нибудь в сторону. Повторяю опять, эта зависть, посещавшая меня в минуты злобы, имела свое законное основание. В самом деле, положительно не правы те, которые говорят, что дворянину, образованному и т. д. совершенно одинаково тяжело в наших каторгах и острогах, как и всякому мужику. Я знаю, я слышал об этом предположении в последнее время, я читал про это. Основание этой идеи верное, гуманное. Все люди, все человеки. Но идея-то слишком отвлеченная. Упущено из виду очень много практических условий, которые не иначе можно понять, как в самой действительности. Я говорю это не потому, что дворянин и образованный будто бы чувствуют утонченнее, больнее, что они более развиты. Душу и развитие ее трудно подводить под какой-нибудь данный уровень. Даже само образование в этом случае не мерка. Я первый готов свидетельствовать, что и в самой необразованной, в самой придавленной среде между этими страдальцами встречал черты самого утонченного развития душевного. В остроге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про него, что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг прихо-

дит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманье и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали. Бывает и обратно: образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит, и, как бы вы ни были добры или предубеждены, вы не находите в сердце своем ни извинений, ни оправданий.

Не говорю я тоже ничего о перемене привычек, образа жизни, пищи и проч., что для человека из высшего слоя общества, конечно, тяжелее, чем для мужика, который нередко голодал на воле, а в остроге по крайней мере сыто наедался. Не буду и об этом спорить. Положим, что человеку, хоть немного сильному волей, всё это вздор сравнительно с другими неудобствами, хотя в сущности перемена привычек дело вовсе не вздорное и не последнее. Но есть неудобства, перед которыми всё это бледнеет, до того, что не обращаешь внимания ни на грязь содержания, ни на тиски, ни на тощую, неопрятную пищу. Самый гладенький белоручка, самый нежный неженка, поработав день в поте лица, так, как он никогда не работал на свободе, будет есть и черный хлеб и щи с тараканами. К этому еще можно привыкнуть, как и упомянуто в юмористической арестантской песне о прежнем белоручке, попавшем в каторгу:

Дадут капусты мне с водою —
И ем, так за ушми трещит.

Нет; важнее всего этого то, что всякий из новоприбывающих в остроге через два часа по прибытии становится таким же, как и все другие, становится *у себя дома,* таким же равноправным хозяином в острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его за *своего.* Не то с *благородным,* с дворянином. Как ни будь он справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой; его не поймут, а главное — не поверят ему. Он не друг и не товарищ, и хоть и достигнет он наконец, с годами, того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой и вечно, мучительно будет сознавать свое отчуждение и одиночество. Это отчуждение делается иногда совсем без злобы со стороны арестантов, а так, бессознательно. Не свой человек, да и только. Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, переселенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет там такого же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним, а через два часа они, пожалуй, заживут самым мирным образом в одной избе или в одном шалаше. Не то для благородных. Они разделены с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается *вполне* только тогда, когда *благородный* вдруг сам, силою внешних обстоятельств, действительно, на деле лишится прежних прав своих

и обратится в простонародье. Не то хоть всю жизнь свою знайтесь с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним, по службе, например, в условно-административных формах, или даже так, просто по-дружески, в виде благодетеля и в некотором смысле отца, — никогда самой сущности не узнаете. Всё будет только оптический обман, и ничего больше. Я ведь знаю, что все, решительно все, читая мое замечание, скажут, что я преувеличиваю. Но я убежден, что оно верно. Я убедился не книжно, не умозрительно, а в действительности и имел очень довольно времени, чтобы проверить мои убеждения. Может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо...

События, как нарочно, с первого шагу подтверждали мои наблюдения и нервно и болезненно действовали на меня. В это первое лето я скитался по острогу почти один-одинехонек. Я сказал уже, что был в таком состоянии духа, что даже не мог оценить и отличить тех из каторжных, которые могли бы любить меня, которые и любили меня впоследствии, хоть и никогда не сходились со мною на равную ногу. Были товарищи и мне, из дворян, но не снимало с души моей всего бремени это товарищество. Не смотрел бы ни на что, кажется, а бежать некуда. И вот, например, один из тех случаев, которые с первого разу наиболее дали мне понять мою отчужденность и особенность моего положения в остроге. Однажды, в это же лето, уже к августу месяцу, в будний ясный и жаркий день, в первом часу пополудни, когда по обыкновению все отдыхали перед послеобеденной работой, вдруг вся каторга поднялась как один человек и начала строиться на острожном дворе. Я ни о чем не знал до самой этой минуты. В это время подчас я до того бывал углублен в самого себя, что почти не замечал, что вокруг происходит. А между тем каторга уже дня три глухо волновалась. Может быть, и гораздо раньше началось это волнение, как сообразил я уже потом, невольно припомнив кое-что из арестантских разговоров, а вместе с тем и усиленную сварливость арестантов, угрюмость и особенно озлобленное состояние, замечавшееся в них в последнее время. Я приписывал это тяжелой работе, скучным, длинным, летним дням, невольным мечтам о лесах и о вольной волюшке, коротким ночам, в которые трудно было вволю выспаться. Может быть, всё это и соединилось теперь вместе, в один взрыв, но предлог этого взрыва был — пища. Уже несколько дней в последнее время громко жаловались, негодовали в казармах и особенно сходясь в кухне за обедом и ужином, были недовольны стряпками, даже попробовали сменить одного из них, но тотчас прогнали нового и воротили старого. Одним словом, все были в каком-то беспокойном настроении духа.

— Работа тяжелая, а нас брюшиной кормят, — заворчит, бывало, кто-нибудь на кухне.

— А не нравится, так бламанже закажи, — подхватит другой.

— Щи с брюшиной, братцы, я оченно люблю, — подхватывает третий, — потому скусны.

— А как всё время тебя одной брюшиной кормить, будет скусно?

— Оно, конечно, тепере мясная пора, — говорит четвертый, — мы на заводе-то маемся-маемся, после урка-то жрать хочется. А брюшина какая еда!

— А не с брюшиной, так с усердием.*

— Вот хоть бы еще взять это усердие. Брюшина да усердие, только одно и наладили. Это какая еда! Есть тут правда аль нет?

— Да, корм плохой.

— Карман-то набивает небось.

— Не твоего ума это дело.

— А чьего же? Брюхо-то мое. А всем бы миром сказать претензию, и было бы дело.

— Претензию?

— Да.

— Мало тебя, знать, за ефту претензию драли. Статуй!

— Оно правда, — прибавляет ворчливо другой, до сих пор молчаливый, — хоть и скоро, да не споро. Что говорить-то на претензии будешь, ты вот что сперва скажи, голова с затылком?

— Ну и скажу. Коли б все пошли, и я б тогда со всеми говорил. Бедность, значит. У нас кто свое ест, а кто и на одном казенном сидит.

— Ишь, завидок востроглазый! Разгорелись глаза на чужое добро.

— На чужой кусок не разевай роток, а раньше вставай да свой затевай.

— Затевай!.. Я с тобой до седых волос в ефтом деле торговаться буду. Значит, ты богатый, коли сложа руки сидеть хочешь?

— Богат Ерошка, есть собака да кошка.

— А и вправду, братцы, чего сидеть! Значит, полно ихним дурачествам подражать. Шкуру дерут. Чего нейти?

— Чего! Тебе небось разжуй да в рот положи; привык жеваное есть. Значит, каторга — вот отчего!

— Выходит что: поссорь, боже, народ, накорми воевод.

— Оно самое. Растолстел восьмиглазый. Пару серых купил.

— Ну, и не любит выпить.

— Намеднись с ветеринаром за картами подрались.

— Всю ночь козыряли. Наш-то два часа прожил на кулаках. Федька сказывал.

— Оттого и щи с усердием.

— Эх вы, дураки! Да не с нашим местом выходить-то.

— А вот выйти всем, так посмотрим, какое он оправдание произнесет. На том и стоять.

— Оправдание! Он тебя по идолам, ** да и был таков.

— Да еще под суд отдадут...

---

* То есть с осердием. Арестанты в насмешку выговаривали «с усердием».

** По зубам.

Одним словом, все волновались. В это время действительно у нас была плохая еда. Да уж и всё одно к одному привалило. А главное — общий тоскливый настрой, всегдашняя затаенная мука. Каторжный сварлив и подымчив уже по природе своей; но подымаются все вместе или большой кучей редко. Причиной тому всегдашнее разногласие. Это всякий из них сам чувствовал: вот почему и было у нас больше руготни, нежели дела. И, однако ж, в этот раз волнение не прошло даром. Начали собираться по кучкам, толковали по казармам, ругались, припоминали со злобой всё управление нашего майора; выведывали всю подноготную. Особенно волновались некоторые. Во всяком подобном деле всегда являются зачинщики, коноводы. Коноводы в этих случаях, то есть в случаях претензий, — вообще презамечательный народ, и не в одном остроге, а во всех артелях, командах и проч. Это особенный тип, повсеместно между собою схожий. Это народ горячий, жаждущий справедливости и самым наивным, самым честным образом уверенный в ее непременной, непреложной и, главное, немедленной возможности. Народ этот не глупее других, даже бывают из них и очень умные, но они слишком горячи, чтоб быть хитрыми и расчетливыми. Во всех этих случаях если и бывают люди, которые умеют ловко направить массу и выиграть дело, то уж эти составляют другой тип народных вожаков и естественных предводителей его, тип чрезвычайно у нас редкий. Но эти, про которых я теперь говорю, зачинщики и коноводы претензий, почти всегда проигрывают дело и населяют за это потом остроги и каторги. Через горячку свою они проигрывают, но через горячку же и влияние имеют на массу. За ними, наконец, охотно идут. Их жар и честное негодование действуют на всех, и под конец самые нерешительные к ним примыкают. Их слепая уверенность в успехе соблазняет даже самых закоренелых скептиков, несмотря на то что иногда эта уверенность имеет такие шаткие, такие младенческие основания, что дивишься вчуже, как это за ними пошли. А главное то, что они идут первые, и идут, ничего не боясь. Они, как быки, бросаются прямо вниз рогами, часто без знания дела, без осторожности, без того практического иезуитизма, с которым нередко даже самый подлый и замаранный человек выигрывает дело, достигает цели и выходит сух из воды. Они же непременно ломают рога. В обыкновенной жизни это народ желчный, брюзгливый, раздражительный и нетерпимый. Чаще же всего ужасно ограниченный, что, впрочем, отчасти и составляет их силу. Досаднее же всего в них то, что, вместо прямой цели, они часто бросаются вкось, вместо главного дела — на мелочи. Это-то их и губит. Но они понятны массам; в этом их сила... Впрочем, надо сказать еще два слова о том, что такое значит *претензия*? . . . . .

В нашем остроге было несколько человек таких, которые пришли за претензию. Они-то и волновались наиболее. Особенно один, Мартынов, служивший прежде в гусарах, горячий, беспокойный и подозрительный человек, впрочем честный и правдивый.

Другой был Василий Антонов, человек как-то хладнокровно раздражавшийся, с наглым взглядом, с высокомерной саркастической улыбкой, чрезвычайно развитой, впрочем тоже честный и правдивый. Но всех не переберешь; много их было. Петров, между прочим, так и сновал взад и вперед, прислушивался ко всем кучкам, мало говорил, но, видимо, был в волнении и первый выскочил из казармы, когда начали строиться.

Наш острожный унтер-офицер, исправлявший у нас должность фельдфебеля, тотчас же вышел испуганный. Построившись, люди вежливо попросили его сказать майору, что каторга желает с ним говорить и лично просить его насчет некоторых пунктов. Вслед за унтер-офицером вышли и все инвалиды и построились с другой стороны, напротив каторги. Поручение, данное унтер-офицеру, было чрезвычайное и повергло его в ужас. Но не доложить немедленно майору он не смел. Во-первых, уж если поднялась каторга, то могло выйти и что-нибудь хуже. Всё начальство наше насчет каторги было как-то усиленно трусливо. Во-вторых, если б даже и ничего не было, так что все бы тотчас же одумались и разошлись, то и тогда бы унтер-офицер немедленно должен был доложить о всем происходившем начальству. Бледный и дрожащий от страха, отправился он поспешно к майору, даже и не пробуя сам опрашивать и увещевать арестантов. Он видел, что с ним теперь и говорить-то не станут.

Совершенно не зная ничего, и я вышел строиться. Все подробности дела я узнал уже потом. Теперь же я думал, происходит какая-нибудь поверка; но, не видя караульных, которые производят поверку, удивился и стал осматриваться кругом. Лица были взволнованные и раздраженные. Иные были даже бледны. Все вообще были озабочены и молчаливы в ожидании того, как-то придется заговорить перед майором. Я заметил, что многие посмотрели на меня с чрезвычайным удивлением, но молча отворотились. Им было, видимо, странно, что я с ними построился. Они, очевидно, не верили, чтоб и я тоже показывал претензию. Вскоре, однако ж, почти все бывшие кругом меня стали снова обращаться ко мне. Все глядели на меня вопросительно.

— Ты здесь зачем? — грубо и громко спросил меня Василий Антонов, стоявший от меня подальше других и до сих пор всегда говоривший мне *вы* и обращавшийся со мной вежливо.

Я посмотрел на него в недоумении, всё еще стараясь понять, что это значит, и уже догадываясь, что происходит что-то необыкновенное.

— В самом деле, что тебе здесь стоять? Ступай в казарму, — проговорил один молодой парень, из военных, с которым я до сих пор вовсе был незнаком, малый добрый и тихий. — Не твоего ума это дело.

— Да ведь строятся, — отвечал я ему, — я думал, поверка.

— Ишь, тоже выполз, — крикнул один.

— Железный нос, — проговорил другой.

— Муходавы! — проговорил третий с невыразимым презрением. Это новое прозвище вызвало всеобщий хохот.

— При милости на кухне состоит, — прибавил еще кто-то.

— Им везде рай. Тут каторга, а они калачи едят да поросят покупают. Ты ведь собственное ешь; чего ж сюда лезешь.

— Здесь вам не место, — проговорил Куликов, развязно подходя ко мне; он взял меня за руку и вывел из рядов.

Сам он был бледен, черные глаза его сверкали, и нижняя губа была закусана. Он не хладнокровно ожидал майора. Кстати: я ужасно любил смотреть на Куликова во всех подобных случаях, то есть во всех тех случаях, когда требовалось ему показать себя. Он рисовался ужасно, но и дело делал. Мне кажется, он и на казнь бы пошел с некоторым шиком, щеголеватостью. Теперь, когда все говорили мне *ты* и ругали меня, он, видимо, нарочно удвоил свою вежливость со мною, а вместе с тем слова его были как-то особенно, даже высокомерно настойчивы, не терпевшие никакого возражения.

— Мы здесь про свое, Александр Петрович, а вам здесь нечего делать. Ступайте куда-нибудь, переждите... Вон ваши все на кухне, идите туда.

— Под девятую сваю, где Антипка беспятый живет! — подхватил кто-то.

Сквозь приподнятое окно в кухне я действительно разглядел наших поляков; впрочем, мне показалось, что там, кроме их, много народу. Озадаченный, я пошел на кухню. Смех, ругательства и тюканье (заменявшее у каторжных свистки) раздались мне вслед.

— Не понравились!.. тю-тю-тю! бери его!..

Никогда еще я не был до сих пор так оскорблен в остроге, и в этот раз мне было очень тяжело. Но я попал в такую минуту. В сенях в кухне мне встретился Т—вский, из дворян, твердый и великодушный молодой человек, без большого образования и любивший ужасно Б. Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили. Он был храбр, мужествен и силен, и это как-то выказывалось в каждом жесте его.

— Что вы, Горянчиков, — закричал он мне, — идите сюда!

— Да что там такое?

— Они претензию показывают, разве вы не знаете? Им, разумеется, не удастся: кто поверит каторжным? Станут разыскивать зачинщиков, и если мы там будем, разумеется, на нас первых свалят обвинение в бунте. Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд. Майор нас всех ненавидит и рад погубить. Он нами сам оправдается.

— Да и каторжные выдадут нас головою, — прибавил М—цкий, когда мы вошли на кухню.

— Не беспокойтесь, не пожалеют! — подхватил Т—вский.

В кухне, кроме дворян, было еще много народу, всего человек тридцать. Все они остались, не желая показывать претензию, — одни из трусости, другие по решительному убеждению в полной

бесполезности всякой претензии. Был тут и Аким Акимыч, закоренелый и естественный враг всех подобных претензий, мешающих правильному течению службы и благонравию. Он молча и чрезвычайно спокойно выжидал окончания дела, нимало не тревожась его исходом, напротив, совершенно уверенный в неминуемом торжестве порядка и воли начальства. Был тут и Исай Фомич, стоявший в чрезвычайном недоумении, повесив нос, жадно и трусливо прислушиваясь к нашему говору. Он был в большом беспокойстве. Были тут все острожные полячкѝ из простых, примкнувшие тоже к дворянам. Было несколько робких личностей из русских, народу всегда молчаливого и забитого. Выйти с прочими они не осмелились и с грустью ожидали, чем кончится дело. Было, наконец, несколько угрюмых и всегда суровых арестантов, народу неробкого. Они остались по упрямому и брезгливому убеждению, что всё это вздор и ничего, кроме худого, из этого дела не будет. Но мне кажется, что они все-таки чувствовали себя теперь как-то неловко, смотрели не совсем самоуверенно. Они хоть и понимали, что совершенно правы насчет претензии, что и подтвердилось впоследствии, но все-таки сознавали себя как бы отщепенцами, оставившими артель, точно выдали товарищей плац-майору. Очутился тут и Елкин, тот самый хитрый мужичок-сибиряк, пришедший за фальшивую монету и отбивший ветеринарную практику у Куликова. Старичок из Стародубовских слобод был тоже тут. Стряпки решительно все до единого остались на кухне, вероятно по убеждению, что они тоже составляют часть администрации, а следственно, и неприлично им выходить против нее.

— Однако, — начал я, нерешительно обращаясь к М—му, — кроме этих, почти все вышли.

— Да нам-то что? — проворчал Б.

— Мы во сто раз больше их рисковали бы, если б вышли; а для чего? Je haïs ces brigands. [1] И неужели вы думаете хоть одну минуту, что их претензия состоится? Что за охота соваться в нелепость?

— Ничего из этого не будет, — подхватил один из каторжных, упрямый и озлобленный старик. Алмазов, бывший тут же, поспешил поддакнуть ему в ответ.

— Окромя того, что пересекут с полсотни, — ничего из этого не будет.

— Майор приехал! — крикнул кто-то, и все жадно бросились к окошкам.

Майор влетел злой, взбесившийся, красный, в очках. Молча, но решительно подошел он к фрунту. В этих случаях он действительно был смел и не терял присутствия духа. Впрочем, он почти всегда был вполпьяна. Даже его засаленная фуражка с оранжевым околышком и грязные серебряные эполеты имели в эту минуту что-то зловещее. За ним шел писарь Дятлов, чрезвычайно важная

---

[1] Я ненавижу этих разбойников (*франц.*).

особа в нашем остроге, в сущности управлявший всем в остроге и даже имевший влияние на майора, малый хитрый, очень себе на уме, но и не дурной человек. Арестанты были им довольны. Вслед за ним шел наш унтер-офицер, очевидно уже успевший получить страшнейшую распеканцию и ожидавший еще вдесятеро больше; за ним конвойные, три или четыре человека, не более. Арестанты, которые стояли без фуражек, кажется, еще с того самого времени, как послали за майором, теперь все выпрямились, подправились; каждый из них переступил с ноги на ногу, а затем все так и замерли на месте, ожидая первого слова или, лучше сказать, первого крика высшего начальства.

Он немедленно последовал; со второго слова майор заорал во всё горло, даже с каким-то визгом на этот раз: очень уже он был разбешен. Из окон нам видно было, как он бегал по фрунту, бросался, допрашивал. Впрочем, вопросов его, равно как и арестантских ответов, нам за дальностью места не было слышно. Только и расслышали мы, как он визгливо кричал:

— Бунтовщики!.. Сквозь строй... Зачинщики! Ты зачинщик! Ты зачинщик! — накинулся он на кого-то.

Ответа не было слышно. Но через минуту мы увидели, как арестант отделился и отправился в кордегардию. Еще через минуту отправился вслед за ним другой, потом третий.

— Всех под суд! я вас! Это кто там на кухне? — взвизгнул он, увидя нас в отворенные окошки. — Всех сюда! гнать их сейчас сюда!

Писарь Дятлов отправился к нам на кухню. В кухне сказали ему, что не имеют претензии. Он немедленно воротился и доложил майору.

— А, не имеют! — проговорил он двумя тонами ниже, видимо обрадованный. — Всё равно, всех сюда!

Мы вышли. Я чувствовал, что как-то совестно нам выходить. Да и все шли, точно понурив голову.

— А, Прокофьев! Елкин тоже, это ты, Алмазов... Становитесь, становитесь сюда, в кучку, — говорил нам майор каким-то уторопленным, но мягким голосом, ласково на нас поглядывая. — М—цкий, ты тоже здесь... вот и переписать. Дятлов! Сейчас же переписать всех довольных особо и всех недовольных особо, всех до единого, и бумагу ко мне. Я всех вас представлю... под суд! Я вас, мошенники!

Бумага подействовала.

— Мы довольны! — угрюмо крикнул вдруг один голос из толпы недовольных, но как-то не очень решительно.

— А, довольны! Кто доволен? Кто доволен, тот выходи.

— Довольны, довольны! — прибавилось несколько голосов.

— Довольны! значит, вас смущали? значит, были зачинщики, бунтовщики? Тем хуже для них!..

— Господи, что ж это такое! — раздался чей-то голос в толпе.

— Кто, кто это крикнул, кто? — заревел майор, бросаясь в ту сторону, откуда послышался голос. — Это ты, Расторгуев, ты крикнул? В кордегардию!

Расторгуев, одутловатый и высокий молодой парень, вышел и медленно отправился в кордегардию. Крикнул вовсе не он, но так как на него указали, то он и не противоречил.

— С жиру беситесь! — завопил ему вслед майор. — Ишь, толстая рожа, в три дня не...! Вот я вас всех разыщу! Выходите, довольные!

— Довольны, ваше высокоблагородие! — мрачно раздалось несколько десятков голосов; остальные упорно молчали. Но майору только того и надо было. Ему, очевидно, самому было выгодно кончить скорее дело, и как-нибудь кончить согласием.

— А, теперь *все* довольны! — проговорил он торопясь. — Я это и видел... знал. Это зачинщики! Между ними, очевидно, есть зачинщики! — продолжал он, обращаясь к Дятлову. — Это надо подробнее разыскать. А теперь... теперь на работу время. Бей в барабан!

Он сам присутствовал на разводке. Арестанты молча и грустно расходились по работам, довольные по крайней мере тем, что поскорей с глаз долой уходили. Но после разводки майор немедленно наведался в кордегардию и распорядился с «зачинщиками», впрочем не очень жестоко. Даже спешил. Один из них, говорили потом, попросил прощения, и он тотчас простил его. Видно было, что майор отчасти не в своей тарелке и даже, может быть, струхнул. Претензия во всяком случае вещь щекотливая, и хотя жалоба арестантов в сущности и не могла назваться претензией, потому что показывали ее не высшему начальству, а самому же майору, но все-таки было как-то неловко, нехорошо. Особенно смущало, что все поголовно восстали. Следовало затушить дело во что бы то ни стало. «Зачинщиков» скоро выпустили. Назавтра же пища улучшилась, хотя, впрочем, ненадолго. Майор в первые дни стал чаще навещать острог и чаще находил беспорядки. Наш унтер-офицер ходил озабоченный и сбившийся с толку, как будто всё еще не мог прийти в себя от удивления. Что же касается арестантов, то долго еще после этого они не могли успокоиться, но уже не волновались по-прежнему, а были молча растревожены, озадачены как-то. Иные даже повесили голову. Другие ворчливо, хоть и несловоохотливо отзывались о всем этом деле. Многие как-то озлобленно и вслух подсмеивались сами над собою, точно казня себя за претензию.

— На-тко, брат, возьми, закуси! — говорит, бывало, один.

— Чему посмеешься, тому и поработаешь! — прибавляет другой.

— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила? — замечает третий.

— Нашего брата без дубины не уверишь, известно. Хорошо еще, что не всех высек.

— А ты вперед больше знай, да меньше болтай, крепче будет! — озлобленно замечает кто-нибудь.

— Да ты что учишь-то, учитель?

— Знамо дело, учу.

— Да ты кто таков выскочил?

— Да я-то покамест еще человек, а ты-то кто?

— Огрызок собачий, вот ты кто.

— Это ты сам.

— Ну, ну, довольно вам! чего загалдели! — кричат со всех сторон на спорящих...

В тот же вечер, то есть в самый день претензии, возвратясь с работы, я встретился за казармами с Петровым. Он меня уж искал. Подойдя ко мне, он что-то пробормотал, что-то вроде двух-трех неопределенных восклицаний, но вскоре рассеянно замолчал и машинально пошел со мной рядом. Всё это дело еще больно лежало у меня на сердце, и мне показалось, что Петров мне кое-что разъяснит.

— Скажите, Петров, — спросил я его, — ваши на нас не сердятся?

— Кто сердится? — спросил он, как бы очнувшись.

— Арестанты на нас... на дворян.

— А за что на вас сердиться?

— Ну, да за то, что мы не вышли на претензию.

— Да вам зачем показывать претензию? — спросил он, как бы стараясь понять меня, — ведь вы свое кушаете.

— Ах, боже мой! Да ведь и из ваших есть, что свое едят, а вышли же. Ну, и нам надо было... из товарищества.

— Да... да какой же вы нам товарищ? — спросил он с недоумением.

Я поскорее взглянул на него: он решительно не понимал меня, не понимал, чего я добиваюсь. Но зато я понял его в это мгновение совершенно. В первый раз теперь одна мысль, уже давно неясно во мне шевелившаяся и меня преследовавшая, разъяснилась мне окончательно, и я вдруг понял то, о чем до сих пор плохо догадывался. Я понял, что меня никогда не примут в товарищество, будь я разарестант, хоть на веки вечные, хоть особого отделения. Но особенно остался мне в памяти вид Петрова в эту минуту. В его вопросе: «Какой же вы нам товарищ?» — слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение. Я думал: нет ли в этих словах какой-нибудь иронии, злобы, насмешки? Ничего не бывало: просто не товарищ, да и только. Ты иди своей дорогой, а мы своей; у тебя свои дела, а у нас свои.

И действительно, я было думал, что после претензии они просто загрызут нас и нам житья не будет. Ничуть не бывало: ни малейшего упрека, ни малейшего намека на упрек мы не слыхали, никакой особенной злобы не прибавилось. Просто пилили нас понемногу при случае, как и прежде пилили, и больше ничего. Впрочем, не сердились тоже нимало и на всех тех, которые не хотели пока-

зывать претензию и оставались на кухне, равно как и на тех, которые из первых крикнули, что всем довольны. Даже и не помянул об этом никто. Особенно последнего я не мог понять.

VIII
ТОВАРИЩИ

Меня, конечно, более тянуло к своим, то есть к «дворянам», особенно в первое время. Но из троих бывших русских дворян, находившихся у нас в остроге (Акима Акимыча, шпиона А—ва и того, которого считали отцеубийцею), я знался и говорил только с Акимом Акимычем. Признаться, я подходил к Акиму Акимычу, так сказать, с отчаяния, в минуты самой сильной скуки и когда уже ни к кому, кроме него, подойти не предвиделось. В прошлой главе я было попробовал рассортировать всех наших людей на разряды, но теперь, как припомнил Акима Акимыча, то думаю, что можно еще прибавить один разряд. Правда, что он один его и составлял. Это — разряд совершенно равнодушных каторжных. Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы всё равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем: всё вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нем и следа. Пробыть в остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь подумал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кой-какими услугами; но иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще более усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое. А я от тоски-то и заговаривал с ним. Жаждешь, бывало, хоть какого-нибудь живого слова, хоть желчного, хоть нетерпеливого, хоть злобы какой-нибудь: мы бы уж хоть позлились на судьбу нашу вместе; а он молчит, клеит свои фонарики или расскажет о том, какой у них смотр был в таком-то году, и кто был начальник дивизии, и как его звали по имени и отчеству, и доволен был он смотром или нет, и как застрельщикам сигналы были изменены и проч. И всё таким ровным, таким чинным голосом, точно вода капает по капле. Он даже почти совсем не воодушевлялся, когда рассказывал мне, что за участие в каком-то деле на Кавказе удостоился получить «святыя Анны» на шпагу. Только голос его становился в эту минуту как-то необыкновенно важен и солиден; он немного понижал его, даже до какой-то таинственности, когда произносил «святыя Анны», и после этого минуты на три становился как-то особенно молчалив и соли-

ден... В этот первый год у меня бывали глупые минуты, когда я (и всегда как-то вдруг) начинал почти ненавидеть Акима Акимыча, неизвестно за что, и молча проклинал судьбу свою за то, что она поместила меня с ним на нарах голова с головою. Обыкновенно через час я уже укорял себя за это. Но это было только в первый год; впоследствии я совершенно примирился в душе с Акимом Акимычем и стыдился моих прежних глупостей. Наружно же мы, помнится, с ним никогда не ссорились.

Кроме этих троих русских, других в мое время перебывало у нас восемь человек. С некоторыми из них я сходился довольно коротко и даже с удовольствием, но не со всеми. Лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени. С двумя из них я впоследствии просто перестал говорить. Образованных из них было только трое: Б—ский, М—кий и старик Ж—кий, бывший прежде где-то профессором математики, — старик добрый, хороший, большой чудак и, несмотря на образование, кажется, крайне ограниченный человек. Совсем другие были М—кий и Б—кий. С М—ким я хорошо сошелся с первого раза; никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его, привязаться к нему я никогда не мог. Это был глубоко недоверчивый и озлобленный человек, но умевший удивительно хорошо владеть собой. Вот это-то слишком большое уменье и не нравилось в нем: как-то чувствовалось, что он никогда и ни перед кем не развернет всей души своей. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Это была натура сильная и в высшей степени благородная. Чрезвычайная, даже несколько иезуитская ловкость и осторожность его в обхождении с людьми выказывала его затаенный, глубокий скептицизм. А между тем это была душа, страдающая именно этой двойственностью: скептицизма и глубокого, ничем непоколебимого верования в некоторые свои особые убеждения и надежды. Несмотря, однако же, на всю житейскую ловкость свою, он был в непримиримой вражде с Б—м и с другом его Т—ским. Б—кий был больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности предобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов. Я не вынес этого характера и впоследствии разошелся с Б—м, но зато никогда не переставал любить его; а с М—ким и не ссорился, но никогда его не любил. Разойдясь с Б—м, так случилось, что я тотчас же должен был разойтись и с Т—ским, тем самым молодым человеком, о котором я упоминал в предыдущей главе, рассказывая о нашей претензии. Это было мне очень жаль. Т—ский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек, одним словом. Всё дело было в том, что он до того любил и уважал Б—го, до того благоговел перед ним, что тех, которые чуть-чуть расходились с Б—м, считал тотчас же почти своими врагами. Он и с М—м, кажется, разошелся впоследствии за Б—го, хотя долго крепился. Впрочем, все они были больные нравственно,

желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно: им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на десять, на двенадцать лет, а главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных одно только зверство и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого, и что тоже очень было понятно: на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их в остроге. С черкесами, с татарами, с Исаем Фомичом они были ласковы и приветливы, но с отвращением избегали всех остальных каторжных. Только один стародубский старовер заслужил их полное уважение. Замечательно, впрочем, что никто из каторжных в продолжение всего времени, как я был в остроге, не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей, что встречается в нашем простонародье относительно иностранцев, преимущественно немцев, хотя, впрочем, и очень редко. Впрочем, над немцами только разве смеются; немец представляет собою что-то глубоко комическое для русского простонародья. С нашими же каторжные обращались даже уважительно, гораздо более, чем с нами, русскими, и нисколько не *трогали* их. Но те, кажется, никогда этого не хотели заметить и взять в соображение. Я заговорил о Т—ском. Это он, когда их переводили из места первой их ссылки в нашу крепость, нес Б—го на руках в продолжение чуть не всей дороги, когда тот, слабый здоровьем и сложением, уставал почти с полэтапа. Они присланы были прежде в У—горск. Там, рассказывали они, было им хорошо, то есть гораздо лучше, чем в нашей крепости. Но у них завелась какая-то, совершенно, впрочем, невинная, переписка с другими ссыльными из другого города, и за это их троих нашли нужным перевести в нашу крепость, ближе на глаза к нашему высшему начальству. Третий товарищ их был Ж—кий. До их прибытия М—кий был в остроге один. То-то он должен был тосковать в первый год своей ссылки!

Этот Ж—кий был тот самый вечно молившийся богу старик, о котором я уже упоминал. Все наши политические преступники были народ молодой, некоторые даже очень; один Ж—кий был лет уже с лишком пятидесяти. Это был человек, конечно, честный, но несколько странный. Товарищи его, Б—кий и Т—кий, его очень не любили, даже не говорили с ним, отзываясь о нем, что он упрям и вздорен. Не знаю, насколько они были в этом случае правы. В остроге, как и во всяком таком месте, где люди сбираются в кучу не волею, а насильно, мне кажется, скорее можно поссориться и даже возненавидеть друг друга, чем на воле. Много обстоятельств тому способствует. Впрочем, Ж—кий был действительно человек довольно тупой и, может быть, неприятный. Все остальные его товарищи были тоже с ним не в ладу. Я с ним хоть и никогда не ссорился, но особенно не сходился. Свой предмет, математику, он, кажется, знал. Помню, он всё мне силился растолковать на

своем полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в ученом мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько поврежден рассудком. По целым дням он молился на коленях богу, чем снискал общее уважение каторги и пользовался им до самой смерти своей. Он умер в нашем госпитале после тяжкой болезни, на моих глазах. Впрочем, уважение каторжных он приобрел с самого первого шагу в острог после своей истории с нашим майором. В дороге от У—горска до нашей крепости их не брили, и они обросли бородами, так что когда их прямо привели к плац-майору, то он пришел в бешеное негодование на такое нарушение субординации, в чем, впрочем, они вовсе не были виноваты.

— В каком они виде! — заревел он. — Это бродяги, разбойники!

Ж—кий, тогда еще плохо понимавший по-русски и подумавший, что их спрашивают: кто они такие? бродяги или разбойники? — отвечал:

— Мы не бродяги, а политические преступники.

— Ка-а-к! Ты грубить? грубить! — заревел майор. — В кордегардию! сто розог, сей же час, сию же минуту!

Старика наказали. Он лег под розги беспрекословно, закусил себе зубами руку и вытерпел наказание без малейшего крика или стона, не шевелясь. Б—кий и Т—кий тем временем уже вошли в острог, где М—кий уже поджидал их у ворот и прямо бросился к ним на шею, хотя до сих пор никогда их и не видывал. Взволнованные от майорского приема, они рассказали ему всё о Ж—ком. Помню, как М—кий мне рассказывал об этом: «Я был вне себя, — говорил он, — я не понимал, что со мною делается, и дрожал, как в ознобе. Я ждал Ж—го у ворот. Он должен был прийти прямо из кордегардии, где его наказывали. Вдруг отворилась калитка: Ж—кий, не глядя ни на кого, с бледным лицом и с дрожавшими бледными губами, прошел между собравшихся на дворе каторжных, уже узнавших, что наказывают дворянина, вошел в казарму, прямо к своему месту, и, ни слова не говоря, стал на колени и начал молиться богу. Каторжные были поражены и даже растроганы. «Как увидал я этого старика, — говорил М—кий, — седого, оставившего у себя на родине жену, детей, как увидал я его на коленях, позорно наказанного и молящегося, — я бросился за казармы и целых два часа был как без памяти; я был в исступлении...» Каторжные стали очень уважать Ж—го с этих пор и обходились с ним всегда почтительно. Им особенно понравилось, что он не кричал под розгами.

Надобно, однако ж, сказать всю правду: по этому примеру отнюдь нельзя судить об обращении начальства в Сибири с ссыльными из дворян, кто бы они ни были, эти ссыльные, русские или поляки. Этот пример только показывает, что можно нарваться на лихого человека, и, конечно, будь этот лихой человек где-нибудь

отдельным и старшим командиром, то участь ссыльного, в случае, если б его особенно невзлюбил этот лихой командир, была бы очень плохо обеспечена. Но нельзя не признаться, что самое высшее начальство в Сибири, от которого зависит тон и настрой всех прочих командиров, насчет ссыльных дворян очень разборчиво и даже в иных случаях норовит дать им поблажку в сравнении с остальными каторжными, из простонародия. Причины тому ясные: эти высшие начальники, во-первых, сами дворяне; во-вторых, случалось еще прежде, что некоторые из дворян не ложились под розги и бросались на исполнителей, отчего происходили ужасы; а в-третьих, и, мне кажется, это главное, уже давно, еще лет тридцать пять тому назад, в Сибирь явилась вдруг, разом, большая масса ссыльных дворян, и эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что начальство уже по старинной, преемственной привычке поневоле глядело в мое время на дворян-преступников известного разряда иными глазами, чем на всех других ссыльных. Вслед за высшим начальством привыкли глядеть такими же глазами и низшие командиры, разумеется заимствуя этот взгляд и тон свыше, повинуясь, подчиняясь ему. Впрочем, многие из этих низших командиров глядели тупо, критиковали про себя высшие распоряжения и очень, очень рады бы были, если б им только не мешали распорядиться по-своему. Но им не совсем это позволяли. Я имею твердое основание так думать, и вот почему. Второй разряд каторги, в котором я находился и состоявший из крепостных арестантов под военным начальством, был несравненно тяжеле остальных двух разрядов, то есть третьего (заводского) и первого (в рудниках). Тяжеле он был не только для дворян, но и для всех арестантов именно потому, что начальство и устройство этого разряда — всё военное, очень похожее на арестантские роты в России. Военное начальство строже, порядки теснее, всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под замком: а этого нет в такой силе в первых двух разрядах. Так по крайней мере говорили все наши арестанты, а между ними были знатоки дела. Они все с радостью пошли бы в первый разряд, считающийся в законах тягчайшим, и даже много раз мечтали об этом. Об арестантских же ротах в России все наши, которые были там, говорили с ужасом и уверяли, что во всей России нет тяжеле места, как арестантские роты по крепостям, и что в Сибири рай сравнительно с тамошней жизнью. Следственно, если при таком строгом содержании, как в нашем остроге, при военном начальстве, на глазах самого генерал-губернатора, и, наконец, ввиду таких случаев (иногда бывавших), что некоторые посторонние, но официозные люди, по злобе или по ревности к службе, готовы были тайком донести куда следует, что такого-то, дескать, разряда преступникам такие-то неблагонамеренные командиры дают поблажку, — если в таком месте, говорю я, на преступников-дворян смотрели несколько другими глазами, чем на остальных каторжных, то тем более смотрели на них гораздо льготнее в пер-

вом и третьем разряде. Следственно, по тому месту, где я был, мне кажется, я могу судить в этом отношении и о всей Сибири. Все слухи и рассказы, доходившие до меня на этот счет от ссыльных первого и третьего разрядов, подтверждали мое заключение. В самом деле, на всех нас, дворян, в нашем остроге начальство смотрело внимательнее и осторожнее. Поблажки нам насчет работы и содержания не было решительно никакой: те же работы, те же кандалы, те же замки — одним словом, всё то же самое, что и у всех арестантов. Да и облегчить-то нельзя было. Я знаю, что в этом городе в то *недавнее давнопрошедшее* время было столько доносчиков, столько интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку! Итак, всякий побаивался, и мы жили наравне со всеми каторжными, но относительно телесного наказания было некоторое исключение. Правда, нас бы чрезвычайно удобно высекли, если б мы заслужили это, то есть проступились в чем-нибудь. Этого требовал долг службы и равенства — перед телесным наказанием. Но так, зря, легкомысленно нас все-таки бы не высекли, а с простыми арестантами такого рода легкомысленное обращение, разумеется, случалось, особенно при некоторых субалтерных командирах и охотниках распорядиться и внушить при всяком удобном случае. Нам известно было, что комендант, узнав об истории с стариком Ж—ким, очень вознегодовал на майора и внушил ему, чтоб он на будущее время изволил держать руки покороче. Так рассказывали мне все. Знали тоже у нас, что сам генерал-губернатор, доверявший нашему майору и отчасти любивший его как исполнителя и человека с некоторыми способностями, узнав про эту историю, тоже выговаривал ему. И майор наш принял это к сведению. Уж как, например, ему хотелось добраться до М—го, которого он ненавидел через наговоры А—ва, но он никак не мог его высечь, хотя и искал предлога, гнал его и подыскивался к нему. Об истории Ж—го скоро узнал весь город, и общее мнение было против майора; многие ему выговаривали, иные даже с неприятностями. Вспоминаю теперь и мою первую встречу с плац-майором. Нас, то есть меня и другого ссыльного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали еще в Тобольске рассказами о неприятном характере этого человека. Бывшие там в это время старинные двадцатипятилетние ссыльные из дворян, встретившие нас с глубокой симпатией и имевшие с нами сношения всё время, как мы сидели на пересыльном дворе, предостерегали нас от будущего командира нашего и обещались сделать всё, что только могут, через знакомых людей, чтоб защитить нас от его преследования. В самом деле, три дочери генерал-губернатора, приехавшие из России и гостившие в то время у отца, получили от них письма и, кажется, говорили ему в нашу пользу. Но что он мог сделать? Он только сказал майору, чтоб он был несколько поразборчивее. Часу в третьем пополудни мы, то есть я и товарищ мой, прибыли

в этот город, и конвойные прямо повели нас к нашему повелителю. Мы стояли в передней, ожидая его. Между тем уже послали за острожным унтер-офицером. Как только явился он, вышел и плац-майор. Багровое, угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину.

— Как тебя зовут? — спросил он моего товарища. Он говорил скоро, резко, отрывисто и, очевидно, хотел произвести на нас впечатление.

— Такой-то.

— Тебя? — продолжал он, обращаясь ко мне, уставив на меня свои очки.

— Такой-то.

— Унтер-офицер! сейчас их в острог, выбрить в кордегардии по-гражданскому, немедленно, половину головы; кандалы перековать завтра же. Это какие шинели? откуда получили? — спросил он вдруг, обратив внимание на серые капоты с желтыми кругами на спинах, выданные нам в Тобольске и в которых мы предстали пред его светлые очи. — Это новая форма! Это, верно, какая-нибудь новая форма... Еще проектируется... из Петербурга... — говорил он, повертывая нас поочередно. — С ними нет ничего? — спросил он вдруг конвоировавшего нас жандарма.

— Собственная одежда есть, ваше высокоблагородие, — отвечал жандарм, как-то мгновенно вытянувшись, даже с небольшим вздрагиванием. Его все знали, все о нем слышали, он всех пугал.

— Всё отобрать. Отдать им только одно белье, и то белое, а цветное, если есть, отобрать. Остальное всё продать с аукциона. Деньги записать в приход. Арестант не имеет собственности, — продолжал он, строго посмотрев на нас. — Смотрите же, вести себя хорошо! чтоб я не слыхал! Не то... телес-ным на-казанием! За малейший проступок — р-р-розги!..

Весь этот вечер я с непривычки был почти болен от этого приема. Впрочем, впечатление усилилось и тем, что я увидел в остроге; но о вступлении моем в острог я уже рассказывал.

Я упомянул сейчас, что нам не делали и не смели делать никакой поблажки, никакого облегчения перед прочими арестантами в работе. Но один раз, однако, попробовали сделать: я и Б—кий целых три месяца ходили в инженерную канцелярию в качестве писарей. Но это сделали шито-крыто, и сделало инженерное начальство. То есть прочие все, пожалуй, кому надо было, знали, но делали вид, что не знали. Это случилось еще при командире команды Г—ве. Подполковник Г—ков упал к нам как с неба, пробыл у нас очень недолго, — если не ошибаюсь, не более полугода, даже и того меньше, — и уехал в Россию, произведя необыкновенное впечатление на всех арестантов. Его не то что любили арестанты, его они обожали, если только можно употребить здесь это слово. Как он это сделал, не знаю, но он завоевал их с первого

разу. «Отец, отец! отца не надо!» — говорили поминутно арестанты во всё время его управления инженерною частью. Кутила он был, кажется, ужаснейший. Небольшого роста, с дерзким, самоуверенным взглядом. Но вместе с тем он был ласков с арестантами, чуть не до нежностей, и действительно буквально любил их, как отец. Отчего он так любил арестантов — сказать не могу, но он не мог видеть арестанта, чтоб не сказать ему ласкового, веселого слова, чтоб не посмеяться с ним, не пошутить с ним, и, главное, — ни капли в этом не было чего-нибудь начальственного, хоть чего-нибудь обозначавшего неравную или чисто начальничью ласку. Это был свой товарищ, свой человек в высочайшей степени. Но, несмотря на весь этот инстинктивный демократизм его, арестанты ни разу не проступились перед ним в какой-нибудь непочтительности, фамильярности. Напротив. Только всё лицо арестанта расцветало, когда он встречался с командиром, и, снявши шапку, он уже смотрел улыбаясь, когда тот подходил к нему. А если тот заговорит — как рублем подарит. Бывают же такие популярные люди. Смотрел он молодцом, ходил прямо, браво. «Орел!» — говорят, бывало, о нем арестанты. Облегчить их он, конечно, ничем не мог; заведовал он только одними инженерными работами, которые и при всех других командирах шли в своем всегдашнем, раз заведенном законном порядке. Разве только, встретив случайно партию на работе, видя, что дело кончено, не держит, бывало, лишнего времени и отпустит до барабана. Но нравилась его доверенность к арестанту, отсутствие мелкой щепетильности и раздражительности, совершенное отсутствие иных оскорбительных форм в начальнических отношениях. Потеряй он тысячу рублей — я думаю, первый вор из наших, если б нашел их, отнес бы к нему. Да, я уверен, что так было бы. С каким глубоким участием узнали арестанты, что их орел-командир поссорился насмерть с нашим ненавистным майором. Это случилось в первый же месяц по его прибытии. Наш майор был когда-то его сослуживец. Они встретились после долгой разлуки как друзья и закутили было вместе. Но вдруг у них порвалось. Они поссорились, и Г—в сделался ему смертельным врагом. Слышно было даже, что они подрались при этом случае, что с нашим майором могло случиться: он часто дирался. Как услышали это арестанты, радости их не было конца. «Осьмиглазому ли с таким ужиться! тот орел, а наш...», и тут обыкновенно прибавлялось словцо, неудобное в печати. Ужасно интересовались у нас тем, кто из них кого поколотил. Если б слух об их драке оказался неверным (что, может быть, так и было), то, кажется, нашим арестантикам было бы это очень досадно. «Нет, уж наверно командир одолел, — говорили они, — он маленький, да удаленький, а тот, слышь, под кровать от него залез». Но скоро Г—ков уехал, и арестанты опять впали в уныние. Инженерные командиры были у нас, правда, все хороши: при мне сменилось их трое или четверо; «да всё не нажить уж такого, — говорили арестанты, — орел был, орел и заступник». Вот этот-то Г—ков очень

любил всех нас, дворян, и под конец велел мне и Б—му ходить иногда в канцелярию. По отъезде же его это устроилось более правильным образом. Из инженеров были люди (из них особенно один), очень нам симпатизировавшие. Мы ходили, переписывали бумаги, даже почерк наш стал совершенствоваться, как вдруг от высшего начальства последовало немедленное повеление поворотить нас на прежние работы: кто-то уж успел донести! Впрочем, это и хорошо было: канцелярия стала нам обоим очень надоедать. Потом мы года два почти неразлучно ходили с Б—м на одни работы, чаще же всего в мастерскую. Мы с ним болтали; говорили об наших надеждах, убеждениях. Славный был он человек; но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. Часто у некоторого разряда людей, очень умных, устанавливаются иногда совершенно парадоксальные понятия. Но за них столько было в жизни выстрадано, такою дорогою ценою они достались, что оторваться от них уже слишком больно, почти невозможно. Б—кий с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был и правее меня, не знаю; но мы наконец расстались, и это было мне очень больно: мы уже много разделили вместе.

Между тем М—кий с годами всё как-то становился грустнее и мрачнее. Тоска одолевала его. Прежде, в первое мое время в остроге, он был сообщительнее, душа его все-таки чаще и больше вырывалась наружу. Уже третий год жил он в каторге в то время, как я поступил. Сначала он многим интересовался из того, что в эти два года случилось на свете и об чем он не имел понятия, сидя в остроге; расспрашивал меня, слушал, волновался. Но под конец, с годами, всё это как-то стало в нем сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою. Озлобление росло в нем более и более. «Je haïs ces brigands», — повторял он мне часто, с ненавистью смотря на каторжных, которых я уже успел узнать ближе, и никакие доводы мои в их пользу на него не действовали. Он не понимал, чтó я говорю; иногда, впрочем, рассеянно соглашался; но назавтра же опять повторял: «Je haïs ces brigands». Кстати: мы с ним часто говорили по-французски, и за это один пристав над работами, инженерный солдат Дранишников, неизвестно по какому соображению, прозвал нас фершелами. М—кий воодушевлялся, только вспоминая про свою мать. «Она стара, она больная, — говорил он мне, — она любит меня более всего на свете, а я здесь не знаю, жива она или нет? Довольно уж для нее того, что она знала, как меня гоняли сквозь строй...» М—кий был не дворянин и перед ссылкой был наказан телесно. Вспоминая об этом, он стискивал зубы и старался смотреть в сторону. В последнее время он всё чаще и чаще стал ходить один. Раз поутру, в двенадцатом часу, его потребовали к коменданту. Комендант вышел к нему с веселой улыбкой.

— Ну, М—кий, что ты сегодня во сне видел? — спросил он его.

«Я так и вздрогнул, — рассказывал, воротясь к нам, М—кий. — Мне будто сердце пронзило».

— Видел, что письмо от матери получил, — отвечал он.

— Лучше, лучше! — возразил комендант. — Ты свободен! Твоя мать просила... просьба ее услышана. Вот письмо ее, а вот и приказ о тебе. Сейчас же выйдешь из острога.

Он воротился к нам бледный, еще не очнувшийся от известия. Мы его поздравляли. Он жал нам руки своими дрожащими, похолодевшими руками. Многие арестанты тоже поздравляли его и рады были его счастью.

Он вышел на поселенье и остался в нашем же городе. Вскоре ему дали место. Сначала он часто приходил к нашему острогу и, когда мог, сообщал нам разные новости. Преимущественно политические очень интересовали его.

Из остальных четырех, то есть кроме М—го, Т—го, Б—го и Ж—го, двое были еще очень молодые люди, присланные на короткие сроки, малообразованные, но честные, простые, прямые. Третий, А—чуковский, был уж слишком простоват и ничего особенного не заключал в себе, но четвертый, Б—м, человек уже пожилой, производил на всех нас прескверное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкомещанская душа, с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обсчитанные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр, но маляр из ряду вон, маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Б—ма для малеванья стен и потолков. В два года он расписал почти все казенные квартиры. Владетели квартир платили ему от себя, и жил он таки небедно. Но всего лучше было то, что на работу с ним стали посылать и других его товарищей. Из троих, ходивших с ним постоянно, двое научились у него ремеслу, и один из них, Т—жевский, стал малевать не хуже его. Наш плац-майор, занимавший тоже казенный дом, в свою очередь потребовал Б—ма и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Б—м постарался: у генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи: расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге... Он потирал руки и поговаривал, что теперь непременно женится. «При такой квартире нельзя не жениться», — прибавлял он очень серьезно. Б—мом был он всё более и более доволен, а чрез него и другими, работавшими с ним вместе. Работа шла целый месяц. В этом месяце майор совершенно изменил свое мнение о всех наших и начал им покровительствовать. Дошло до того, что однажды вдруг он потребовал к себе из острога Ж—го.

— Ж—кий! — сказал он, — я тебя оскорбил. Я тебя высек напрасно, я знаю это. Я раскаиваюсь. Понимаешь ты это? Я, *я*, *я* — раскаиваюсь!

Ж—кий отвечал, что он это понимает.

— Понимаешь ли ты, что я, *я,* твой начальник, призвал тебя с тем, чтоб просить у тебя прощения! Чувствуешь ли ты это? Кто *ты* передо мной? червяк! меньше червяка: ты арестант! а я — божьею милостью* майор. Майор! понимаешь ли ты это?

Ж—кий отвечал, что и это понимает.

— Ну, так теперь я мирюсь с тобой. Но чувствуешь ли, чувствуешь ли это вполне, во всей полноте? Способен ли ты это понять и почувствовать? Сообрази только: я, я, майор... и т. д.

Ж—кий сам рассказывал мне всю эту сцену. Стало быть, было же и в этом пьяном, вздорном и беспорядочном человеке человеческое чувство. Взяв в соображение его понятия и развитие, такой поступок можно было считать почти великодушным. Впрочем, пьяный вид, может быть, тому много способствовал.

Мечта его не осуществилась: он не женился, хотя уж совершенно было решился, когда кончили отделывать его квартиру. Вместо женитьбы он попал под суд, и ему велено было подать в отставку. Тут уж и все старые грехи ему приплели. Прежде в этом городе он был, помнится, городничим... Удар упал на него неожиданно. В остроге непомерно обрадовались известию. Это был праздник, торжество! Майор, говорят, ревел, как старая баба, и обливался слезами. Но делать нечего. Он вышел в отставку, пару серых продал, потом всё имение и впал даже в бедность. Мы встречали его потом в штатском изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но всё обаяние его прошло, только что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих людей.

IX

ПОБЕГ

Вскоре после смены нашего плац-майора случились коренные изменения в нашем остроге. Каторгу уничтожили и вместо нее основали арестантскую роту военного ведомства, на основании российских арестантских рот. Это значило, что уже ссыльных каторжных второго разряда в наш острог больше не приводили. Начал же он заселяться с сей поры единственно только арестантами военного ведомства, стало быть, людьми, не лишенными прав состояния, теми же солдатами, как и все солдаты, только наказанными, приходившими на короткие сроки (до шести лет наибольше) и по выходе из острога поступавшими опять в свои батальоны рядовыми, какими были они прежде. Впрочем, возвращавшиеся в ост-

* Буквальное выражение, впрочем в мое время употреблявшееся не одним нашим майором, а и многими мелкими командирами, преимущественно вышедшими из нижних чинов.

рог по вторичным преступлениям наказывались, как и прежде, двадцатилетним сроком. У нас, впрочем, и до этой перемены было отделение арестантов военного разряда, но они жили с нами потому, что им не было другого места. Теперь же весь острог стал этим военным разрядом. Само собою разумеется, что прежние каторжные, настоящие гражданские каторжные, лишенные всех своих прав, клейменые и обритые вдоль головы, остались при остроге до окончания их полных сроков; новых не приходило, а оставшиеся помаленьку отживали сроки и уходили, так что лет через десять в нашем остроге не могло остаться ни одного каторжного. Особое отделение тоже осталось при остроге, и в него всё еще от времени до времени присылались тяжкие преступники военного ведомства, впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. Таким образом, для нас жизнь продолжалась в сущности по-прежнему: то же содержание, та же работа и почти те же порядки, только начальство изменилось и усложнилось. Назначен был штаб-офицер, командир роты и, сверх того, четыре обер-офицера, дежуривших поочередно по острогу. Уничтожены были тоже инвалиды; вместо них учреждены двенадцать унтер-офицеров и каптенармус. Завелись разделы по десяткам, завелись ефрейтора из самих арестантов, номинально разумеется, и уж само собою Аким Акимыч тотчас же оказался ефрейтором. Всё это новое учреждение и весь острог со всеми его чинами и арестантами по-прежнему остались в ведомстве коменданта как высшего начальника. Вот и всё, что произошло. Разумеется, арестанты сначала очень волновались, толковали, угадывали и раскусывали новых начальников; но когда увидели, что в сущности всё осталось по-прежнему, тотчас же успокоились, и жизнь наша пошла постарому. Но главное то, что все были избавлены от прежнего майора; все как бы отдохнули и ободрились. Исчез запуганный вид; всяк знал теперь, что в случае нужды мог объясняться с начальником, что правого разве по ошибке накажут вместо виновного. Даже вино продолжало продаваться у нас точно так же и на тех же основаниях, как и прежде, несмотря на то что вместо прежних инвалидов настали унтер-офицеры. Эти унтер-офицеры оказались большею частью людьми порядочными и смышлеными, понимающими свое положение. Иные из них, впрочем, выказывали вначале поползновение куражиться и, конечно по неопытности, думали обращаться с арестантами, как с солдатами. Но скоро и эти поняли, в чем дело. Другим же, слишком долго не понимавшим, доказали уж сущность дела сами арестанты. Бывали довольно резкие столкновения: например, соблазнят, напоят унтер-офицера да после того и доложат ему, по-свойски разумеется, что он пил вместе с ними, а следственно... Кончилось тем, что унтер-офицеры равнодушно смотрели или, лучше, старались не смотреть, как проносят пузыри и продают водку. Мало того: как и прежние инвалиды, они ходили на базар и приносили арестантам калачей, говядину и всё прочее, то есть такое, за что могли взяться без большого зазору. Для

чего это всё так переменилось, для чего завели арестантскую роту, этого уж я не знаю. Случилось уже это в последние годы моей каторги. Но два года еще суждено мне было прожить при этих новых порядках...

Записывать ли всю эту жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Если писать по порядку, кряду, всё, что случилось и что я видел и испытал в эти годы, можно бы, разумеется, еще написать втрое, вчетверо больше глав, чем до сих пор написано. Но такое описание поневоле станет наконец слишком однообразно. Все приключения выйдут слишком в одном и том же тоне, особенно если читатель уже успел, по тем главам, которые написаны, составить себе хоть несколько удовлетворительное понятие о каторжной жизни второго разряда. Мне хотелось представить весь наш острог и всё, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине. Достиг ли я этой цели, не знаю. Да отчасти и не мне судить об этом. Но я убежден, что на этом можно и кончить. К тому же меня самого берет иногда тоска при этих воспоминаниях. Да вряд ли я и могу всё припомнить. Дальнейшие годы как-то стерлись в моей памяти. Многие обстоятельства, я убежден в этом, совсем забыты мною. Я помню, например, что все эти годы, в сущности один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле. Помню, что одно только страстное желание воскресенья, обновления, новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. И я наконец скрепился: я ждал, я отсчитывал каждый день и, несмотря на то что оставалось их тысячу, с наслаждением отсчитывал по одному, провожал, хоронил его и с наступлением другого дня рад был, что остается уже не тысяча дней, а девятьсот девяносто девять. Помню, что во всё это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал всё до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я всё это исполню и могу исполнить... Я ждал, я звал поскорее свободу; я хотел испробовать себя вновь, на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение... Но мне больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей. Конечно, всё это одного только меня касается... Но я оттого и записал это, что, мне кажется, всякий это поймет, потому что со всяким то же самое должно случиться, если он попадет в тюрьму на срок, в цвете лет и сил.

Но что об этом!.. Лучше расскажу еще что-нибудь, чтоб уж не кончить слишком резким отрубом.

Мне пришло в голову, что, пожалуй, кто-нибудь спросит: неужели из каторги нельзя было никому убежать и во все эти года никто у нас не бежал? Я писал уже, что арестант, пробывший два-три года в остроге, начинает уже ценить эти годы и невольно приходит к расчету, что лучше дожить остальное без хлопот, без опасностей и выйти наконец законным образом на поселение. Но такой расчет помещается только в голове арестанта, присланного не на долгий срок. Долголетний, пожалуй бы, и готов рискнуть... Но у нас как-то этого не делалось. Не знаю, трусили ль очень, присмотр ли был особенно строгий, военный, местность ли нашего города во многом не благоприятствовала (степная, открытая) — трудно сказать. Я думаю, все эти причины имели свое влияние. Действительно, убежать от нас было трудновато. А между тем и при мне случилось одно такое дело: двое рискнули, и даже из самых важных преступников...

После смены майора А—в (тот, который шпионил ему на острог) остался совершенно один, без протекции. Он был еще очень молодой человек, но характер его укреплялся и устанавливался с летами. Вообще это был человек дерзкий, решительный и даже очень смышленый. Он хоть бы и продолжал шпионить и промышлять разными подземными способами, если б ему дали свободу, но уж не попался бы теперь так глупо и нерасчетливо, как прежде, поплатившись за свою глупость ссылкой. Он упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах. Не говорю, впрочем, утвердительно. Так слышал я от наших арестантов. Говорили, что он работал в этом роде, еще когда ходил к плац-майору на кухню, и, разумеется, извлек из этого посильный доход. Одним словом, он, кажется, мог решиться на всё, чтоб переменить свою участь. Я имел случай отчасти узнать его душу: цинизм его доходил до возмутительной дерзости, до самой холодной насмешки и возбуждал непреодолимое отвращение. Мне кажется, если б ему очень захотелось выпить шкалик вина и если б шкалик можно было получить не иначе, как зарезав кого-нибудь, то он бы непременно зарезал, если б только это можно было сделать втихомолку, чтоб никто не узнал. В остроге он научился расчету. Вот на этого-то человека и обратил свое внимание особого отделения арестант Куликов.

Я уже говорил о Куликове. Человек он был немолодой, но страстный, живучий, сильный, с чрезвычайными и разнообразными способностями. В нем была сила, и ему еще хотелось пожить; таким людям до самой глубокой старости всё еще хочется жить. И если б я стал дивиться, отчего у нас не бегут, то, разумеется, подивился бы на первого Куликова. Но Куликов решился. Кто на кого из них имел больше влияния: А—в ли на Куликова, или Куликов на А—ва? — не знаю, но оба друг друга стоили и для этого дела были люди взаимно подходящие. Они сдружились.

Мне кажется, Куликов рассчитывал, что А—в приготовит паспорты. А—в был из дворян, был хорошего общества — это сулило некоторое разнообразие в будущих приключениях, только бы добраться до России. Кто знает, как они сговорились и какие у них были надежды; но, уж верно, надежды их выходили из обыкновенной рутины сибирского бродяжничества. Куликов был от природы актер, мог выбирать многие и разнообразные роли в жизни; мог на многое надеяться, по крайней мере на разнообразие. Таких людей должен был давить острог. Они сговорились бежать.

Но без конвойного бежать было невозможно. Надо было подговорить с собой вместе конвойного. В одном из батальонов, стоявших в крепости, служил один поляк, энергический человек и, может быть, достойный лучшей участи, человек уже пожилой, молодцеватый, серьезный. Смолоду, только что придя на службу в Сибирь, он бежал от глубокой тоски по родине. Его поймали, наказали и года два продержали в арестантских ротах. Когда его поворотили опять в солдаты, он одумался и стал служить ревностно, изо всех сил. За отличие его сделали ефрейтором. Это был человек с честолюбием, самонадеянный и знавший себе цену. Он так и смотрел, так и говорил, как знающий себе цену. Я несколько раз в эти годы встречал его между нашими конвойными. Мне коечто говорили о нем и поляки. Мне показалось, что прежняя тоска обратилась в нем в ненависть, скрытую, глухую, всегдашнюю. Этот человек мог решиться на всё, и Куликов не ошибся, выбрав его товарищем. Фамилия его была Коллер. Они сговорились и назначили день. Это было в июне месяце, в жаркие дни. Климат в этом городе довольно ровный; летом погода стоит постоянная, горячая: а это и на руку бродяге. Разумеется, они никак не могли пуститься прямо с места, из крепости: весь город стоит на юру, открытый со всех сторон. Кругом на довольно далекое пространство нет леса. Надо было переодеться в обывательский костюм, а для этого сначала пробраться в форштадт, где у Куликова издавна был притон. Не знаю, были ли форштадтские благоприятели их в полном секрете. Надо полагать, что были, хотя потом, при деле, это не совсем объяснилось. В этот год в одном углу форштадта только что начинала свое поприще одна молодая и весьма пригожая девица, по прозвищу Ванька-Танька, подававшая большие надежды и отчасти осуществившая их впоследствии. Звали ее тоже: огонь. Кажется, и она тут принимала некоторое участие. Куликов разорялся на нее уже целый год. Наши молодцы вышли утром на разводку и ловко устроили так, что их отправили с арестантом Шилкиным, печником и штукатурщиком, штукатурить батальонные пустые казармы, из которых солдаты давно уже вышли в лагери. А—в и Куликов отправились с ним в качестве подносчиков. Коллер подвернулся в конвойные, а так как за троими требовалось двух конвойных, то Коллеру, как старому служивому и ефрейтору, охотно поручили молодого рекрутика в видах наставле-

ния и обучения его конвойному делу. Стало быть, имели же наши беглецы сильнейшее влияние на Коллера и поверил же он им, когда после долголетней и удачной в последние годы службы он, человек умный, солидный, расчетливый, решился за ними следовать.

Они пришли в казармы. Было часов шесть утра. Кроме их, никого не было. Поработав с час, Куликов и А—в сказали Шилкину, что пойдут в мастерскую, во-первых, чтоб повидать кого-то, а во-вторых, кстати уж и захватят какой-то инструмент, который оказался в недостаче. С Шилкиным надо было вести дело хитро, то есть как можно натуральнее. Он был москвич, печник по ремеслу, из московских мещан, хитрый, пронырливый, умный, малоречивый. Наружностью он был щедушный и испитой. Ему бы век ходить в жилетке и халате, по-московски, но судьба сделала иначе, и после долгих странствий он засел у нас навсегда в особом отделении, то есть в разряде самых страшных военных преступников. Чем он заслужил такую карьеру, не знаю; но особенного недовольства в нем никогда не замечалось; вел он себя смирно и ровно; иногда только напивался как сапожник, но вел себя и тут хорошо. В секрете, разумеется, он не был, а глаза у него были зоркие. Само собою, что Куликов мигнул ему, что они идут за вином, которое припасено в мастерской еще со вчерашнего дня. Это тронуло Шилкина; он расстался с ними без всяких подозрений и остался с одним рекрутиком, а Куликов, А—в и Коллер отправились в форштадт.

Прошло полчаса; отсутствующие не возвращались, и вдруг, спохватившись, Шилкин начал задумываться. Парень прошел сквозь медные трубы. Начал он припоминать: Куликов был как-то особенно настроен, А—в два раза как будто с ним пошептался, по крайней мере Куликов мигнул ему раза два, он это видел; теперь он это всё помнит. В Коллере тоже что-то замечалось: по крайней мере, уходя с ними, он начал читать наставления рекрутику, как вести себя в его отсутствие, а это было как-то не совсем естественно, по крайней мере от Коллера. Одним словом, чем дальше припоминал Шилкин, тем подозрительнее он становился. Время между тем шло, они не возвращались, и беспокойство его достигло крайних пределов. Он очень хорошо понимал, сколько он рисковал в этом деле: на него могли обратиться подозрения начальства. Могли подумать, что он отпустил товарищей зазнамо, по взаимному соглашению, и, если б он промедлил объявить об исчезновении Куликова и А—ва, подозрения эти получили бы еще более вероятия. Времени терять было нечего. Тут он вспомнил, что в последнее время Куликов и А—в были как-то особенно близки между собою, часто шептались, часто ходили за казармами, вдали от всех глаз. Вспомнил он, что и тогда уж что-то подумал про них... Пытливо поглядел он на своего конвойного: тот зевал, облокотясь на ружье, и невиннейшим образом прочищал пальцем свой нос, так что Шилкин и не удостоил сообщить ему своих

мыслей, а просто-запросто сказал ему, чтоб он следовал за ним в инженерную мастерскую. В мастерской надо было спросить, не приходили ль они туда? Но оказалось, что там их никто не видал. Все сомнения Шилкина рассеялись: «Если б они просто пошли попить да погулять в форштадт, что иногда делал Куликов, — думал Шилкин, — то даже и этого тут быть не могло. Они бы сказались ему, потому этого не стоило бы от него таить». Шилкин бросил работу и, не заходя в казарму, отправился прямо в острог.

Было уже почти девять часов, когда он явился к фельдфебелю и объявил ему в чем дело. Фельдфебель струхнул и даже верить не хотел сначала. Разумеется, и Шилкин объявил ему всё это только в виде догадки, подозрения. Фельдфебель прямо кинулся к майору. Майор немедленно к коменданту. Через четверть часа уже взяты были все необходимые меры. Доложили самому генерал-губернатору. Преступники были важные, и за них мог быть сильный нагоняй из Петербурга. Правильно или нет, но А—в причислялся к преступникам политическим; Куликов был особого отделения, то есть архипреступник, да еще военный вдобавок. Примеру еще не было до сих пор, чтоб бежал кто-нибудь из особого отделения. Припомнили кстати, что по правилам на каждого арестанта из особого отделения полагалось на работе по два конвойных или по крайней мере один за каждым. Правила этого не было соблюдено. Выходило, стало быть, неприятное дело. Посланы были нарочные по всем волостям, по всем окрестным местечкам, чтоб заявить о бежавших и оставить везде их приметы. Послали казаков в догоню, на ловлю; написали и в соседние уезды и губернии... Одним словом, струхнули очень.

Между тем у нас в остроге началось другого рода волнение. Арестанты, по мере того как подходили с работ, тотчас же узнавали в чем дело. Весть уже облетела всех. Все принимали известие с какою-то необыкновенною, затаенною радостью. У всех как-то вздрогнуло сердце... Кроме того, что этот случай нарушил монотонную жизнь острога и раскопал муравейник, — побег, и такой побег, как-то родственно отозвался во всех душах и расшевелил в них давно забытые струны; что-то вроде надежды, удали, возможности переменить свою участь зашевелилось во всех сердцах. «Бежали же ведь люди: почему ж?..» И каждый при этой мысли приободрялся и с вызывающим видом смотрел на других. По крайней мере все вдруг стали какие-то гордые и свысока начали поглядывать на унтер-офицеров. Разумеется, в острог тотчас же налетело начальство. Приехал и сам комендант. Наши приободрились и смотрели смело, даже несколько презрительно и с какой-то молчаливой, строгой солидностью: «Мы, дескать, умеем дела обделывать». Само собой, что о всеобщем посещении начальства у нас тотчас же предугадали. Предугадали тоже, что непременно будут обыски, и заране всё припрятали. Знали, что начальство в этих случаях всегда крепко задним умом. Так и случилось: была боль-

шая суматоха; всё перерыли, всё переискали и — ничего не нашли, разумеется. На послеобеденную работу отправили арестантов под конвоем усиленным. Ввечеру караульные наведывались в остроге поминутно; пересчитали людей лишний раз против обыкновенного; при этом обсчитались раза два против обыкновенного. От этого вышла опять суетня: выгнали всех на двор и сосчитали сызнова. Потом просчитали еще раз по казармам... Одним словом, много было хлопот.

Но арестанты и в ус себе не дули. Все они смотрели чрезвычайно независимо и, как это всегда водится в таких случаях, вели себя необыкновенно чинно во весь этот вечер: «Ни к чему, значит, придраться нельзя». Само собою, начальство думало: «Не остались ли в остроге соумышленники бежавших?» — и велело присматривать, прислушиваться к арестантам. Но арестанты только смеялись. «Таково ли это дело, чтоб оставлять по себе соумышленников!» «Дело это тихими стопами делается, а не как иначе». «Да и такой ли человек Куликов, такой ли человек А—в, чтоб в этаком деле концов не схоронить? Сделано мастерски, шито-крыто. Народ сквозь медные трубы прошел; сквозь запертые двери пройдут!» Одним словом, Куликов и А—в возросли в своей славе; все гордились ими. Чувствовали, что подвиг их дойдет до отдаленнейшего потомства каторжных, острог переживет.

— Народ мастер! — говорили одни.

— Вот думали, что у нас не бегут. Бежали же!.. — прибавляли другие.

— Бежали! — выискался третий, с некоторою властью озираясь кругом. — Да кто бежал-то?.. Тебе, что ли, пара?

В другое время арестант, к которому относились эти слова, непременно отвечал бы на вызов и защитил свою честь. Но теперь он скромно промолчал. «В самом деле, не все ж такие, как Куликов и А—в; покажи себя сначала...»

— И чего это мы, братцы, взаправду живем здесь? — прерывает молчание четвертый, скромно сидящий у кухонного окошка, говоря несколько нараспев от какого-то расслабленного, но втайне самодовольного чувства и подпирая ладонью щеку. — Что мы здесь? Жили — не люди, померли — не покойники. Э-эх!

— Дело не башмак. С ноги не сбросишь. Чего э-эх?

— Да вот же Куликов... — ввязался было один из горячих, молодой и желторотый паренек.

— Куликов! — подхватывает тотчас же другой, презрительно скосив глаза на желторотого парня. — Куликов!..

То есть это значит: много ли Куликовых-то?

— Ну и А—в же, братцы, дошлый, ух, дошлый!

— Куды! Этот и Куликова между пальцами обернет. Кольцов не найти концов!

— А далеко ль они теперь ушли, братцы, желательно знать...

И тотчас же пошли разговоры, далеко ль они ушли? и в какую сторону пошли? и где бы им лучше идти? и какая волость ближе? Нашлись люди, знающие окрестности. Их с любопытством слушали. Говорили о жителях соседних деревень и решили, что это народ неподходящий. Близко к городу, натертый народ; арестантам не дадут потачки, изловят и выдадут.

— Мужик-от тут, братцы, лихой живет. У-у-у мужик!

— Неосновательный мужик!

— Сибиряк соленые уши. Не попадайся, убьет.

— Ну, да наши-то...

— Само собой, тут уж чья возьмет. И наши не такой народ.

— А вот не помрем, так услышим.

— А ты что думал? изловят?

— Я думаю, их ни в жисть не изловят! — подхватывает другой из горячих, ударив кулаком по столу.

— Гм. Ну, тут уж как обернется.

— А я вот что, братцы, думаю, — подхватывает Скуратов, — будь я бродяга, меня бы ни в жисть не поймали!

— Тебя-то!

Начинается смех, другие делают вид, что и слушать-то не хотят. Но Скуратов уже расходился.

— Ни в жисть не поймают! — подхватывает он с энергией. — Я, братцы, часто про себя это думаю и сам на себя дивлюсь: вот, кажись, сквозь щелку бы пролез, а не поймали б.

— Небось проголодаешься, к мужику за хлебом придешь.

Общий хохот.

— За хлебом? врешь!

— Да ты что языком-то колотишь? Вы с дядей Васей коровью смерть убили, * оттого и сюда пришли.

Хохот подымается сильнее. Серьезные смотрят еще с большим негодованием.

— Ан врешь! — кричит Скуратов, — это Микитка про меня набухвостил, да и не про меня, а про Ваську, а меня уж так заодно приплели. Я москвич и сыздетства на бродяжестве испытан. Меня, как дьячок еще грамоте учил, тянет, бывало, за ухо: тверди «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей и так дальше...» А я и твержу за ним: «Повели меня в полицию по милости твоей и так дальше...» Так вот я как с самого сызмалетства поступать начал.

Все опять захохотали. Но Скуратову того и надо было. Он не мог не дурачиться. Скоро его бросили и принялись опять за серьезные разговоры. Судили больше старики и знатоки дела. Люди помоложе и посмирнее только радовались, на них глядя, и просовывали головы послушать; толпа собралась на кухне боль-

---

* То есть убили мужика или бабу, подозревая, что они пустили по ветру порчу, от которой падает скот. У нас был один такой убийца.

шая; разумеется, унтер-офицеров тут не было. При них бы всего не стали говорить. Из особенно радовавшихся я заметил одного татарина, Маметку, невысокого роста, скулистого, чрезвычайно комическую фигуру. Он почти ничего не говорил по-русски и почти ничего не понимал, что другие говорят, но, туда же, просовывал голову из-за толпы и слушал, с наслаждением слушал.

— Что, Маметка, якши? — пристал к нему от нечего делать отвергнутый всеми Скуратов.

— Якши! ух, якши! — забормотал, весь оживляясь, Маметка, кивая Скуратову своей смешной головой, — якши!

— Не поймают их? йок?

— Йок, йок! — и Маметка заболтал опять, на этот раз уже размахивая руками.

— Значит, твоя врала, моя не разобрала, так, что ли?

— Так, так, якши! — подхватил Маметка, кивая головою.

— Ну и якши!

И Скуратов, щелкнув его по шапке и нахлобучив ее ему на глаза, вышел из кухни в веселейшем расположении духа, оставив в некотором изумлении Маметку.

Целую неделю продолжались строгости в остроге и усиленные погони и поиски в окрестностях. Не знаю, каким образом, но арестанты тотчас же и в точности получали все известия о маневрах начальства вне острога. В первые дни все известия были в пользу бежавших: ни слуху ни духу, пропали, да и только. Наши только посмеивались. Всякое беспокойство о судьбе бежавших исчезло. «Ничего не найдут, никого не поймают!» — говорили у нас с самодовольствием.

— Нет ничего; пуля!

— Прощайте, не стращайте, скоро ворочусь!

Знали у нас, что всех окрестных крестьян сбили на ноги, сторожили все подозрительные места, все леса, все овраги.

— Вздор, — говорили наши подсмеиваясь, — у них, верно, есть такой человек, у которого они теперь проживают.

— Беспременно есть! — говорили другие, — не такой народ; всё вперед изготовили.

Пошли еще дальше в предположениях: стали говорить, что беглецы до сих пор, может, еще в форштадте сидят, где-нибудь в погребе пережидают, пока «трелога» пройдет да волоса обрастут. Полгода, год проживут, а там и пойдут...

Одним словом, все были даже в каком-то романическом настроении духа. Как вдруг, дней восемь спустя после побега, пронесся слух, что напали на след. Разумеется, нелепый слух был тотчас же отвергнут с презрением. Но в тот же вечер слух подтвердился. Арестанты начали тревожиться. На другой день поутру стали по городу говорить, что уже изловили, везут. После обеда узнали еще больше подробностей: изловили в семидесяти верстах, в такой-то деревне. Наконец получилось точное известие. Фельдфебель, воро-

тясь от майора, объявил положительно, что к вечеру их привезут, прямо в кордегардию при остроге. Сомневаться уже было невозможно. Трудно передать впечатление, произведенное этим известием на арестантов. Сначала точно все рассердились, потом приуныли. Потом проглянуло какое-то поползновение к насмешке. Стали смеяться, но уж не над ловившими, а над пойманными, сначала немногие, потом почти все, кроме некоторых серьезных и твердых, думавших самостоятельно и которых не могли сбить с толку насмешками. Они с презрением смотрели на легкомыслие массы и молчали про себя.

Одним словом, в той же мере как прежде возносили Куликова и А—ва, так теперь унижали их, даже с наслаждением унижали. Точно они всех чем-то обидели. Рассказывали с презрительным видом, что им есть очень захотелось, что они не вынесли голоду и пошли в деревню к мужикам просить хлеба. Это уже была последняя степень унижения для бродяги. Впрочем, эти рассказы были неверны. Беглецов выследили; они скрылись в лесу; окружили лес со всех сторон народом. Те, видя, что нет возможности спастись, сдались сами. Больше им ничего не оставалось делать.

Но когда их повечеру действительно привезли, связанных по рукам и по ногам, с жандармами, вся каторга высыпала к палям смотреть, что с ними будут делать. Разумеется, ничего не увидали, кроме майорского и комендантского экипажа у кордегардии. Беглецов посадили в секретную, заковали и назавтра же отдали под суд. Насмешки и презрение арестантов вскоре упали сами собою. Узнали дело подробнее, узнали, что нечего было больше и делать, как сдаться, и все стали сердечно следить за ходом дела в суде.

— Пробуровят тысячу, — говорили одни.

— Куда тысячу! — говорили другие, — забьют. А—ву, пожалуй, тысячу, а того забьют, потому, братец ты мой, особого отделения.

Однако ж не угадали. А—ву вышло всего пятьсот; взяли во внимание его удовлетворительное прежнее поведение и первый проступок. Куликову дали, кажется, полторы тысячи. Наказывали довольно милосердно. Они, как люди толковые, никого перед судом не запутали, говорили ясно, точно, говорили, что прямо бежали из крепости, не заходя никуда. Всех больше мне было жаль Коллера: он всё потерял, последние надежды свои, прошел больше всех, кажется две тысячи, и отправлен был куда-то арестантом, только не в наш острог. А—ва наказали слабо, жалеючи; помогали этому лекаря. Но он куражился и громко говорил в госпитале, что уж теперь он на всё пошел, на всё готов и не то еще сделает. Куликов вел себя по-всегдашнему, то есть солидно, прилично, и, воротясь после наказания в острог, смотрел так, как будто никогда из него не отлучался. Но не так смотрели на него арестанты: несмотря на то что Куликов всегда и везде умел поддержать себя,

арестанты в душе как-то перестали уважать его, как-то более запанибрата стали с ним обходиться. Одним словом, с этого побега слава Куликова сильно померкла. Успех так много значит между людьми...

X

ВЫХОД ИЗ КАТОРГИ

Всё это случилось уже в последний год моей каторги. Этот последний год почти так же памятен мне, как и первый, особенно самое последнее время в остроге. Но что говорить о подробностях. Помню только, что в этот год, несмотря на всё мое нетерпение поскорей кончить срок, мне было легче жить, чем во все предыдущие годы ссылки. Во-первых, между арестантами у меня было уже много друзей и приятелей, окончательно решивших, что я хороший человек. Многие из них были мне преданны и искренно любили меня. Пионер чуть не заплакал, провожая меня и товарища моего из острога, и когда мы потом, уже по выходе, еще целый месяц жили в этом городе, в одном казенном здании, он почти каждый день заходил к нам, так только, чтоб поглядеть на нас. Были, однако, и личности суровые и неприветливые до конца, которым, кажется, тяжело было сказать со мной слово — бог знает отчего. Казалось, между нами стояла какая-то перегородка.

В последнее время я вообще имел больше льгот, чем во всё время каторги. В том городе между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишние школьные товарищи. Я возобновил с ними сношения. Через них я мог иметь больше денег, мог писать на родину и даже мог иметь книги. Уже несколько лет как я не читал ни одной книги, и трудно отдать отчет о том странном и вместе волнующем впечатлении, которое произвела во мне первая прочитанная мною в остроге книга. Помню, я начал читать ее с вечера, когда заперли казарму, и прочитал всю ночь до зари. Это был нумер одного журнала. Точно весть с того света прилетела ко мне; прежняя жизнь вся ярко и светло восстала передо мной, и я старался угадать по прочитанному: много ль я отстал от этой жизни? много ль прожили они там без меня, что их теперь волнует, какие вопросы их теперь занимают? Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным. Надо было привыкать к новому, знакомиться с новым поколеньем. Особенно бросался я на статью, под которой находил имя знакомого, близкого прежде человека... Но уже звучали и новые имена: явились новые деятели, и я с жадностью спешил с ними познакомиться и досадовал, что у меня так

мало книг в виду и что так трудно добираться до них. Прежде же, при прежнем плац-майоре, даже опасно было носить книги в каторгу. В случае обыска были бы непременно запросы: «Откуда книги? где взял? Стало быть, имеешь сношения?..» А что мог я отвечать на такие запросы? И потому, живя без книг, я поневоле углублялся в самого себя, задавал себе вопросы, старался разрешить их, мучился ими иногда... Но ведь всего этого так не перескажешь!..

Поступил я в острог зимой и потому зимой же должен был выйти на волю, в то самое число месяца, в которое прибыл. С каким нетерпением я ждал зимы, с каким наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист на дереве и блекнет трава в степи. Но вот уже и прошло лето, завыл осенний ветер; вот уже начал порхать первый снег... Настала наконец эта зима, давно ожидаемая! Сердце мое начинало подчас глухо и крепко биться от великого предчувствия свободы. Но странное дело: чем больше истекало время и чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпеливее я становился. Около самых последних дней я даже удивился и попрекнул себя: мне показалось, что я стал совершенно хладнокровен и равнодушен. Многие встречавшиеся мне на дворе в шабашное время арестанты заговаривали со мной, поздравляли меня:

— Вот выйдете, батюшка Александр Петрович, на слободу, скоро, скоро. Оставите нас одних, бобылей.

— А что, Мартынов, вам-то скоро ли? — отвечаю я.

— Мне-то! ну, да уж что! Лет семь еще и я промаюсь...

И вздохнет про себя, остановится, посмотрит рассеянно, точно заглядывая в будущее... Да, многие искренно и радостно поздравляли меня. Мне показалось, что и все как будто стали со мной обращаться приветливее. Я, видимо, становился им уже не свой; они уже прощались со мной. К—чинский, поляк из дворян, тихий и кроткий молодой человек, тоже, как и я, любил много ходить в шабашное время по двору. Он думал чистым воздухом и моционом сохранить свое здоровье и наверстать весь вред душных казарменных ночей. «Я с нетерпением жду вашего выхода, — сказал он мне с улыбкою, встретясь однажды со мной на прогулке, — вы выйдете, и *уж я буду знать тогда,* что мне ровно год остается до выхода».

Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности. Арестанты преувеличивали понятие о действительной свободе, и это так естественно, так свойственно всякому арестанту. Какой-нибудь оборванный офицерский денщик считался у нас чуть не королем, чуть не идеалом свободного человека сравнительно с арестантами, оттого что он ходил небритый, без кандалов и без конвоя.

Накануне самого последнего дня, в сумерки, я обошел *в последний раз* около паль весь наш острог. Сколько тысяч раз я обо-

шел эти пали во все эти годы! Здесь за казармами скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Господи, как давно это было! Вот здесь, в этом углу, проживал в плену наш орел; вот здесь встречал меня часто Петров. Он и теперь не отставал от меня. Подбежит и, как бы угадывая мысли мои, молча идет подле меня и точно про себя чему-то удивляется. Мысленно прощался я с этими почернелыми бревенчатыми срубами наших казарм. Как неприветливо поразили они меня *тогда,* в первое время. Должно быть, и они теперь постарели против тогдашнего; но мне это было неприметно. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж всё сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?

На другое утро рано, еще перед выходом на работу, когда только еще начинало светать, обошел я все казармы, чтоб попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в городе есть знакомство, что я тотчас же отправлюсь отсюда к *господам* и рядом сяду с этими господами, как ровный. Они это понимали и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью.

Пробил барабан, и все отправились на работу, а я остался дома. Сушилов в это утро встал чуть не раньше всех и из всех сил хлопотал, чтоб успеть приготовить мне чай. Бедный Сушилов! он заплакал, когда я подарил ему мои арестантские обноски, рубашки, подкандальники и несколько денег. «Мне не это, не это! — говорил он, через силу сдерживая свои дрожавшие губы, — мне вас-то каково потерять, Александр Петрович? на кого без вас-то я здесь останусь!» В последний раз простились мы и с Акимом Акимычем.

— Вот и вам скоро! — сказал я ему.

— Мне долго-с, мне еще очень долго здесь быть-с, — бормотал он, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею, и мы поцеловались.

Минут десять спустя после выхода арестантов вышли и мы из острога, чтоб никогда в него не возвращаться, — я и мой товарищ, с которым я прибыл. Надо было идти прямо в кузницу, чтоб расковать кандалы. Но уже конвойный с ружьем не сопровождал нас: мы пошли с унтер-офицером. Расковывали нас наши же арестанты,

в инженерной мастерской. Я подождал, покамест раскуют товарища, а потом подошел и сам к наковальне. Кузнецы обернули меня спиной к себе, подняли сзади мою ногу, положили на наковальню... Они суетились, хотели сделать ловчее, лучше.

— Заклепку-то, заклепку-то повороти перво-наперво!.. — командовал старший, — установь ее, вот так, ладно... Бей теперь молотом...

Кандалы упали. Я поднял их... Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился теперь, что они сейчас были на моих же ногах.

— Ну, с богом! с богом! — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами.

Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых... Экая славная минута!

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАССКАЗ, НЕ ВОШЕДШИЙ В ТЕКСТ «ЗАПИСОК ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»

Из воспоминаний А. П. Милюкова

В казарме нашей, говорил Федор Михайлович, был один молодой арестант, смирный, молчаливый и несообщительный. Долго я не сходился с ним, не знал — давно ли он в каторге и за что попал в особый разряд, где числились осужденные за самые тяжкие преступления. У острожного начальства был он по поведению на хорошем счету, и сами арестанты любили его за кротость и услужливость. Мало-помалу мы сблизились с ним, и однажды по возвращении с работы он рассказал мне историю своей ссылки. Он был крепостной крестьянин одной из подмосковных губерний и вот как попал в Сибирь.

— Село наше, Федор Михайлович, — рассказывал он, — не маленькое и зажиточное. Барин у нас был вдовец, не старый еще, не то чтобы очень злой, а бестолковый и насчет женского пола распутный. Не любили его у нас. Ну вот, надумал я жениться: хозяйка была нужна, да и девка одна полюбилась. Поладили мы с ней, дозволение барское вышло, и повенчали нас. А как от венца-то вышли мы с невестой да, идучи домой, поравнялись с господской усадьбой, выбежало дворовых никак человек шесть или семь, подхватили мою молодую жену под руки да на барский двор и потащили. Я рванулся было за ней, а на меня набросились людишки-то; кричу, бьюсь, а мне руки кушаками вяжут. Не под силу было вырваться. Ну, жену-то уволокли, а меня к избе нашей потащили да связанного как есть на лавку бросили и двоих караульных поставили. Всю ночь я прометался, а поздним утром привели молодую и меня развязали. Поднялся я, а баба-то припала к столу — плачет, тоскует. «Что, говорю, убиваться-то: не сама себя потеряла!» И вот с самого этого дня задумал я, как мне барина за ласку к жене отблагодарить. Отточил это я в сарае топор, так что хоть хлебы режь, и приладил носить его, чтобы не в примету было. Может, иные мужики, видя, как я шатался около усадьбы, и подумали, что замышляю что-нибудь, да кому дело: больно не любили у нас барина-то. Только долго не удавалось мне подстеречь его, то с гостями, бывало, он хороводится, то лакеишки около него... всё несподручно было. А у меня словно камень на сердце, что не могу я ему отплатить за надругательство; пуще всего горько мне было смотреть, как жена-то тоскует. Ну вот, иду я как-то под вечер позади господского сада, смотрю — а барин по дорожке один прохаживается, меня не примечает. Забор садовый был невысокий, решетчатый, из балясин. Дал я барину-то немного пройти да тихим манером и махнул через загородку. Вынул топор я да с дорожки на траву, чтобы загодя не услыхал, и, по траве-то крадучись, пошел за ним шагать. Совсем уж близко подошел я и забрал топор-то в обе руки. А хотелось мне, чтоб барин увидал, кто к нему за кровью пришел, ну, я нарочно и кашлянул. Он повернулся, признал меня, а я прыгнул к нему да топором

его прямо по самой голове... трах! Вот, мол, тебе за любовь... Так это мозги-то с кровью и прыснули... упал и не вздохнул. А я пошел в контору и объявился, что так и так, мол. Ну, взяли меня, отшлепали да на двенадцать лет сюда и порешили.

— Но ведь вы в особом разряде, без срока?

— А это, Федор Михайлович, по другому уж делу в бессрочную-то каторгу меня сослали.

— По какому же делу?

— Капитана я порешил.

— Какого капитана?

— Этапного смотрителя. Видно, ему так на роду было написано. Шел я в партии, на другое лето после того, как с барином-то покончил. Было это в Пермской губернии. Партия угонялась большая. День выдался жаркий-прежаркий, а переход от этапа до этапа большой был. Смаяло нас на солнцепеке, до смерти все устали; солдаты-то конвойные чуть ноги двигали, а нам с непривычки в цепях страсть было жутко. Народ же не весь крепкий был, иные, почитай, старики. У других весь день корки хлеба во рту не было: переход такой вышел, что подаяния-то дорогой ни ломтя не подали, только мы раза два воды попили. Уж как добрались, господь знает. Ну, вошли мы на этапный двор, да иные так и полегли. Я, нельзя сказать, чтоб обессилел, а только очень есть хотелось. В эту пору на этапах, как партия подойдет, обедать дают арестантам, а тут, смотрим, никакого еще распоряжения нет. И начали арестантики-то говорить: что же, мол, это нас не покормят, мочи нет, отощали, кто сидит, кто лежит, а нам куска не бросят. Обидно мне это показалось: сам я голоден, а стариков-то слабосильных еще больше жаль. «Скоро ли, спрашиваем этапных солдат, пообедать-то дадут?» — «Ждите, говорят, еще приказа от начальства не вышло». Ну, рассудите, Федор Михайлович, каково это было слышать, справедливо, что ли? Идет по двору писарь, я ему и говорю: «Для чего же нам обедать не велят?» «Дожидайся, говорит, не помрешь». — «Да как же, говорю я, видите, люди измучились, чай, знаете, какой переход-то был на этаком жару... покормите скорее». — «Нельзя, говорит, у капитана гости, завтракает, вот встанет от стола и отдаст приказ». — «Да скоро ли это будет?» — «А досыта покушает, в зубах поковыряет, так и выйдет». — «Что же это, говорю, за порядки: сам прохлаждается, а мы с голоду околевай!» — «Да ты, говорит писарь-то, что кричишь?» — «Я, мол, не кричу, а насчет того сказываю, что немочные у нас есть, чуть ноги двигают». — «Да ты, говорит, буянишь и других бунтуешь, вот пойду капитану скажу». — «Я, говорю, не буяню, а капитану как хочешь рапортуй». Тут, слыша разговор наш, иные из арестантов тоже стали ворчать, да кто-то ругнул и начальство. Писарь-то и обозлился. «Ты, говорит мне, бунтовщик; вот капитан с тобой справится». И пошел. Зло меня такое взяло, что и сказать не могу; чуял я, что дело не обойдется без греха. Был у меня в ту пору нож складной, под Нижним у арестанта на рубашку выменял. И не помню теперь, как я достал его из-за пазухи и сунул в рукав. Смотрим — выходит из казармы офицер, красный такой с рожи-то, глаза словно выскочить хотят, надо быть, выпил. А писаришко-то за ним. «Где бунтовщик?» — крикнул капитан да прямо ко мне. «Ты что бунтуешь? А?» — «Я, говорю, не бунтую, ваше благородие, а только о людях печалюсь, для чего морить голодом, ни от бога, ни от царя не показано». Как зарычит он: «Ах ты, такой-сякой! я тебе покажу, как показано с разбойниками управляться. Позвать солдат!» А я это нож-то в рукаве прилаживаю да изноравливаюсь. «Я тебя, говорит, научу!» — «Нечего, мол, ваше благородие, ученого учить, я и без науки себя понимаю». Это уж я ему назло сказал, чтоб он пуще обозлился да поближе ко мне подошел... не стерпит, думаю. Ну, и не стерпел он: сжал кулаки и ко мне, а я этак подался да как сигну вперед и ножом-то ему снизу живот, почитай, до самой глотки так и пропорол. Повалился словно колода. Что делать? Неправда-то его к арестантам больно уж меня обозлила. Вот за этого самого капитана и попал я, Федор Михайлович, в особый разряд, в вечные.

⟨СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ⟩

1) Эй ты! деньги есть, а спишь!
2) Нашего брата, дураков, ведь не сеют, а мы сами родимся.
3) А вам спасибо за то, что меня наблюдаете.
4) Полно вашим дурачествам подражать.
5) Не слушался отца и матери, так послушайся теперь барабанной шкуры.
6) Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей и так дальше.
Повели меня в полицию по милости твоей и так дальше.

7) Вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, бать, ты меня посылал на добычу; вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». — «Дурак! Луковица — ан копейка, люди говорят. Сто душ, сто луковиц — вот те рубль».

8) А в доме такая благодать, что нечем кошки из избы выманить.

Кат — по-малор⟨оссийски⟩ палач. Положив он меня, да как огрел — то весь свит запалився.

9) В брюхе-то у них Иван Таскун да Марья Еготишна.

10) Здравствуй! ты еще жив!? а я по тебе поминки делал: десятка два камней собакам раскидал.

11) Черт трое лаптей сносил, прежде чем их в одно место собрал. Такой народ!

12) Жулик. Измясничал его.

13) А у нас народ бойкий, задорный. Семеро одного не боимся.

14) (Старовер). При конце света огненная река пойдет, грешникам в погибель, а святым во очищение. Все неровности и горы изгладятся. Горы-де созданы чертями, бог создал ровно.

15) Ну, ты! козья смерть.

16) У меня небось не украдут. Я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть (тилиснуть).

17) Чтоб тебя взяла чума бендерская, чтоб те язвила язва сибирская, чтоб с тобой говорила турецкая сабля. Как вас там било (колотило), так пусть и бьет (колотит).

18) Небось у меня скажешь, с которого года в службе.

19) Солдатский галстух — присяга, шинель — волшебница.

20) А что? слаба! не выдерживаешь.

21) Смотрю, вижу, человек в такой перемене (весь побледнел).

22) Да будь ты проклят на семи кабаках.

23) У нас что взять? Ты ступай к богатому мужику — там проси.

24) За тебя, старый хрыч, уж три года на том свете провиант получают.

25) На житье связались! Вот мы с ней на житье схватились.

26) «Не уважай, Ванюха, не уважай». — «А я, брат, такой неуважительный».

27) Пришлось зубы на полку положить.

28) Ребята! вы что знаете?

29) Отдай всё, да и мало (чего изволите-с!).

30) Ну, что вы маете казати?

31) Придется понюхать кнута.

32) Фу! Как не славно, девушки!

33) Девоньки, умницы! вы что знаете?

34) «А много ли, умница, возьмете бесчестья?» — «Да полтину серебром надо взять».

35) Пришлось мне пройти по зеленой улице.

36) «Вот тут-то и дали мне двести...» — «Рублей?» — «Не, брат, палок».

37) Я ведь, брат, взят от сохи Андреевны, лаптем щи хлебал.

38) Переменил участь.

39) Варнак, варначий сын, посельской сын, *сильно*каторжный.

40) Эх ты, подаянная голова. Голову тебе в Тюмени подали.

41) Решен, решился; ума решился, ты умом решен. (Секутор).

42) Выпалило мне две тысячи, дали мне пятнадцать кнутиков.

43) У меня братья в Москве в прохожем ряду ветром торгуют.

44) По находным деньгам, по столевской части (меняло).

45) Крестный отец! Тимошка! палач!

46) «Да кто приказал?» — «Да кто нас не боится».

47) Они, как несолоно хлебали, поворотились и пошли прочь.

48) Я ей: «Кому присягаешь, кому присягаешь: мне или ему?» Да драл ее, драл! Овдотьей звали ее.

49) Я, брат, так пошевелю, что дым да копоть только пойдут.

50) Обругал я его на тысячу лет.

51) Ишов я дорогою, стало мне душно. Виддав я Вид-Ванчу мой кожéх и свитку и капчук с гришми; ну, так и перед паном кажи.

52) Ефим без прозвища. А он меня за ухо тянет — пиши! Я думаю, за что ж он дерется (а он допытывался, не писарь ли я).

53) Переменил участь.

54) Не суть важное.

55) «Тебя как зовут?» — «Махни-драло». — «А тебя?» — «*А я за ним*». — «Где ты жил?» — «В лесу». — «Мать-отца помнишь?» — «Ничего не помню». — «Ну, а зимой?» — «Зимы не видал, ваше благородие». — «А тебя?» — «Топоров, ваше благородие». — «А тебя?» — «Точи не зевай». — «А тебя?» — «Потачивай небось».

56) Пошел служить генералу Кукушкину, махни-драло сделал.

57) «Что везешь?» — «Дрова». — «Как дрова, дурак, это сено». — «Коль сам знаешь, так чего спрашиваешь?» — «Как ты смеешь так отвечать! Чей ты?» — «Женин, батюшка». — «Дурак! Я ⟨го⟩ворю, чей ты? Кто у вас старше, кто всех больше?» — «Никита длинный всех больше, батюшка, вытянулся». — «Дурак! Я спрашиваю, кто старший, кого вы боитесь?» — «А у соседа Михайлы сучка есть, презлеющая! Без палки никто не ходи».

58) Винишка выпить; четушку поставить.

59) Железные носы, нас совсем заклевали.

60) Да что ты со мной лимонничаешь? Чего ты со мной апельсинничаешь?

61) Эх, калачи, калачи! Сам бы ел, да денег надо! Московские! Горячие! Ну! последний калач остался, ребята! У кого мать была?

62) Дома не был, а всё знаю.

63) Сек бы ты тогда, когда поперек лавочки лежал, а не теперь.

64) Ну, работай, работай! Деньги взял!

65) *Вся бедность* просит. Собрали слезы, послали продать.

66) «Ну, что загалдели, на воле не умели жить?» — «А ты за фунт хлеба пришел; а ты шкуру продал». — «Рады, что здесь до чистяка добились». — «Ты сюда деньги наживать пришел. Смотрите на него, ребята, возьмите его, ребята. Остолоп! Монумент! Телескоп проклятый!»

67) Ишь, отъелся! Знать, тебя черт ядрами кормит.

68) Он, батюшка, у бабе простокишу поел, за то и кнута хватил. Крыночная блудница.

69) Да вот, батюшка, уж 10-й год как я пошел странствовать.

дались наживать прыщиков. Сидо-
рыч! на него ребята, возьмите
его ребята. Остолоп, мошен-
ник! Шаласопа прокинутая!

67) Иш отъелась! Знать тебя черт
здравствуй Корчинкин.

68) Эх, батюшка, у бабы прошло-
годнюю помер, вашо и кошку
хватили. Кривоногая блудница.

69) ~~Кривоногая~~ Да! вот, батюшка,
уж 10 годов как я пошел
странствовать.

70) Мы с дядей Васи корову
смертью убили!

71) Ну! бирюлину корову привели

Л 72) Чего суешься с невысеченным
рылом в калашный ряд.

73) А у меня-то ... ложка,
раз-так совсем!

74) А брат вошел в милостию
майору.

⟨Сибирская тетрадь⟩. Страница автографа.
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

70) Мы с дядей Васей *коровью смерть* убили.

71) Ну! бирюлину корову привели.

72) №3. Чего суешься с невымытым рылом в калашный ряд.

73) А у меня-то ни тетки, раз-так ее совсем!

74) А я, брат, божиею милостию майор.

75) «Ах ты, язевой лоб!» — «Да ты не сибиряк ли?» — «Да есть мало-мало! А что?» — «Да ничего».

76) Как завел меня туда господь, ах! благодать небесная! Я — ну прибирать! И махальницу, и едальницу, и хлопотницу взял. Да и дьяконов чересседельник прибрал. У Н⟨иколая⟩ У⟨годника⟩ подбородник снял, у б⟨огороди⟩цы кокошник снял да и Ваньку-то крикуна заодно стащил.

77) «Ах, как дедушка на бабушке огород пахал!»

78) А уж у меня заложено пьянее вина. А уж я того... в Бахусе.

79) А я-то куражусь, рубаха на мне красная, шаровары плисовые, лежу себе, как этакий граф Бутылкин, и финозомия выражает, — ну, т. е. пьян, как швед, чего изволите?

80) А у него на ту пору бостон, генералы съезжались.

81) Кажись, генеральские дочки, а носы всё курносые.

82) Не хочу в ворота, разбирай заплот.

83) «Здравствуйте, батюшка! Живите больше, Анкудим Трофимыч!» — «Ну, как дела?» — «Да наши дела, как сажа бела. Вы как, батюшка?» — «Э, батюшка, по грехам своим живем, только небо коптим». — «Живите больше, Анкудим Трофимыч».

84) Глухой не дослышит, так допытается.

85) Сибиряк соленые уши.

86) Ишь, разжирел! К заговению двенадцать поросят принесет.

87) «Что ж ты не приходила?» — «Вот! Я пришла, а вас Митькой звали».

88) Старое дерево скрипит, да живет.

89) Ишь, Пермь желторотая! Ишь, пермяк кособрюхий!

90) «Да ты что за птица такая?» — «Да уж такая птица!» — «Да какая?» — «Да такая». — «Какая, ⟨---⟩?» — «Каган». — «Подлец ты, а не каган».

91) «Чуете! Ты мене вид морду набьешь. Чуете, такого гвалта зроблю!» — «Да молчи ты! Ню-ню-ню! Парх проклятый!» — «Нехай буде парх!» — «Жид пархатый!» — «Нехай буде такочки! Хоть пархатый, да богатый, гроши ма!» — «Христа продал!» — «Нехай буде такочки!»

92) «Эх, жид, хватишь кнута, в Сибирь пойдешь!» — «А що там пан бог есть?» — «Да есть-то есть!» — «Ну нехай! был бы пан бог да грóши!»

93) Ври, Емеля, твоя неделя!

94) «Да у кого?» — «Да у нашего Зуя».

95) А ты так живи: ни шатко, ни валко, ни на сторону.

96) Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.

97) Пробуровил тысячу.

98) А! ты, верно, Неробелов? Вот подожди у меня.

99) Умный человек! из семи печей хлеба едал.

100) Чисто ходишь, где берешь, дай подписку, с кем живешь?

101) Чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь? С каким словом сказать.

102) Всё дрянь. Только и можно почесть рубашку сарпинковую.

103) №3. Ты мне черта в чемодане не строй!

104) На обухе рожь молотили, зерна не проронили.

105) Голодом сидят, девятый день тряпицу жуют.

106) Ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл. Другой больше забыл, чем ты знаешь.

107) Глаза-то уже успел переменить (напился).

108) Этому 5 лет, тот на 12, а я вдоль по каторге. Поперек Москвы шляпа.

109) Эй ты, строка.

110) Люди ложь, и я то ж.

111) Как бы не так! Ты откуда, а я чей?

112) *Прогорел!* (Проигрался, промотался, пропился).

113) Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу, у него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида, купил, вот еще который потом удавился.

114) С добрым утром, с наступающим днем!

115) «Нашим курским?» — «Да мы не курские». — «Аль тамбовским?» — «Да и не тамбовские». — «Да постой, брат!» — «Нет, брат, за постой у нас деньги платят. Отваливай».

116) Эх ты! Экономию с двух грошей загнать хочешь! Сядет да оглянется, не годится ли в кашу. (Каждую дрянь собирает, не годится ли в кашу.)

117) Ах ты, змеиное сало, щучья кровь!

118) Вот сделались у меня запасные колотья, отправился я в больницу.

119) Плюх с десяток ему накидал да с тем и пустил.

120) С обновкой вас! дай бог и лучше завести.

121) Один в поле не воин.

122) Будут денежки, будут и девушки.

123) Деньги — голуби; прилетят и опять улетят.

124) Молодец против овец, а против молодца и сам овца.

125) Ах ты, чтоб те якорило!

126) А что, ребята, и вправду трус я первой руки, такой трус, что сам себе дивлюсь. Бывало, на воле жены, бабы, боюсь. А что, ведь это меня испортили, право, испортили.

127) Огорошил, околпачил.

128) На черносливе испытан да на панпрусских булках; без чернослива жить не могу.

129) Вели свет видеть, батюшка.

130) Ты на всех зверей похож.

131) «Как живешь?» — «Да по деньку на день».

132) Одна была песня у волка, и ту перенял.

133) Тебя вместо соболя бить можно. Одежи рублей на 100 будет.

134) Кому Лука, а тебе Лука Кузьмич; кому Лука Кузьмич, а тебе дядюшка.

135) А! только так языком болтает, себя веселит.

136) Хорошо! Я-то, положим, туляк, а вы-то в Полтавской губернии галушкой подавились.

137) Остолоп! Никакой фартикультяпности нет.

138) Прогорел, — разживусь! Теперь ничего нет, а подожди, так и ничего не будет.

139) Да ведь и меня, брат, голой рукой не бери.

140) От огня ничего не останется, а от вора всё что-нибудь да останется.

141) Ты говори тому, кто не знавал Фому, а я брат ему.

142) А я тебя и бивал, да не хвастаю.

143) «Которой губернии?» — «Да у нас не губерния, а уезд. А ездил-то брат, а я дома сидел, так не знаю».

144) Нет ничего! пуля!

145) Наш брат Савка. Со всем Максим, и шапка с ним.

146) А наш Максим, и шапка с ним, совсем готов!

147) Ишь, надулся, как мышь на крупу.

148) А в поле четыре воли!

149) «А в котором году?» — «Да в сорок не в нашем, братец. Ну, так вот» и т. д.

150) «Здорово, ребята!» — «Курские, ваше благородие». — «Что! которой губернии?» — «Женатые, ваше благородие». — «И дети есть?» — «Есть двое, у меня трое, у меня семеро!» — «Что ж, вам небось жаль детей-то?» — «Чуден ты человек, ваше благородие! Как же своего родного детища не жаль будет».

151) Избави, господи, от врага и супостата и от инвалидного солдата.

152) Стоеросовый (стоя, прямо растет).

153) «Что ты так оболокся?» — «А что, братан Петрович, сиверко на дворе, прозяб!»

154) Прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал.

155) Дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал.

156) Эй вы! Маркобруновы дворяна!

157) Сдал я ему книги и колокола и все церковные дела.

158) Я смотрю на него, как черт на попа.

159) «Да дашь того?» — «Да дам, дам!» — «Да нет, ты знаешь чего? Того, чего мыши не едят».

160) А что, любишь? На-ко-ся, берешь!

161) Он вина не пьет, с воды пьян живет.

162) Да нынче пасха на апрель живет.

163) Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить.

164) Хорош, как дедушка из-под 9-й сваи.

165) Да тот бог, что мельницы ломает.

166) Я с вами рада часы делить, только при вас как-то совести не соберу.

167) Трека, чеква, пятитка, полняк.

168) Тот бог, другой бог, а Маланьин больше!

169) Умел людей резать, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды.

170) Огня добыть. Я из него огня добывал.

171) Любил кататься, люби и саночки возить.

172) Поводырь был, гаргосов водил, у них голыши таскал.

173) Режь (хлеб) со лба (перекрестясь).

174) Мужик — медвежья пятка.

175) На грош, что ли, аль на два? Ну, режь на два, пускай люди завидуют.

176) А уж известно, кто празднику рад, тот спозаранку пьян.

177) Так не отдашь денег? Эй, на том свете сам придешь отдавать — не возьму.

178) От меня работа не заплачет.

179) «Ну, батюшка, как поживаете?» — «Э, батюшка, день да ночь, сутки прочь, как у вас?»

180) «А вы то есть как изволите быть, без доку́мента?» — «Нет-с, я по доку́менту». — «Так-с! А смею вас спросить, вот мы подкутили да и деньжонками-то не разжились, полштофика благоволите нам!» — «С моим полным удовольствием».

181) Ну, разжился я тут у жида на двести рублей.

182) Такий дурный, як сало биз хлиба, и мудреный, как бублик, — ни конца, ни начала.

183) Я ему бачу — ни! А вин, бисов сын, всё пишет, всё пишет! Ну, бачу соби, да щоб ты сдох, а я б подывився! А вин всё пишет, всё пишет; да як писне! Тут пропала моя головушка!

184) Инвалидная крыса, Инвалид Петрович. Невалид.

185) Бисова дытина! Чего воно за мной ходит!

186) А что вы думали, что я вам теплоух дался, ничего не вижу.

187) Не понял! Нет, брат, всё понял! Ты, брат, за дугу, а я уж в телеге сижу.

188) Не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе.

189) Две лени вошли в сад. Легла одна лень под яблонькой. «Ах, какие, говорит, славные яблочки; вот кабы сорвалось да мне в рот». А другая лень: «Экая ты лень, лень! Как тебе говорить-то не лень?»

190) Двоедан, большие кресты, крыжаки.

191) А я всё на печи сидел, на дворянской вакансии.

192) При милости на кухне.

193) Да что вы, сударь, ихним дурачествам подражать изволите?

194) А я, сударь, ничем не заимствуюсь, винишка не пью, сами знаете. Плохое дело, коли чем заимствуется человек.

195) Бледный, как пятак медный.

196) «Здравствуй!» — «Ну, здравствуй, коли не шутишь».

197) Не мой конь, не мой воз. Кто в деле, тот и в ответе.

198) Ты, брат, меня не знал? Я, брат, Кольцов, не найти концов.

199) Ну, коли я неправду сказал, щоб ты сдох.

200) Ну, здорово были! (Здорово ночевали!)

201) Ну, моя пусть рябая, нехорошая, зато у ней сколько одежи.
202) (Жид). Ты меня ударишь об пол один раз, а я тебя десять.
203) Вытащили мы жидову телегу.
А вот тут, братцы, заседатель ездит.
204) Меня можно, а заседателя не смеешь.
205) Смотрим, идут две суфлеры.
206) Ишь, совести нет, глаза-то не свои, заемные; ну, поври еще!
207) (И он повесил нос, как старый воробей, которого провели на мякине.)
208) Начал, брат, он меня обувать.
209) Задал столько, что в два ста не складешь.
210) Сено-то в сапогах ходит.
211) Да ты чего на меня! Я тебе столько посредственников приведу.
212) Ну, тут и моя копеечка умылась.
213) Из-под девятой сваи, где Антипка беспятый живет.
214) Салфет вашей милости.
215) Круглолица, белолица,
Распевает, как синица,
Милая моя!
Она в платьице атласном,
Гарнитуровом прекрасном,
Очень хороша!
Погодя того
немножко
Без меня
меня женили
216) Да, ты, брат, толсто знаешь.
217) Такой болтливый язык. Я думаю, отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, всё болтать, пока ворона не склюет.
№№) Ишь, толстая рожа, в три дня не ⟨- - -⟩.
218) Погодя того немножко,
Акулинин муж на двор.
219) Да уж такой-то я был в мужиках: ни уха, ни рыла не знал.
220) Покамест служил в мужицком полку.
221) Честь ведут да дают, так пей.
222) У голодной куме и хлеб на уме.
223) Трубка — чертова ножка, самоварный кран — змеиная головка.
224) Холод такой в избе, что хоть зайца гоняй.
Ах ты, батюшка медведюшка!
Задави мою коровушку...
225) Прежде, брат, я много вина подымал.
226) Ты что сидишь, глаза продаешь?
227) «На свои купил?» — «Какое! в долг, до капитанского жалованья».
228) Да ко мне сегодня четыре приходили: Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекундá приходила, Двугрошовая приходила.
229) А чего ладишь делать?
230) А вот горох поспеет, другой год пойдет.
231) В субботу сто лет минет.
232) «Что ж ты небось мастерство имел?» — «Да пробовал сапоги тачать, всего-то одну пару стачал». — «И покупали?» — «Да нарвался такой, что, видно, бога не боялся, отца-мать не почитал, наказал его господь!»
233) Будь здоров на сто годов, а что жил, не в зачет.
234) Эх, старинушка! Побойся бога, смерть у порога!
235) Ты сегодня помри, а я завтра.
236) Да мне-то ничего! А начальству кошель.
237) Растуманился, припечалился.
238) «Продаешь?» — «Купи!» — «Чего стоит?» — «Денег стоит».
239) «Врешь!» — «Сам соври». Космачи.
240) Да еще коленком напинал меня сзади.

241) Ну да прощайте! спасибо за баню, за вольный дух, славно исполосовали!

242) Эх, брат! всё такая кось да перекось пошла, нет фарту, что хошь возьми.

243) Он меня дерзнул.

244) А тут фарт зашел, мне рука зашла, я давай их лупить.

245) Да, подымешь небось! И ты не подымешь, да и дед твой, медведь, приди — и тот не подымет.

246) Эх, брат! ворон ворону глаз не выклюет.

247) Доносчику первый кнут.

248) У хозяина шея толста (богат), небось сдюжит.

249) А ты привык жеваное есть. Тебе небось разжуй да в рот положи.

250) Нет, мамонька...

Мужик рубит дрова жиду и кряхтит.

— А цево зе ты кряхтишь?

— А чтобы легче было, жид.

— Ну, ты руби, а я буду кряхтеть.

Кряхтел, да потом деньги стал вычитать при расплате: я, дескать, кряхтел, тебе легче было!

251) Шапку заломал на четыре беды.

252) Я тоби так смахну, что ты у меня двадцать светов увидишь.

253) Нашего брата без дубины не уверишь.

254) Натрескался я пирога, как Мартын мыла.

255) Ты бы встал да пошел, тебя хоть бы ветром обдуло.

256) Дальше положишь, ближе возьмешь.

257) Трем курам корму раздать обочтется.

258) Да что ты мне рассказываешь бабушкин сон.

259) Эх вы, два Демида!

260) Ошибку в фальшь не ставят.

261) Ишь, умен стал! Астролом! Все божии планиды узнал.

262) Научишься небось шилом молоко хлебать.

263) На чужой кусок не разевай роток, а раньше вставай да свой затевай.

264) Копишь, копишь да черта и купишь.

265) Да уж такая-то девка-собутыльница!

266) А вы, матушка, не слушайте, у вас золотом уши завешаны.

267) Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат!

268) А наши доходишки, сами знаете, либо сена клок, либо вилы в бок.

269) Все чины произошел.

270) Господи, как подумаешь, сколько греха-то на людях.

271) За тычком не гонись.

272) А ты меня и бей, да только хлебом корми.

273) За сто раков не соглашусь. Вот сейчас, на пробу, сто раков давай, право, не соглашусь.

274) Дали мне пятьдесят с гаком.

275) А ты день не ешь, другой погоди, а третий опять не ешь.

276) — Был тут Фома Кузьмич?

— Был, да весь вышел; а что?

277) У меня ль, младой,
Дома убрано:
Ложки вымыла,
Во щи вылила;
С косяков сскребла,
Пироги спекла.

278) Да нет; я уж лучше сапогу поклонюсь, а не лаптю.

279) А какая тут еда? Хоть бы теплом пустить, так обмерз.

280) Сено есть, а из хором вы у меня тепла не унесете, милости просим.

281) «А есть деревеньки?» — «Да, два снетка. По оброку в Ладожском озере ходят».

282) Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом.

283) Не делай свое хорошее, а делай мое дурное.

284) Что там у них за город? Просто черт в корзине нес да растрес.

285) Надпись на книге: «*Супруга, милосердивая* душа. *Благородная, учтивая,* обращательная, всем *хороша*».

286) «Ну, что, мать моя, зачем пришла?» — «С докукой, батюшка! К твоей милости, вот то-то и то-то».

287) Эй ты, мохнорылый!

288) Свяжись-ка со мной! Небось только тепло́ да мокро́ из тебя станет.

289) Вали! во что кривая не вынесет!

290) Дай бог нашему теленку волка съесть.

291) А я, батюшка, с вас воли не сымаю. Как хотите, так и делайте.

292) Отец мой не кланялся да и мне не велел.

293) Попал в поле, как в копейку.
Осталось только попасть.

294) Снявши голову, по волосам не плачут.

295) Свет небесный воссияет,
Барабан зорю пробьет, —
Старший двери отворяет,
Писарь требовать идет.

Нас не видно за стенами,
Каково мы здесь живем;
Бог, творец небесный, с нами,
Мы и здесь не пропадем.

Не увидит взор мой той страны,
В которой я рожден;
Терпеть мученья без вины
Навек я осужден.

На кровле филин прокричит,
Раздастся по лесам,
Заноет сердце, загрустит,
Меня не будет там.

296) Так для дела, брат, дельного и выбирают, а уж не нашего брата.

297) Да это чехол, а не человек.

298) Да это, брат, мне дороже киселя.

299) Лицо, как воронье яйцо.

300) Да уехал-то бы я давно, да золоторогих быков под экипаж еще не достали.

301) Да у его милости сегодня на чердаке нездорово (пьян или с ума сошел).

302) Понимать-то я вас понимаю, да не подымаю.

303) А твое, брат, слово ни к чему не подходит.

304) А горя-то, горя — конца краю нет!

305) «Ну что, брат?» — «Да что, сударь, статья небольшая, да просьба велика, — вот то-то и то-то».

306) Был у меня от батюшки дом двухэтажный каменный. Ну, в два-то года я два этажа и спустил, т. е. остались мне только одни ворота без столбов.

307) А мороз со всего белого света так и жарит.

308) Ходит, точно редьку садит (нагибается с каждым шагом).

309) Да это, брат, штука капитана Кука.

310) Эк ты сморозил!

311) На-тко, брат, возьми закуси!

312) Ну да я им там кинулся в нос. Помнить будут.

313) А ты знай, помалчивай.

314) Перед дураком шапки не снимают.

315) Любил медок, люби и холодок.

316) Он у нас в целовальниках сидел, а по прозвищу *Гришка Темный кабак.*

317) Ну и мою Аннушку нельзя перед другими похвалить, нельзя и похулить, а так что из десятка не выкинешь.

318) Да уж знамо дело, батюшка!

319) Да уж такой-то человек, отца не надо.

320) Послал я и мою слезницу (просительное письмо).

321) А вы меня извините, я (щелкнув по воротнику)... получил. Вот я — так дело другое, — капли в рот не беру. всё за галстух лью.

322) Дурак любит красненькое.

— Да что ж, когда здесь ничего не найдешь.

— Это еще ничего-с, что ничего не найдешь.

323) А вот я знал поляка, всех их вмисцы дьяблы везмо с та́ким мястом; есть цо ку́пить, ни́ма за́ цо.

324) А по-нашему, хоть на час, да вскачь.

325) Слушай да всякое слово считай. Вот тебе свет пополам: тебе полсвета и мне полсвета (будет с нас обоих); иди да не попадайся навстречу. Слышал?

326) Вот вышли мы с ней. На мне смушачья шапка, тонкого сукна кафтан, шаровары плисовые; она в новой заячьей шубке, платочек шелковый, — т. е. я ее стою и она меня стоит, вот как идем.

Рассказ о том, как жену убил.

Режь! его в солдаты берут, я его любовница. И на что она это мне сказала. ⟨*1 нрзб.*⟩. Ночью зарезал и всё думал, что мне с ней делать.

327) Так-то так, а значит *не все дома* у его милости.

328) «Значит: два ведра воды и одна луковица — французский суп à la санте». — «А по-нашему, так полтрубки табаку да графин водки — вот я и сыт».

329) А на всякий роток не накинешь платок.

330) А это они на меня там набухвостили (насказали, наклеветали, наврали).

331) «Что ж, его сыскали?» — «Теперь-то? в мешке!»

332) Ну, возьми кружку да и иди собирать на каменное построение, на табашное разорение.

333) Сам лежит, бог убил, молчал бы, а всё *сбирает,* ты что сбираешь (высчитывает свои обиды).

334) Глаза мозолить, язык мозолить. Что ты торчишь передо мной, глаза мне мозолишь?

С тобой говорить, язык мозолить.

335) Сбирает со всего света! Да уж такая у него нация, — что ни ска жет, то соврет.

336) Пену подбить, вызолотить, за новое пойдет.

337) Ты здесь *только* хлеб научился есть.

338) Нет, брат! дело по делу, суд по форме, — давай!

339) Что ж делать. Не у всякого жена Марья! Попался в мешок!

340) Ну, брат, меня там и прославили и ославили.

341) А что ты, старушка, не растешь?

342) «Ты кто?» — «Да я-то, брат, покамест еще человек, а ты-то кто?»

343) Начали мы его бить. Два часа прожил на кулаках, сукин сын; крепок!

344) Эк дурь-то на себя натащил; очнись!

345) Вот нужно жениться бедному! Женись — а и ночь коротка.

(Я с тобой до седых волос торговаться буду.)

(А и весь-то ты — бранное слово; вот ты что, а не человек!)

346) А ты больше знай, да меньше болтай, — крепче будет.

347) Бей крепче, будет мельче.

348) «Гей, скорей!» — «Скорей скорого не сделаешь. Подожди!»

349) По пояс в воде, а пить просит.

(Две рукавицы за поясом, третьей ищет.)

350) Коль я плут, так и ты тут.

351) Свечи-то горят стипириновые.

352) Рубль двадцать взял за аршин, и то по 10 копеек уступил почтения.
353) Умер!.. Так его сверх земли положить, что ли?
Похоронить надо, люди говорят.
354) Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет.
355) И выходит, ты врал, а я не разобрал.
Что, Маметка! твоя врала, моя не разобрала?
Пьяный свечки не поставит.
356) «Говорю ей: где была?» — «А я, мать моя, у стояния была; 12 евангелий читали».
357) Ах ты, память у меня девушкина!
358) Ну и не любит выпить; т. е. по две недели запоем. В картины тоже — наше дело заняться.
359) — Так чтоб был здесь!
— А мне его купить, что ли? Где я его найду?
360) — Да и совсем нескладно.
— Хоть нескладно, да толсто.
361) Ну, здравствуй, говорю, милый человек, от кого и как?
362) Спрашивают не старого, а бывалого.
363) Ты честный? Нет, брат, ты и не стоял подле честного, да и с виду-то не знаешь, каков он собой.
364) А он словно воды в рот набрал, молчит себе, да и только! ⟨*1 нрзб.*⟩.
365) Э, чего мыть! С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.
366) Да ведь всей работы не переработаешь, будет с меня.
367) Эх вы, донцы-молодцы!
368) А шинелишка-то на нем такая коротенькая, что только в ней от долгов бегать: видно, с чужого плеча.
369) Нет уж, я, брат, этого по гроб моей жизни не забуду.
370) «Да за что?» — «Да за что почтешь». — «Нет, брат, наша денежка трудовая, да потна́я, да мозольная. Замаешься с моим пятаком на том свете».
371) «Пора домой». — «Да куда же так скоро, батюшка; сидите; будьте при месте».
372) Всё собирался к вам писать, да как-то руки не доходили. Уведомляю вас, что от сего письма остаюсь совершенно здоров и благополучен, а живу по-прежнему, ни толще, ни тоньше.
373) Где та мышь, чтоб коту звонок привесила?
374) У соседа женка хороша, так и нам всем надо.
375) У бедного ребята, у богатого телята.
375) А то золотой ящик купи да медный грош положи.
376) Неправда! А ты сначала сделай, чтоб неправда была, а потом и говори, что неправда. Сам ты неправда!
377) Я с ним знаком! Да я не знаю, как у него и дверь-то отворяется.
378) Что ты мне свою моську-то выставил; плюнуть, что ли, в нее.
379) Был в Париже, был и ближе.
380) Про жену. («Ты там засиделась».) «Я засиделась! Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них, посидела».
381) Старому волку везде дорога.
382) Я лгу! Да вот тебе великое слово, не лгу.
NЗ. (Мало ль живет, что почтой пропадают.)
(Письмо Петра к князю Кесарю от 9 мая, из Амстердама, 1698 г.)
«Ай, девки!» (восклицание, особенно старика. Или, покачивая головою: «Ай, девки-девки! Ай, девки-девки!»)
383) А уж мне, известно: и первая чарка, и первая палка.
384) Придет на час, а просидит чухонский месяц. Влюблен, как кошка. Жена говорит: режь, в солдаты берут. Стали мы дожидаться, плакал с ней, а ночью зарезал.
385) Нет, брат, одиннадцатый час: теперь не придет, теперь только собаки лают.
386) Не хотите работать: что ж мне на вас чехлы надеть да впрок положить аль за деньги показывать?
387) Ну так что ж было попусту языком колотить? (⟨*1 нрзб.*⟩, 5 июля.)

388) Уж тут не до жиру, а быть бы живу!
389) Чему посмеешься, тому и поработаешь.
390) А что будет спине, то и хребту.
391) Людям отдать жалко, девать некуда.
392) Поручился — теперь скидай кафтан; порука — наука!..
393) А мне везде рай, был бы хлеба край.
394) Чу! меня там, чай, потеряли; пойду!..
395) Да и ума тоже в голове не много держи; много, брат, ума, Ваня, тоже неладно.
396) — Смотри не болтай.
— Да уж никому, кроме базару.
397) Нет, говорит, не хочу.
Ну, вот поди ты с ним, растоскуйся!
398) Дворик у него чистенький, как карточка. (⟨*1 нрзб.*⟩ . 28 августа.)
399) Две-то тысячки она с ним и прокатила.
400) «Ну, и я там писал». — «А теперь что не пишешь?» — «А вот как перьями начали писать, так уж я и отстал».
401) А сам рад человека в ложке воды утопить.
402) А честь, батюшка, дороже славы.
403) Прежде-то я куды была толстая, а теперь словно иглу проглотила!
404) И так нахлестался чаю, что одышка взяла, а внутри как будто в бутылке болтается.
405) Ах ты, завидок востроглазый, разгорелись глаза на чужое добро.
406) Прощайте, не стращайте, скоро ворочусь.
407) Эх, шина-то солгала, отказалась!
408) Эх ты, огрызок собачий.
409) Что зубы-то моешь, бесстыдница? Чему смешно?
410) Ну, что ты *сорочишь*.
Встала неладно, пошла нехорошо. Вот житье ⟨?⟩ мое.
411) Жили — не люди, померли — не покойники.
412) Это ведь не башмак, с ноги не сбросишь.
413) Двоим любо, третий не суйся!
№3. Шаршавый человек.
414) Так что душа у праздника.
415) Пошли мы с мамонькой титюльную бумагу покупать.
— Какую?
— Титульную — вот на которой прошения пишут.
416) — Да ведь колесо-то хорошее.
— И того лучше едет.
417) За 100 верст киселя есть ездили.
418) Обе невесты; сватают — так иди, а то что, солить, что ли, вас?
419) Он мне и говорит: такое кислое оправдание, любезный друг, составляет стыд твоей голове. А лучше сознайся, что всё это пьянство через твое непостоянство.
420) А водочка у него из Киева пешком пришла.
Взъерепенинов.
425) И тоскливо и грустливо.
Ну! сидят, сидят да и едут.
426) Да их там, как собак нерезаных. ⟨*4 нрзб.*⟩.
427) Ну да чего ж ты, Макара, что ль, высидишь, на одном месте-то?
428) Да он у нас белый не ходит, а всё такой черномазый.
429) А этот смех слезами выйдет.
Жирно ели, оттого и обеднели.
(⟨*1 нрзб.*⟩. 20 марта.)
430) А за ним, изволите видеть, были многие *качества*.
431) Да ты что знаешь? Ты здесь сидел, угол гноил, а он с ветру пришел, больше знает.
432) «Не забудь!» — «Нет, не забуду, досуг ли нам забывать!»
433) — Как дурак был, так дурак и есть; дурак уехал, дурак и назад приехал.

— Коли я дурак, так ты родом так.
434) Нет, матушка, погоди; это ведь рубля стоит.
Морген фри, нос утри.
435) Это тяжкодум; у него денег много.
⟨*1 нрзб.*⟩. 8 мая.
Эй ты, Разговор Петрович.
436) А сделали мы это, сударь, так сказать, тихими стопами..,
(Эй ты, милый сын!..)
437) Вот мы с ним муху и задавили.
Что ж, брат, мы люди хорошие, — выпьем.
438) Свету, моему привету, тайному секрету, Василью Петровичу.
Вот я тотчас же съездил его по идолам (по зубам).
Жаловаться? Оправда⟨ние(?)⟩ произн⟨есет(?)⟩.
439) «А хороший человек?» — «Да о праздниках перед обедней хорош».
N3 (река в трубе).
440) Хлеб-соль ешь, а правду режь.
441) *Жене.* «Выбрала молодца, не пеняй на отца».
442) На лес взглянет, так лес вянет (17 августа).
443) Так похудел, что скрозь запертые двери пройдет.
444) Сапоги — красный и черный. «Да, ваше благородие, там нет парных, там тоже красный и черный остались».
445) А тут барин гостям такую откупорку задал, вино шато-дромадер.
446) Ведь вот врет народ! И откуда что берут и во что кладут?
447) — А приедет назад?
— Не удавится, так воротится.
448) А тут как на старые дрожжи влил два шкалика и сызнова пьян.
449) Курицу резать позволено.
Курица не человек, а всякая домашняя птица. Ее в снедь человеку показано. Когда птицу режут, она *радуется.*
450) Хватил шилом патоки!
N3) Хорошая есть, а дурная так в честь!
(26 сентября ⟨18⟩56. Ожидание.)
Черного кобеля не отмоешь добела.
451) Жива душа — калачика хочет.
452) Я хоть и в саже, да никого не гаже.
453) Посмотрим, брат, какое ты оправдание произнесешь.
Суленая скотина в доме не животина.
(17 октяб⟨ря⟩.)
454) Эй ты, кума, в решете приплыла!
— Что барин у тебя?
— А ничего барин; что ему!
— Всё воду пьет? (гидропат)
— Пьет, всё пьет, куда в него лезет?
— В брюхе-то небось караси завелись.
— Подействуйте, батюшка, своею машиною.
455) Не бери лишнего, побойся вышнего.
456) А домик-то хоть гнилой, да свой.
Жене. «Душа ты моя, ягода, любил я тебя двá года».
457) Эх, батюшка, что нам делать на свете. Дал бы бог детей поднять; а там хоть бы и на покой.
458) Существует пословица: поселенец, что младенец: на что взглянет, то и тянет.
459) Руки свяжут, язык не завяжут.
(19 декабря ⟨18⟩56. Надежда!)
460) Фу! столько наговорил, что на трех возах не увезешь.
461) Скоро, да не споро.
Такой щедродар.
462) Нет, меня не прибьешь, еще нос не дорос. Кто меня бил — в земле лежит, а кто хочет бить — на свет не родился.
Под гору коленом, на гору поленом.

463) Чево-о! рубль серебра? Да я тебе за рубль-то серебра его и из-за реки не покажу.

464) Богат Ерошка, есть собака да кошка!

465) Лошадь работящая: возит воду и воеводу.

Ах ты, франт, коровьи ноги!

466) Народу-то, народу-то, — как людей!

467) Если! Гм! Мало чего: *если б!* За *если б* и в Москве 100 рублей дают.

468) Уж как разодета: журнал, просто журнал!

И чего тут нет, в Питере! Отца-матери нет.

469) Что ж это он? Утром пьян и вечером пьян!

Значит, другую фуру везет.

(11 мая.)

470) Поссорь, боже, народ, накорми воевод.

471) Без мыла в ⟨- - -⟩ лезет.

472) Это и вору так впору.

473) А ты пей-пей, да перегородку сделай, да потом опять пей.

474) Сходи туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что.

475) Да ты, брат, еще не бог знает какой член.

476) Богослов, да не однослов.

478) Говоришь ему, а он смотрит, как баран на воду.

И *живет же охота* в такие темные ночи уходить бог весть куда!

479) Об волке речь, а волк навстречу.

480) Мальчик не мот, а деньгам перевод.

481) А много ль именья-то? Встанет со стула, и всё с ним.

482) Кость-то тяжелая стала; годов девяносто уж будет.

483) Дети-то, батюшка, у меня не стоят, наказал господь!

484) «Ну, как поживаешь?» — «А так, как и прежде: ни сохну, ни мокну».

485) А более так-с, для модели, чтобы люди глядели.

486) Не твоего ума дело.

(⟨*1 нрзб.*⟩. Отъезд М. 6 сентябр⟨я⟩ ⟨1⟩860.)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА

(Стр. 5)

Перечень тем для VI—IX глав первой части (П)

4-я и 5-я в сентябре.

6.[1] Защитник и его описание, разговор с ним и рассуждение о генерале и о поведении с ним. Сапер и его история.

7) Слухи о ревизоре, о театре, баня, Исай, *наступление* праздников. Первое утро. На третий день.

8) [2] История двух каторж⟨ных⟩ песен, работы.

9) Театр.

В «Мертвый дом». Раз как-то на столе лежала раскрытая книга по форме присяги.

[1] *Далее было начато:* Рассужден⟨ие⟩

[2] *Далее было начато:* Толки

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА

(Стр. 5)

Дополнение ко II главе первой части, не вошедшее в окончательный текст (Д)

Одним словом, полная, страшная, настоящая мука царила в остроге безвыходно. А между тем (я именно хочу это высказать) поверхностному наблюдателю или иному белоручке с первого взгляда жизнь каторжника могла бы показаться даже иной раз отрадною. «Да боже мой! — скажет он, — посмотрите на них: ведь иной из них (кто этого не знает?) хлеба чистого никогда не ел, да и не знает, какой такой настоящий хлеб-то на свете. А здесь, посмотрите, каким его хлебом кормят, его — каналью, разбойника! Смотрите на него: как он глядит, как он ходит! Да он в ус никому не дует, даром что в кандалах! Вот, — трубку курит; а это еще что? Карты!!! Ба, пьяный человек! Так он в каторге-то вино может пить?! Хорошо наказание!!!»

Вот что скажет с первого взгляда человек посторонний, может быть, благонамеренный и добрый...

А отчего же этот же счастливец рад бы хоть сейчас же бежать и бродяжничать? Знаете ли вы, что такое бродяжничество? Об этом когда-нибудь скажу подробнее. Бродяга по неделе не ест, не пьет. Спит на холоде и знает, что всякий свободный человек, всякий небродяга смотрит на него и ловит его, как дикого зверя; он знает это и все-таки бежит из острога от тепла и хлеба. Да и вы, коли уверены, что он счастливец, для чего же вы за этим счастливцем посылаете беспрерывно конвойного, а за иным так и двух; зачем же у вас такие крепкие кандалы,[1] замки и запоры? Что хлеб! Хлеб едят, чтобы жить, а жизни-то и нет! Настоящего-то, сущего-то, главного-то нет, и каторжник знает, что никогда не будет; то есть, пожалуй, и будет, да когда?.. Только как бы в насмешку сулится...

Попробуйте выстройте дворец. Заведите в нем мраморы, картины, золото, птиц райских, сады висячие, всякой всячины... И войдите в него. Ведь, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. Может быть, вы и в самом деле не вышли бы. Всё есть! «От добра добра не ищут». Но вдруг — безделица! Ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: «Всё твое! Наслаждайся! Да только отсюда ни на шаг!» И будьте уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за забор. Мало того! Вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваши страдания. Вам даже обидно станет, именно через эту роскошь...

Да, одного только нет: волюшки! волюшки и свободушки. Человек — да не тот: ноги скованы, кругом вострые пали, сзади солдат со штыком, вставай

---

[1] *Было*: цепи

Попробуйте, выстройте дворец. Заведите в нем мрамору, картины, золото, птиц райских, сады висячие, всякой всячины... и войдите в него. Ну, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. Может быть, и в самом деле не вышли бы! Все есть! «от добра добра не ищут». Но вдруг — безделица! ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: «все твое! наслаждайся! да только отсюда ни на шаг!» И, будьте уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перелезть за забор. Мало того! вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваши страдания. Вам даже обидно станет, именно через эту роскошь...

Да, одного только нет: вольности! вольности и свободушки. Человеку-то и ноги скованы, кругом острог палями, сзади солдат со штыком, вставай по барабану, работай под палкой, а за[illegible] [illegible] — вот тебе двести принужденных человек товарищей...

«Записки из Мертвого дома». Дополнение ко II главе первой части, не вошедшее в окончательный текст. 1860 г.

Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

по барабану, работай под палкой, а захочешь повеселиться — вот тебе двести, пятьдесят человек товарищей...

— Да не хочу я их! Не люблю я их, они душегубы, я молиться хочу а они похабные песни поют. Как же можно жить с теми, кого не любишь, не уважаешь!

— Да так и живи! Не хотел шить золотом... и т. д.

Всё это арестант знает в совершенстве, всем телом это знает, не одним умом; [2] знает еще на придачу, что он клейменый и бритый, да еще прав гражданских лишен; он оттого-то всегда зол, желчен и грустен; оттого-то он и здоровьем хил; оттого-то между арестантами вечная свара, сплетня, грызня. Да оттого-то вы сами боитесь его; ведь без конвойного в острог не войдете...

Говорят, когда-то и где-то, в каникулярное время, полицейские наловили ночью бесприютных собак, штук до тридцати, и всех вместе, живых и здоровых, спихали в одну кучу в крытую телегу и повезли в часть. То-то грызня завязалась. Картина глупая, отвратительная! А двести пятьдесят арестантов в остроге, собравшихся не своей волюшкой, со всего царства русского, — живите, мол, как хотите, да только вместе, да только за палями. Разве это не та же крытая телега? Разумеется, не та, а еще получше. Там была только «собачья» грызня, а здесь «человечья». А человек не собака: существо разумное, понимает и чувствует, по крайней мере — побольше собаки...

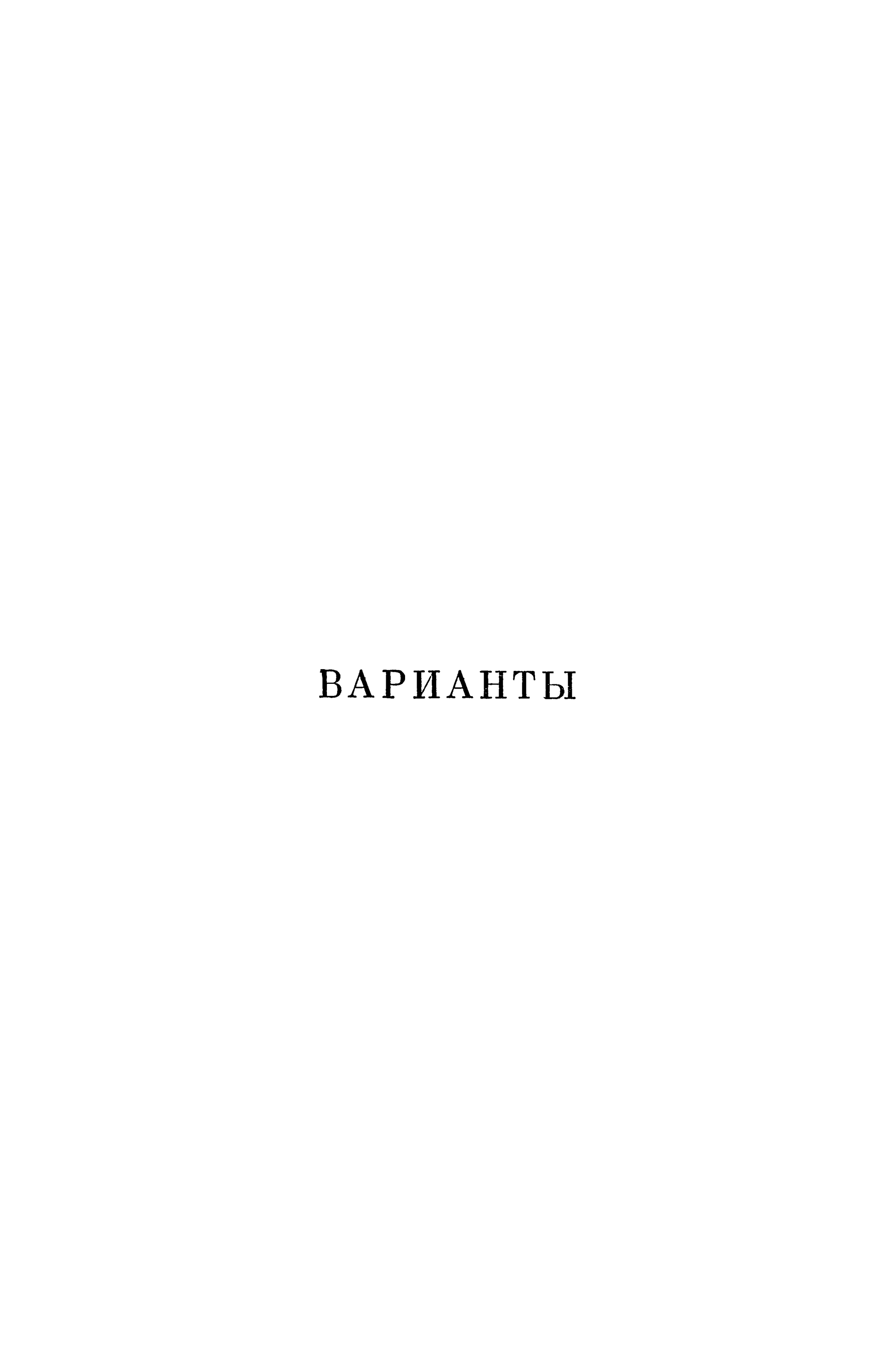
Да! понимает и чувствует каторжник, что всё потерял, вполне чувствует. Он вон, пожалуй, и песни поет, да ведь так — форсит. Жизнь проклятая и безрассветная! и трудно вообразить это, надо испытать, чтоб узнать!

Вот простой народ это знает; и без опыта. Недаром же он назвал арестантов «несчастными», недаром он простил им всё, кормит их и ублажает. Он знает, что тут не суть великие муки; тут «каторга», «одно слово — каторга!»— как говорят сами же каторжные.[3]

---

[2] *Было:* телом

[3] *Было*: арестанты



ВАРИАНТЫ

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА

(Стр. 5)

Варианты наборной рукописи (НР)

Стр. 141.

38–39 обходили палаты ∾ все вместе / обходили поутру; часу в одиннадцатом все вместе
39–40 прежде них / прежде него
40 наш ординатор / ординатор
41 знающий дело / умный, знающий дело
44 как-то неразговорчив / даже неразговорчив
44–45 конфузился нас / конфузился

Стр. 142.

2 по их же просьбе. ∾ славный / по их же просьбе. В нем как бы соединялись вместе и доктор и пастырь милосердный. Славный был
3 Надо признаться, много лекарей / Надо признаться, что лекаря
4 сколько я заметил / *а.* сколько я заметил и в чем уверен *б.* сколько я заметил и в чем я с моей стороны уверен
6–7 *Слов*: всего русского — *нет.*
8–9 страдая самою тяжелою болезнию / в самой тяжелой болезни
11–13 или лежать ∾ важное обстоятельство / или в госпиталь. Это зачастую случается. Но, кроме того, что в этом есть одно обстоятельство
14–15 ко всему, что носит на себе печать административного / ко всему административному
15 *После:* форменного — а следовательно, и к медицине
16 против госпиталей / против медицины
16–17 разными страхами, россказнями / *Начато:* разными формально⟨стями⟩
19 чужие люди кругом / чужие люди
19–21 строгости ∾ и проч. / рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, строгости насчет еды, а главное, рассказы о взрезывании и потрошении трупов и проч. и проч. ◇
21–22 К тому же, рассуждает народ, господа / *Начато: а.* К тому же господа *б.* К тому же рассуждение
23–27 Но при более близком знакомстве ∾ умеют заслужить / Но при первом знакомстве с [доктора⟨ми⟩] лекарями почти всегда все эти страхи [или часть] исчезают в простолюдине, кроме, разумеется, некоторых исключений, что, по моему мнению, прямо относится к чести и славе докторов наших, опять-таки, разумеется, кроме некоторых исключений, но, слава богу, нечастых, очень немногих, все наши лекаря умеют заслужить

27 *После:* простонародья. — Они ласковы с больными, умеют их ободрить, почти совершенно не смотрят на лица, т. е. со всеми [не] одинаковы в своем обращении, не делают выгодных исключений [в этом деле] кому-нибудь одному перед прочими, человеколюбивы [и рассматривая больного вообще как интересный субъект, а не что], много этим у простонародья выигрывают потому, что это понятие о человеке как о субъекте [зараженном имеет в себе что-то уравнивающее, нивелирующее, а это-то и нравится народу]◇

27–28 По крайней мере я пишу о том, что сам видел / *Начато:* Я видел, что пишу

29 и не имею оснований думать / и не думаю

30 иначе / совершенно иначе

30–31 в некоторых уголках / *а.* во многих местах *б.* в иных местах

31–32 *После:* больниц — *а.* и во многих уголках *б.* и в некоторых уголках

33–36 но я говорю ∾ в свое оправдание / что бы ни представляли многие из них в свое оправдание

37 например хоть *средой*, которая / средой, которая

38 всегда будут неправы, особенно если / они всегда будут неправы, если ◇

40 иногда нужнее ему всех лекарств / *а.* иногда, и это я верно говорю, нужнее всех лекарств *б.* иногда нужнее больному всех лекарств

41 Пора бы нам перестать / Пора перестать

42–43 Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не всё же / Заедает она, и правда, и во многих, да не во всех же

43 плут / плутик

45 и просто подлость / и мошенничество

46 говорить или писать / говорить и писать

46 *После:* писать. — Но в нашей медицине, видать, заметен прогресс, и даже если неотрадные явления исчезают и исчезнут совершенно, и то ⟨*4 нрзб.*⟩ и нашим срок недалек.

46 Впрочем, я опять отбился от темы / [Я со⟨всем⟩] Впрочем, я отбился от темы

47–48 враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям / *а.* враждебен [не] к медицине большей частью до тех только пор, пока с ней лично порядком не познакомился, пока здоров, а не болен *б.* враждебен не потому, что враждебен к госпиталям и к некоторым госпитальным порядкам, а к их администрации

Стр. 142—143.

48–3 Узнав, каковы они ∾ до сих пор враждебна / Узнав же, какова она на деле, быстро теряет свои предубеждения, и опять-таки скажу, вся [слава в том] честь этого [принадлежит почти исключительно] принадлежит одним лекарям; [но] прочая же обстановка [всех наших лечебниц] до сих пор нисколько не соответствует некоторым ожиданиям и, кроме того, до сих пор враждебна

Стр. 143.

5–6 Так мне по крайней мере кажется из некоторых моих собственных впечатлений. / *Начато: а.* Но в том-то и дело, что народ умеет отличать лекарей от госпитальной администрации. Так мне, по крайней мере, кажется, что же касается до военных госпи⟨талей⟩ *б.* Так мне, по крайней мере, кажется из некоторых впечатлений. А это очень важное дело.

7 Наш ординатор / Ординатор

8 серьезно и чрезвычайно внимательно / серьезно и внимательно

9 порции / переме⟨нял⟩ порции

9–10 Иногда он и сам замечал / Иногда и сам видит

10–14 пришел отдохнуть ∾ подсудимых /пришел или отдохнуть от работы, или полежать на тюфяке, все-таки в теплой комнате, а не сырой кордегардии, где в тесноте содержится [иногда страшная] тесная куча под⟨судимых⟩

15–16 душевное состояние / нравственное состояние

16 почти всегда тяжелее, чем у решеных / почти всегда тяжело

19–21 принятая у нас ∾ формула / *а.* притворная болезнь, условные [«запасные»] колотья, как называли арестанты *б.* условные колотья *в. Начато:* принятая у нас всех

22 сами арестанты / арестанты

27–28 безо всяких разговоров и умасливаний выписать / без всяких [скоро ⟨?⟩] разговоров и упрашиваний прямо выписать

30–31 здоров, в палате тесно» — и проч. и проч./ *а.* здоров» — и проч. *б.* здоров, а в палате тесно» — и проч. и проч.

32 совестно / стыдно

32–33 сам наконец просился на выписку / сам уходил наконец

33 хоть был и человеколюбивый / хоть и был очень человеколюбивый

33–34 честный человек ∾ больные / *а.* хороший человек, его тоже любили *б.* хороший человек, так что его тоже любили

35–36 решительнее ординатора ∾ особенно уважали. / решительнее, даже строг, и за это его больные даже ува⟨жали⟩.

37 после / уже по⟨сле⟩

Стр. 144.

2–3 была особенная строгость, жестокость даже / была даже особенная строгость

4–5 глаза красные ∾ колючую боль / глаза красные, сам жалуется [что на] на сильную боль

8 что болезнь притворная / *Начато:* что он

10–12 Арестанты все ∾ хотя он сам / *Начато:* Арестанты же все знали, что он притворяется и обманывает, хотя это он сам

14–15 на всех нас ∾ от всех таится / на всех — скрытный, подозрительный, ни с кем не говорит, от всех таится

20 решаются ∾ на страшные выходки / *Начато:* решаются иногда на стр⟨ашные⟩

21–22 кого-нибудь из начальства или своего же брата / начальника али своего же брата ◇

22 отдаляется наказание / отдалилось наказание

23 цель его достигается / цель достигнута

23 Ему нужды нет / Нужды нет

24 наказывать / пороть

25–27 теперь-то ∾ упадок духа / *а.* теперь отдалить на минуту, а там что бы ни было — до того бывает силен упадок духа *б.* теперь-то отдалить грозную минуту, хоть на несколько дней, а там что бы ни было — вот что ему надо — до того бывает иногда силен упадок духа ◇

27 иные / *Начато*: неко⟨торые⟩

30–31 *Слов:* даже те, у которых койки приходились с ним рядом. — *нет.*

32 со штукатурки / с щекатурки ◇

33 к утру они опять стали / к утру опять были

34 болезни, продолжающейся / *Начато:* болезни, чтоб

35–36 все медицинские средства ∾ доктора решаются / все средства испытаны, чтоб не лишиться совсем зрения, решаются иногда

39–40 ведь заволока ∾ очень мучительна / [палки] ведь заволока была [почти] хоть не палки, но почти так же мучительна, как и палки ◇

40–41 собирают сзади ∾ протыкают / собирают сзади на шее всё тело, сколько можно [более] захватить, прорезывают ◇

42–44 длинная рана ∾ каждый день / *а.* длинная рана, и продевают в эту рану [широкую] холстинную тесемку, довольно широкую, каждый день *б.* длинная рана по всему затылку, и продевают в эту рану холстинную тесемку этак в палец; потом каждый день

46 ее /его
47–48 впрочем с ужасными мучениями, и эту пытку / *а.* с ужасными мучениями и стонами эту пытку *б.* впрочем с ужасными мучениями и стонами, эту пытку ◇
48 *Слова:* упорно — *нет.*

Стр. 145.

1 выписаться / выздороветь
3 *После:* на тысячу палок. — Как-то жаль было бедняка.
4 тяжела до того / [так] тяжела
5 называя этот страх малодушием / *а.* называя ее малодушием *б.* называя этот страх арестанта малодушием
6–7 подвергаются двойному, тройному наказанию / *Начато:* решаются на двойное, на трой⟨ное⟩
7 только бы ∾ оно исполнилось / только бы не сейчас
9 *Слова:* еще — *нет.*
10–11 а содержание / *Начато:* содержание, которое
11 для всех / для иных
13 *Слов:* и бесстрашии — *нет.*
13–14 закоренелая привычка / закоренелая [древняя] всег⟨дашняя⟩ привычка
15 *Слов:* и спиной — *нет.*
15–16 *Слова:* скептически — *нет.*
16 и уже не боится / и совсем не боится
20 очень добродушный / смирный и добродушный
21–22 тут же клялся / клялся
22–23 с самого нежного ∾ детства / с самого раннего, первого своего детства ◇
24 в своей орде / в орде
26 он как будто благословлял / *а.* он пресерьезно благословлял *б.* он и как будто благословлял
27–28 били, Александр Петрович ∾ за всё про всё / *а.* били, — говорил он, — за всё про всё *б.* били, Александр Петрович, — говорил он мне, сидя иногда на моей койке, под вечер, перед огнями, — за всё про всё
29–30 *Слов*: с самого того дня, как себя помнить начал — *нет.*
33 *Слов:* это был всегдашний бегун и бродяга — *нет.*
38 всё начальство озлилось / *Начато:* *а.* начальник, слышно было, поклялся, что *б.* всё начальство озлилось, что не
39 не выпустят / *Начато:* не выд⟨ержу⟩
41 свои же ∾ не простят / *а.* свои же говорили, что ничего не простят *б.* свои же тогда ж говорили, что ничего из этого не будет, не простят ◇
42 им жальче / как-то жальче им
43–44 и в самом деле ∾ остались / и [в само⟨м⟩] окрестили, нарекли [арестантом] Александром, а палки [мне] все-таки не простили
45 обидно мне стало / обидно стало
45–46 Я и думаю ∾ надую. / *а.* Да, постой же, я вас всех надую. *б.* Я и думаю про себя: постой же, я вас теперь всех и взаправду надую. ◇
48 то есть не то чтобы совсем мертвым / то есть не мертвым

Стр. 146.

1 *Слова:* уйдет — *нет.*
3 подламываются / нейдут
4 у рта пена / пена у рту ◇
6–8 выводили ∾ обмер / *Начато:* *а.* выводили, на третьей тысяче то же сделал *б.* выводили, третью тысячу только одну прошел, обмер
9 удар, как ножом по сердцу, проходил / удар, как ножом по серд⟨ц⟩у, пройдет
10–12 за три удара шел ∾ трех первых стоила / *а.* за три удара идет; эта-то

последняя тысяча всех четырех стопла *б.* за три удара. Эта-то вот [последняя] скаредная последняя тысяча всех трех первых стопла

13 *Слов:* тут же — *нет.*

14–15 ну да и я ∽ лекарь верит / *а. Начато:* да я и тут надул *б.* ну да и [я не про⟨мах⟩] я не дал себя в обиду и тут надул, опять обмер, опять поверили, да и как не поверить, лекарь верит ◇

16–17 хоть ∽ так били, что / *а.* хоть ⟨*1 нрзб.*⟩ били так больно, что *б.* хоть и изо всей злости били потом, так били, что ◇

17 нет, нос утри, не забили / нет, морген фри, не забили

18–19 А всё ∽ под плетью рос. / А всё так выходит тоже потому, что надул я их да сыздетства под плетью рос.

19–21 били ∽ в грустном раздумье / били! — прибавил он как бы в грустном раздумье ⟨*2 нрзб.*⟩. — Не перечтешь, сколько били»

24 Счету такого не хватит». / Счету не хватит.

24–32 Он взглянул ∽ бит за это / *Начато: а.* Он, однако же, был парень здоровый, вертлявый и веселый, жил со всеми [мирно] ладно и хоть любил воровать и очень часто был у нас бит за это *б.* Он взглянул на меня и рассмеялся. «Знаете ли, Александр Петрович, я ведь и коли [во сне] [что вижу] ночью вижу, так непременно — что меня бьют! *в.* Он взглянул на меня и рассмеялся, но так добродушно, что я сам не мог не улыбнуться ему в ответ. «Знаете ли, Александр Петрович, я ведь и во сне коли что вижу, так непременно, что меня бьют. [Он де⟨йствительно⟩] Других и снов у меня не бывает». Он действительно часто кричал по ночам и кричал [⟨*1 нрзб.*⟩], бывало, во всё горло, так что его тотчас будили толчками арестанты: «Ну, что, черт, кричишь!»

Варианты прижизненных изданий

Стр. 5.

3 *Слова:* Введение — *нет.* (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1, 1862_2, 1865*)

7–8 *Слова:* города — *нет.* (*PM_1, PM_2*)

Стр. 6.

3 Надо / Надобно (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1, 1862_2, 1865*)

22 подававших / и подававших (*PM_1*)

46 сношения / отношения (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1, 1862_2*)

Стр. 7.

2–3 и сожалеют о них / о которых сожалеют (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

10–11 дольше расспрашивать / дальше расспрашивать (*PM_1, PM_2*)

15–16 он совсем потерялся / он побледнел, потерялся (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

19 как будто с каким-то испугом / даже с каким-то испугом (*PM_1, PM_2*)

31–32 *После:* мнителен до сумасшествия — подозрителен до крайности (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

35 оказалось, что он / я догадался, что он (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

41 я предлагал / и я предлагал (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

Стр. 8.

2 Однако же / И однако же (*PM_1, PM_2*)

4 Не писал ли он? / Не писал ли? (*PM_1, PM_2, Вр*)

21 особенно с тех пор, как узнал / как только узнал (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

31 унес его бумаги / унес его бумаги к себе (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

Стр. 9.

29 одноэтажных сруба / одноэтажных деревянных сруба (*PM_1, PM_2, Вр, 1862_1*)

Стр. 10.

15 его жена / жена его ($РМ_1$, $РМ_2$, *Вр*, 1862_1, 1862_2, *1865*)
20 Когда смеркалось / Когда смерклось ($РМ_2$, *Вр*, 1862_1)
34 Одни приходили / Одни проходили ($РМ_1$)

Стр. 11.

23 в декабре месяце / в январе месяце ($РМ_2$)

Стр. 12.

3 *Слова:* было — *нет.* (1862_1)
15 Слышал я потом, кто-то стал / Слышал я потом, что кто-то стал ($РМ_1$, $РМ_2$, *Вр*, 1862_1)
26–27 Голова тоже брилась / Равно и голова брилась ($РМ_1$, $РМ_2$, *Вр*, 1862_1)

Стр. 13.

40 душегубцев / душегубов ($РМ_1$)

Стр. 15.

2 между этими людьми /между этим народом ($РМ_1$)
19 что знаменитая / что и знаменитая ($РМ_1$, $РМ_2$, *Вр*)

Стр. 16.

48 невозможна была работа / невозможна была и работа ($РМ_1$, $РМ_2$)

Стр. 18.

8 друг у друга / друг от друга ($РМ_1$, $РМ_2$)
18–19 каким образом / каким способом ($РМ_1$, $РМ_2$, *Вр*, 1862_1)
19 приносилось вино / проносилось вино (*Вр*)
22 играют второстепенную роль / играют только второстепенную роль ($РМ_1$, $РМ_2$, *Вр*, 1862_1)
27 Это страсть / Эта страсть ($РМ_1$, $РМ_2$)

Стр. 19.

2 недостанет / недостает ($РМ_1$, $РМ_2$)
27–28 представляется ∾ случившимся / представляется мне теперь как будто вчера случившееся ($РМ_2$)
45 Арестанты, хоть и в кандалах / Арестанты, хоть и запертые, хоть и в кандалах ($РМ_2$)

Стр. 20.

21 ловчее / ловче ($РМ_2$, *Вр*)
37–38 нанесенный буранами / нанесенный бурунами ($РМ_2$, *Вр*, 1862_1)
39 был короток / был краток ($РМ_2$)
45 навертывались / заводились ($РМ_2$)

Стр. 22.

10 у нас / у нас зимою ($РМ_2$)
15 *После:* хлеб у нас общий — артельный ($РМ_2$)

Стр. 23.

28–29 и сжал кулаки / и, сжав кулаки ($РМ_2$)

Стр. 25.

18 *Слова:* всегда — *нет.* ($РМ_2$, *Вр*, 1862_1)
30 Диалектик-ругатель /Диалектик, ругатель ($РМ_2$, *Вр*)
38 которое я принес / которое я пронес ($РМ_2$, *Вр*, 1862_1, 1862_2)

Стр. 26—27.

48–1 по пехотному полку / в пехотном полку (*РМ*$_2$, *Вр*)

Стр. 27.

18 что знал это / что он знал это (*РМ*$_2$)

Стр. 29.

21 пошел /вошел (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)

Стр. 30.

9 Надо/Надобно (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)

Стр. 31.

18 *Слова:* мужику — *нет.* (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)
26 Что ж, не примете гостя? / Что ж, братцы, не примете гостя? (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$, *1865*)

Стр. 32.

10 тотчас же / то тотчас же (*РМ*$_2$, *Вр*)
23 они тоже едят свое кушанье / эти тоже едят свою пищу (*РМ*$_2$, *Вр*); эти тоже едят свое кушанье (*1862*$_1$)
23 пью чай /пью только чай (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)
27 Им бы очень хотелось / Как бы хотелось (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)
35 *После:* сбылись и слова его... — Но до следующей главы (*РМ*$_2$)

Стр. 33.

23 *После:* Он — пришел в каторгу годом позже меня и (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)
26 с каким-то особенным удовольствием / с каким-то особенным довольствием (*РМ*$_2$, *Вр*)
32–33 обращения и других / обращения других (*РМ*$_2$, *Вр*)

Стр. 34.

12 незнакомых людей / вам незнакомых людей (*РМ*$_2$)
26 не свидаться / не свидеться (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)
38 в кармане у арестанта / в кармане арестанта (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)

Стр. 35.

24–25 Ремесла он не имел никакого / Ремесла он не умел никакого (*РМ*$_2$, *Вр*)
36 вся казарма / вся каторга (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)

Стр. 36.

1–2 хочет скоро нажиться / хочет быстро нажиться (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)

Стр. 37.

7 иногда / чаще всего (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)
17 *После:* обыкновенно процветают — в остроге (*РМ*$_2$)
25 даже и не вздумал / даже не вздумал (*РМ*$_2$)
26 или хоть бы укорить негодяя / или даже укорить негодяя (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$)

Стр. 38.

27 он приходит обратно / он проходит обратно (*РМ*$_2$)
35–36 заранее /заране (*РМ*$_2$, *Вр*, *1862*$_1$, *1862*$_2$, *1865*)

Стр. 39.

45 правда, очень любила-с / правда, что очень любила-с *(РМ$_2$, Вр)*
45 Когда я / Как я *(РМ$_2$, Вр)*

Стр. 40.

34 злодеяниями /злодействами *(РМ$_2$)*
44 меж собой /меж собою *(РМ$_2$)*
45–46 переменял имя / не раз переменял имя *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$, 1862$_2$, 1865)*

Стр. 41.

28 значило убить / значило наверно убить *(РМ$_2$)*

Стр. 43.

37 неразрешимыми вопросами / неразрешенными вопросами *(РМ$_2$, Вр)*

Стр. 44.

5 казарму /камору *(РМ$_2$, Вр)*

Стр. 45.

9 спокойно и мирно / спокойно и смирно *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$)*
17 Я даже знаю / Я даже знал *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$)*

Стр. 46.

24 нюхательного табаку / нюхального табаку *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$, 1862$_2$)*
29 до наказания / до приговора *(РМ$_2$, Вр)*
34 его грудь / ему грудь *(РМ$_2$, Вр)*

Стр. 47.

8 всклоченными / всклокоченными *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$)*
34 осталась только / остались только *(РМ$_2$, Вр, 1862$_2$)*
37 трепетал бы от страха / трепетал от страха *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$, 1862$_2$)*
38 даже не поморщившись / даже не наморщившись *(РМ$_2$)*

Стр. 48.

8 он боялся сначала / он очень боялся сначала *(РМ$_2$)*
25 может быть, несколько раз / может быть, еще несколько раз *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$)*

Стр. 49.

31–32 в каждой казарме, в каждом остроге / в каждой казарме, остроге *(РМ$_2$)*
38 прислушиваясь / прислушивался *(РМ$_2$, Вр)*

Стр. 51.

13 В первые полчаса / В первые же полчаса *(РМ$_2$)*
40 Все они ехали на разбой / Между прочим, все они ехали на разбой *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$)*

Стр. 52.

3 нечего говорить / нечего и говорить *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$, 1862$_2$, 1865)*
25 заранее / заране *(РМ$_2$, Вр)*
44 в эту самую минуту / в эту же самую минуту *(РМ$_2$, Вр, 1862$_1$, 1862$_2$, 1865)*

Стр. 53.

34 тачал сапоги / отлично тачал сапоги *(PM_2)*

Стр. 54.

5 на его лице / на его лицо *(PM_2, Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
17 *После:* божий пророк — великий и славный божий пророк *(PM_2)*

Стр. 58.

19 Об вине их не просили / Об вине их и не просили *(Вр, 1862_1)*

Стр. 60.

4 одежде / одеже *(Вр, 1862_1, 1862_2)*
15 которые от меня / и которые от меня *(Вр, 1862_1)*
47 сделанный торг / уже сделанный торг *(Вр, 1862_1, 1862_2)*

Стр. 63.

18 с неутолимой жаждой / с неутомимой жаждой *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 64.

39 потом бежала / потом бежал *(Вр, 1862_1, 1862_2)*

Стр. 65.

22 такие старые / как такие старые *(Вр, 1862_1, 1862_2)*

Стр. 68.

42 отказать / отказывать *(Вр, 1862_1)*

Стр. 71.

32–33 как это случилось / так это случилось *(Вр, 1862_1, 1862_2)*

Стр. 73.

12 придется говорить / придется много говорить *(Вр, 1862_1)*

Стр. 75.

15 не будет урока / не будет урка *(Вр, 1862_1, 1862_2)*

Стр. 77.

28–29 Никто-то ∾ внимания. / Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то никогда не обращал на нее никакого внимания. *(Вр, 1862_1, 1862_1)*; Никто-то не ласкал ее, никто-то никогда не обращал на нее никакого внимания. *(1865)*

Стр. 78.

8 остались / оставались *(Вр, 1862_1)*

Стр. 81.

14 приходилось ему говорить /приходилось ему заговорить *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
28–29 денно и нощно / и денно и нощно *(Вр, 1862_1)*

Стр. 82.

27 тертого табаку / табаку *(Вр, 1862_1)*

Стр. 84.

18 не производил на него / не производили на него *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 86.

15 мимо с сотнею тысяч /мимо и с сотнею тысяч *(Вр, 1862_1)*

Стр. 94.

9 дрожащим голосом / дрожавшим голосом *(Вр, 1862_1)*
48 тоненьким дискантиком /тоненьким дискантом *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 95.

3 *Слова:* ближе — *нет. (Вр, 1862_1)*

Стр. 96.

13 *Слов:* тут же в глаза — *нет. (Вр, 1862_2)*

Стр. 99.

8 *Слова:* снизу — *нет. (Вр, 1862_1)*

Стр. 103.

33 пусть так и делают /пусть там и делают *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 108.

5 хоть иным бы и хотелось / и хоть иным бы и хотелось *(Вр, 1862_1)*
22 без различия / без различения *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
32 можно утаить / можно было утаить *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
43 уж выпил / уж и выпил *(Вр, 1862_1)*

Стр. 109.

26 не могу объяснить / не могу даже объяснить *(Вр, 1862_1)*
28–29 а между тем, еще за пять минут, все были почти / которые еще только за пять минут были почти *(Вр, 1862_1)*

Стр. 112.

3 в особенности / особенно *(Вр, 1862_1, 1862_2)*
40 Благодарствую / Благодарствуй *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 114.

20 *Слов:* Распевает, как синица — *нет. (Вр, 1862_1)*

Стр. 115.

4 *Слов:* в том-то и штука, что — *нет. (Вр. 1862_1)*

Стр. 117.

22 ссорившихся / ссорящихся *(Вр, 1862_1)*

Стр. 118.

14 было по сороку лет / было чуть не по сороку лет *(Вр, 1862_1)*
36–37 в запрошлом году / в прошлом году *(Вр, 1862_1)*

Стр. 119.

5 откуда-то / откудова-то *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 120.

3 посмотреть / смотреть *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
10–11 отправились на представленье / отправились в представление *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*

Стр. 124.

13 на московском и петербургском театрах / на московском и петербургском театре *(Вр, 1862_1)*
32 при какой-нибудь смешной сцене / при виде какой-нибудь смешной сцены *(Вр, 1862_1)*

Стр. 125.

6 правда очень стареньком / правда в очень стареньком *(Вр, 1862_1)*
26 в тридцать лет / в тридцать пять лет *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
46 но это, видно / но это, очевидно *(Вр, 1862_1)*

Стр. 127.

2–3 ничего не остается / ничего не останется *(Вр, 1862_1, 1862_2, 1865)*
19 на минуту / на минутку *(Вр, 1862_1)*

Стр. 129.

46–47 с спокойным духом / с покойным духом *(Вр, 1862_1)*

Стр. 130.

28 Это было длинное / Это было очень длинное *(Вр)*

Стр. 133.

5 всё это врет / всё врет *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 134.

33–34 цинготною и глазною болезнями /цинготною и глазною болезнью *(Вр)*
38 даже венерические / даже и венерические *(Вр)*

Стр. 135.

34 со стороны больных / со стороны других больных *(Вр)*

Стр. 137.

44 уважали их / уважали, почитали их *(Вр)*

Стр. 138.

22 объяснить необходимость / объяснить необходимости *(Вр, 1862_2, 1865)*
29–30 выпускают по одному / выпускаются по одному *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 139.

1–2 пришлось к слову / пришло к слову *(Вр, 1862_2, 1865)*
24 *Слова:* повторяю — *нет. (Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 141.

34 *Фразы:* Следовало расковать мертвеца ... — *нет. (Вр)*

Стр. 142.

21 потрошении трупов и проч. / потрошении трупов и проч. и проч. *(Вр)*

Стр. 144.

6 брызгами в глаза / брызгами в глаз *(Вр)*
21 или своего / али своего *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 146.

16 хоть изо всей / хоть и изо всей *(Вр)*

Стр. 147.

26 факт неминуемый / факт неминучий *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 148.

15 штуку / штучку *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 149.

31 А вот еще / А то вот еще *(Вр)*

Стр. 152.

7 сидит себе / сидит, бывало *(Вр)*

Стр. 154.

19 опасности для жизни / опасности жизни *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 155.

17 Сознать вину / Да, наконец, сознать вину *(Вр)*
27 однако / однако же *(Вр)*

Стр. 156.

15 Развилась ли в них / Развивалась ли в них *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 157.

11 и это вполне / и это почти вполне *(Вр, 1862_2, 1865)*
26 между ними /меж ними *(Вр, 1862_2, 1865)*
44 Каждый день так похож один на другой! / Каждый день всё то же и то же, каждый день так похож один на другой! *(Вр)*

Стр. 158.

41 тот день, когда их не было / тот день, как их не было *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 160.

1 чередовались и менялись сумасшедшими / чередовались своими, даже менялись сумасшедшими *(Вр)*

Стр. 162.

43 разжились маненько / разжились маленько *(Вр)*

Стр. 163.

45 По паспорту / По пачпорту *(Вр, 1862_2)*

Стр. 164.

7 Топором / Топоров *(Вр, 1862_2, 1865)*
29 да с тем и бежал / да и бежал *(Вр)*
45 *Слов:* точь-в-точь — *нет. (Вр)*

Стр. 165.

15 как-то выйдешь / когда-то выйдешь *(Вр)*

Стр. 167.

31–32 и деньги пропью/ деньги пропью *(Вр, 1862_2, 1865)*
36 пропащий я или нет / пропащий ли я или нет *(Вр)*

Стр. 168.

26 Краденого только не принимал / Краденого он только не принимал *(Вр)*
39 секут / секут ее *(Вр)*

Стр. 169.

2 тот день / тот же день *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 170.

37–38 нетрезвого повенчали / нетверезого повенчали *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 171.

25 Однажды / Одноважды *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 174.

4 по Сибири / по всей Сибири *(Вр, 1862_2, 1865)*
31 к которой приписан / к которой он приписан *(Вр)*
41 самое необходимое / уж самое необходимое *(Вр)*

Стр. 175.

22 теперь о решеных / теперь только о решеных *(Вр, 1862_2, 1865)*
23 решаются на побег / решаются на побеги *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 177.

20 теперь можно / теперь уже можно *(Вр, 1862_2, 1865)*
48 иные ходили / некоторые ходили *(Вр)*

Стр. 178.

3–4 полежать / полежать можно было *(Вр)*

Стр. 179.

26 кто же его сгонит / кто его сгонит *(Вр, 1862_2)*

Стр. 181.

7 пусть сейчас / так пусть сейчас *(Вр)*
26 Мартынов / Максимов *(Вр)*

Стр. 185.

14 заинтересовало / заинтриговало *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 186.

42 им уступали / им уступили *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 187.

15 утонченно вежливо / утонченно и вежливо *(Вр)*

Стр. 190.

13 жалобно выла / жалобно ныла *(Вр, 1862_2)*
46 в длину и ширину / в длину и в ширину *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 191.

26 большую собаку / большую черную собаку *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 192.

44 иным из них / иным из наших *(Вр)*

Стр. 193.

40–41 наконец стал принимать / наконец начал принимать *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 194.

20 получили свободу / получали свободу *(Вр)*

Стр. 197.

4 зачитавшийся в Библии / зачитавшийся Библии *(Вр)*

Стр. 198.

34 а главное / и главное *(Вр, 1862_2, 1865)*
42–43 а через два часа / и через два часа *(Вр)*

Стр. 200.

3 тепере / теперь *(Вр, 1862_2, 1865)*
16 драли / прежде драли *(Вр)*

Стр. 202.

32 что я с ними /что и я с ними *(Вр)*

Стр. 206.

39 несловоохотливо /несловоохотно *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 209.

14–15 Б-ский, М-кий и старик Ж-кий / Б-славский, М-цкий и старик Ж-ховский *(Вр)*
32 Б-м / Б-славским *(Вр)*
40 Т-ским / Т-жевским *(Вр)*

Стр. 210.

7 что тоже / это тоже *(Вр)*
15–16 что встречается в нашем / что случается в нашем *(Вр)*

Стр. 212.

28 всех арестантов / всех остальных арестантов *(Вр)*

Стр. 212—213.

48–1 в первом и третьем разряде / в первом и третьем разрядах *(Вр)*

Стр. 215.

9 чего-нибудь начальственного / чего-нибудь начальнического *(Вр)*

Стр. 219.

8 новых не приходило / новых более не приходило *(Вр)*
38 куражиться /покуражиться *(Вр)*

Стр. 221.

34 если б шкалик / если б этот шкалик *(Вр)*

Стр. 222.

24 скрытую / скрытную *(Вр)*

Стр. 223.

28 сквозь медные трубы /сквозь все медные трубы *(Вр)*

Стр. 224.

29 началось / начиналось *(Вр)*

Стр. 227.

42–43 пронесся слух / пронесся первый слух *(Вр)*

Стр. 229.

14 мне преданны / очень мне преданны *(Вр)*
29–30 начал читать ее с вечера / начал читать с вечера *(Вр)*
44 с ними познакомиться / с ними знакомиться *(Вр, 1862_2, 1865)*

Стр. 230.

17 тем терпеливее / тем всё терпеливее *(Вр)*

⟨СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ⟩

(Стр. 235)

Варианты чернового автографа

Стр. 235.

9–10 одна луковица / 3 луковицы
14–15 Кат ∾ запалився. *вписано на полях.*
16 у них / у меня ◇
16 Еготишна / Ейготишна

Стр. 239.

2 дом стоял/дом купил
8 Экономию ∾ загнать хочешь! / Экономию ∾ загоня⟨ешь⟩
15 *После:* девушки — *начато:* а деньги голуби
40 не знавал / не видал ◇
40 *После:* брат ему. — *начато:* Я тебя ⟨*2 нрзб.*⟩, чтоб
41 бивал/ пихал ◇

Стр. 240.

18 Любил кататься / Любил ездить
25 придешь отдавать / будешь отдавать
35–36 ни конца, ни начала / ни конца в нем, ни начала

Стр. 241.

23–26 Погодя ∾ женили *вписано на полях.*
28 выбросить / бросить
39–40 Ах ты, батюшка ∾ мою коровушку... *вписано на полях.*
40 задави / обдери ◇
55 А начальству / А им-то

Стр. 242.

22 Нашего брата /Вашего брата
45 *После:* пятьдесят с гаком. — Не суть важное.

56 А какая тут еда? / А чего тут есть?
56 А какая тут еда? ∾ так обмерз. / Железные носы, нас совсем заклевали.

Стр. 243.

9–10 мокро́ из тебя станет / мокро́ будет
38 под экипаж / для эк⟨ипажа⟩
51 точно редьку / как редьку ◇
58 Любил / любишь

Стр. 244.

7 мою слезницу / мою слезницу с дороги
16 Слушай / Слушай меня
16 *После:* Слушай да — *начато:* все
21–23 Рассказ о том ∾ что мне с ней делать. *вписано на полях.*
44 *После:* Что ж делать. — Попался!
51 Вот нужно ∾ коротка. / Нужно жениться бедному, а и ночь коротка.
53 бранное слово; вот ты что, а не человек! / бранное слово, а не человек!

Стр. 245.

1 по 10 копеек уступил почтения / по 10 копеек с арши⟨на⟩ почтения
36 всем *вписано.*
44–45 сорока на коле ∾ посидела» / сорока на коле дольше сидела»
54–55 Жена говорит ∾ зарезал. *вписано на полях.*
59 аль за деньги показывать *вписано.*

Стр. 246.

1 Уж тут не до жиру / *а.* Конечно, уж не до жиру *б.* Конечно, уж тут не до жиру
5 скидай / подавай
41 вас/ их
52 А этот ∾ выйдет. / Смотрю, смеется жена. Ну, думаю про себя, подожди. Этот смех слезами выйдет.
59 так дурак и есть / *начато:* так дураком

Стр. 247.

12 съездил его по идолам / съездил по идолам
19 пройдет / пролезет
26 влил / вылил

Стр. 248.

31 *После:* ⟨1⟩860.) — *на обороте последней страницы запись:* О бродягах, фальшивых деньгах, мужик убивает их.



ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА

(Стр. 5)

Источники текста

Д — Дополнение ко II главе первой части, не вошедшее в окончательный текст. 1860 г. Хранится в *ЦГИА*, ф. 777, оп. 2, д. 77, лл. 28 об.— 29 об. Впервые напечатано: *Сб. Достоевский, I*, стр. 365—368.

П — Перечень тем для VI—IX глав первой части в записной книжке № 1. Начало 1861 г. Хранится в отделе рукописей *ГБЛ*, ф. 93.I.2.6, стр. 44, 64 (см.: *Описание*, стр. 92).

НР — Наборная рукопись начала II главы второй части до слов «Прибавлю к этому одно». 2 л., 4 стр. Конец 1861 — начало 1862 г. Хранится в отделе рукописей и редкой книги библиотеки Гарвардского университета (США); микрофильм — *ИРЛИ*. Впервые напечатано: Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956, стр. 59—81.

$РМ_1$, 1860, 1 сентября, № 67 («Введение», гл. I).

$РМ_2$, 1861, 4 января, № 1 («Введение», гл. I и II); 11 января, № 3 (гл. III); 25 января, № 7 (гл. IV).

Вр, 1861, № 4, стр. 1—68, № 9, стр. 243—272, № 10, стр. 461—496, № 11, стр. 325—360; 1862, № 1, стр. 321—336, № 2, стр. 565—597, № 3, стр. 313—351, № 5, стр. 291—326, № 12, стр. 235—240.

1862_1 — «Записки из Мертвого дома», ч. 1. СПб., 1862.

1862_2 — «Записки из Мертвого дома», чч. 1—2. Изд. 2-е. Изд. А. Ф. Базунова. СПб., 1862.

1865 — Полное собрание сочинений Достоевского, т. I. Изд. Ф. Т. Стелловского. СПб., 1865, стр. 70—194.

1875 — «Записки из Мертвого дома», чч. 1—2. СПб., 1875.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РМ*, 1860, 1 сентября, № 67 (ценз. разр. — 2 сентября 1860 г.), 1861, 4 января, № 1 (ценз. разр. — 6 ноября 1860 г.), 11 января, № 3 (ценз. разр. — 10 января 1861 г.), 25 января, № 7 (ценз. разр. — 25 января 1861 г.); *Вр*, 1861, № 4 (ценз. разр. — 19 апреля 1861 г.), № 9 (ценз. разр. — 1 сентября 1861 г.), № 10 (ценз. разр. — 27 октября 1861 г.), № 11 (ценз. разр. — 7 ноября 1861 г.), 1862, № 1 (ценз. разр. — 8 января 1862 г.), № 2 (ценз. разр. — 26 февраля 1862 г.), № 3 (ценз. разр. — 7 марта 1862 г.), № 5 (ценз. разр. — 6 мая 1862 г.), № 12 (ценз. разр. — 7 декабря 1862 г.), с подписью: Ф. Достоевский.

Печатается по тексту *1875* с устранением явных опечаток, не замеченных Достоевским, а также со следующими исправлениями по *$РМ_1$*, *$РМ_2$*, *Вр*, *1862_1*, *1862_2*, *1865*:

Стр. 23, строки 19—20: «Толстяк наконец рассердился. — Да ты что за птица такая» вместо «Да ты что за птица такая» (по *$РМ_2$* и *Вр*).

Стр. 23, строка 20: «вскричал он вдруг» вместо «вскричал тот вдруг» (по PM_2, *Вр, 1862_2, 1865*).

Стр. 34, строка 22: «зачитавшийся арестант, хотевший убить майора» вместо «зачитавшийся, хотевший убить майора» (по PM_2).

Стр. 36, строки 34—35: «к воспринятию водки» вместо «к восприятию водки» (по PM_2, *Вр*, *1862_1*).

Стр. 41, строка 35: «заметили, что и Газин» вместо «заметили, что Газин» (по всем источникам).

Стр. 41, строка 48: «чаи распивать» вместо «чай распивать» (по PM_2, *Вр, 1862_1*).

Стр. 52, строка 12: «сильная и стойкая» вместо «сильная и стройная» (по всем источникам).

Стр. 76, строки 9—10: «крикнуть на меня и прогнать меня, если я» вместо «крикнуть на меня, если я» (по всем источникам).

Стр. 79, строка 37: «пришепетывая» вместо «пришептывая» (по всем источникам).

Стр. 80, строка 33: «брюзгливый» вместо «брезгливый» (опечатка во всех источниках).

Стр. 85, строки 44—45: «Большого рассуждения» вместо «Большего рассуждения» (по *Вр, 1862_1, 1862_2*).

Стр. 86, строка 33: «что ему в этих книжных знаниях» вместо «что ему в этих книжных занятиях» (по *Вр, 1862_1*).

Стр. 88, строка 45: «из таких рассказов» вместо «из таких разговоров» (по всем источникам).

Стр. 93, строка 35: «еврейское его происхождение» вместо «еврейское происхождение» (по всем источникам).

Стр. 137, строка 41: «сушь формалистики» вместо «суть формалистики» (по всем источникам).

Стр. 137, строка 41: «не выказывалась» вместо «не высказывалась» (опечатка во всех источниках).

Стр. 144, строка 41: «протыкают» вместо «протыкая» (по всем источникам).

Стр. 149, строка 25: «по фрунту» вместо «по фронту» (по *Вр, 1862_2*).

Стр. 150, строка 7: «эту штуку» вместо «эту шутку» (по *Вр*).

Стр. 151, строка 21: «такой-то стих» вместо «такой стих» (по *Вр*).

Стр. 151, строка 30: «что он ее сам сочинил» вместо «что он ее сочинил» (по всем источникам).

Стр. 160, строка 44: «долго опрашивал» вместо «долго спрашивал» (по всем источникам).

Стр. 166, строка 2: «заперли палату» вместо «заперли казарму» (по контексту).

Стр. 192, строка 23: «забава арестантов с козлом» вместо «забава арестанта с козлом» (по всем источникам).

Стр. 195, строки 44—45: «Что они, как? неужели могли привыкнуть? неужели спокойны?» вместо «Что они, как? неужели спокойны?» (по *Вр*).

Стр. 199, строки 16—17: «которые могли бы любить меня, которые и любили меня впоследствии» вместо «которые могли бы любить меня впоследствии» (по *Вр*).

Стр. 199, строка 18: «на равную ногу» вместо «на ровную ногу» (по всем источникам).

Стр. 202—203, строки 47—1: « — Ишь, тоже выполз, — крикнул один.— Железный нос, — проговорил другой. — Муходавы!» вместо « — Ишь, тоже выполз, — крикнул один. — Муходавы!» (по всем источникам).

Стр. 203, строка 38: «не удастся» вместо «не удается» (по всем источникам).

Стр. 210, строка 41: «в кучу» вместо «в кучку» (по *Вр*).

Стр. 211, строка 29: «я не понимал» вместо «я не помнил» (по *Вр*).

Стр. 227, строка 39: «в погребе пережидают» вместо «в погребе переживают» (по *Вр*).

Стр. 228, строка 36: «проступок» вместо «поступок» (по всем источникам).

Стр. 231, строка 48: «Расковывали нас» вместо «Расковали нас» (по всем источникам).

VIII глава второй части («Товарищи»), не вошедшая в издание *1875,* печатается по тексту *1865.*

1

Замысел книги о «Мертвом доме» возник у Достоевского, по-видимому, еще на каторге. Лишенный возможности писать, он не переставал внутренне готовиться к дальнейшему творчеству. В воспоминаниях П. К. Мартьянова имеется свидетельство корпусного штаб-доктора И. И. Троицкого, разрешившего Достоевскому писать в госпитале и хранившего его записи (см.: *Мартьянов,* стр. 269). Первая из дошедших до нас записных книжек писателя относится к периоду каторги, солдатчины, поселения. Это так называемая Сибирская тетрадь (см. выше, стр. 235—248). Она была для Достоевского своеобразным конспектом, где за отдельными фразами, записями скрывались жизненные ситуации, характеры, рассказы каторжников, которые впоследствии всплывали в памяти и воплощались в героев его произведения. Из 522 записей Сибирской тетради более 200 использовано в «Записках из Мертвого дома». Так, краткую запись № 90 писатель преобразует в задорную сценку перебранки двух арестантов (ч. I, гл. 2). Из записей №№ 202, 91, 92 он делает поразительно живую сцену первой встречи каторжников с Исаем Фомичом (ч. I, гл. 9). Записанная в Сибирской тетради (№ 7) и приведенная в «Записках» полностью острожная легенда об убийстве за луковку дает Достоевскому повод для размышлений о неправомерности равных наказаний за преступления формально равные, но имеющие разные побудительные причины (ч. I, гл. 3). Даже имена действующих лиц Достоевский заимствует из Сибирской тетради: Лука из записи № 134 становится героем VIII главы первой части. Источником сюжета главы «Акулькин муж» безусловно была реальная история одного из каторжных, услышанная Достоевским и записанная кратко на полях Сибирской тетради (№№ 326, 384).

По выходе из каторги в первом же письме к брату от 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта. На целые томы достанет. Что за чудный народ». В воспоминаниях о жизни писателя на каторге и ее людях, содержащихся в этом письме, уже намечены многие основные темы, сделаны наброски отдельных картин и образов героев будущих «Записок». В последующих письмах из Семипалатинска прямых намеков на замысел «Записок из Мертвого дома» нет. Лишь в письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский говорит: «В часы, когда мне нечего делать, я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания в каторге, что было полюбопытнее. Впрочем, тут мало чисто личного. Если кончу и когда-нибудь будет *очень удобный* случай, то пришлю вам экземпляр, написанный моей рукой, на память обо мне». Публиковать эти воспоминания Достоевский, видимо, в то время еще не собирался. Очевидно имея в виду эти же первоначальные наброски, семипалатинский товарищ Достоевского, прокурор А. Е. Врангель, писал: «Мне первому выпало счастье видеть Ф. М. в эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого бесподобного произведения» (см.: *Врангель,* стр. 70).

П. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминает: «В январе 1857 г. я был обрадован приездом ко мне ⟨в Барнаул⟩ Ф. М. Достоевского ⟨...⟩. По нескольку часов в день мы проводили в интересных разговорах и чтении глава за главой его в то время еще не законченных „Записок из Мертвого дома“, дополняемых устными рассказами» (см.: П. П. С е м е н о в-Т я н-Ш а н с к и й. Мемуары, т. 2. М., 1946, стр. 127).

Но все это были, конечно, только предварительные эскизы; не с этим Достоевский собирался «вернуться в литературу», да он и не рассчитывал

пока, что записки о каторге могут быть опубликованы. Правда, 26 августа 1856 г. Александр II был вынужден дать амнистию политическим ссыльным. Наметилось некоторое ослабление цензуры. Появилась возможность писать о каторге. Но лишь в 1859 г., когда уже были написаны «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели», замысел «Записок» окончательно созрел. В письме от 9 октября 1859 г. Достоевский увлеченно пишет брату: «Эти „Записки из Мертвого дома“ приняли теперь в голове моей план полный и определенный. Это будет книжка листов на 6 или 7 печатных ⟨...⟩ за интерес я ручаюсь. Интерес будет напкапитальнейший». Здесь же он намечает план издания «Записок»: «Я так рассчитываю: к 1-му декабря я кончу; в декабре цензуровать ⟨...⟩ в январе печатать и в январе же в продажу ⟨...⟩. Печатать *непременно* самим, а не через книгопродавцев». Но уже в следующем письме, 11 октября, Достоевский предполагает печатать «Записки» (или «Мертвый дом», как он их здесь называет) с начала 1860 г. в «Современнике»: «...ведь у них не бараньи головы. Ведь они понимают, какое любопытство может возбудить такая статья в первых (январских) нумерах журнала. Если дадут 200 р. с листа, то напечатаю в журнале. А нет, так и не надо». Как видно из этого письма, Достоевский собирался приступить к «Запискам из Мертвого дома» после 15 октября 1859 г. Но ноябрь и декабрь он был занят печатанием и корректурой «Села Степанчикова», хлопотами в связи с переездом в Петербург. В план на 1860 г., составленный писателем, вошли «„Записки каторжника“ (отрывки)» (см.: наст. изд., т. III, стр. 447). Очевидно, только в 1860 г. работа над «Записками» двинулась вперед.

1 сентября 1860 г. в № 67 «Русского мира» — еженедельной «политической, общественной и литературной газеты с музыкальными приложениями» Ф. Т. Стелловского, под заглавием «Записки из Мертвого дома» были опубликованы «Введение» и I глава.[1] Они прошли цензуру беспрепятственно. II же глава обратила на себя внимание Цензурного комитета, и, хотя в № 69 «Русского мира» от 7 сентября 1860 г. было объявлено, что «Продолжение „Записок из Мертвого дома“, соч. Ф. М. Достоевского, отложено до следующего номера», в газете оно не появилось.

Приступая к работе над «Записками», автор беспокоился об отношении цензуры к произведению: «Но может быть ужасное несчастье: запретят. (Я убежден, что напишу совершенно, в высшей степени, цензурно.) Если запретят, тогда всё можно разбить на статьи и напечатать в журналах отрывками ⟨...⟩. Но ведь это несчастье!» (см. письмо к брату от 9 октября 1859 г.). 27 сентября редактор «Русского мира» А. С. Гиероглифов писал Достоевскому: «Очень сожалею, что до сих пор не могу сообщить Вам положительного известия о судьбе „Записок“. Цензор полагает, что они рассматриваются кем-либо из членов Главн⟨ого⟩ управления цензуры, и, вероятно, не ранее будущей субботы будет решение о том, печатать или не печатать их» (*ГБЛ*, ф. 93. II.2.85). Упрек цензуры был неожиданным. Изображение каторжного быта показалось ей «соблазнительным» для преступников. Председатель Петербургского комитета барон Н. В. Медем в отношении в Главное управление цензуры от 14 октября 1860 г. писал, что «люди, не развитые нравственно и удерживаемые от преступлений единственно строгостью наказаний», из «Записок» могут получить превратное представление о слабости «определенных законом за тяжкие преступления наказаний» (см.: *Сб. Достоевский, I*, стр. 361). Об этих колебаниях цензуры Достоевский знал уже 20 сентября и послал письмо от имени редакции «Русского мира» к Н. В. Медему с приложением дополнения ко II главе «Записок», «которое совершенно парализует собою впечатление, производимое статьею в прежнем ее виде» (см. «Другие редакции», стр. 250—252). Главное управление цензуры определением от 4 ноября 1860 г. разрешило печатать главу в прежнем виде с обычной формулировкой об исключении мест, «противных по неблагопристойности выраже-

[1] В письме редактора этой газеты А. С. Гиероглифова к О. Ф. Миллеру от 4 марта 1882 г. содержится рассказ о том, как попали «Записки» на страницы «Русского мира» (*РЛ*, 1969, № 3, стр. 179—181).

ний своих правилам цензуры», но умолчало о дополнении (см.: *Сб. Достоевский, I,* стр. 362).

По-видимому, картина дворца с «мраморами», золотом, райскими птицами и висячими садами, обнесенного, однако, забором, как олицетворение несвободы, с точки зрения Цензурного комитета, слишком отчетливо выражала мысль автора о свободе как основном, необходимом условии человеческого существования, сознаваемом «простым народом». Дополнение в дальнейшем не было нигде помещено Достоевским, возможно, потому, что оно с самого начала предназначалось для цензуры с целью добиться разрешения прежней редакции. Оно так и осталось в деле Цензурного комитета.[1]

К письму А. С. Гиероглифова к Достоевскому от 21 ноября 1860 г. был приложен проект примечания «От редакции» относительно дальнейшего печатания «Записок»: «Продолжение печатанья „Записок из Мертвого дома" Ф. М. Достоевского приостановлено было до сих пор по причинам, от редакции не зависящим; теперь же редакция ожидает всех обещанных ей очерков от автора, у которого находятся, для общего просмотра, и написанные уже очерки, бывшие в руках редакции. Не желая дробить статьи между последними номерами настоящего года и первыми будущего, редакция предпочла помещать, начиная с первого номера 1861 г.» (*ГБЛ*, ф. 93.II.2.85).

Продолжение «Записок из Мертвого дома» появилось в «Русском мире» в январе 1861 г., где в № 1 от 4 января были перепечатаны «Введение», I глава и опубликована II глава. В № 3 (11 января) была опубликована III глава («цензурой пропущено всё с весьма малым исключением», — сообщал Достоевскому А. С. Гиероглифов 10 января; см.: *ГБЛ*, ф. 93.II.2.85), а в № 7 (25 января) — IV глава. На этом публикация в «Русском мире», несмотря на указание «Продолжение следует», прекратилась. В связи с разрешением на издание своего журнала «Время» Достоевский перенес «Записки» в журнал, где в апрельской книжке были перепечатаны «Введение» и первые четыре главы со следующим примечанием: «Перепечатываем из „Русского мира" эти четыре главы, служащие как бы введением в „Записки из Мертвого дома", для тех наших читателей, которые еще не знакомы с этим произведением. К продолжению этих „Записок" мы приступим немедленно по окончании романа „Униженные и оскорбленные". Ред.». С перенесением «Записок» в журнал замысел Достоевского изменился и расширился. Но объем произведения и тогда окончательно не был определен. В перечне тем для VI—IX глав «Записок», набросанном, очевидно, в начале 1861 г. в записной книжке № 1, эпизоды не совпадают с окончательной редакцией. Так, «рассуждение о генерале» из VI главы и «слухи о ревизоре» из VII главы перенесены в V главу второй части; «сапер и его история» хотя и упомянуты в VI главе, но подробная история Баклушина дана в IX главе. Девятая глава перечня — «Театр» — превратилась в одиннадцатую, озаглавленную «Представление». С сентября публикация продолжалась. До конца года появились V—XI главы, составившие первую часть «Записок».

В январе 1862 г. Достоевский заключает с А. Ф. Базуновым договор об отдельном издании первой части *(1862_1)*. Цензурное разрешение на издание было получено 30 января, оно рассылалось как приложение к январской книжке «Времени». В этом январском номере Достоевский начал публиковать вторую часть «Записок», над которой он продолжал работать, что подтверждается следующим объявлением редакции «Времени» по поводу выхода январского номера: «Вследствие болезни Ф. М. Достоевского в этой книге могла быть напечатана только одна глава „Записок из Мертвого дома"» («Искра», 1861, 16 февраля, № 7). II глава второй части была опубликована в феврале.

Сохранился отрывок рукописи этой главы, представляющий собой, как убедительно доказала В. С. Нечаева (см.: «Советские архивы», 1967, № 3, стр. 81—86), несмотря на значительную авторскую правку, наборную руко-

[1] А. С. Долинин, опубликовавший дополнение, считал, что этот «случайно возникший отрывок, не связанный органически с композицией», нигде не использовался Достоевским потому, что он строго относился к своему произведению (см.: *Сб. Достоевский, I,* стр. 367).

пись. Отличия ее от окончательного текста очень несущественны (см. «Варианты», стр. 255—259). Только несколько строк автографа о «человеколюбии врачей» (там же, стр. 142, строка 27) не вошли в печатный текст. Как указывалось в рецензии на первую публикацию автографа, пропуск этот, возможно, возник по цензурным соображениям (см.: «Вопросы литературы», 1957, № 8, стр. 246). Можно также предположить, что строки эти были опущены, так как повторяли мысль, уже имеющуюся в IV главе первой части (см. стр. 46, строки 2—8). Анализ рукописи позволяет судить о характере творческой работы Достоевского, о тщательной стилистической отделке текста.

В марте появились III—VI главы, в мае — VII, IX, X главы. VIII глава, упомянутая в оглавлении журнала, в тексте имела только три строки точек. Единственная глава, посвященная жизни в каторге политических преступников — ссыльных поляков, была задержана цензурой. Имея в виду, вероятно, эту главу, друг Достоевского А. П. Милюков вспоминал: «По условиям тогдашней цензуры, Федор Михайлович принужден только был выбросить из своего сочинения эпизод о ссыльных поляках и политических арестантах. Он передавал нам по этому предмету немало интересных подробностей» (см.: А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 211—212). Кроме того, Милюков здесь же приводит один из рассказов Достоевского, не вошедший в «Записки», очевидно, также по цензурным соображениям. Это рассказ о преступлении, вызванном гнетом крепостничества. Милюков воспроизводит его по памяти, но стиль Достоевского ему удалось сохранить (см. «Приложения», стр. 233—234). Вторая часть рассказа (об убийстве этапного смотрителя) в значительно измененном виде вошла в историю Лучки (ч. I, гл. 8) (см.: *Берлинер,* стр. 77—78).

В декабре 1862 г. Достоевскому все-таки удалось добиться напечатания главы «Товарищи». Она была опубликована в декабрьском номере «Времени» (объявление о выходе — 3 января 1863 г.).

В отдельное издание «Записок из Мертвого дома» *(1862_2),* вторая часть которого была разрешена цензурой к печатанию 6 июня 1862 г., глава «Товарищи» не вошла. Для этого издания Достоевским был вновь просмотрен весь текст и сделаны некоторые стилистические исправления. В первом томе «Полного собрания сочинений Достоевского» (издание Стелловского, 1865 г.) писатель отказался от деления «Записок» на две части, дал общую нумерацию глав: с первой по двадцать первую — и дополнил текст главой «Товарищи». В 1865 г. «Записки» были изданы Стелловским стереотипно, отдельным изданием.

Последний раз при жизни Достоевского «Записки из Мертвого дома» были напечатаны в 1875 г. А. Г. Достоевская вспоминает: «... мы, оставшись на зиму в Руссе, решили издать и „Записки из Мертвого дома“, которые давно были распроданы и часто спрашивались книгопродавцами. Корректуры высылались нам в Руссу» (см.: *Достоевская, А. Г., Воспоминания,* стр. 275). По делам этого издания в Петербург, для переговоров с братьями Пантелеевыми, в типографии которых печатались «Записки», ездила жена писателя (см. письма Достоевского к А. Г. Достоевской от 17 и 19 декабря 1874 г.). В издании *1875* Достоевский вновь вернулся к делению «Записок» на две части, ввел в первой части подзаголовок «Введение», внес ряд стилистических поправок. Глава «Товарищи» в издании отсутствует. Считать, что причиной ее исключения была воля самого автора, нет оснований. В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский с сочувствием вспоминает о польских революционерах, бывших с ним на каторге: «... эти поляки вынесли тогда более нашего» (*ДП,* 1876, февраль, гл. I, § 3). В первом посмертном «Полном собрании сочинений Достоевского» 1883 г. глава «Товарищи» была напечатана. О. Ф. Миллер пишет в первом томе этого издания: «...он ⟨Достоевский⟩ говорит и о настоящих политических ссыльных в особой главе (появившейся в журнале «Время», она, правда, потом опускалась в отдельных изданиях, но в настоящем полном собрании сочинений Ф. М. снова помещена в своем первоначальном виде)» (см.: *Биография,* стр. 129). Все это заставляет предполагать, что в издании *1875* в связи с ростом освободительного движения и ответным усилением политической реакции глава была исключена по цензурным мотивам,

«Записки из Мертвого дома» — произведение, занимающее в творчестве Достоевского особое место. В нем отражены впечатления от четырехлетнего каторжного периода жизни, намечены новые важные тенденции мировоззрения писателя. Сам автор в «Записках» отмечал, что за годы каторги пересмотрел многие из прежних своих убеждений.

Преследуя цель полного разобщения петрашевцев, царское правительство распределяло их среди уголовных преступников, рассылая в отличие от декабристов не в одну, а в разные арестантские роты, каторжные тюрьмы и крепости (см.: *Гернет*, стр. 231—239). Достоевского сослали «в каторжную работу» в Омск, где он был зачислен «в арестантскую № 55 роту» (см. рапорт инспектора по инженерной части военному министру — *ЛН*, т. 22—24, стр. 705). На основании ведомостей о сосланных в омскую крепость, представлявшихся ежемесячно ее комендантом полковником А. Ф. де Граве в Инженерный департамент Военного министерства, можно судить, что все арестанты делились на два разряда: гражданского ведомства и военного ведомства. Преступники гражданского ведомства подразделялись на «срочных», «всегдашних» и «бродяг»; военного — также на «срочных», «всегдашних» и «особое отделение» (*ЦГВИА*, ф. 312, он. 2, № 1280), которое Достоевский называет «особым разрядом самых страшных преступников» (см. выше, стр. 11). «Особое отделение» на основании Свода военных и морских постановлений было учреждено при Сибирском линейном № 4 батальоне, размещавшемся в Омске, но находилось при арестантской роте Инженерного ведомства. Число арестантов в крепости было несколько меньшим, чем говорит Достоевский. На основании ведомостей «О прибыли, убыли и наличном числе арестантов в омской крепостной работе» можно точно сказать, что к моменту прибытия писателя в острог в нем было не 250 человек, как сказано в I главе «Записок», а 158 человек и цифра эта колебалась от 148 до 171 на протяжении нескольких лет (*ЦГВИА*, ф. 312, он. 2, №№ 1280 и 1980). Большой интерес представляют Статейные списки об арестантах омской крепости, препровождавшиеся омским комендантом инспектору по инженерной части.[1] Они содержат, кроме имен арестованных, точное описание примет каждого, сведения о том, откуда преступник родом, за что осужден, по чьему решению, какое получил наказание и на какой срок прислан, какого вероисповедания, грамотен ли, женат или холост и какого поведения. Достоевский был безусловно прав: «...каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей» (стр. 10). В каторге томились представители многих национальностей царской России: русские, татары, лезгины, чеченцы, калмыки, евреи и поляки. Достоевский осуждает политику национального угнетения. Так, вся вина честного лезгина Нурры была в том, что он переходил от мирных горцев к немирным, но это не мешало ему на каторге прекрасно уживаться с русскими. Действительно, судя по Статейным спискам за 1853 г., в омском остроге находились осужденные из Владимирской, Московской, Тобольской, Витебской, Оренбургской, Смоленской, Тифлисской, Шемахинской, Черниговской, Саратовской и других губерний (*ЦГВИА*, ф. 312, он. 2, № 1815).

Пребывание среди уголовных было, конечно, особенно тяжело для писателя, но вместе с тем невольно столкнуло его с народной массой.

Анализ Статейных списков позволяет сделать общие выводы о составе арестантов омской крепости. Основную массу их составляли крестьяне и

---

[1] Имеются в виду Статейные списки за 1853 год: а) об арестантах гражданского ведомства, сосланных в крепостную работу на срок; б) об арестантах военного ведомства, сосланных на срок; в) об арестантах, сосланных в крепостную работу навсегда; г) об арестантах «особого отделения» (*ЦГВИА*, ф. 312, оп. 2, № 1815). В дальнейшем при ссылках названия списков не даются, принято сокращение «Статейные списки» с указанием архивной нумерации листов.

солдаты (также крестьяне в прошлом). Солдаты чаще, чем крестьяне, попадали на каторгу: наиболее частыми преступлениями были преступления против военного начальства и невыносимых в николаевскую эпоху условий воинской службы. Вот некоторые из этих преступлений, упомянутые в Статейных списках: «произношение перед ротным командиром и фельдъегерем дерзких слов»; «нападение на часового с намерением отнять ружье неизвестно для какой цели»; «сорвание с ротного командира⟨...⟩ эполет»; «укрывательство от рекрутской повинности»; неоднократные «побеги из службы с намерением вовсе укрыться от оной». Расправа за эти проступки была невероятно жестокой. Например, «за грубость и дерзость против начальника» солдат попадал в разряд «всегдашних», выдержав предварительно не одну тысячу палок. А арестант Яков Корнилов за пьянство и непослушание, оказанное своему батарейному командиру, был наказан шпицрутенами «через 1000 человек шесть раз» и определен в «особое отделение» (Статейные списки..., л. 74).

В письме к брату от 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: «Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, то народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, немногие знают его». Это помогло ему создать произведение, в центре которого стоит народ. Литературные традиции связывают «Записки из Мертвого дома» с многочисленными повестями и очерками из народного быта, которые печатались в 1850-х годах на страницах «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения». В повестях и этнографических очерках А. А. Потехина, С. В. Максимова, С. Т. Славутинского, А. Ф. Писемского Достоевский мог почерпнуть сведения о народных обычаях и обрядах, об ужасах рекрутчины и о различных преступлениях в народной среде. Но он располагал и огромным запасом собственных наблюдений.

В воспоминаниях польского революционера Ш. Токаржевского, отбывавшего каторгу в омском остроге одновременно с Достоевским (см.: *Tokarzewski, 1907; Tokarzewski, 1912*), и в записках П. К. Мартьянова (см.: *Мартьянов*) изображены аналогичные эпизоды, действуют те же герои. Сопоставление текста «Записок» с этими воспоминаниями, с письмами Достоевского к брату, где он описывает ужасы каторжной жизни, и с новонайденными официальными документами, касающимися омской крепости, заставляет признать, что писатель достаточно полно и достоверно изобразил как основные моменты каторжного быта — внешний вид крепости, распорядок дня, работы, занятия арестантов, — так и тех, кто стал героями его произведения. Анализ метода отображения Достоевским реальных фактов, т. е. изучение многочисленных примеров видоизменения их и попытки объяснить причины этих отступлений, помогает глубже проникнуть в творческую лабораторию писателя, точнее раскрыть замысел произведения.

Большинство персонажей «Записок из Мертвого дома» имеют реальные прототипы. Достоевский сохраняет действительные имена многих из них. Даже убийца Соколов, только упомянутый в «Записках», фигурирует в записанной в 1860 г. «Песне о разбойнике Копеечкине», действие которой происходит в Омске (*РС*, 1873, № 11, стр. 821).

При установлении возможных прототипов «Записок» возникает вопрос о достоверности воспоминаний Токаржевского и материалов Мартьянова, служивших до сих пор своеобразным комментарием к произведению Достоевского. Они могут быть убедительно проанализированы при сравнении с официальными документами. Шимон Токаржевский (1821—1899), выведенный у Достоевского под буквами Т-ский, происходил из дворян Люблинской губернии. Он избрал профессию сапожника, «руководствуясь тем убеждением, что тогда ему легче будет распространять среди варшавских ремесленников идеи национального возрождения и самоопределения» (см.: В. Хранеевич. Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка. *РС*, 1910, № 2, стр. 369). Под влиянием ксендза Петра Сцегенского Токаржевский дал клятву идти по следам польских патриотов 1830-х годов: участвовал в заговоре; узнав об открытии его, бежал за границу, откуда в 1847 г. был передан царскому правительству под именем Финикса Ходкевича; осужден на десять

лет, наказан шпицрутенами и отправлен сначала в усть-каменогорскую, а затем — в октябре 1849 г. — в омскую крепость. Освобожденный в 1857 г., он по возвращении на родину участвовал в подготовке и проведении восстания 1863 г., был вновь арестован и в 1864 г. приговорен к пятнадцати годам каторги. Вернувшись в 1883 г. в Варшаву, Токаржевский написал две книги воспоминаний: «Семь лет на каторге» (об омском остроге; 1907) и «Каторжники» (1912; две главы из нее, посвященные Достоевскому, переведены В. Б. Арендтом — *Звенья*, т. VI, стр. 495—512; здесь же, на стр. 495, 496, дана биографическая справка о Токаржевском). В книге «Семь лет на каторге» Токаржевский подробно описывает жизнь казармы; отдельные главы посвящены плац-майору, раскольнику, Аристову, Достоевскому и Дурову. Автор не скрывает своего враждебного отношения к Достоевскому, определившегося позднее под влиянием ознакомления с «Бесами» и «Дневником писателя». Выдвигая на первый план расхождения Достоевского с революционерами и приписывая им устойчивый характер, автор обвиняет писателя в том, что уже в остроге он гордился перед арестантами своим дворянским происхождением и отличался шовинизмом и ура-патриотизмом. «Разговор между нами ⟨поляками⟩ и Федором Достоевским всегда имел политическую подкладку ⟨...⟩ он скоро переходил в острую полемику и страстный спор...», — пишет Токаржевский (см.: *Звенья*, т. VI, стр. 498—499). Вопросу о взаимоотношениях Достоевского с заключенными поляками, анализу фактического содержания и идейной направленности книг Токаржевского посвящен ряд статей.[1]

По словам Токаржевского, он набрасывал свои воспоминания сразу же по возвращении из Сибири, но затем, в 1883 г., после вторичной девятнадцатилетней ссылки, дополнил их подробностями, которые первоначально опустил. Следовательно, к тому времени он читал «Записки из Мертвого дома» и позаимствовал у Достоевского многие события, имена, детали. Так, персонажи Баклушин, Ломов, Бумштейн фигурируют у Токаржевского и у Достоевского под одними и теми же именами, хотя их реальные фамилии были иными: Арефьев, Лопатин, Бумштель. У обоих авторов одинаково преступление, за которое осужден старик раскольник, но, судя по Статейным спискам, оно носило несколько иной характер. Выявляется ряд несоответствий и при сравнении официальных сведений с материалами Мартьянова. В 1849 г. семь гардемаринов, исключенных из Морского кадетского корпуса, отбывали службу в Омске, исполняя обязанности караульных в остроге. Эти «морячки» (как их называли), встречаясь с Достоевским, пытались всячески облегчить его участь: оставляли для работ в крепости, сообщали новости, снабжали книгами. Мартьянов, очевидно, имел в своем распоряжении записки одного из этих гардемаринов и использовал их в своих публикациях, раскрывающих прототипы нескольких персонажей «Записок» (см.: *Мартьянов*, стр. 264—267). Документальные материалы значительно уточняют сведения, которые привел Мартьянов. Так, прототипом того лица, которое Достоевский называет Акимом Акимычем, а Мартьянов — есаулом Беловым, был Ефим Белых, причем Достоевский более близко к действительности излагает его преступление, чем Мартьянов. Отцеубийца Ильинский у Мартьянова назван ошибочно Ильиным; путано и недостоверно описывает он и преступление Аристова. Следовательно, к воспоминаниям и Токаржевского, и Мартьянова надо относиться осторожно, извлекая из них те или другие сведения.

В Статейных списках арестантов, сосланных в омскую крепость, имеется ряд лиц, фигурирующих у Достоевского под теми же (или несколько из-

---

[1] См.: С. Н. Б р а н л о в с к и й. 1) Ф. М. Достоевский в омской каторге и поляки. *ИВ*, 1908, № 4, стр. 189—198; 2) Воспоминания поляка-каторжника о Ф. М. Достоевском. «Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», 1908, т. XIII, кн. 3, стр. 383—386, а также упомянутую выше работу В. Храневича «Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка» (*РС*, 1910, № 2, стр. 367—376; № 3, стр. 605—621).

мененными) именами. Прототипы же других персонажей «Записок» раскрываются с достаточной степенью очевидности по характеру преступлений, национальности, вероисповедованию и т. п.

Так, арестант Ломов, «из зажиточных т-х крестьян, К-ского уезда» (стр. 183), пырнувший другого арестанта шилом в грудь, — это преступник гражданского ведомства Василий Лопатин, 43 лет, крестьянин Тобольской губернии, Курганского округа, осужденный «за смертоубийство» на восемь лет. 1 ноября 1850 г. он за драку с Лаврентием Кузевановым и Герасимом Евдокимовым (у Достоевского — Гаврилкой) и нанесение последнему «шилом легкой раны в левый бок и царапины в шею ниже левого уха» был наказан шпицрутенами «через 500 человек два раза» (см.: Статейные списки..., лл. 10—11).

О Баклушине автор «Записок» сообщает, что он был из кантонистов, убил в городе Р., где служил в гарнизонном батальоне, немца Шульца и за стычку в судной комиссии с капитаном был осужден на «четыре тысячи да сюда, в особое отделение» (стр. 104). Достоевский пишет: «Я не знаю характера милее Баклушина» (стр. 99). А вот сухие сведения о его прототипе из Статейных списков: «Семен Арефьев, 42 лет, Смоленского отделения, *из солдатских детей.* Состоял на службе *в Рижском внутреннем гарнизонном батальоне.* Доставлен в роту 1847 года, августа 25. За пятый со службы побег, грабеж и смертоубийство. Наказан *шпицрутенами через 1000 человек четыре раза* с выключением из военного звания и отсылкою *в особое отделение,* в г. Омске состоящее. Поведения ненадежного. Грамоте знает» ⟨курсив наш, — *Ред.*⟩ (см.: Статейные списки..., л. 85).

Судя по Статейным спискам, поразившим Достоевского «с первого взгляда» (стр. 33) стариком старообрядцем был раскольник Егор Воронов, 56 лет, из Черниговской губернии (Ш. Токаржевский пишет о нем: «старик старовер из Украины» — *Звенья,* т. VI, стр. 503). Прислан он был, «по высочайшему повелению», «на бессрочное время» за «неисполнение данного его величеству обещания присоединиться к единоверцам и небытие на священнодействии при бывшей закладке в посаде добрянкской новой церкви» (см.: Статейные списки..., л. 54).

Крещеный калмык Александр (или «Александра») из II главы второй части, рассказывающий, как он «выходил свои четыре тысячи», — это арестант «особого отделения» из калмыков Саратовской губернии православного вероисповедания Иван Александров, осужденный за «смертоубийство унтер-офицера, находившегося в арестантских ротах для присмотра»; он был наказан не четырьмя тысячами палок (стр. 145), а «шпицрутенами через 1000 человек пять раз» (см.: Статейные списки..., л. 81).

«Дагестанских татар было трое, — пишет Достоевский, — и все они были родные братья. Два из них уже были пожилые, но третий, Алей, был не более двадцати двух лет ⟨...⟩» (стр. 51). В письме к брату от 22 февраля 1854 г. писатель говорит о молодом черкесе, «присланном в каторгу за разбой», очевидно, о том же Алее, которого он учил русскому языку и грамоте. В Статейных списках есть три брата из Шемахинской губернии: Хан Мамед Хан Оглы, 34 лет, Али Исмахан Оглы, 44 лет, и Вели Исмахан Оглы, 39 лет. Все они были осуждены за грабеж на 8 лет (см.: Статейные списки..., лл. 39—40). Ни один из них не подходит под описание «прекрасного», «доверчивого» и «мягкого» Алея (стр. 51). Наиболее вероятным прототипом Алея был Али Делек Тат Оглы, 26 лет. Он прибыл в омскую крепость тоже из Шемахинской губернии 10 апреля 1849 г. «Лицом мало весноват, волосы черны, глаза карие, нос умеренный...» — таковы скупые сведения о его внешности в Статейных списках за 1851 г. (*ЦГВИА*, ф. 312, оп. 2, № 1452, л. 2). Предполагаемый прототип Алея был прислан «за принятие и скрытие награбленных товаров» на 4 года и вышел из каторги 16 апреля 1853 г.

Реальный прототип имелся и у арестанта, бросившегося на плац-майора с намерением убить его. Сохранилось дело «О дерзком поступке арестанта омской крепости Чикарева против тамошнего плац-майора». Полковник де Граве в рапорте от 10 февраля 1848 г. доносил: «...в вверенной мне крепости

особого отделения арестант Влас Чикарев 4-го числа настоящего месяца по лености своей вместе с другими арестантами не вышел из острога к разводке на казенную инженерную работу, за что приказано было плац-майору, майору Кривцову, наказать его в пример прочих, но по приводе Чикарева из острога в караульную кордегардию, при том остроге состоящую, для исполнения над ним наказания, он, Чикарев, в одно мгновение кинулся на него, Кривцова, и, ударив по голове рукою, схватил за горло с намерением задушить до смерти, если бы удалось, отчего, однако ж, в то же время караульными нижними чинами был удержан». Чикарев был предан военному суду при омском ордонанс-гаузе, где дело было решено в 24 часа («Всё произошло очень скоро», — пишет Достоевский — стр. 29). По приговору суда он должен был подвергнуться наказанию шпицрутенами «через тысячу человек четыре раза» и остаться по-прежнему в «особом отделении» (*ЦГВИА*, ф. 312, оп. № 1, № 3595). У Достоевского арестант, наказанный шпицрутенами, умирает в больнице через три дня. Токаржевский дает иную версию: преступник (Влас Чикарев у него назван Власовым) скончался под палками, последнюю тысячу ударов отсчитали уже по его трупу (см.: *Берлинер*, стр. 69).

Рассказывая об одном из самых решительных арестантов из всей каторги — Петрове, Достоевский замечает: «... этот Петров был тот самый, который хотел убить плац-майора, когда его позвали к наказанию» (стр. 84). В Статейных списках есть запись об очень сходном поступке. Один из арестантов был наказан «за сопротивление против плац-майора Кривцова при наказании его розгами и произнесении слов, что непременно над собою что-нибудь сделает или зарежет его, Кривцова» (см.: Статейные списки..., л. 79). Правда, произошло это событие в июле 1848 г., но оно могло быть известно Достоевскому по рассказам, как и случай с Чикаревым. Следовательно, этот-то арестант Андрей Шаломенцев, пришедший на каторгу в «особое отделение» за кражу и за «сорвание с ротного командира, капитана Урвачева, эполет», возможно, и был прообразом одной из самых ярких фигур «Записок из Мертвого дома».

Имея сведения о прототипах героев «Записок», можно определить те тенденции, в соответствии с которыми Достоевский вносил изменения в изображение каторжной действительности. Одна из этих тенденций очевидна. Достоевский неоднократно сознательно усиливал преступления своих героев, вернее всего, по цензурным соображениям, чтобы ослабить впечатление от суровости царского суда. Так, татарин Газин из «особого отделения», о котором Достоевский говорит, что он «любил прежде резать маленьких детей» (стр. 40), имеет своим прототипом каторжного военного ведомства, «сосланного на срок», Феидуллу Газина, 37 лет, служившего в Сибирском линейном № 3 батальоне и осужденного «за частовременные отлучки из казармы, пьянство и кражи» (см.: Статейные списки..., л. 17). Прототипом Нурры — «блондина с светло-голубыми глазами», всё тело которого «было изрублено, изранено штыками и пулями» (стр. 50), был Нурра Шахсурла Оглы, «сероглазый и темно-русый с проседью, на правой щеке и носу шрамы» (л. 45), осужденный на шесть лет, но просто за воровство, а не за участие в набегах на русских, как сказано у Достоевского. Старик старообрядец, осужденный в «Записках» за поджог церкви, на самом деле был наказан бессрочной каторгой лишь за неисполнение обещания присоединиться к единоверцам и за отказ присутствовать при закладке церкви. Приводя все эти отклонения рассказчика от реальной действительности, возможно рассчитанные на цензуру, не следует, однако, забывать главного: Достоевский смотрел на каторгу глазами художника и «Записки из Мертвого дома» являются не просто мемуарами, но художественным произведением, где большую роль играют творческое обобщение и вымысел. Писатель, например, довольно точно в сравнении со Статейными списками воспроизводит внешние приметы Исая Фомича. Он в списке, так же как и у Достоевского, ювелир, за убийство наказан плетьми, шестьюдесятью пятью ударами (в «Записках» — шестьюдесятью), «с постановлением штемпельных знаков» (Достоевский говорит о его «ужаснейших» клеймах — стр. 93). Но в Статейных списках сказано, что Исай Бумштель, мещанин из евреев,

был православного вероисповедания (см.: Статейные списки..., л. 29); Достоевский же превращает его в еврея иудейского вероисповедания, который ходит по субботам в свою молельню и справляет «свой шабаш» (стр. 95). Это дало писателю возможность создать живую, полную юмора сцену исполнения Исаем Фомичом обряда молитвы (ч. I, гл. 9).

Обнаруженные Б. В. Федоренко архивные материалы дают дополнительные сведения и о прототипах арестантов из дворян. Писатель довольно точно рассказывает историю жизни каждого из этих своих героев до острога. И все же подлинные события, извлекаемые из судебных дел, заставляют пристальнее вглядеться в людей, характеры которых поразили художника.

Прообразом дворянина-«отцеубийцы» был прапорщик тобольского линейного батальона Д. Н. Ильинский. Фамилию эту указывает А. Г. Достоевская (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 69). Известны семь томов судебного дела «об отставном поручике Ильинском», в котором детально отражены все материалы процесса этого мнимого отцеубийцы (*ЦГВИА*, ф. 801, оп. 79/20, № 37, чч. 1—7). Дело открывается объявлением от 5 июля 1844 г. в тобольскую гражданскую полицию прапорщика линейного Сибирского батальона № 1 Ильинского о «потере его отца, коллежского советника Ильинского», с просьбой «учинить розыск» о «неизвестной отлучке» последнего. В «Записках из Мертвого дома» читаем: «Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда» (стр. 15). В объявлении, написанном рукой Ильинского, он называет отца «родитель мой» (много раз упомянуто это выражение впоследствии и в ответах Ильинского на допросах); в тексте «Записок» Достоевский выделяет курсивом те же слова отцеубийцы: «Вот *родитель мой*...» (стр. 16). Выражение это можно рассматривать как приведенные автором подлинные слова арестанта. Достоевский пишет, что полиция нашла тело отца через месяц. Следственное дело, однако, длилось гораздо дольше, и убитый был обнаружен почти через год, 12 апреля 1845 г. Обстоятельства же открытия тела и изуверский способ убийства описаны Достоевским в соответствии с действительностью. Как показывают архивные материалы, свидетели сообщили, что после смерти отца Ильинский якобы пьянствовал, закладывал вещи, принадлежавшие отцу, развратничал. Следствие велось очень тенденциозно. Все показания многочисленных свидетелей (кухарки отца Ильинского, старшего брата, сослуживцев по батальону, соседей) принимались на веру. Ильинский горячился, отказывался отвечать на вопросы, утверждал, что полиция ведет дело пристрастно, после чего был арестован. 16 апреля 1846 г. караульный прапорщик подал командиру батальона рапорт о том, что Ильинский, будучи на гауптвахте, «заперся в своем №, не допускал к должному за ним наблюдению» (ч. 5, л. 4). Ильинский объяснил, что с ним обращаются «не как должно обращаться с арестованным офицером, а так, как с 〈...〉 уже лишенным прав состояния или, просто сказать, как с варнаком» (там же, л. 4 об.). Комиссия военного суда пришла к заключению, что хотя подсудимые (Ильинский и его денщик Алексей Куклин) не сознались, но все улики изобличают их в убийстве, и предложила «сослать обоих в каторжную работу в рудниках без срока» (ч. 6, л. 173). Затем дело поступило в аудиториатский департамент Военного министерства с отношением и рапортом командира Отдельного сибирского корпуса, который «полагал оставить Ильинского в сильном подозрении 〈...〉 и отослать на жительство в г. Березов Тобольской губернии под строгий присмотр полиции» (ч. 7, л. 125). 18 марта 1847 г. последовала «высочайшая конфирмация»: «Быть по сему». Но вместе с тем Николай I, находя, что иметь в армии человека под столь ужасным подозрением невозможно, повелел: «...отдать Ильинского в арестанты всегдашнего разряда, лишив его и дворянского достоинства» (ч. 7, л. 160 об.). У Достоевского сказано, что «отцеубийца» был осужден на двадцать лет; двадцать лет упомянуты и у Мартьянова (см.: *Мартьянов*, стр. 265). Во второй части «Записок из Мертвого дома», начиная VII главу, писатель говорит: «На днях издатель „Записок из Мертвого дома" получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно» (стр. 195). Достоевский, очевидно, получил эти сведения от своих омских знакомых, никаких официальных сведений о невиновности Ильинского обнаружить пока

не удалось. Лишь в «Ведомости о прибыли, убыли и наличном числе арестантов» омской крепости от 2 апреля 1858 г. есть следующая запись об Ильинском: «Выключен из списочного состояния роты переданный к омскому полицмейстеру, для отсылки по назначению Тобольского приказа о ссыльных в Иркутскую губернию на поселение, окончивший срок нахождения в крепостной работе арестант военно-срочного разряда» (*ЦГВИА*, ф. 312, оп. 3, № 1347). В Статейном же списке 1853 г. он отнесен к разряду «всегдашних» (см.: Статейные списки..., л. 53).

При переизданиях книги Достоевский не изменил первоначального описания преступления и отложил окончательное объяснение его до VII главы второй части, чтобы еще раз произнести слова, клеймящие существующий общественный правопорядок: «...если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины Мертвого дома»; «Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе» (стр. 195).

Внешне, в фабульном отношении, «отцеубийца» является прообразом Мити Карамазова (см.: Б. Г. Реизов. К истории замысла «Братьев Карамазовых». В кн.: Из истории европейских литератур. Л., 1970, стр. 129—138). Первоначально в черновой рукописи романа Митя условно назван Ильинским (см.: наст. изд., т. XVII). Прототип этот становится безусловным в свете материалов следственного дела Дмитрия Ильинского.

Дворянин А-в, о котором Достоевский говорит как о самом отвратительном примере того, «до чего может опуститься и исподлиться человек» (стр. 62), также реальное лицо. Это арестант Павел Аристов. Он упомянут в «Статейном списке о государственных и политических преступниках в омской крепости в каторжной работе 2 разряда за 1850 год» (см.: *Николаевский,* стр. 220—221). О нем пишут Мартьянов и Токаржевский. Достоевский кратко, но в полном соответствии с действительными фактами рассказывает о его деле. Аристов был осужден «за ложное возведение на невинных лиц государственного преступления» (там же, стр. 220). В деле из архива III Отделения «По доносу дворянина Аристова о существующем в С.-Петербурге тайном обществе» подробно излагается история этого человека. Тамбовский дворянин Павел Аристов, девятнадцати лет, в первых числах ноября 1847 г. прибыл из Москвы в Петербург якобы для устройства на службу и остановился у родственника, коллежского асессора Шелехова. 20 ноября Аристов донес в III Отделение на ряд лиц, якобы составивших тайное общество, в которое и его приглашали вступить. Они будто бы «объявили ему, что общество имеет намерение посягнуть на жизнь царской фамилии, замысел сей исполнить в театре и потом провозгласить в России республику», а он, Аристов, согласился быть членом общества с намерением «предупредить правительство о столь преступных замыслах» (*ЦГАОР*, ф. 109, оп. 5, т. 1848, № 524, л. 5) и просил снабдить его деньгами на расходы, связанные с делом. Под этим видом он забрал из III Отделения 274 рубля серебром и представил список членов общества из 89 человек. Сделаны были обыски в квартирах оговоренных лиц и часть их была арестована. В бумагах арестованных «ничего примечательного и подающего сомнение о принадлежности 〈...〉 к какому-нибудь обществу не оказалось» (там же, л. 94). Следствие длилось с 20 ноября по 10 декабря. Аристов был тверд в своих показаниях, но не представлял никаких доказательств. С другой стороны, показания арестованных лиц подали повод «к сомнению в истине доноса». Один из них, мичман Н. Никитин, в своих показаниях писал: «Аристов столь необразован и глуп, что если бы могло бы существовать какое-нибудь общество, то, конечно, он не был бы принят в оное» (там же, л. 99 об.). Следственный комитет приступил тогда к сбору сведений о самом доносчике. Родственник Аристова Шелехов представил в III Отделение письма к нему отчима Аристова доктора А. Б. Берковского от 22 и 24 ноября 1847 г., в которых он так характеризовал пасынка: «... он вор — по призванию, преступник — по инстинкту, не по нужде» (там же, л. 124). К письмам Берковского было приложено письмо к нему дяди Аристова Н. И. Панова, где тот с ужасом писал о племяннике: «Нельзя было полагать, чтобы натура человека, еще столь молодого, могла быть до такой степени испорчена. Кроме

известных Вам похождений с векселями, он порядочно меня обокрал ⟨...⟩. Наделал скрытно от меня долгов ⟨...⟩. Я твердо убежден, что он неисправим» (там же, лл. 197—199 об.). Письма Берковского и Панова полностью изобличили Аристова. В них были перечислены все его проделки: пьянство, разврат, всякого рода мошенничества. В Воронеже он сидел в остроге за кражу, в Твери обокрал дядю, в Рязани и Скопине, выдавая себя за высокопоставленное лицо, «собирал денег у однодворцев» и, наконец, в Москве ввязался в спекуляцию, которая ему не удалась. Когда у Аристова были отобраны все документы, он «пустился пешком в Петербург», где решился на новое, еще более гнусное преступление. Изобличенный Аристов, как говорится в деле, упал на колени перед Дубельтом, целовал ему руки и сознался в своей клевете, «посредством которой он желал выслужиться перед правительством» (там же, л. 147). Военный суд над ним был окончен в 24 часа. По высочайше утвержденному решению Аристов был лишен всех прав состояния и сослан в каторжную работу в крепость на десять лет (*ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, № 70). На каторге, презираемый всеми арестантами, он продолжал доносить на товарищей. В деле Аристова хранится его собственноручное письмо от 1 января 1853 г. в III Отделение. В письме он просит ходатайствовать за него перед Дубельтом, который «был так милостив при отправлении моем в дальний край Сибири», и говорит: «Вот уже четыре года прошло, как я страдаю. Неужели заблуждения неопытного юноши не позволяют взрослому человеку высказать весь пламень святой любви к царю-отцу и отечеству? Мне наскучила жизнь в ничтожестве, хочется умереть в рядах воинов на Кавказе!» В postscriptum'е Аристов не забывает добавить: «Страшная нужда заставляет меня просить его превосходительство Леонтия Васильевича Дубельта помочь мне сколько-нибудь высылкою денег на необходимые мне нужды». На письме помета: «Оставить без ответа» (*ЦГАОР*, ф. 109, оп. 5, т. 1848, № 524, лл. 207—208). Вслед за этим Аристов, которому «наскучила жизнь в ничтожестве», совершает другие отчаянные поступки. В январе 1853 г. «за намерение составить фальшивый билет и имение при себе для сей цели фальшивой печати» («Он упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах», — пишет Достоевский на стр. 221) он был наказан розгами (*ЦГВИА*, ф. 312, оп. 2, № 1844). В августе того же года Аристов решился на побег, описанный Достоевским в IX главе второй части. Побег этот он совершил не один, а с «особого отделения арестантом Куликовым» (стр. 221), по Статейным же спискам — Александром Кулишовым, 52 лет, осужденным за убийство в «особое отделение» (см.: Статейные списки..., л. 74). «Цыган, конокрад и барышник», Куликов — Кулишов остался у Достоевского в памяти на долгие годы. В наброске романа о Князе и Ростовщике (1870) влюбленная в Князя Хромоножка, изнасилованная и брошенная им, становится затем жертвой беглого каторжника Кулишова. Есть упоминания о нем в набросках «Смерть поэта» и в планах «Жития великого грешника» (1869—1870) (см.: наст. изд., т. IX). Он же явился прообразом Федьки-каторжного в «Бесах» (см.: М. С. Альтман. Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского. *Достоевский и его время*, стр. 201). После каторги Аристов служил в конторе Олекминских приисков, вошел в доверие, перебрался в Иркутск. Но иркутским губернатором был один из ранее им оговоренных; узнав Аристова, он приказал выслать его «в самое глухое место Якутской области» (см.: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958, стр. 226). Достоевский говорит о нем как о «феномене» среди преступников (стр. 63). В черновых записях к «Преступлению и наказанию» Свидригайлов именуется А-овым (см.: наст. изд., т. VII). Писатель, очевидно, имел в виду Аристова как образец сходного нравственного падения.

Как отмечалось выше, Статейные списки (л. 26) позволяют установить, что прототипом бывшего прапорщика Акима Акимыча был Ефим Белых, а не Белов (см.: *Мартьянов*, стр. 265). Из его дела (*ЦГВИА*, ф. 801, оп. 90/35, № 35) мы узнаем следующее: «Подсудимые прапорщик Белых и сотник Кузин находились на службе па Зеленчукском посту за Кубанью на передовой линии, и первый из них был за воинского начальника. Пост этот ночью на 15-е число ноября 1845-го года неизвестно отчего загорелся, но пожар потушен командами. Белых, подозревая в поджоге поста князя Кубанова, в разговорах своих с дру-

гими обнаруживал мщение». 15 декабря князь Мурза бек Кубанов приехал на пост. Белых и Кузин договорились его убить как за поджог поста, так и за то, что, по донесениям лазутчиков, посещение это было с «целью высмотреть местность поста и сделать новое злодеяние». Пригласив к себе Кубанова, Белых и Кузин вышли из комнаты под предлогом дать приказание приготовить чай. В это время вошли урядник и казаки и нанесли ему несколько ударов в голову, после чего вернувшийся Белых приказал «лезвием ножа перерезать шею» князю. Об этом происшествии узнал весь гарнизон. Белых и Кузин добровольно признались в преступлении. Военный суд приговорил их к расстрелу. Но временно командующий войсками на Кавказской линии, «обращаясь к предшествовавшим преступлению причинам, из которых не видно ни корысти личной, ни закоренелой безнравственности подсудимых, кроме ложного их понятия о патриотизме, показывающего недостаток развития умственных способностей и через то превратное истолкование прав своих ⟨...⟩, полагает даровать им жизнь ⟨...⟩ но, лишив их прав состояния, сослать в каторжные работы» (там же, лл. 4,9). Это-то решение и было отправлено на «всемилостивейшее его императорского величества воззрение» (там же, л. 18). 2 июня 1846 г. приговор был утвержден и срок каторжных работ определен в двенадцать лет.

В. Б. Шкловский считает Акима Акимыча «отдаленным родственником лермонтовского Максима Максимовича и пушкинского Белкина». Так же как Максим Максимыч у Лермонтова, Аким Акимыч у Достоевского как бы вводит рассказчика в новый мир; поэтому Шкловский называет его «Вергилием каторжного ада» (см.: *Шкловский*, стр. 104—105). Но отношение авторов к своим героям различно. Если Лермонтов чувствует глубокую симпатию к бесхитростному, отзывчивому человеку, гуманисту по натуре, то Достоевский, прекрасно понявший суть своего героя и изобразивший его в «Записках» как олицетворение формализма и казенщины, несмотря на прощальный поцелуй, ненавидит Акима Акимыча. Не случайно писатель отмечает пристрастие его к мелочному педантизму, «благоговение к пуговке, к погончику, к петличке» (стр. 106), намекая на близость Акима Акимыча в этом отношении к Скалозубу А. С. Грибоедова («А форменные есть отлички: в мундирах выпушки, погончики, петлички» — «Горе от ума», действие III, явление 12). Попав на каторгу, Аким Акимыч принял за правило «не рассуждать никогда и ни в каких обстоятельствах, потому что рассуждать „не его ума дело"» (стр. 105). Несмотря на любовь к труду («не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч» — стр. 27), он представляется автору верным слугой существующего порядка, закоренелым врагом всех, кто мешает «правильному течению службы и благонравию» (стр. 204).

Много раз Достоевский упоминает в «Записках из Мертвого дома» «товарища из дворян», с которым он вместе «вступил в каторгу». Это был С.Ф. Дуров (1816—1869), поэт-петрашевец, сосланный на четыре года. В «Мертвом доме» Дуров не изменил своих революционных воззрений. Его стихи через инспектора Омского кадетского корпуса И. В. Ждан-Пушкина направлялись на волю М. Д. Францевой. Стихотворение Дурова «К фарисеям» помечено: «14 марта 1850 г. Темница. Омск». Достоевский на каторге отдалился от Дурова; впрочем, они и на воле не были особенно близки. По свидетельству Мартьянова, они никогда не сходились вместе, не обменялись ни единым словом и даже «стали врагами». Но судя по тому, что после освобождения из острога Достоевский и Дуров бывали вместе в доме К. И. Иванова, мужа О. И. Анненковой, дочери декабриста И. А. Анненкова (см. письмо Достоевского к П. Е. Анненковой от 18 октября 1855 г.), их отношения можно скорее назвать просто далекими, а не враждебными. Позднее, в письме от 14 декабря 1856 г. к Ч. Ч. Валиханову, с которым Достоевский познакомился в доме К. И. Иванова, он пишет: «Поклонитесь от меня Дурову и пожелайте ему от меня всего лучшего. Уверьте его, что я люблю его и искренно предан ему». Каторга подорвала здоровье Дурова: отправленный в Петропавловск рядовым, он «по слабости здоровья выпущен из военной службы и поступил в гражданскую в Омске» (см. указанное выше письмо Достоевского к П. Е. Анненковой), где был определен канцелярским служащим 4 разряда в областное управление сибирских киргизов с оставлением под строжайшим надзором.

О встрече с Дуровым в Омске весной 1857 г. вспоминает Г. Потанин (см.: На славном посту. Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. [СПб., 1901], ч. II, стр. 255—265). В 1857 г. Дурову было разрешено вернуться из Сибири, а с 1863 г. — жить в столице. С 1862 г. стихотворения его появляются в «Современнике». Умер он в Полтаве в декабре 1869 г.

На протяжении всей книги Достоевский упоминает польских революционеров, бывших одновременно с ним на каторге. Хотя он подчеркивает свое расхождение с ними во взглядах, но описывает поляков с большим сочувствием, преклоняясь перед их нравственной стойкостью.

Из упоминаемых Достоевским поляков нам известен Т-ский — Шимон Токаржевский (см. о нем и его воспоминаниях выше, стр. 280—281). Прототипы остальных польских революционеров раскрываются Токаржевским. Так, Ж-кий — это Иосиф Жоховский (1801—1851), профессор математики Варшавского университета. За революционную речь в 1848 г. он был приговорен к смертной казни, замененной десятью годами каторги. Отбывал ее в Усть-Каменогорске, затем в Омске. По воспоминаниям Токаржевского, был незаслуженно наказан 300 ударами палок (у Достоевского плац-майор приказал дать ему сто розог). Скончался на каторге. М-цкий — это Александр Мирецкий (род. в 1820), прибывший на каторгу в 1846 г. «за участие в заговоре, за произведение в Царстве Польском бунта» (см.: *Николаевский,* стр. 220). Он был особенно нелюбим плац-майором, который постоянно назначал его парашником и, издеваясь, повторял: «Ты мужик — тебя бить можно!» (см.: *Tokarzewski, 1907*, стр. 134). Достоевский упоминает Мирецкого в «Дневнике писателя» за 1876 г. Б-ский — это Иосиф Богуславский, осужденный на десять лет «за участвование в преступных замыслах эмиссара Рера» (см.: *Николаевский,* стр. 220). В январе 1849 г. он был водворен в Усть-Каменогорскую крепость, а в октябре того же года вместе с Токаржевским и Жоховским переведен в Омск. По дороге Богуславский заболел, ему было отказано унтерофицером в месте на подводе, и Токаржевский нес друга 700 верст на руках.

Известно, что прототипом плац-майора, прозванного за «рысий взгляд» «восьмиглазым» (стр. 14), послужил плац-майор омского острога Василий Григорьевич Кривцов. В письмах к брату от 22 февраля 1854 г. Достоевский дает ему следующую характеристику: «Плац-майор Кривцов — каналья, каких мало, великий варвар, сутяга, пьяница, всё, что только можно представить отвратительного. ⟨...⟩ Он уже два года был плац-майором и делал ужаснейшие несправедливости. ⟨...⟩ Он наезжал всегда пьяный (трезвым я его не видел), придирался к трезвому арестанту и драл его под предлогом, что тот пьян как стелька. Другой раз, при посещении ночью, за то, что человек спит не на правом боку, за то, что вскрикивает или бредит ночью, за всё, что только влезет в его пьяную голову». В воспоминаниях Токаржевского Кривцову посвящена специальная глава «Васька» (см.: *Tokarzewski, 1907*, стр. 117—145). Кривцов был отставлен еще при Достоевском, а затем предан суду (см.: *Мартьянов,* стр. 278). Токаржевский вспоминал, что, будучи проездом в Омске в 1864 г., встретил нищего, в котором узнал бывшего плацмайора, и подал ему рубль; Кривцов тоже его узнал и на вопрос, что же произошло, ответил: «Бог меня покарал за покойного Жоховского, за вас всех. Простите!» (см.: *Tokarzewski, 1907*, стр. 224). В письме же к Достоевскому его омской знакомой Н. С. Крыжановской от августа — сентября 1861 г. сообщается, что Кривцов скоропостижно скончался «в гостях у доктора» (см.: *Достоевский и его время,* стр. 253). Достоверность этих сведений трудно проверить. Несмотря на то что все внешние черты Кривцова Достоевский воспроизвел достаточно точно, образ «восьмиглазого» получил обобщающий характер.

3

«Записки из Мертвого дома» писались в годы подъема демократического общественного движения, «распространения по всей России „Колокола“», «требования политических реформ всей печатью и всем дворянством» (см.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5. Госполитиздат, М.,

1960, стр. 29). Одним из наиболее жгучих вопросов времени, стоявших в центре внимания русской прессы начала 1860-х годов, наряду с крестьянским вопросом был вопрос о преобразовании суда и судебной системы. Жестокие порядки царской тюрьмы и каторги вызывали растущее возмущение передовых кругов. «Записки из Мертвого дома» в этих условиях отвечали широкому общественному настроению и явились в какой-то мере отражением общедемократических идеалов и требований эпохи.

В начале 1860 г. М. М. Достоевский печатал (вероятно, по совету брата) в журнале «Светоч» (№ 3) перевод «Последнего дня приговоренного к смерти» В. Гюго, активно вмешиваясь тем самым в обсуждение актуального для России комплекса вопросов суда, тюремного режима, преступления и наказания. В последующие два года все эти вопросы постоянно получали широкое освещение на страницах «Времени», где печатались «Записки из Мертвого дома», как бы вобравшие в себя в сгущенном, конденсированном виде многие из проблем, остро волновавших умы современников и параллельно обсуждавшихся на страницах журнала в иной, публицистической форме.[1]

Реальные события, лежащие в основе «Записок», документальный, автобиографический характер книги придают этому произведению глубокое своеобразие. Достоевский сам не дал жанрового определения «Записок». Вопросы формы, стремление определить жанр занимали критику почти сразу же по выходе книги. Казалось бы, по существу замысла «Записки» ближе всего к мемуарам, но «Записки» мемуарами не являются, так как центральная проблема книги — проблема каторги, ее порядки и судьбы людей на каторге. Достоевский писал брату 9 октября 1859 г. о замысле «Мертвого дома»: «Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного». В соответствии с этим замыслом во «Введении» Достоевский представляет читателю Александра Петровича Горянчикова как автора «Записок». Но это персонаж чисто условный. Введение его давало возможность придать «Запискам» форму не мемуаров, а художественного произведения. Не раз отмечалось, что введение образа Горянчикова могло быть вызвано цензурными обстоятельствами (см.: История русской литературы, т. IX, кн. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 46, 47; *Кирпотин, Достоевский,* стр. 378). Горянчиков, пришедший в каторгу за убийство жены своей, не отождествлялся с автором рассказа, который, как это видно уже из II главы, является политическим преступником. Начиная с этой главы Достоевский ведет рассказ от себя, забыв о рассказчике: говорит о свидании в Сибири с декабристками, о получении от них Евангелия, единственной книги, позволенной в остроге,[2] о встрече с «давнишними школьными товарищами» (стр. 229), о чтении книг. А. Г. Достоевская в примечаниях к «Запискам из Мертвого дома» по поводу копеечки, полученной Достоевским на каторге «Христа ради» (гл. I), пишет: «Личное воспоминание Федора Михайловича. Он несколько раз говорил про эту копеечку и жалел, что не удалось ее сохранить» (см.: *Гроссман, Семинарий.* стр. 55). Противоречивость мировоззрения Достоевского, насыщенность «Записок» философскими размышлениями, волновавшими писателя в этот период, чувствуются в каждой главе. Всё это не дает права рассматривать Горянчикова как самостоятельный образ-характер, хотя подобные попытки и делались (см., например: И. Т. Мишин. Образная структура романа Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». «Ученые записки Армавирского педагогического института», 1958, т. 3, вып. 1, стр. 136—139).

В статье «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год», помещенной в журнале «Время» (1861, № 10) и частично принадлежащей перу Досто-

---

[1] О публицистике «Времени» по судебным вопросам и о связи с нею «Записок из Мертвого дома» см.: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972, стр. 110—121, 236, 237.

[2] Об этом автобиографическом эпизоде Достоевский впоследствии вспоминал в «Дневнике писателя» (1873, гл. II, «Старые люди»). Указанный экземпляр Евангелия, имеющий многочисленные пометы писателя, хранится в *ГБЛ* (ф. 93. I. 5в.1).

евского (см.: наст. изд., т. XVIII), автор «Записок из Мертвого дома», разбирая картину русского художника В. И. Якоби (1834—1902) «Партия арестантов на привале», упрекает его в том, что в каторжниках, в «несчастных» живописец не сумел увидеть и показать «людей». «Допустим, что большею частью арестанты так сживаются со своим безвыходным положением, что становятся ко всему равнодушны; но в то же время нельзя не допустить, что они люди. Так давайте же нам их как людей, если вы художник; а фотографиями их пусть занимаются френологи и судебные следователи», — с таким призывом обращается Достоевский к Якоби.

В приведенных словах тонко выражена одна из основных художественных идей «Записок из Мертвого дома» — стремление Достоевского в каждом из обитателей острога «откопать человека» (по собственному выражению писателя в той же статье), выявить ценность и неповторимость его человеческой индивидуальности, которую не смогли убить жестокость и обезличивающее влияние царской каторги (см.: *Кирпотин, Достоевский,* стр. 381—384).

Персонажи «Записок» — одновременно и яркие индивидуальности, и типы; каждый из них воплощает определенную авторскую мысль: Газин — полное извращение «природы человеческой», «исполинский паук, с человека величиною» (стр. 40); Петров, метко названный В. Б. Шкловским революционером в потенции (см.: *Шкловский,* стр. 111), привлекает душевной чистотой, прямотой, искренностью, смелостью и дерзостью. Выдвигалось мнение об «атрофии социальных чувств» Петрова (см.: В. Переверзев. Ф. М. Достоевский. М.—Л., 1925, стр. 83). На деле, однако, образ Петрова несомненно социально окрашен, и в главе «Претензия» имеется прямое подтверждение этого. Он первый выходит на «претензию», ясно выражает свое отношение к дворянству. Но Достоевский обвиняет Петрова за безрассудность, не видит применения его силам и считает лиц, подобных ему, обреченными на гибель: такие люди «первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, — и все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы» (стр. 87). Тема «чистого сердца», естественного добра воплощена в образе молодого горца Алея. Это образец душевной гармонии и смирения. Достоевский восхищается целомудрием Алея, чутким отношением его к товарищам, стремлением всем помочь. Тему «чистого сердца» продолжает добрая вдова Настасья Ивановна — человек с бесконечным желанием «сделать для вас непременно что-нибудь приятное» (см. стр. 68), и старик старообрядец. Эти образы очень важны для понимания мировоззрения Достоевского периода каторги. В них намечен тот нравственный идеал, который Достоевский разовьет в своих позднейших произведениях: в Алее, например, чувствуются черты Мышкина и Алеши Карамазова.

Сочетание документально точного описания людей и событий с художественным вымыслом дало возможность относить «Записки» к жанру, «который граничит с художественным очерком, с одной стороны, и с мемуарами — с другой» (см.: *Чулков,* стр. 81).

В семипалатинский период жизни Достоевский, по воспоминаниям А. Е. Врангеля, особенно интересовался произведениями русской литературы 1840—1850-х годов, близкими к очерковой форме. Он читал «Записки об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова, «Записки охотника» И. С. Тургенева. Писатель искал для своего произведения новую форму. В. Б. Шкловский считает, что «Записки» — «роман особого рода», «документальный роман» (см.: *Шкловский,* стр. 107, 123). И. Т. Мишин видит в «Записках» переходную форму «от очерков, записок к социально-философскому роману» (см.: И. Т. Мишин. Художественные особенности «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. «Ученые записки Армавирского педагогического института», 1962, т. 4, вып. 2, стр. 22). Г. М. Фридлендер, опираясь на наблюдения Л. Я. Гинзбург (см.: История русского романа, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 586), показывает, что органический сплав элементов художественного вымысла, автобиографии и очерка вообще характерен для литературы 1850-х и 1860-х годов («Былое и думы» А. И. Герцена, «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого). Это было следст-

вием «потребности рассказать читателю о таких вещах и явлениях (обычно непосредственно переживаемых самим писателем), которые, обладая высокой общественной содержательностью и актуальностью, в то же время по самой природе своей требовали от художника применения иных художественных средств, чем форма романа с обычными вымышленными сюжетом и персонажами» (см.: *Фридлендер*, стр. 95; о своеобразии «Записок», их формы и стиля см. также: *Pascal, p. LXV—LXXXVI*). Достоевский — автор «Записок» — писал с установкой на то, чтобы книга воспринималась читателем как рассказ о реальных событиях, а не как обычное произведение с вымышленными героями. Первые читатели и восприняли «Записки» как очерки о неизвестном доселе страшном мире, возмутительном в своей реальности.

Очерковая форма обусловила и особенности композиции. Она отводит возможные упреки в бессвязности изложения, многочисленных повторах, отсутствии развития действия. Стройность произведения достигается логической завершенностью каждой главы, в основу которой положен какой-либо эпизод. В то же время каждая глава дает повод для возникновения новых вопросов и тем, разрешаемых и развиваемых в последующих главах. Впечатление единства произведения создается процессом постепенного познания автором жизни каторги — не столько внешних фактов ее, сколько психологического осмысления событий, — который составляет основу книги.

Начальные главы воссоздают первое безрадостное впечатление от «погибшего народа». Достоевский не видит в людях, совершивших страшные преступления, «ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении» (стр. 15). Казалось бы, полное духовное омертвение. Рождается тема преступления. «Записки из Мертвого дома» впервые в творчестве писателя ставят вопросы о причинах преступления, психологии преступника, которые займут столь важное место в произведениях зрелого Достоевского. Если в 1840-е годы вопрос о причинах преступности интересовал писателя чисто теоретически, то каторга дала обильный реальный материал для его решения. Главные объективные причины преступлений Достоевский видел в несовершенстве общественных условий, в конфликте между личностью и обществом. Хотя для Достоевского этого периода характерно объяснение вины преступника объективными обстоятельствами, уже в «Записках» звучит недоверие к «теории среды» (ч. II, гл. 2). Эта точка зрения, выдвинутая французскими материалистами, приводит, как пишет Достоевский, к тому, «что чуть ли не придется оправдать самого преступника» (стр. 15). Впоследствии «философия среды», взаимоотношения между личностью и обществом будут особенно интересовать его. Эти темы прозвучат в художественных произведениях Достоевского и в его публицистических статьях, где писатель вступит в полемику со сторонниками «теории среды», с присяжными заседателями и адвокатами, «оправдывающими личность властью среды» (*ДП*, 1873, гл. III, «Среда»). Достоевский противопоставит им идею нравственной ответственности личности.

Постепенно автор всматривается в толпу разбойников и убийц, и мрачные картины первых глав уступают место образам, написанным иными красками. «Люди везде люди. И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей», — писал Достоевский брату в письме от 22 февраля 1854 г. Глава «Представление» опровергает мысли о природной предрасположенности человека к преступлению. Позволили людям пожить не «по-острожному» — и человек нравственно меняется. На этом заканчивается первая часть.

Во второй части вслед за темой преступления возникает тема наказания. В «Записках» наказание понимается только как внешнее, юридическое, а не внутреннее, нравственное наказание. Достоевского волнуют вопросы жестокости, бессмысленности наказания, соразмерности наказания и преступления. А. И. Герцен в книге «О развитии революционных идей в России» пишет, что русский народ «обозначает словом *несчастный* каждого осужденного законом» (см.: *Герцен*, т. VII, стр. 263). Н. А. Некрасов назвал свою поэму о сибирской каторге «Несчастные». Достоевский также приводит это выражение, считая, что «не в русском духе попрекать преступника» (стр. 13), и объяс-

няет его в связи с «теорией среды», на которую так обрушится позднее, когда будет призывать к «беспрерывному покаянию и самосовершенствованию», самоочищению страданием. Однако мысль о страдании и терпении впервые звучит именно в «Записках из Мертвого дома», в рассказах о старике старообрядце, у которого «было свое спасение, свой выход: молитва и идея о мученичестве» (стр. 197), и об арестанте, начитавшемся Библии и решившем убить майора, чтобы найти «себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве» (там же). Тема добровольного страдания идет из раскола (об интересе Достоевского к расколу см.: наст. изд., т. VII). Одно из основных требований «бегунов» — «принять страдание» — Достоевский распространял впоследствии на весь русский народ, жаждавший страдания «искони веков» (*ДП*, 1873, гл. V, «Влас»). Образ арестанта, кинувшегося с оружием на начальство и «принявшего страдание», появляется вновь в «Преступлении и наказании» (в рассказе Порфирия Петровича), где идея страдания, которым все очищается, станет одной из главенствующих (см.: М. С. Альтман. Имена и прототипы литературных героев Достоевского. «Ученые записки Тульского педагогического института», 1958, вып. 8, стр. 134). В «Записках» же «добровольное страдание» рассматривается лишь как форма протеста личности, доведенной до отчаяния.

Тема наказания перерастает у Достоевского в тему палача и палачества. Писатель стремится проникнуть в психологию и жертвы, и палача, задается вопросом о возникновении палачества. Существование телесного наказания — вот «одна из язв общества», приводящая к полному разложению человека, облеченного таким правом. А «тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь» (стр. 154). Вывод Достоевского ясен — палачом делают человека обстоятельства. Правда, он понимает под обстоятельствами главным образом условия воспитания, но намекает и на социальные корни проблемы. Это следует иметь в виду для понимания смысла и значения фразы: «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке». «Но не равно развиваются звериные свойства человека», — добавляет Достоевский и рассматривает два рода палачей — подневольных и добровольных (стр. 155). И плац-майор, ставший палачом по велению «закона», как ярый его блюститель, и экзекутор Жеребятников, своего рода «утонченнейший гастроном в исполнительном деле» (стр. 148), — оба являются подтверждением того, что палачом *делаются*. «Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую», — заключает писатель (стр. 157).

Много размышляет Достоевский о лучших чертах народного характера. Он сожалеет, что политические арестанты из числа поляков видели в каторжниках одно только зверское начало и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ничего человеческого. «J'haïs ces brigands», — говорит один из них. Эту фразу Достоевский повторит через пятнадцать лет в «Дневнике писателя» за 1876 г., объясняя перемену своего отношения к каторжным иначе, чем в «Записках», в соответствии с христианской моралью (*ДП*, 1876, февраль, гл. I, § 3).

Тема «воли» возникает уже в первых главах «Записок из Мертвого дома». Она переплетается с темой денег. Без денег нет могущества и свободы. Размышление об этом Достоевский продолжит в «Зимних заметках о летних впечатлениях» («Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона?..» — наст. изд., т. V), а затем и в своих романах («ротшильдовская» идея и тема независимости героя в «Подростке», например). Романтизация «воли», которая кажется обитателям острога вольнее, чем есть на самом деле, приводит к побегам, бродяжничеству. Напоминанием о порыве к свободе, живущем в душе каждого арестанта, является глава «Каторжные животные» с глубоко трагической и многозначительной историей орла, выпускаемого на волю. К концу произведения тема «воли» звучит все более сильно.

Осознав после истории с «претензией» пропасть между дворянством и народом, задумавшись о ее причинах, Достоевский пересмотрел свои взгляды на жизнь, «судил себя ⟨...⟩ неумолимо и строго» (стр. 220). Переворот в мировоззрении Достоевского, начавшийся на каторге, завершится позднее, но именно в эти годы наступила для него пора внутренней борьбы, пора

поисков промежуточной позиции между западниками и славянофилами. Разъединение с народом — один из главных выводов «Записок из Мертвого дома». Одновременно с «Записками» в «Ряде статей о русской литературе» Достоевский вопреки всему тексту «Записок» говорит о едином духе русского общества, доказывает, что дворянство и народ едины. «У нас давно уже есть нейтральная почва, на которой всё сливается в единое, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски ⟨...⟩ русский дух пошире сословных интересов и цензов», — пишет Достоевский в январе 1861 г. во «Времени». Однако эти славянофильски окрашенные, «почвеннические» взгляды не проникли на страницы «Записок», которые скорее представляют собой своеобразное опровержение подобных воззрений.

Концовка «Записок из Мертвого дома» убеждает в том, что, несмотря на противоречия и сомнения, Достоевский и на дне каторжного ада нашел человека, осознал истинные причины преступлений: «...погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?» (стр. 231).

Объединив общим замыслом богатый жизненный материал, Достоевский создал стройное, законченное произведение.

Очерковая форма диктует и новый принцип изображения действующих лиц. Если в ранних и позднейших произведениях Достоевский анализирует мельчайшие движения души героя, особое внимание уделяя деталям, то в «Записках из Мертвого дома» образ создается скупыми, но очень выразительными средствами. Достоевский подчеркивает трудолюбие и мастерство людей из народа. Это люди талантливые, преимущественно грамотные. Правда, судя по Статейным спискам, из 148 человек только 17 «знали грамоте», но возможно, что эти официальные сведения были неверны, так как арестантам выгодно было сказываться неграмотными. Писатель полемизирует в «Записках» с мнением о том, что «грамотность губит народ» (см. стр. 12). В 1856—1857 гг. В. И. Даль выступал против распространения грамотности в народе, полагая, что она может разрушить народный быт, народную поэзию и самобытный язык, что вместе с грамотностью придут развращение нравов, легкое отношение к собственности и что она вообще «почти всегда доводит до худа» («Русская беседа», 1856, № 3, отд. V, стр. 1—16; *ОЗ*, 1857, № 2, отд. II, стр. 134—136). Против Даля выступили в «Современнике» Е. П. Карнович — «Нужно ли распространять грамотность в народе?» (*С*, 1857, № 10, отд. II, стр. 123—138); «Ответ г. Далю на заметку „О грамотности“» (там же, № 12, отд. II, стр. 167—176) — и Н. Г. Чернышевский (см.: *Чернышевский*, т. IV, стр. 872—873). Достоевский, возражая Далю, утверждавшему, что грамотность приведет к росту числа уголовных преступлений, и в «Записках из Мертвого дома», и в «Ряде статей о русской литературе» говорит о тех обстоятельствах, которыми обставлена грамотность в народе, о необходимости изменения этих обстоятельств: «...вместо того, чтобы делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте ее исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости ⟨...⟩. Чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее» («Ряд статей о русской литературе» — наст. изд., т. XVIII).

Чтобы полнее определить жанровое своеобразие «Записок», необходимо упомянуть и о включенном в них фольклорном материале, который можно разделить на две основные группы, органически связанные между собой: общенародный и специфический, бытующий в арестантской среде. «Записки из Мертвого дома» позволяют говорить о большом распространении среди арестантов устной поэзии. Достоевский воспроизвел арестантские песни, легенды и пословицы (об использовании им поэтики бытовой народной песни см.: *Пиксанов*, стр. 152—180). С особым интересом писатель относился к пословицам, — он пользовался в «Записках» всем разнообразием пословичного жанра. Поговорки, прибаутки, присловья, меткие слова, включенные непосредственно в живую речь персонажей, позволяют в образно-ритмической, максимально сжатой словесной форме воспроизвести обобщенный жизненный опыт данной группы людей. При этом Достоевский в отличие, например, от этно-

графа С. В. Максимова дает традиционные формулы народной поэзии, воспроизводя обстановку их бытования. Особенно насыщены фразеологизмами главы, где создается первое впечатление о массовом герое Достоевского (ч. I, гл. 2, 3, 5, 9). В этих главах, близких к физиологическому очерку, очень много диалогов, усиливающих сюжетную динамику, сообщающих действию драматическое напряжение, здесь пословицы так органически слиты с общим лексическим строем речи персонажей, что выделить их часто довольно трудно.

Особое место в «Записках» занимает глава «Акулькин муж». Рассказ арестанта Шишкова стилизован. Введение рассказчика не условный композиционный прием, а явная установка автора на социально чужой сказовый тон. Сказовая манера достигается большим количеством постоянных эпитетов, народных идиоматических выражений («Земля стоном стоит, по городу-то гул идет», «Душа ты моя, говорит, ягода», «Прости ты меня, добрый молодец»). Язык героя насыщен пословицами и поговорками, двучленность которых ритмизирует его речь; словами с уменьшительными суффиксами: матушка, батюшка, хлебушек и т. д.

Достоевский упомянул героя этой главы — Акулькина мужа — наряду с «главнейшими героями» своими в черновых материалах к «Подростку»: «Говорили, что я изображал гром настоящий, дождь настоящий, как на сцене. Где же? Неужели Раскольников, Ст⟨епан⟩ Трофимович (главные герои моих романов) подают к этому толки? Или в „Записках из Мертвого дома" Акулькин муж, например?» (см.: наст. изд., т. XIV).

4

«Записки из Мертвого дома» были приняты читателями и критикой восторженно. «Мой „Мертвый дом" сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию», — писал Достоевский А. Е. Врангелю 31 марта 1865 г.

А. М. Скабичевский вспоминал позднее: «Я помню ту сенсацию, какую произвели „Записки из Мертвого дома" при первом своем появлении на страницах „Времени" в 1861—62 гг.» (см.: А. М. Скабичевский. Сочинения, т. II. СПб., 1903, стр. 688).

Сенсация эта была вполне понятна. О каторге ходили до того времени лишь темные слухи. Разоблачение Достоевским ужасов, испытанных на себе, и недавнее возвращение автора из Сибири приковывали внимание к книге. В декабре 1861 г. Тургенев писал Достоевскому из Парижа: «Очень Вам благодарен за присылку 2 № „Времени", которые я читаю с большим удовольствием. Особенно Ваши „Записки из Мертвого дома". Картина *бани* просто дантовская, и в Ваших характеристиках разных лиц (напр. Петров) много тонкой и верной психологии» (см.: *Тургенев, Письма,* т. IV, стр. 319—320).

Вполне понятно, что «Записки» вызвали в первую очередь ряд статей, связанных с пенитенциарным вопросом. «Сын отечества» поднял вопрос о госпиталях для каторжных (*СО*, 1862, 1 февраля, № 28, стр. 218) и о средствах исправления преступников на каторге (там же, 17 июня, № 24 (воскресный), стр. 569—570), а «Русский мир» опубликовал статью «На каком основании надевают кандалы на лиц привилегированных сословий?», где указывалось, что заковывание в кандалы лиц привилегированных сословий является нарушением закона (*РМ*, 1862, 9 июня, № 22, стр. 448—449). Известный юрист П. Муллов в статье «Вопрос о местах заключения арестантов в России» на основании «Записок из Мертвого дома» писал о развращающем влиянии каторги, требовал допустить там свободный труд и рекомендовал «изменение системы заключения» («Век», 1862, 11 марта, № 9—10, стр. 88—91).

Вслед за статьями, посвященными частным вопросам, появляются статьи, требующие радикальных реформ в устройстве каторжных тюрем («Иллюстрированный листок», 1862, т. VII, 28 октября, № 42, стр. 401—402; 4 ноября, № 43, стр. 430—432). Возникновение этого направления критики было естественно: в силу своей фактической достоверности «Записки» воспринимались

как документ, как «совершенно необходимое дополнение к официальным отчетам о состоянии тюрем, так как касаются важных сторон тюремного быта, обойденных молчанием в докладах ревизоров» (см.: *Гернет*, стр. 518). Тем самым и «Записки», и отклики на книгу сыграли положительную роль в подготовке тюремной и судебной реформ 1864 г.

Уже в вышеназванных статьях отмечался и общегуманистический характер произведения Достоевского. На этом вопросе останавливался А. П. Милюков. В статье «Преступные и несчастные» он называл писателя новым Вергилием, который ввел читателей в ад, но не фантастический, а реальный. Особо отмечая стремление автора в каждом преступнике найти человека, Милюков дает характеристику «галерее каторжников», от «страшного разбойника Газина до Алея», «возбуждающего страдание, как грустная тень Франчески посреди Дантова ада» («Светоч», 1861, кн. 5, стр. 27—40). К статье Милюкова примыкают две статьи В. Р. Зотова ⟨?⟩ в «Иллюстрации», выдвигающие вопрос о человеческих правах преступников, об отношении к ним общества (*И*, 1862, 20 сентября, № 237, стр. 187—190; 1863, 21 февраля, № 258, стр. 114).

Рассматривая книгу только как изображение каторги, критики снижали ее общественное значение, сужали идейный смысл. Так, Ленивцев ⟨А. В. Эвальд⟩ в «Отечественных записках» доказывал, что «Записки из Мертвого дома» знакомят публику с второстепенными фактами и вопросами русской жизни, что это произведение полезно только «частностями, и к общему оно никогда не возвышается» (*ОЗ*, 1863, № 2, стр. 191—195). Критик обвинял Достоевского в отсутствии выводов общественно-политического характера.

Другой упрек сделал писателю критик «Библиотеки для чтения» Е. Ф. Зарин (*БдЧт*, 1862, № 9, стр. 89—119). Он обвинял Достоевского в сентиментальной филантропии. Зарин воспринял эту «бесхитростную», но «в высшей степени способную занимать человеческое внимание» книгу как выражение болезненного, расплывчатого гуманизма.

Такая односторонняя оценка «Записок из Мертвого дома» постоянно волновала Достоевского.

Так, в записной тетради 1876 г., рассматривая критику, посвященную «народным романам», он сетовал, что о «Записках из Мертвого дома», «где множество народных сцен, — ни слова. В критике „З⟨аписки⟩ из Мерт⟨вого⟩дома“ значат, что Достоевский обличал остроги, но теперь оно устарело. Так говорили в книжн⟨ом⟩ магазине, предлагая другое, ближайшее, *обличение* острогов» (*ЛН*, т. 83, стр. 605)

Достоевский был, однако, не совсем прав. Ведущие критики журналов, часто даже там, где они только упоминали в своих статьях «Записки из Мертвого дома», отдавали должное этому произведению и верно определяли его место в литературном процессе. Так, А. А. Григорьев в статье «Стихотворения Н. Некрасова» писал: «В явлениях, или, лучше сказать, в откровениях, жизни есть часто бесспорный параллелизм. Новое отношение к действительности, к быту, к народу, смутно почувствовавшееся в стихотворении Некрасова, почувствовалось тоже и в протесте „Бедных людей“, протесте против отрицательной гоголевской манеры, в первом еще молодом голосе за „униженных и оскорбленных“, в сочувствии, которому волею судеб дано было выстрадаться до сочувствия к обитателям „Мертвого дома“» (*Вр*, 1862, № 7, отд. II, стр. 17).

Глубоко оценила «Записки» демократическая критика. Очень заинтересовали они А. И. Герцена. В письме к И. С. Тургеневу от 7 мая 1862 г. он писал: «... где найти мне Достоевского воспоминания о каторге?» (см.: *Герцен*, т. XXVII, кн. 1, стр. 221), а 9 мая 1862 г. вновь настойчиво напоминал ему: «...если ты действительно хочешь мне сделать пластырь на раны ⟨...⟩ то *пришли* „Записки из Мертвого дома“» (там же, стр. 222). В «Колоколе» от 15 мая 1863 г. в заметке «Чего они так испугались?» Герцен излагал эпизод глумления поручика Жеребятникова над арестантами (там же, т. XVII, стр. 141), а в 1864 г. в статье «Новая фаза в русской литературе» писал: «Не следует, кроме того, забывать, что эта эпоха ⟨николаевская⟩ оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это „Мертвый дом“ Достоевского, страшное повество-

вание, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти» (там же, т. XVIII, стр. 219).

Интересно отношение редакции «Современника» к «Мертвому дому» на фоне полемики «Современника» и «Времени». Специального разбора «Записок» «Современник» не дал. Но член редакции журнала М. А. Антонович, защищая идеи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова от нападок Достоевского, с искренним восхищением говорил о его произведениях, особо отмечая их критическую направленность В статье «О духе „Времени“ и о г. Косиц. как наилучшем его выражении» Антонович писал: «„Записки“ же по своему содержанию возбуждают живейший интерес, дают много пищи уму и чувству; они лучшее украшение „Времени“ и самый лучший приговор нашему времени вообще» (*С*, 1862, № 4, отд. II, стр. 275). Но в том же «Современнике», в апрельском номере за 1863 г., в шуточном списке статей для последующих номеров «Свистка», М. Е. Салтыков-Щедрин остро полемически и с едкой иронией отозвался об этом произведении Достоевского, озаглавив его: «Опыты сравнительной этимологии, или „Мертвый дом“, по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева» (см.: *Салтыков-Щедрин*, т. V, стр. 303). На это шуточное замечание сразу же откликнулся критик «Русского слова» В. А. Зайцев, который в статье «Перлы и адаманты русской критики» писал: «Можно сколько угодно ругать „Время“; оно действительно безобразно; но смеяться над „Мертвым домом“ значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола». Критик ставил «Записки» рядом со «Что делать?» Чернышевского (*РСл*, 1863, № 4, стр. 16—17). Необходимо отметить, однако, что Салтыков-Щедрин отдавал должное «Запискам», неизменно высоко их оценивал. Даже в пылу непримиримой, страстной полемики с Достоевским-журналистом в хронике «Наша общественная жизнь» за март 1863 г., обращаясь к редакции «Времени», Салтыков-Щедрин писал: «А что если мы докажем вам, что в вас только и есть русского, что „Мертвый дом“» (см. : *Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 49); в статье же «Литературные мелочи» он замечал, что есть «настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей») и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор «Старшей и меньшой» и предприниматель журнала «Эпоха»)» (там же, стр. 482).

Свидетельством большого интереса демократического лагеря 1860-х годов, и в частности Н. Г. Чернышевского, к «Запискам из Мертвого дома» явилась попытка издать отрывки из книги значительным тиражом и по дешевой цене. Чернышевский принимал живое участие в организации этого издания, вел с Достоевским переговоры о его принципиальном согласии на издание, о выборе отрывков. Арест Чернышевского 7 июля 1862 г. и наступление реакции не позволили осуществить это намерение (см.: В. Лейкина-Свирская. Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома». *РЛ*, 1962, № 1, стр. 212—215). В дальнейшем глава «Акулькин муж» с подзаголовком «Из рассказа каторжного в „Записках из Мертвого дома“ Ф. Достоевского» вошла в составленный землевольцем А. Д. Путятой и изданный при поддержке кружка Н. А. Серно-Соловьевича «Сборник рассказов в прозе и стихах» (СПб., Тип. О. И. Бакста, 1863, 124 стр. Цена 8 коп. Тираж 10 000 экз.). Текст Достоевского был дан здесь в редакционной обработке: снято описание обстановки, отсутствует личность рассказчика. Заключают рассказ (что очень значительно) строчки из последней главы «Записок» о погибших даром народных силах с вопросом: «А кто виноват? То-то, кто виноват?» Кроме рассказа Достоевского, в сборник вошли стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге», «Забытая деревня», «Огородник»; «Развеселое житье» М. Е. Салтыкова-Щедрина; стихотворение И. С. Никитина «Бурлак»; отрывки из «Очерков фабричной жизни» А. П. Галицынского и рассказ неизвестного автора «Сеченый». Министр внутренних дел П. А. Валуев 15 января 1864 г. секретным предписанием запретил продажу этого сборника, оставшиеся непроданными экземпляры были конфискованы и сожжены, а цензор В. Н. Бекетов

за пропуск книги был уволен (см.: Л. М. Добровольский. Запрещенная книга в России. Л., 1965, стр. 52—53). В 1868 г. отрывок «Акулькин муж» вошел в сборник «От нечего делать. Собрание повестей и рассказов русских авторов» (вып. 1. [Б. м.], 1868, 92 стр., на обл.: Nouvelles et récits russes). Сборник был издан за границей, на обложке его имеется помета: «Продается у главнейших книгопродавцев Германии и Швейцарии».

Наиболее значительная статья о «Записках из Мертвого дома» принадлежала Д. И. Писареву Она была написана в то время, когда уже стали ясны политические взгляды Достоевского середины 1860-х годов, когда он открыто выступил противником «нигилизма» и идеологии революционных демократов не только как публицист на страницах журналов «Время» и «Эпоха», но и в художественных произведениях. Статья «Погибшие и погибающие» появилась в 1866 г. в сборнике «Луч». Критик построил ее на сопоставлении «русской школы» («Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского) с «русским острогом». Писарев доказывал, что судьба отдельной личности определяется характером воспитания, условиями труда и быта, всей обстановкой жизни. Бессмысленность зубрежки в бурсе и работы на каторге, мизерность содержания, получаемого «обитателями этих двух одинаково воспитательных и одинаково карательных заведений», воровство и ростовщичество, т. е. сходство условий существования, приводит и к сходству духовному. Питомцы бурсы систематически становятся обитателями «Мертвого дома». Критик пришел к выводу, что оба произведения являются суровым и правдивым приговором современной действительности, высоко оценил «Записки из Мертвого дома» за их гуманизм и демократизм.

Критические отзывы Писарева, Салтыкова-Щедрина, Антоновича подтвердили, что проблематика «Записок» совпала с общими устремлениями демократической мысли 1860-х годов. Специфическая «почвенническая» окраска некоторых идей Достоевского, выраженных в «Записках», не привлекла пристального внимания критики этого периода.

Особое место в критической оценке «Записок из Мертвого дома» занимают отзывы Л. Н. Толстого. Толстой выделял это произведение из всего написанного Достоевским, много раз возвращался к нему. Уже по выходе из печати первой части «Записок» Толстой в письме к А. А. Толстой от 22 февраля 1862 г. кратко, но настойчиво советовал ей прочесть произведение Достоевского, прибавляя: «Это нужно» (см.: *Толстой,* т. 60, стр. 419). Считая «Мертвый дом» одним из классических произведений русской литературы, Толстой первым отметил своеобразие художественной формы произведения, указав, что оно не вполне «укладывается в форму романа, поэмы или повести» («Несколько слов по поводу книги „Война и мир“», 1868 — там же, т. 16, стр. 7). В 1880 г., перечитывая книгу, Толстой 26 сентября писал Н. Н. Страхову: «На днях нездоровилось, и я читал „Мертвый дом“. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительная — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю» (там же, т. 63, стр. 24). Этот отзыв стал известен Достоевскому. В ответном письме Н. Н. Страхова к Толстому от 2 ноября 1880 г. сообщалось, что Достоевский был очень обрадован похвалой и оставил у себя письмо Толстого, но что его несколько задело «непочтение к Пушкину» (см.: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. Изд. Об-ва Толстовского музея, СПб., 1914, стр. 259). В трактате «Что такое искусство?» (1898; гл. 16) Толстой отнес «Записки из Мертвого дома» к числу немногих произведений мировой литературы, являющихся образцами «высшего, вытекающего из любви к богу и ближнему, религиозного искусства» (см.: *Толстой,* т. 30, стр. 160). В третий раз Толстой перечитал «Записки» в 1899 г.: работая над «Воскресением», он прочел ряд книг с описаниями тюремного быта и вновь воскликнул по поводу «Записок»: «Какая это удивительная вещь!» (*ЛН*, т. 37—38, стр. 540). [1] Толстой упо-

---

[1] О чертах идейно-тематической близости «Записок из Мертвого дома» и «Воскресения» Толстого см.: М. П. Николаев. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. Тула, 1969, стр. 51—59.

мпнал «Мертвый дом» в третьей редакции «Крейцеровой сонаты» (1889), а в 1904 г. включил два отрывка из этого произведения в «Круг чтения» (со своими заглавиями: «Смерть в госпитале» и «Орел»). По свидетельству Н. Н. Гусева и Д. П. Маковицкого, Толстой любил читать вслух эти отрывки, причем «видно было, что они глубоко трогают его» (см.: Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 1. М., 1922, стр. 36). Интерес Толстого к «Запискам» можно объяснить и глубоко гуманистическим содержанием произведения, и тонко почувствованной им близостью этических идеалов Достоевского, которые впервые были намечены в «Записках», к его проповеди непротивления злу насилием.

В 1870-1880-е годы были попытки сблизить идею «Записок из Мертвого дома» со взглядами и творчеством позднего Достоевского. О. Ф. Миллер и Н. Н. Страхов рассматривали книгу в свете христианского нравственного учения, «запавшего в глубину души нашего народа», который смотрел на преступника как на «несчастного». Они писали об уроках «народной правды», которые получил Достоевский на каторге и которые способствовали его духовному обновлению (см.: *Биография,* стр. 134). Достоевский и сам содействовал распространению этого мнения. В «Дневнике писателя» за 1876 г. он привел образ кроткого и величавого мужика Марея с его «сияющим светлой любовью взглядом». Этот взгляд заставил Достоевского невольно заглянуть в «сердце ⟨...⟩ грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика» с глубоким религиозным чувством добра и увидеть Марея в каждом из героев «Записок из Мертвого дома» (*ДП*, 1876, февраль, гл. 1, § 3). Вл. С. Соловьев писал, что Достоевский, которого он считал предтечей нового религиозного искусства, на каторге нашел настоящих «бедных людей». Они возродили в нем «остаток религиозного чувства», воскресшего «под впечатлением смиренной и благочестивой веры каторжников». Соловьев стремился приписать каторжникам Достоевского врожденное религиозное чувство и сознание своей греховности (см.: Вл. Соловьев. Три речи в память Достоевского. М., 1884, стр. 15—16).

Достоевский не раз выступал на литературных вечерах с чтением отрывков из «Записок из Мертвого дома» (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 134). В 1870-е годы, несмотря на изменившиеся взгляды, Достоевский продолжал читать именно «Записки из Мертвого дома». И «публика, особенно молодежь, еще смотрела на него как на бывшего каторжника, на экс-политического преступника, — пишет в своих воспоминаниях П. Д. Боборыкин. — „Мертвый дом“ явился небывалым документом русской каторги. А то, что в нем уже находилось мистически-благонамеренного, еще не было всеми понято, как должно, и тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером» (см.: П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I. М.—Л., 1965, стр. 281).

«Записки из Мертвого дома» имели значительный отклик среди криминалистов. А. Ф. Кони в речи на годовом собрании Юридического общества при С.-Петербургском университете 2 февраля 1881 г. дал блестящую характеристику Достоевского как писателя-криминалиста, глубокого знатока преступной души, вскрывшего причины, которые толкают на преступление. Кони указал отдельные вопросы уголовного права и судопроизводства, на которые Достоевский дал ответ в «Записках из Мертвого дома». Позднее криминологи В. Чиж в статье «Достоевский как криминолог» («Вестник права», 1901, № 1, стр. 1—43) и П. И. Ковалевский в работе «Психология преступника по русской литературе о каторге» (СПб., 1900), взяв за основу «Записки», пытались обосновать свои выводы о прирожденной преступности. П. И. Ковалевский, опираясь на тенденциозно подобранные примеры из «Записок», делал выводы о преступниках, «являющихся таковыми по своей организации», «преступниках от рождения». Отпор идеалистической теории П.И. Ковалевского дал П. Ф. Якубович в послесловии к своей книге «В мире отверженных», указав на ненормальность социальных отношений как на главную причину преступлений (см.: П. Ф. Якубович. В мире отверженных, т. II. М.—Л., 1964, стр. 397).

В 1890-х годах художественные достоинства и общественное значение «Записок» высоко оценили А. И. Кирпичников (1894), А. М. Скабичевский

(1898).[1] «Руководящая идея этого произведения прекрасна, и его форма вполне соответствует идее», — заметил о «Записках» П. А. Кропоткин, считавший «Записки» произведением, «безупречным в художественном отношении» (см.: П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, стр. 181).[2]

Главнейшие представители символистской критики обошли «Записки из Мертвого дома» почти полным молчанием, хотя почти все они посвятили Достоевскому статьи и книги. Лишь Д. С. Мережковский в книге «Л. Толстой и Достоевский» писал, что Достоевский «старался возвысить и облагородить свои воспоминания о каторге», видя в ней «суровый, но счастливый урок судьбы, без которого не было ему выхода на новые пути жизни» (см.: Д. Мережковский. Полное собрание сочинений, т. VII. М., 1912, стр. 95; в аналогичном психолого-биографическом плане подошел к «Запискам» Л. Шестов (см.: Л. Шестов. Собрание сочинений, т. III. Достоевский и Нитше. (Философия трагедии). Изд. 2-е, СПб., [б. г.], стр. 39—46), повторивший вывод Мережковского).

Знаменателен отзыв о «Записках» В. И. Ленина, сохраненный в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича: «„Записки из Мертвого дома“, — отмечал Владимир Ильич, — являются непревзойденным произведением русской и мировой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и „Мертвый дом“, в котором жил русский народ при царях из дома Романовых» (см.: В. Д. Бонч-Бруевич. Ленин о книгах и писателях. (Из воспоминаний). В кн.: В. Бонч-Бруевич. Воспоминания. М., 1968, стр. 23—24).

Появление в печати «Записок из Мертвого дома» вызвало к жизни целый ряд документальных, очерковых, этнографических произведений, посвященных царской каторге второй половины XIX в.

Достоевский, заканчивая в декабрьском номере «Времени» за 1862 г. публикацию своих «Записок», в том же номере начал печатать «Записки» следователя арестантской роты Н. Соколовского (*Вр*, 1862, № 12, стр. 1—49; 1863, № 1, стр. 5—34; «Эпоха», 1864, № 3, стр. 75—97).

Петрашевец Ф. Н. Львов в «Современнике» опубликовал «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного» (*С*, 1861, № 9, стр. 107—127; 1862, № 2, стр. 205—240), где описал Томскую пересыльную тюрьму, особо остановившись на судьбах женщин-арестанток. Ф. Т. Толль, тоже петрашевец, очерк «Из записок моего сосланного приятеля. 1850 год» посвятил пути следования арестованного в Сибирь (там же, 1863, № 4, стр. 355—372). Неизвестный автор — по мнению В. Э. Боград, скорее всего М. А. Антонович (см.: В. Боград. Журнал «Современник». 1847—1866. М.—Л., 1959, стр. 481) — в очерке «Арестанты в Сибири» писал: «Имея хороший случай познакомиться с арестантским бытом, я решился представить его в кратком, но верном очерке» (там же, 1863, № 11, стр. 133—175). М. И. Соколов опубликовал «Заметки о беглых бродягах в России и Сибири», считая, что они «будут не лишними, когда наша литература и правительство занимаются вопросом об улучшении быта арестантов», и делая ссылки на «Записки из Мертвого дома» (там же, 1863, № 8, стр. 85—120).

Традиция Достоевского заметно ощущается в воспоминаниях петрашевца Д. Д. Ахшарумова (*РС*, 1903, № 9, стр. 519—540), поэта и переводчика М. И. Михайлова (см.: М. И. Михайлов. Записки. 1861—1862. Пг., 1922) и в трудах этнографа-беллетриста С. В. Максимова («Сибирь и каторга», СПб., 1871). Н. М. Ядринцев, проведший два года в омском остроге и называвший себя «последователем Достоевского в литературе и области исследова-

---

[1] См.: А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы, т. I. Изд. 2-е. М., 1903, стр. 358—362; А. М. Скабичевский. Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне. «Русская мысль», 1898, № 9, стр. 73—75.

[2] Лекции, легшие в основу книги «Идеалы и действительность в русской литературе», были прочитаны П. А. Кропоткиным в Бостоне в 1901 г.

ния, собратом по духу и по судьбе» (см.: Н. Ядринцев. Достоевский в Сибири. В кн.: Сибирский сборник, вып. IV. Иркутск, 1897, стр. 393), эпубликовал работу «Русская община в тюрьме и ссылке» (СПб., 1872). Тему «Мертвого дома» продолжали в русской литературе А. П. Чехов («Остров Сахалин», 1895) и революционер-народник П. Ф. Якубович («В мире отверженных», тт. I—II. Спб., 1894—1897).

5

«Записки из Мертвого дома» прп жизни Достоевского были переведены только на немецкий язык. В 1863 г. в «Russische Revue» (1863, Jg. 1, № 1) появился отрывок из «Записок» в переводе В. Вольфзона вместе с небольшой заметкой о книге и ее авторе. В 1864 г. в другом немецком журнале также была дана сжатая оценка публицистических и художественных достоинств «Записок» (см.: «Baltische Monatsschrift», 1864, Bd. X, H.2, S. 177—180). В том же году в Лейпциге в издании Гергарда вышел их полный двухтомный перевод. Но издание это прошло незамеченным, и книга не была оценена по достоинству. После продажи 150 экземпляров издатель вынужден был сдать остаток тиража в макулатуру (см.: E. von Zabel. Russische Litteraturbilder. Berlin, 1899, S. 144). В 1867 г. при перечислении основных произведений Достоевского в анонимной статье «Ein neuer Roman von Dostojewsky» в немецкой прессе вновь были упомянуты и «Записки из Мертвого дома» (см.: «Magazin für die Literatur des Auslandes», 1867, Bd. 71, 8 Juni, № 23).

Известно письмо И. А. Гончарова к Достоевскому от 26 апреля 1862 г. о замысле перевода «Записок» на французский язык: «Французский литератор Delaveau (о котором я Вам при свидании говорил) 〈...〉 убедительно просит Боткина (Николая Петровича) привезти ему всё, что вышло „Мертвого дома“, для перевода в „Revue des deux mondes“ или отдельно — не знаю» (см.: Из архива Достоевского. Письма русских писателей. М.—Л., 1923, стр. 14—15). Но известный французский критик и переводчик А.-И. Делаво умер в 1862 г., и перевод этот не был осуществлен.

В письме Герцена к неустановленному лицу от 26 декабря 1863 г. речь идет о предполагавшемся, но неосуществленном переводе «Записок» на английский язык (см.: *Герцен,* т. XXXVII, кн. 2, стр. 415).

Признание за рубежом «Записок из Мертвого дома» произошло после перевода «Преступления и наказания». Полный перевод «Записок» на английский язык был опубликован в 1881 г. Газета «Новое время» в апреле 1882 г. сообщила о выходе из печати на английском языке «Записок из Мертвого дома» в переводе Марии фон Тилло и привела отзыв лондонской «Athenaeum»: «Отдавая должную дань таланту и наблюдательности Достоевского, английский критик замечает, что чтение „Записок“ производит тяжелое впечатление, но критик замечает, что в жизни осужденных допускаются такие послабления, которые привели бы в ужас строгих английских тюремщиков» («Новое время», 1882, 12 апреля, № 1840, стр. 2). Полные переводы были также осуществлены на следующие иностранные языки: датский — в 1883 г., французский — в 1884 г., итальянский и испанский — в 1887 г., финский — в 1888 г. [1]

Вскоре после опубликования «Записок из Мертвого дома» появилась картина К. Померанцева «Праздник рождества в Мертвом доме». Она демонстрировалась на академической выставке 1862 г. В настоящее время находится в музее-квартире Достоевского в Москве.

В 1928 г. чешский композитор Л. Яначек закончил оперу «Из Мертвого дома». Композитор сам написал либретто по русскому оригиналу «Записок», а затем перевел текст либретто на чешский язык (см.: *Гозенпуд*, стр. 164—166). Опера неоднократно исполнялась в Пражском Национальном театре, известна ее постановка в лондонском театре «Сэдлерс Уэллс» (1965).

---

[1] О переводах «Записок» и их восприятии за рубежом см.: *Pascal*, p. LXVII—XCV.

В 1932 г. В. Федоровым по сценарию В. Б. Шкловского был создан кинофильм «Мертвый дом» по мотивам «Записок из Мертвого дома» и по материалам биографии писателя. Роль Достоевского исполнял артист Н. П. Хмелев.

Стр. 5. *В отдаленных краях Сибири...* — По Уложению о наказаниях 1822 г., ссылка на поселение делилась на два разряда — «в отдаленнейшие места» (Восточная Сибирь) и «в места, не столь отдаленные» (Западная Сибирь и Закавказье).

Стр. 5. *...всем остальным субалтерным чином.* — Субалтерным чином в армии назывались все младшие офицеры ниже ротных начальников (нем. Subältern Offizier); здесь: мелкие чиновники.

Стр. 5. *... законный термин службы...* — т. е. установленный срок службы (лат. terminus — граница).

Стр. 6. *...в городке К. ...* — Очевидно, имеется в виду Кузнецк.

Стр. 10. *Были и инородцы...* — Инородцами в царской России официально назывались нерусские народности, по преимуществу из восточных районов страны.

Стр. 10. *...сильнокаторжные...* — Ср.: *СТ*, запись № 39.

Стр. 11. *«Вам на срок, а нам вдоль по каторге»...* — Ср.: *СТ*, запись № 108.

Стр. 11. *Это было вечером, в декабре месяце.* — В PM_2 было напечатано «в январе», но ко II главе Достоевский дал следующее примечание: «В первой статье, где помещено вступление к „Запискам из Мертвого дома“, сделана довольно важная опечатка. На странице 4-й, в 1-м столбце, напечатано: „Помню, как я вошел в острог. Это было вечером, в январе месяце“. Надо читать: *в декабре*». В действительности Достоевский прибыл в острог 23 января, но, очевидно, для связи I главы с главой «Праздник рождества Христова» (X) он переносит время своего прибытия на декабрь.

Стр. 11. *...бродяги — промышленники по находным деньгам или по столевской части.* — Ср.: *СТ*, запись № 44.

Стр. 12. *...не надо было ∾ не принято.* — В «Дневнике писателя» Достоевский, говоря о преступниках, сознающих свое преступление, но никогда о нем не рассказывающих, повторяет: «Про *это* не принято было говорить» (*ДП*, 1873, гл. III, «Среда»).

Стр. 12. *Различались все разряды по платью...* — Достоевский принадлежал ко второму разряду арестантов гражданского ведомства. Арестанты этого разряда носили серую пополам с черным куртку с желтым тузом на спине (см.: *Мартьянов*, стр. 263—264).

Стр. 12. *«Фу, как не славно!..* — Ср.: *СТ*, запись № 32.

Стр. 13. *«Мы погибший народ ∾ поверяй ряды».* — Ср.: *СТ*, запись № 169.

Стр. 13. *«Не слушался ∾ барабанной шкуры».* — Ср.: *СТ*, запись № 5.

Стр. 13. *«Не хотел ∾ молотом».* — Ср.: *СТ*, запись № 282.

Стр. 13. *«Черт ∾ в одну кучу!»* — Ср.: *СТ*, запись № 11.

Стр. 14. *...приехал сам в кордегардию...* — Кордегардия (франц. corps de garde) — помещение для военного караула.

Стр. 14. *...коменданта, человека благородного и рассудительного...* — Комендантом омской крепости был полковник А. Ф. де Граве, «добрейший и достойнейший человек», как пишет о нем старший адъютант корпусного штаба Н. Т. Черевин (*РС*, 1889, т. 61, № 2, стр. 318).

Стр. 15. *...знаменитая келейная система...* — система одиночного тюремного заключения. Вопрос об устройстве одиночных тюрем по образцу лондонской одиночной тюрьмы был выдвинут самим Николаем I. В 1845 г. был образован особый комитет для выработки проекта устройства таких тюрем (см.: *Гернет*, стр. 55—59).

Стр. 15. *...энервирует его душу...* — Энервировать (франц. énerver) — приглуплять, изможлать.

Стр. 19. *...возьми Христа ради копеечку!»* — Этот автобиографический эпизод повторен Достоевским в «Преступлении и наказании» (ч. II, гл. 2).

Стр. 22. ...*«мелкозвон»*... — Упомянуто С. В. Максимовым как одно из слов каторжного жаргона в «Записках из Мертвого дома» (см.: *Максимов*, т. I, стр. 439).

Стр. 22. ...*от шестериковой сальной свечи*... — Так в бытовом обиходе назывались свечи, которые продавались на вес, по шести на фунт.

Стр. 23. ...*язевый лоб!*.. — Ср.: *СТ*, запись № 75.

Стр. 23. *За постой у нас деньги платят*... — Ср.: *СТ*, запись № 115.

Стр. 23. *То есть никакой-то, братцы, в нем фартикультяпности нет.* — Ср.: *СТ*, запись № 137.

Стр. 23. *Бирюлина корова!*.. — Ср.: *СТ*, запись № 71.

Стр. 23. *Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.* — Ср.: *СТ*, запись № 86.

Стр. 23—24. *Да ты что за птица такая?* ∾ *Подлец ты, а не каган!* — Сцена перебранки каторжных целиком взята из *СТ* (ср. запись № 90).

Стр. 24. *У нас народ* ∾ *не боимся*... — Ср.: *СТ*, запись № 13.

Стр. 24. ...*крыночная блудница* ∾ *и кнута хватил.* — Ср.: *СТ*, запись № 68.

Стр. 24. *Невалид Петрович*... — Ср.: *СТ*, запись № 184.

Стр. 24. *Какой я тебе брат?* ∾ *а брат!* — Ср.: *СТ*, запись № 267.

Стр. 24. *Нет, ты сперва помри, а я после*... — Ср.: *СТ*, запись № 235.

Стр. 24. *У меня небось не украдут* ∾ *не украсть.* — Ср.: *СТ*, запись № 16.

Стр. 24. *Тут, брат, и моя копеечка умылась.* — Ср.: *СТ*, запись № 212.

Стр. 24. *Начал проситься* ∾ *потом удавился*... — Ср.: *СТ*, запись № 113. Форштадт (нем. Vorstädt) — предместье, слобода.

Стр. 25. *Он у нас* ∾ *а по прозвищу Гришка Темный кабак.* — Ср.: *СТ*, запись № 316.

Стр. 25. *Да я тебе столько посредственников приведу*... — Ср.: *СТ*, запись № 211.

Стр. 25. *Ты откуда, а я чей?* — Ср.: *СТ*, запись № 111.

Стр. 25. *Да кто меня прибьет* ∾ *в земле лежит.* — Ср.: *СТ*, запись № 462.

Стр. 25. *Чума бендерская!* ∾ *турецкая сабля!*.. — Весь диалог взят из *СТ*, запись № 17.

Стр. 26. *Бывало* ∾ *вьет*... — Ср.: *СТ*, запись № 354.

Стр. 27. ...*мирной князек*... — Во время войны за присоединение Кавказа к России горцы, признавшие власть русского правительства, назывались «мирными», а остальные — «немирными».

Стр. 27. ...*кондуктор и несколько инженерных нижних чинов*... — Кондукторами в инженерных частях назывались унтер-офицеры.

Стр. 28. *Иной из кантонистов*... — Кантонист — солдатский сын, со дня рождения числившийся за военным ведомством и обучавшийся в низшей военной школе. Эта категория военнообязанных существовала до 1856 г.

Стр. 29. ...*свою сельницу.* — Сельница — лоток (местное сибирское слово). Ср. стр. 42.

Стр. 29. *Я пришла, а вас Митькой звали*... — Ср.: *СТ*, запись № 87.

Стр. 30. *Марьяшка приходила* ∾ *Двугрошовая приходила*... — Ср.: *СТ*, запись № 228.

Стр. 30. ...*две «суфлеры»*... — Ср.: *СТ*, запись № 205.

Стр. 30. *Да давеча* ∾ *посидела*... — Ср.: *СТ*, запись № 380.

Стр. 30. *Прежде-то* ∾ *иглу проглотила.* — Ср.: *СТ*, запись № 403.

Стр. 30. ...*злые люди набухвостили*... — Ср.: *СТ*, запись № 330.

Стр. 30. *Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить!* — Ср.: *СТ*, запись № 163.

Стр. 31. *Дома не был, а всё знаю!* — Ср.: *СТ*, запись № 62.

Стр. 31. *Нашим курским!* ∾ *Да и не тамбовские.* — Ср.: *СТ*, запись № 115.

Стр. 31. *С нас, брат* ∾ *там проси.* — Ср.: *СТ*, запись № 23.

Стр. 31. *В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна*... — Ср.: *СТ*, запись № 9.

Стр. 31. *...дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал...* — Ср.: *СТ*, запись № 155.

Стр. 31. *Калачи, калачи!* ∾ *у кого мать была?* — Ср.: *СТ*, запись № 61.

Стр. 33. *...из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев...* — Стародубье — местность в Черниговской губернии, центр старообрядчества. Раскольники, спасаясь от преследований, бежали из Стародубья и поселялись на острове Ветка на реке Сож, откуда, по приказу Екатерины II, в 1764 г. были изгнаны и вернулись в Стародубье.

Стр. 33. *...единоверческая церковь...* — Единоверцами называлась часть старообрядцев, объединившихся с православной церковью и подчинившихся в 1800 г. Синоду. Единоверцы согласились принять православных священников при условии сохранения некоторых обрядов старого церковного обихода и дониконовских богослужебных книг.

Стр. 34. *...чрезвычайные начетчики...* — Начетчик — знаток и толкователь богословских книг.

Стр. 34. *...по смеху можно узнать человека...* — Эта мысль развита Достоевским в романе «Подросток» (ч. III, гл. 1).

Стр. 35. *...сибирки.* — Сибирка — верхняя одежда в виде короткого кафтана в талию со сборками и стоячим воротником.

Стр. 35. *...«Играй, деньги взял!»...* — Ср.: *СТ*, запись № 64.

Стр. 37. *...кордонный вол...* — Очевидно, от названия длинной веревки — кóрды (франц. corde), которой обычно привязывали рабочий скот, заставляя ходить по кругу для выполнения различных тяжелых работ.

Стр. 40. *...поставили меня на часы, на абвахте, у сошек.* — Абвахта — устарелое написание слова «гауптвахта» (нем. Hauptwache), обозначающего караульное помещение; сошки — стойки с горизонтальной перекладиной и гнездами в них, служащие подставкой для ружей в караульных помещениях.

Стр. 40. *...рундом правил.* — Править рундом — проверять караулы.

Стр. 40. *Я видел в Тобольске* ∾ *разбойника Каменева...* — На стр. 47 он назван Кореневым. Коренев — реальное лицо (см. о нем: *Максимов*, т. II, стр. 171—182).

Стр. 42—43. *Один, например* ∾ *(острожная легенда)*. — Ср.: *СТ*, запись № 7.

Стр. 46. *...к полному числу палок.* — По уставам 1839, 1855 гг. высшей мерой наказания было шесть тысяч шпицрутенов. Но в действительности с 1834 г. негласно это количество было сокращено до трех тысяч, а в 1856 г. — до тысячи ударов.

Стр. 46. *...накануне наказания решился выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку.* ∾ *через несколько дней в нем открылись признаки настоящей чахотки, от которой он умер через полгода.* — Достоевский вспоминает об этом же эпизоде в «Дядюшкином сне» (гл. XV). О возвращении Достоевского к образам и эпизодам «Записок» в других его произведениях см. статью М. С. Альтмана «Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского» (стр. 201—204). Крышка — мера вина, водки (по размеру крышки от фляги) (обл., устар.).

Стр. 48. *Мефитический* (лат. mephiticus) — удушливый, зловонный: Мефитис — древнеиталийская богиня, охраняющая от вредных испарений.

Стр. 49. *...байгуши...* — Байгуш — кочевник, впавший в нищету (казахск.).

Стр. 49. *Майдан* — базарная площадь в станице (тюрк.); на воровском жаргоне — игорный дом или просто карточная игра.

Стр. 53. *...перевод Нового завета — книга, не запрещенная в остроге.* — В секретном рапорте дежурного генерала Главного штаба Военного министерства от 11 августа 1850 г., посланном в Омск инспектору по инженерной части, объявлялось «высочайшее повеление» относительно выдачи книг лицам, отданным в военную службу и в арестантские роты за политические преступления: «Состоящим в арестантских ротах, кроме духовных книг, других не давать» (*ЦГВИА*, ф. 312, оп. № 2, № 76).

С т р. 54. *...всю Нагорную проповедь.* — В Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, гл. V—VII; Евангелие от Луки, гл. VI) изложены основные заповеди Христа.

С т р. 54. *...Иса святой пророк...* — Иса — Иисус Христос, в Коране он назван Мессия Иса, сын Марйам.

С т р. 54. *...что он сделал из глины птицу ∾ в книгах написано.* — См.: Коран, Сура III, 43.

С т р. 55. *...Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы»...* — «Длинный, как верста», Янкель фигурирует в гл. X—XI «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя (1842) — см.: *Гоголь,* т. II, стр. 146—165. О работе молодого Достоевского над трагедией «Жид Янкель» (на тот же сюжет) см.: наст. изд., т. I, стр. 458.

С т р. 63. *...расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими.* — В Петербурге было три Мещанские улицы — Большая, Средняя и Малая. Они славились множеством притонов и распивочных заведений.

С т р. 63. *...нравственный Квазимодо.* — Квазимодо — герой романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», имя его стало нарицательным для обозначения физического уродства. В сентябрьской книжке «Времени» за 1862 г. Достоевский напечатал перевод романа Гюго со своим «Предисловием от редакции» (наст. изд., т. XVIII).

С т р. 63. *...чуть не Брюллов...* — К. П. Брюллов (1799—1852) — известный русский художник, выдающийся портретист. В. В. Стасов в «Русском вестнике» писал: «Портреты — самый многочисленный отдел между произведениями Брюллова. Они же, без сомнения, и самый важный», в портрете «талант Брюллова является в полном блеске и силе» (*РВ*, 1861, № 10, стр. 345).

С т р. 65. *...оно обращалось в какой-то бредень...* — Бредень — рыболовная сеть.

С т р. 67. *Эту книгу ∾ привыкли видеть брата.* — См. стр. 289, а также «Воспоминания» М. Францевой (*ИВ*, 1888, № 6, стр. 628—632).

С т р. 67—68. *...жила одна дама, Настасья Ивановна ∾ за свой подарок...* — Прототипом вдовы Настасьи Ивановны была, очевидно, Наталья Степановна Крыжановская (см. письмо ее к Достоевскому из Омска от 4 августа—10 сентября 1861 г. в кн.: *Достоевский и его время,* стр. 251—254).

С т р. 68. *Говорят иные ∾ и величайший эгоизм.* — Намек на так называемую теорию «разумного эгоизма». Эта теория лежит в основе учения о морали просветителей XVII и XVIII вв., а также Л. Фейербаха. В России последователем ее был Н. Г. Чернышевский. В статье «Антропологический принцип в философии» (*С*, 1860, № 4, стр. 329—336; № 5, стр. 1—46) он подробно рассмотрел побуждения, руководящие людьми, которые стремятся «служить чужому благу» (см.: *Чернышевский,* т. VII, стр. 282)

С т р. 69. *...в швальни. .* — Швальня — швейная мастерская.

С т р. 70. *Цейхауз* — или цейхгауз (устар. нем. Zeughaus) — военный или вещевой склад.

С т р. 70. *Без меня меня женили — Я на мельнице был.* — Ср.: *СТ,* запись № 215.

С т р. 71. *Одна была песня у волка, и ту перенял...* — Ср.: *СТ,* запись № 132.

С т р. 71. *Я-то, положим, туляк ∾ галушкой подавились.* — Ср.: *СТ,* запись № 136.

С т р. 71. *...на черносливе да на пампрусских булках испытан...* — Ср.: *СТ,* запись № 128.

С т р. 71. *...братцы мои ∾ ветром торгуют...* — Ср. : *СТ,* запись № 43.

С т р. 71. *Вот тогда-то ∾ не рублей, а палок.* — Ср.: *СТ,* запись № 36.

С т р. 71. *Кому Лука ∾ а тебе дядюшка.* — Ср.: *СТ,* запись № 134.

С т р. 71. *...не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе...* — Ср.: *СТ,* запись № 188.

С т р. 71. *Да тебя и теперь ∾ рублей на сто будет.* — Ср.: *СТ,* запись № 133.

С т р. 72. *Прощай, Москва ∾ славно исполосовали!* — Ср.: *СТ,* запись № 241.

Стр. 72. *Поводырь был, гаргосов водил, у них голыши таскал...* — Ср.: *СТ*, запись № 172.

Стр. 72. *Я девствительно ∾ наказал его господь, — купил.* — Ср.: *СТ*, запись № 232.

Стр. 72. *На тысячу лет обругал ∾ меня сзади.* — Ср.: *СТ*, записи №№ 50, 240.

Стр. 72. *Погодя того немножко, Ак-кулинин муж на двор...* — Ср.: *СТ*, запись № 218.

Стр. 73. *Называли его пионером...* — Пионер — солдат саперной части инженерных войск, прокладывающей армии дорогу.

Стр. 73. *...талиновые чубучки...* — Талина (тальник) — кустовая ива, из которой делались чубуки для курительных трубок.

Стр. 74. *...шапка, гречневиком.* — Гречневик — хлеб из гречневой муки в виде конуса. Крестьянские войлочные валяные шапки по форме напоминали гречневик.

Стр. 74. *...ходит, точно редьку садит.* — Ср.: *СТ*, запись № 308.

Стр. 74. *Ну, а того-то ∾ мыши-то не едят.* — Ср.: *СТ*, запись № 159.

Стр. 75. *Трем курам корму раздать обочтется...* — Ср.: *СТ*, запись № 257.

Стр. 75. *Стрепета!* — Стрепет, или свистокрыл, — степная птица из рода драхв, производящая при полете резкий шум крыльями; стрепетать — шуметь.

Стр. 75. *Да что ж мне на вас чехлы понадеть...* — Ср.: *СТ*, запись № 386.

Стр. 75. *...маленькую кокору...* — Кокора — комлевая часть ствола, загнутого в виде крюка; кокоры кладут на днища барок в поперечном направлении.

Стр. 75. *...от вас работа не заплачет!* — Ср.: *СТ*, запись № 178.

Стр. 76. *Попался в мешок!* — Ср.: *СТ*, запись № 339.

Стр. 76. *А ты лучше ∾ на табашное разорение...* — Ср.: *СТ*, запись № 332.

Стр. 78. *...шабашное время...* — Шабаш — субботний отдых, предписываемый иудаизмом; в просторечии — окончание работы, свободное от работы время.

Стр. 83. *...про Наполеона спросить. ∾ в двенадцатом году был?* — Наполеон III (1808—1873), племянник Наполеона I, был с 1848 г. президентом Второй республики во Франции, а в 1852 г. провозгласил себя императором.

Стр. 84. *...про графиню Лавальер ∾ Дюма сочинение.* — Лавальер, Луиза Франсуа, герцогиня де (1644—1710), была фавориткой Людовика XIV. А. Дюма упоминает ее в романе «Виконт де Бражелон». Роман же «Герцогиня де Лавальер» написан французской писательницей С.-Ф. Жанлис (1746—1830) в 1804 г., перевод его на русский язык впервые появился в 1805 г. и затем неоднократно переиздавался. Ср. также стр. 180.

Стр. 87. *Они не люди слова ∾ идут до самой последней стены...* — Сходный мотив см. в «Записках из подполья», где речь идет о «непосредственных людях и деятелях» (ч. I, гл. 3 — наст. изд., т. V).

Стр. 88. *...стушевывается...* — Глагол «стушевываться» введен в литературу Достоевским в «Двойнике» (см. об этом в *ДП*, 1877, ноябрь, гл. 1, § II, а также наст. изд., т. I, стр. 489).

Стр. 89. *...в Ч-в...* — Имеется в виду Чернигов.

Стр. 89. *А вот горох поспеет — другой год пойдет.* — Ср.: *СТ*, запись № 230.

Стр. 89. *...в К-в...* — Очевидно, в Киев.

Стр. 89. «*Я ему ∾ моя голова!*» — Ср.: *СТ*, запись № 183.

Стр. 91. *За если б и в Москве сто рублей дают...* — Ср.: *СТ*, запись № 467.

Стр. 92. *Тимошка...* — Ср.: *СТ*, запись № 45.

Стр. 92. *...с кобылы снимали...* — Кобыла — столб с перекладиной, к которому привязывали наказываемого плетьми.

С т р. 92. *Балясина, как есть!* — Балясина — пустослов, (от фразеологического выражения «лясы (балясы) точить»).

С т р. 94. *Ты меня один раз ударишь ∾ был бы пан бог да грбши...* — Ср.: *СТ*, записи №№ 202, 91, 92.

С т р. 95. *...пели все ∾ переходя через Чермное море...* — Чермное море — Красное море. По библейскому сказанию, море расступилось перед евреями, когда они во главе с Моисеем уходили из Египта, и сомкнулось вновь, потопив их преследователей (см.: Библия, кн. Исход, гл. 14).

С т р. 95. *...он навязывал наручники ∾ какой-то деревянный ящичек.* — При утренней молитве евреи закрепляют на одной руке и на лбу выкрашенные в черную краску кожаные наглухо закрытые ящички — тефилин, в которых хранятся начала Пятикнижья с заповедями о любви к богу и к ближним.

С т р. 95. *Кунштик* (нем. Kunststück) — искусная махинация.

С т р. 100. *...послали это очи меня в Р. ...* — Имеется в виду Рига (см. выше, стр. 282).

С т р. 104. *...перед зерцалом сидишь!»* — Зерцало — трехгранная призма с указами Петра I о соблюдении законов; устанавливалась в судебных учреждениях как эмблема правосудия.

С т р. 104. *...таких дней всего было три в году.* — Кроме рождества, праздничными в остроге были еще два дня пасхи.

С т р. 106. *...к рождеству всегда разбрасывали у нас по казарме сено.* — Младенец Христос, по преданию, был положен в ясли (см.: Евангелие от Луки, гл. 1), отсюда обычай в рождество разбрасывать сено.

С т р. 109. *Яман* — плохо, дурно (татарск.).

С т р. 110. *У меня ль, младой...* — Ср.: *СТ*, запись № 277.

С т р. 111. *Свет небесный воссияет...* — Ср.: *СТ*, запись № 295.

С т р. 111. *Не увидит взор мой...* — Ср.: *СТ*, запись № 295.

С т р. 112. *...глаза-то у тебя не свои, а заемные!* — Ср.: *СТ*, запись № 206.

С т р. 112. *Будь здоров на сто годов, а что жил, не в зачет! — Ср.: СТ*, запись № 233.

С т р. 112. *Прежде, братцы, я много вина подымал...* — Ср.: *СТ*, запись № 225.

С т р. 112. *...вот тебе свет пополам ∾ не встречайся ты больше мне.* — Ср.: *СТ*, запись № 325.

С т р. 113. *Наша денежка ∾ на том свете.* — Ср.: *СТ*, запись № 370.

С т р. 113. *Он меня дерзнул!* — Ср.: *СТ*, запись № 243.

С т р. 114. *Круглолица, белолица...* — Ср.: *СТ*, запись № 215.

С т р. 114. *А уж кто празднику рад, тот спозаранку пьян...* — Ср.: *СТ*, запись № 176.

С т р. 115. *А я-то перед ними ∾ чего изволите!* — Ср.: *СТ*, запись № 79.

С т р. 115. *...был у меня от батюшки ∾ прилетят и опять улетят!* — Ср.: *СТ*, записи №№ 306, 123.

С т р. 115. *«Моя пусть рябая ∾ сколько одежи...* — Ср.: *СТ*, запись № 201.

С т р. 116. *...представление в нашем театре.* — Ш. Токаржевский пишет, что в качестве режиссера театрального представления был приглашен Достоевский (см.: *Звенья*, т. VI, стр. 506).

С т р. 117. *...и создалась афишка.* — Токаржевский приводит текст начала этой афишки (см.: *Звенья*, т. VI, стр. 506—507).

С т р. 117. *...в городе не было театра.* — В Омске, действительно, театра не существовало. Лишь изредка супруга корпусного квартирмейстера баронесса Сюрвильгельм устраивала любительские спектакли (см.: *Мартьянов*, стр. 270).

С т р. 118. *...«Филатка и Мирошка соперники».* — «Филатка и Мирошка соперники, или Четыре жениха и одна невеста» — популярный водевиль актера петербургского Александринского театра П. Г. Григорьева 2-го (1807—1854), вошедший в репертуар с начала 1830-х годов и упомянутый еще в «Невском проспекте» (1835) Н. В. Гоголя; водевиль этот был знаком Достоевскому

до каторги; о нем говорится в объявлении о выходе альманаха «Зубоскал»: «В театре смеются, когда „Филатку” дают» (см.: наст. изд., т. XVIII).

Стр. 118. *...платье с фальбалой...* — Фальбала (франц. falbala) — оборка.

Стр. 118. *...«Кедрил-обжора».* — Текст интермедии «Кедрил-обжора» неизвестен. В основе ее лежит «Отрывок из комедии о Дон-Яне и Дон-Педре», приведенный в сборнике «Русские драматические произведения 1672—1725 годов», изданном Н. С. Тихонравовым (СПб., 1874, ч. II, стр. 240—249). Дон Педро со временем превратился в Педрило, а затем в Кедрила (см.: Русская народная драма XVII—XX веков. Изд. «Искусство», М., 1953, стр. 326—328).

Стр. 124. *...на московском и петербургском театрах ∾ столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже...* — Водевиль «Филатка и Мирошка соперники» ставился на сцене Александринского театра в Петербурге с 1831 г. В нем дебютировал А. Е. Мартынов. На сцене Малого театра в Москве роль Филатки исполнял П. М. Садовский.

Стр. 125. *...крайнего щегольства и фешени.* — Фешень (англ. fashion) — стиль, фасон, мода.

Стр. 127. *...другой фантом тоже с фонарем на голове...* — Фантом (франц. fantôme) — призрак, привидение.

Стр. 127—128. *Оркестр начинает камаринскую. ∾ услыхал ее у нас в остроге.* — Камаринская — одна из наиболее любимых народом песен с явным антикрепостническим содержанием (см.: В. П. Адрианова-Перетц, Б. Н. Путилов. Народное поэтическое творчество времени крестьянских и городских восстаний XVII в. В кн.: Русское народное поэтическое творчество. М.—Л., 1953, стр. 364—365). На сатирический характер камаринской намекал Достоевский в «Селе Степанчикове и его обитателях» (см.: наст. изд., т. III, гл. VI, стр. 64). М. И. Глинка — автор «Камаринской», написанной для симфонического оркестра. О знакомстве Достоевского с музыкой Глинки и об использовании писателем этой народной песни см.: *Гозенпуд,* стр. 63—72.

Стр. 128. *Начинается пантомина под музыку.* — Сюжет этой пантомимы был широко известен, он сходен с эпизодом из «Ночи перед рождеством» Н. В. Гоголя (см.: *Пиксанов,* стр. 156).

Стр. 129. *...донцо́ валится...* — Донцо́ — доска, на которой сидит пряха, втыкая в нее кудель.

Стр. 129. *...раздается «Солнце на закате»...* — «Солнце на закате, время на утрате» (1799) — песня С. Митрофанова. Фольклоризированный вариант ее был чрезвычайно распространен (см.: Песни и романсы русских поэтов. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1963, стр. 179, 180, 989).

Стр. 130. *...военный госпиталь. ∾ в полуверсте от крепости.* — Деревянное здание госпиталя стояло на Грязной улице Бутырского форштадта. Дом этот сохранился, в нем и сейчас помещается один из корпусов госпиталя (см.: М. Юрасова. Узник Мертвого дома. «Сибирские огни», 1956, № 1, стр. 133).

Стр. 132. *...Т-к...* — Имеется в виду Тобольск.

Стр. 133. *...мохнорылый...* — Ср.: *СТ,* запись № 287.

Стр. 133. *...уж я лучше сапогу поклонюсь, а не лаптю.* — Ср.: *СТ,* запись № 278.

Стр. 147. *...«свежо предание, а верится с трудом»...* — Строки из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (акт II, сцена 2).

Стр. 151. *...умеешь вот такой-то стих наизусть?»* — Имеется в виду молитва «Отче наш».

Стр. 154. *...напоминающее маркиз де Сада и Бренвилье.* — Сад, Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740—1814), французский писатель. Совершил несколько уголовных преступлений. Для его романов характерно сочетание изображения утонченной жестокости и разврата, что и получило название садизма. Бренвилье, Мария Мадлена, маркиза де (1651—1675), известна как отравительница, наслаждавшаяся муками своих жертв. В статье 1861 г. «Ответ „Русскому вестнику”» Достоевский упоминал эти же имена

в связи с характеристикой героини «Египетских ночей» А. С. Пушкина—Клеопатрой.

Стр. 154. *Тиранство есть привычка; оно одарено развитием...* — Ср. с авторской репликой в «Дядюшкином сне»: «...тирания есть привычка, обращающаяся в потребность» (см.: наст изд., т. II, стр. 359, 518).

Стр. 159. *...наше нещечко...* — Нещечко — сокровище (укр.); здесь употреблено в ироническом смысле.

Стр. 162. *Ишь, наговорил! На трех возах не вывезешь.* — Ср.: *СТ*, запись № 460.

Стр. 162. *Любил медок, люби и холодок...* — Ср.: *СТ*, запись № 315.

Стр. 163. *А вы как ∾ благоволите нам.* — Ср.: *СТ*, запись № 180.

Стр. 163. *...у генерала Кукушкина ** служат.* — Ср.: *СТ*, запись № 56.

Стр. 163—164. *Ты кто? ∾ Потачивай небось...* — Ср.: *СТ*, запись № 55.

Стр. 164. *Пиши, как умеешь ∾ как я пишу?* — Ср.: *СТ*, запись № 52.

Стр. 164. *А ты разве ∾ я и разучился...* — Ср.: *СТ*, запись № 400.

Стр. 167. *«Здравствуйте, батюшка ∾ тоже небо коптим».* — Ср.: *СТ*, запись № 83.

Стр. 167. *...научишься шилом молоко хлебать.* — Ср.: *СТ*, запись № 262.

Стр. 167. *...экономию с двух грошей ∾ не годится ли в кашу.* — Ср: *СТ*, запись № 116.

Стр. 167. *...змеиное ты сало, щучья ты кровь?..*—Ср.: *СТ*, запись № 117.

Стр. 168. *...на житье схватились.* — Ср.: *СТ*, запись № 25.

Стр. 168. *...за сто раков не соглашусь.* — Ср.: *СТ*, запись № 273.

Стр. 168. *На торбе хорошо играл.* — Торба — очевидно, искаженное «торбан» — струнный щипковый музыкальный инструмент, напоминающий бандуру (итал. tiorbə).

Стр. 168. *...Дом у нас ∾ тряпицу жуем.* — Ср.: *СТ*, записи №№ 224, 105.

Стр. 168. *Это мне теперь дороже киселя...* — Ср.: *СТ*, запись № 298.

Стр. 168. *Чисто ходишь ∾ кого любишь!* — Ср.: *СТ*, запись № 101.

Стр. 168. *Салфет вашей ∾ с кем живешь!»* — Ср.: *СТ*, записи №№ 214, 100.

Стр. 169. *«Что ты зубы-то моешь, бесстыдница!»* — Ср.: *СТ*, запись № 409.

Стр. 169. *...а на всякий роток не накинешь платок.* — Ср.: *СТ*, запись № 329.

Стр. 170. *...на мне смушачья шапка ∾ платочек шелковый...* — Ср.: *СТ*, запись № 326.

Стр. 170. *«Девоньки, умницы, вы что знаете?* — Ср.: *СТ*, запись № 33.

Стр. 170. *«У тебя, говорю, матушка, золотом уши завешаны.* — Ср.: *СТ*, запись № 266.

Стр. 171. *«Супруга ∾ всем хороша...* — Ср.: *СТ*, запись № 285.

Стр. 171. *Руки свяжут, язык не завяжут.* — Ср.: *СТ*, запись № 459.

Стр. 171. *...встала неладно, пошла нехорошо.* — Ср.: *СТ*, запись № 410.

Стр. 171. *«Не хочу в ворота, разбирай заплот!»* — Ср.: *СТ*, запись № 82.

Стр. 173. *«Кому, говорю, присягаешь? ∾ Овдотьей звали ее.* — Ср.: *СТ*, запись № 48.

Стр. 174. *...вышел какой-нибудь Робинзон Крузе...* — Робинзон Крузо—герой известного романа Д. Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (1719; русский перевод — 1762—1764).

Стр. 176. *«Вы — железные носы, вы нас заклевали!»* — Ср.: *СТ*, запись № 59.

Стр. 177. *«...но яко разбойника мя прийми»...* — См.: Молитвослов. Последование ко святому причащению. Молитва Василия Великого, 1.

Стр. 178. *...песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега.* — Левый берег Иртыша населяют казахи, которых в царской России ошибочно называли киргизами или киргиз-кайсаками.

Стр. 179. *Ворон ворону глаз не выклюет!* — Ср.: *СТ*, запись № 243.

Стр. 180. *...мальчик не мот, а деньгам перевод.* — Ср.: *СТ*, запись № 480.

Стр. 181. *В брюхе-то с воды-то небось караси завелись?..* — Ср.: *СТ*, запись № 454.

Стр. 181. *...другую фуру везет.* — Ср.: *СТ*, запись № 469.

Стр. 181. *Черного кобеля не отмоешь добела.* — Ср.: *СТ*, запись № 450.

Стр. 184. *...прибыл и ревизор.* — По свидетельству П. К. Мартьянова, ревизовать дела был прислан генерал-от-инфантерии Шлиппенбах (см.: *Мартьянов*, стр. 261).

Стр. 193. *...орел (карагуш)...* — Карагуш — слово казахского происхождения (каракус).

Стр. 200. *На чужой кусок* ∞ *свой затевай.* — Ср.: *СТ*, запись № 263.

Стр. 200. *Богат Ерошка, есть собака да кошка.* — Ср.: *СТ*, запись № 464.

Стр. 200. *Тебе небось разжуй* ∞ *жеваное есть.* — Ср.: *СТ*, запись № 249.

Стр. 200. *...поссорь, боже, народ, накорми воевод.* — Ср.: *СТ*, запись № 470.

Стр. 200. *Наш-то два часа прожил на кулаках.* — Ср.: *СТ*, запись № 343.

Стр. 203. *Под девятую сваю, где Антипка беспятый живет!* — Ср.: *СТ*, запись № 213.

Стр. 206. *Ишь, толстая рожа, в три дня не...!* — Ср.: *СТ*, запись № 217.

Стр. 206. *Где та мышь, чтоб коту звонок привесила?..* — Ср.: *СТ*, запись № 373.

Стр. 210. *...У-горск.* — Имеется в виду Усть-Каменогорск.

Стр. 212. *...большая масса ссыльных дворян...* — Достоевский говорит о декабристах.

Стр. 213. *...в то недавнее давнопрошедшее время...* — В данном случае Достоевский говорит, что он описывает старые каторжные порядки, которые теперь уже изменились к лучшему; ср. примечание писателя к стр. 152. Г. Берлинер относит этот прием к одной из «цензурных уловок» Достоевского (см.: *Берлинер*, стр. 48—84).

Стр. 213. *...три дочери генерал-губернатора...* — Генерал-губернатором Западной Сибири в 1851—1853 гг. был П. Д. Горчаков (1789—1868), у него было четыре дочери. По свидетельству Мартьянова, трое из них приезжали к отцу в Омск погостить (см.: *Мартьянов*, стр. 247).

Стр. 216. *Из инженеров* ∞ *симпатизировавшие.* — Это был подпоручик К. И. Иванов.

Стр. 216. *...кто-то уж успел донести!* — В воспоминаниях Мартьянова назван дежурный штаб-офицер полковник А. А. Мартин, доложивший о «письменных занятиях» арестантов корпусному командиру (см.: *Мартьянов*, стр. 251).

Стр. 217. *...А-чуковский* ∞ *Б-м...* — Поляки Анчуковский и Бем упомянуты Ш. Токаржевским в его воспоминаниях.

Стр. 218. *...а я — божьею милостью * майор.* — Ср.: *СТ*, запись № 74.

Стр. 219. *...каптенармус.* — Каптенармус (франц. capitain d'armes) — унтер-офицер, ведающий хранением имущества и выдачей провианта.

Стр. 222. *...весьма пригожая девица, по прозвищу Ванька-Танька...* — С «Ванькой-Танькой» Достоевский встретился еще раз в Семипалатинске. По свидетельству А. Е. Врангеля, эта встреча послужила поводом для написания главы «Побег» (см.: *Врангель*, стр. 67—70).

Стр. 225. *Жили — не люди, померли — не покойники.* — Ср.: *СТ*, запись № 411.

Стр. 225. *Кольцов не найти концов!* — Ср.: *СТ*, запись № 198.

Стр. 226. *Сибиряк соленые уши.* — Ср.: *СТ*, запись № 85.

Стр. 226. *Вы с дядей Васей коровью смерть убили *...* — Ср.: *СТ*, записи №№ 15 и 70.

С т р. 226. *«Помилуй мя ∾ и так дальше...»* — Ср.: *СТ*, запись № 6.
С т р. 227. *Якши! ух, якши!* — Якшп — хорошо (татарск.).
С т р. 227. *...йок?* — Йок — нет (татарск.).
С т р. 227. *...твоя врала, моя не разобрала...* — Ср.: *СТ*, запись № 355,
С т р. 228. *Пробуровят тысячу...* — Ср.: *СТ*, запись № 97.

СИБИРСКАЯ-ТЕТРАДЬ

(Стр. 235)

Печатается по рукописи: *ГБЛ*, ф. 93. I. 2.5.

Впервые напечатано: по копии А. Г. Достоевской (хранится в отделе рукописей *ИРЛИ*, 29.450.ССХб.6) — *Пиксанов*, стр. 152—180; по автографу (с неточностями) — *Звенья*, т. VI, стр. 415—438.

В собрание сочинений включается впервые.

Рукопись (28 л., 55 стр.) является черновым автографом без заглавия и даты и представляет собой самодельную тетрадь, сшитую из листов простой писчей бумаги. В ней 486 пронумерованных записей, сделанных чернилами. Цифра эта не вполне соответствует фактическому их количеству: в двух местах счет нарушается; некоторые записи пронумерованы дважды (№375). Отдельные записи и позднейшие дополнения вписаны между строками или на полях. Это свидетельствует о том, что Достоевский неоднократно возвращался к Тетради. Многие записи (№№ 13, 57, 74, 81, 83, 88, 117, 124, 125, 151, 158, 168, 249, 254, 259, 261, 263, 268, 271, 272, 275, 288, 290, 291, 339, 355, 382, 428, 431, 438, 453—455, 459, 461, 463, 464, 468, 470, 484, 486) отмечены — возможно, самим Достоевским — прямыми или косыми крестиками. Перед некоторыми из них стоит знак N3. Местами записи выцвели или стерты.

Сибирскую тетрадь Достоевский начал вести в годы пребывания в омской каторге. Это первая дошедшая до нас записная книжка писателя. По рассказам старожилов, Тетрадь хранилась у фельдшера омского военного госпиталя А. И. Иванова.[1]

Самая ранняя дата, встречающаяся в Сибирской тетради, — 1855 г., наиболее поздняя — 1860 г. Однако первая дата находится в середине записей, следовательно, Тетрадь была начата раньше, скорее всего в 1852—1853 гг. Одна запись в Тетради (№ 459) датирована «⟨18⟩46»; эта описка Достоевского исправлена в тексте.

Несколько записей имеют автобиографический характер или подтекст. При них есть (в скобках) пометы, которые, возможно, имели особое значение для писателя. Таковы пометы после записей под номерами 364, 387, 398, 429, 435, 442, 450, 453, 459, 469, 486.

С прибытием в омский острог для Достоевского началась «долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь» (см. письмо к Н. Д. Фонвизиной от двадцатых чисел февраля 1854 г.). Одним из самых тягостных для него испытаний была «почти полная невозможность иметь книгу». «В каторге я читал очень мало, решительно не было книг. Иногда попадались», — сообщал писатель А. Н. Майкову 13 января 1856 г. «Не могу вам выразить, — писал он в том же письме, — сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать». Достоевский называл годы, проведенные на каторге, временем,

---

[1] См. об этом: Г. В я т к и н. Достоевский в омской каторге. «Сибирские огни», 1925, № 1, стр. 179. — Историю заполнения тетради, анализ записей см. в работе: Н. И. Я к у ш и н. «Сибирская тетрадь» Ф. М. Достоевского. «Труды Ново-Кузнецкого гос. педагогического института», 1960, т. 3, стр. 25—37.

когда он «был похоронен живой и закрыт в гробу» (см. письмо к М. М. Достоевскому от 6 ноября 1854 г.). Но, несмотря на невозможность читать и писать, творческая работа мысли, наблюдения, размышления не прекращались и в это ужасное четырехлетие; как говорил писатель А. Н. Майкову в указанном выше письме, «...внутренняя работа кипела».

В середине XIX в. в сибирских тюрьмах, на каторге и поселении находились сотни тысяч крестьян, мещан, интеллигентов. Неустройство общественной жизни крепостной России, различные формы жестокого угнетения народа являлись причиной многочисленных и разнообразных одиночных проявлений протеста, обычно стихийного. Нигде так полно не раскрываются особенности и характерные черты народного мироощущения и мировоззрения, как в фольклоре, и нигде насильно не объединяется столько различных по возрасту, национальности, взглядам, вкусам и характерам людей, как в тюрьме. Социальные условия вызывали протест прежде всего в людях незаурядных, мужественных. Писатель с полным основанием мог сказать, что каторжные — «может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего» (стр. 231).

Достоевский не задавался специальной целью записывать фольклор острога. Это видно из его письма от 15 апреля 1855 г. к Е. И. Якушкину, советовавшему делать такие записи: «Пишете вы о сборе песен. С большим удовольствием постараюсь, если что найду. Но вряд ли. Впрочем, постараюсь...» Записей песенных текстов в отрывках в Сибирской тетради действительно немного. Но в целом фольклор тюрьмы середины XIX в. отражен в Сибирской тетради очень полно и представляет большой интерес для фольклористов, этнографов, современного читателя. Это едва ли не первые подлинные записи народного слова в тюрьме. Они предшествуют ряду появившихся в конце XIX в. этнографических и лингвистических исследований тюремного быта и языка. Поговорки, пословицы, отрывки тюремных легенд, анекдотов и песен, обрывки разговоров, отдельные меткие выражения, как будто только что сорвавшиеся с языка, доносят до читателя многоголосый и разноязычный говор тюремной толпы, волнуют живой непосредственностью реакции собеседников. Точность фиксации фольклорно-языкового материала не подлежит сомнению, о чем свидетельствуют и отрывочный характер записей, и наличие буквальных совпадений и близких вариантов в известных фольклорных собраниях и публикациях.

Само по себе появление тюремного жаргона представляло одну из форм защиты арестантами своей внутренней жизни и своих интересов. На это указал С. В. Максимов: «Тюремный словарь невелик. Сочинялись или принимались слова с ветру настолько, насколько это нужно было против приставников, смотрителей и надзирателей... Скрыть карточную игру... предостеречь товарищей, сговориться с ними — для этих целей двумя-тремя десятками слов тюремные сидельцы могут свободно и легко обходиться... Самостоятельность ⟨в пополнении словаря, — *Ред.*⟩ могла проявиться лишь от влияния большинства. Мы имеем случай доказать это теми словами, которые подмечены Ф. М. Достоевским в омской военной тюрьме» (см.: *Максимов,* стр. 160—161).

Записи Достоевского показывают, что фольклор тюремной камеры — это в основном традиционный фольклор русского крестьянства с незначительными вкраплениями локальных элементов. Произведения тюремного фольклора, возникшие на народной основе, отличаются большей резкостью и остротой. Возникают новые тексты и новые варианты известных пословиц и поговорок, отмечающих уродливые явления и острые социальные противоречия общественной жизни. Таковы поговорки о нищете, приведшей на каторгу: «У меня братья в Москве в прохожем ряду ветром торгуют», «Подаянная голова. Голову тебе в Тюмени подали»; меткие прозвища и уклончивые ответы профессиональных бродяг, превратившиеся в поговорки: «Ефим без прозвища», «Точи не зевай», «Потачивай небось», «Ты откуда, а я чей». Отрицательное отношение к религии, церкви и духовенству отразилось в иронических переделках церковных молитв («Повели меня в полицию по милости твоей» вместо «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей»), в насмешливых во-

ровских названиях церковной утвари и икон: «Ванька-крикун» — Иоанн Златоуст, «махальница» — кадило, «дьяконов чересседельник» — парчовая перевязь, деталь облачения дьякона, и т. п. Критика официальной России, заключающаяся в тюремных рассказах, песнях, анекдотах и поговорках, делает Сибирскую тетрадь Достоевского особенно ценной.

Некоторые из записанных Достоевским выражений и слов тюремного жаргона, пословиц и поговорок явились первой и единственной их фиксацией и были использованы впоследствии исследователями (см.: *Трахтенберг*, стр. 24; *Максимов*, стр. 161; *Тонков*, стр. 34). Многие легенды, анекдоты и поговорки были позднее отмечены другими писателями, которым вольно или невольно также пришлось близко узнать мир тюрьмы, каторги, ссылки (С. В. Максимовым, В. Г. Короленко, П. Ф. Якубовичем).

Содержание Сибирской тетради, несмотря на лаконичный и отрывочный характер записей, дает представление об искалеченных судьбах и характерах. «В „блатной музыке", — писал И. А. Бодуэн де Куртенэ в предисловии к книге В. Ф. Трахтенберга, — много голого, неприкрашенного цинизма, но вместе с тем сколько там под иными словами кроется трагедий, семейных несчастий, погибших жизней, сердечной боли, пролитых слез!» (см.: *Трахтенберг*, стр. XVI). Эти слова в полной мере характеризуют и записи Сибирской тетради.

Получив в семипалатинские годы «возможность писать и быть каждодневно несколько часов одному» (см. упоминавшееся выше письмо к Н. Д. Фонвизиной), Достоевский «какими-то порывами и урывками» начал работать. Возобновив занятия литературным трудом, он широко пользовался для своих художественных произведений материалами Сибирской тетради. Особенно много почерпнуто из нее для «Записок из Мертвого дома» (см. стр. 275). Около 50 лексических и фразеологических оборотов из Тетради писатель вложил в уста героев повести «Село Степанчиково и его обитатели». Материалами Тетради Достоевский пользовался также во многих позднейших произведениях (см. в наст. изд. комментарии к романам «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»).

В примечаниях к Сибирской тетради указывается порядковый номер текста, а затем поясняются непонятные по смыслу слова, называются жанровые разновидности фольклорных текстов, близкие им варианты и источники их.

Наряду с русскими в Тетради имеются также отдельные польские, украинские, еврейские, татарские выражения. Так как обычно они встречаются в сочетании с русскими и понятны без перевода, то русского их перевода в комментарии не дается.

1) *Эй, ты! деньги есть, а спишь* — по-видимому, тюремная шуточная поговорка. Близких вариантов в других источниках не найдено.

2) *Нашего брата ∾ сами родимся* — перефразированная общерусская поговорка «Дураков не орут, не сеют, а сами родятся» (см.: *Даль, Пословицы*, стр. 438).

5) *Не слушался ∾ барабанной шкуры.* — Ср.: «Не слушался отца, послушаешься кнутца»; «Кто не слушается отца-матери, послушается телячьей шкуры (барабана)»; «Не слушается отца-матери, послушается ката» (*Даль, Пословицы*, стр. 224, 633).

7) *Вышел на дорогу ∾ вот те рубль»* — тюремный анекдот; вариант: *Максимов*, стр. 79.

8) *А в доме ∾ из избы выманить.* — Ср.: «У него в доме нечем собаки заманить» или «И голодной собаки выманить нечем» (*Даль, Пословицы*. стр. 88, 592).

9) *В брюхе-то у них Иван Таскун да Марья Еготишна.* — Искаженное «Икотишна», или «Икотница», — «арестантская болезнь, зависящая от дурной и преимущественно сухой, без приварка, пищи; Иван Таскун — та же желудочная болезнь с более сильными и острыми припадками» (см.: *Максимов*, стр. 161).

10) *Здравствуй ∾ собакам раскидал.* — Ср.: *Даль, Пословицы,* стр. 751—753.

11) *Черт трое лаптей сносил...* — Ср.: «Буй да Кадуй черт три года искал, трое лаптей истаскал, да так и не нашел» (*Короленко,* т. VII, стр. 70; см. также: *Даль, Пословицы,* стр. 337).

12) *Жулик* — нож; см. стр. 90, а также: *Трахтенберг,* стр. 34.

13) *Семеро одного не боимся* — краткий вариант иронической пословицы. Ср.: «Вятский — народ хватский: семеро одного не боятся» (*Пословицы,* стр. 181).

14) *При конце света ∾ бог создал ровно* — отрывок апокрифического рассказа о конце света; подобные рассказы были широко распространены (ср.: В. Г. Короленко. Записные книжки (1880—1900). М., 1935, стр. 120—121; 144—145).

15) *...козья смерть.* — Ср. запись № 70 («коровья смерть») и стр. 226 с подстрочным примечанием Достоевского, в котором это выражение разъясняется.

16) *Я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть* — по-видимому, шуточное присловье, перефразированное в тюремно-арестантской среде (ср.: «Я сама боюсь того — не отбить бы у кого» — *Соболевский,* т. VII, стр. 251).

17) *Чтоб тебя взяла чума бендерская ∾ так пусть и бьет (колотит)* — отрывок текста, по форме близкого к «черным заговорам» на гибель врага, заканчивающимся проклятиями и насыланиями болезней. Чума бендерская — народное название эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1765—1772 гг. в Молдавии, Валахии, Бессарабии, распространившейся в Киеве и Москве и вызвавшей большие народные волнения; Бендеры — крепость на берегу Днестра на границе Молдавии и Бессарабии. Язва сибирская — название эпидемии (см.: *Даль,* т. IV, стр. 184).

22) *Да будь ты проклят на семи кабаках.* — Ср. с раскольничьими пословицами: «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи»; «Чай, кофе, картофель, табак прокляты на семи вселенских соборах» (*Даль, Пословицы,* стр. 46).

29) *Отдай всё, да и мало* — поговорка, выражающая одобрение или восхищение удачно сделанным или сказанным.

31) *Придется понюхать кнута* — фразеологизм, означающий на тюремно-арестантском жаргоне наказание кнутом «на кобыле». Ср. записи №№ 42, 92.

35) *Пришлось мне пройти по зеленой улице* — т. е. пройти сквозь строй солдат со шпицрутенами, получая определенное судом число ударов по обнаженной спине. Ср. запись № 169.

37) *Я ведь, брат, взят от сохи Андреевны* — присловье, означающее крестьянское происхождение; в более широком смысле — о человеке незнатного, низкого происхождения. Подобное величание сохи встречается и в других поговорках: «Полюби Андревну — будешь с хлебом» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 525).

38) *Переменил участь* — выражение из тюремно-арестантского жаргона, означающее побег, за которым следуют новый суд и приговор. См. стр. 66 и 175, где Достоевский раскрывает содержание этого «термина».

39) *Варнак ∾ сильнокаторжный.* — Варнак, варначий сын — каторжанин (см.: *Даль,* т. I, стр. 168), употреблялось как бранное в сибирском и уральском говорах (см.: *Максимов,* стр. 17); посельской сын — сын человека, сосланного на временное или пожизненное поселение в Сибири; сильнокаторжный — ироническая переделка арестантами официального названия осужденных на каторгу и ссылку «ссыльнокаторжный».

40) *Эх ты, подаянная голова* — насмешливое прозвище, употребляемое в тюремной среде по адресу нищих арестантов, пробавляющихся подаянием.

43)*...в прохожем ряду ветром торгуют* — поговорка о нищих бродягах. Близких вариантов не найдено.

44) *По находным деньгам, по столевской части* — выражение из тюремно-воровского жаргона; означает воровство со взломом (см.: *Трахтенберг,* стр. 57).

45) *Крестный отец! ∾ палач!* — поговорка о человеке, рожденном в тюрьме или на каторге и обреченном поэтому по законам того времени на каторгу и вечное поселение в Сибири (см.: *Короленко*, т. I, стр. 216).

55) «*Тебя как зовут?*» ∾ «*Потачивай небось*» — запись шуточного рассказа о допросе бродяг, обычно скрывающих свое имя и происхождение. В прозвищах и кличках бродяг, записанных Достоевским, содержатся намеки на их биографию, понятные только арестантам. «Псевдонимы каторжных всегда выражают поползновение на своего рода остроумие... Прозвания берут по первому вдохновению, но не без скрытого желания насмешки над допросчиками и сыщиками» (см.: *Максимов*, стр. 216).

56) *Пошел служить генералу Кукушкину, махни-драло сделал* — пословичные выражения из тюремного жаргона, означающие побег. В арестантской среде существовала легенда о бродяжьем генерале (иносказательное название кукушки), сзывающем весной бродяг к себе на службу. Считалось, что человек, побывавший «на вестях у генерала Кукушкина», уже не может мириться с тюремным режимом и совершает побеги систематически (см.: *Даль, Пословицы*, стр. 274; *Короленко*, т. I, стр. 500; В. Крестовский. Сочинения, т. I. СПб., 1898, стр. 193; *Максимов*, стр. 64; Д. Кеннан. Сибирь и ссылка. СПб., 1906, стр. 208).

57) «*Что везешь? ∾ так чего спрашиваешь?*» — тюремный вариант народного анекдота (см.: *Афанасьев*, т. III, стр. 292; *Андреев*, № 2051).

58) *...четушку поставить.* — Четушка — название четверти штофа, который составлял $^1/_{10}$ ведра (см.: *Даль*, т. IV, стр. 602). На тюремном жаргоне четушкой называлась также любая печать (см.: *Трахтенберг*, стр. 65).

59) *Железные носы* — прозвище следственных или осужденных «политических» преступников (иначе: железоклюи). В более широком смысле — представители привилегированных сословий, дворяне (см.: *Трахтенберг*, стр. 24).

63) *Сек бы ты тогда ∾ а не теперь.* — Ср.: «Не учили поперек лавочки»; «Не учили, когда поперек лавочки лежал, а во всю вытянулся — не научишь» (*Даль, Пословицы*, стр. 422).

65) *Собрали слезы, послали продать* — присловье, выражающее насмешку над крайней нищетой. Близких вариантов не найдено.

66) «*Рады, что здесь до чистяка добились*». — Чистяк — «хлеб из чистой муки без примеси мякины, т. е. обыкновенный хваленый артельный хлеб» (см.: *Максимов*, стр. 161). См. стр. 23 с примечанием Достоевского к этому слову.

67) *Знать, тебя черт ядрами кормит* — шуточная поговорка о тех, кто крепок здоровьем. Ср.: «У богатого черт детей качает» (*Даль, Пословицы*, стр. 82).

68) *...у бабе простокишу поел ∾ Крыночная блудница.* — Поесть простокиши — бежать из острога и уже через несколько дней быть пойманным (см.: *Трахтенберг*, стр. 49). Крыночная блудница — прозвище тех, кто попал в Сибирь за пустяковую вину.

69) *Да вот ∾ пошел странствовать.* — Имеется в виду отправка по этапу после очередного побега.

71) *Ну! бирюлину корову привели.* — Бирюля — свирель, дудка, камышовая сопелка или игрушка; бирюлечник — делающий бирюльки (см.: *Даль*, т. I, стр. 89). Общий смысл выражения неясен.

72) *...с невымытым рылом в калашный ряд.* — Ср.: «С посконной рожей да в красные ряды»; «Куда нам с посконным рылом да в суконный ряд» (*Даль, Пословицы*, стр. 638, 733).

74) *А я, брат, божиею милостию майор.* — См. стр. 218 с подстрочным примечанием Достоевского.

75) «*Ах ты, язевой лоб!*» — Язевой — клейменый. По Уложению 1845 г., сосланным в каторжные работы, за исключением лиц из привилегированных сословий, ставили клейма на лбу и на щеках.

76) *И махальницу ∾ заодно стащил.* — Слова из воровского жаргона: махальница — кадило (в богатых церквах и соборах они были серебряные на позолоченных цепях); едальница — чаша для причастия, обычно из серебра; дьяконов чересседельник — орарий (орарь), или порамница, часть

облачения в виде перевязи из золотой парчи с крестами по левому плечу (см.: *Даль,* т. II, стр. 689); подбородник — часть оклада иконы, жемчужная цата, т. е. подвеска в виде круглого воротника (см. там же, т. IV, стр. 751); Ванька-крикун — по-видимому, Иоанн Златоуст (название иконы). Значение слова «хлопотница» установить не удалось.

77) *«Ах, как дедушка на бабушке огород пахал!»* — по-видимому, строка из плясовой песни (ср. с плясовой «Зять на теще капусту возпл» — ИРЛИ, Р. V, к. 291, п. 1). Близкого варианта не найдено.

80) *Бостон* — название карточной игры.

81) *...а носы всё курносые.* — Курносый нос считался признаком низкого происхождения.

82) *...разбирай заплот.* — Заплот — забор, деревянная сплошная ограда из досок или бревен (см.: *Даль,* т. I, стр. 636).

83) *«Здравствуйте, батюшка!* ∾ *«Живите больше, Анкудим Трофимыч!»* — диалог, включающий присловья «Дела — как сажа бела» (см.: *Пословицы,* стр. 153) и «Живем — только небо коптим» (там же, стр. 285).

84) *Глухой не дослышит, так допытается.* — Близких вариантов этой пословицы не найдено.

85) *Сибиряк соленые уши* — прозвище, применяемое чаще всего к пермякам; дано за любовь к пельменям.

88) *Старое дерево скрипит, да живет.* — Ср.: «Скрипучее дерево два века живет»; «Дуплястое дерево скрипит, да стоит, а крепкое валится» и др. (*Даль, Пословицы,* стр. 399).

90) *«Подлец ты, а не каган».* — Каган — в древнерусском языке и у тюркских народов — князь, государь (глава государства). На тюремно-арестантском жаргоне — важная птица.

91) *Хоть пархатый, да богатый* — устойчивый традиционный фразеологизм типа присловья (отповедь). Ср.: «Хоть паршивый, да счастливый» (*Federowski,* № 10260).

92) *...был бы пан бог да грбши* — поговорка, распространенная среди польских евреев и западных белоруссов (см.: *Federowski,* № 3103).

93) *Ври, Емеля, твоя неделя* — вариант известной поговорки о болтунах, хвастунах и лгунах. Ср.: «Мели, Емеля, твоя неделя» (*Даль, Пословицы,* стр. 203).

95) *...ни шатко, ни валко, ни на сторону* — вариант поговорки типа «Ни то ни се», «ни тпру ни ну» и др. (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 473—474).

96) *Чужую беду* ∾ *ума не приложу* — вариант пословицы «Чужую беду на бобах разведу, а к своей и ума не приложу» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 155; *Пословицы,* стр. 181).

97) *Пробуровил тысячу* — т. е. был приговорен к тысяче шпицрутенов.

98) *А! ты, верно, Неробелов?* — Характерный для тюремно-арестантской среды пример образования фамилии типа прозвища (Неробелов, т. е. не из робких), определяющей основную черту характера или поведения заключенного.

99) *...из семи печей хлеба едал* — сокращенный вариант пословицы, характеризующей бывалого человека. Ср.: «На возу и под возом бывал, хлеб из многих печей едал»; «И на коне бывал, и под конем бывал» (*Даль, Пословицы,* стр. 490).

100) *Чисто ходишь* ∾ *с кем живешь?* — начало плясовой песни. Ср.: «Баско ходишь, где берешь? Дай подписку, с кем живешь» (*Песни Печоры,* №№ 86, 336). Реплика «С каким словом сказать» подчеркивает грубый характер начала песни.

101) *Чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь?* — начало распространенной лирической песни; здесь она противопоставлена предыдущей грубой, плясовой.

102) *...рубашку сарпинковую.* — Сарпинка — тонкая бумажная ткань в клетку или в полоску.

104) *На обухе рожь молотили* — вариант известной пословицы о скупых. Ср.: «На обухе рожь молотит, из мякины кружево плетет» и др. (*Даль, Пословицы,* стр. 109; *Даль,* т. II, стр. 649).

105) *...девятый день тряпицу жуют.* — «Жевать тряпицу» — то же, что «тряпку сосать», — фразеологизм пословичного типа; обычно так говорят о беспомощных, нерешительных и робких людях; здесь: голодные.

108) *...а я вдоль по каторге* — т. е. осужден на пожизненную каторгу (см.: *Максимов,* стр. 65).

110) *Люди ложь, и я то ж.* — Ср.: «Всяк человек — ложь, и мы то ж» (*Даль, Пословицы,* стр. 200).

111) *Ты откуда, а я чей?* — тюремная шутка по адресу бродяг, утверждающих, что они не помнят своей губернии, деревни, имени и фамилии («Иваны непомнящие»).

115) *«Нашим курским?» ∾ «Нет, брат, за постой у нас деньги платят. Отваливай»* — диалог, характеризующий увертливость арестантов в ответах. Ср.: «За постой деньги платят, а посиделки даром» *(Даль, Пословицы,* стр. 508).

118) *...запасные колотья...* — См. стр. 143, где Достоевский разъясняет это выражение.

122) *Будут денежки, будут и девушки* — пословица, по-видимому распространенная в тюрьмах Сибири. Ср.: «Были бы бумажки, будут и милашки» (*Даль, Пословицы,* стр. 82).

123) *Деньги — голуби; прилетят и опять улетят.* — Ср. варианты этой пословицы: «Деньги — голуби; где хотят, там и сидят» или «...где обживутся, там и поведутся» *(Даль, Пословицы,* стр. 94).

124) *Молодец против овец, а против молодца и сам овца.* — Ср.: «Молодец на овец, а на молодца и сам овца» (*Даль, Пословицы,* стр. 272; *Пословицы,* стр. 182).

127) *Огорошил, околпачил* — слова из тюремно-арестантского жаргона. Огорошить — удивить; околпачить — обмануть (см.: *Максимов,* стр. 161).

128) *...на панпрусских булках...* — Панпрусские — искаженное «французские».

132) *Одна была песня у волка, и ту перенял.* — У Даля приведена как пословица о зевоте (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 156). В Сибири употребляется для характеристики монотонного, заунывного пения (см.: *Короленко, Сиб. очерки,* ч. 2, стр. 384).

136) *...а вы-то в Полтавской губернии галушкой подавились* — известная дразнилка по адресу украинцев. Подобные дразнилки, адресованные жителям разных губерний и городов, близкие к анекдоту, были широко распространены в крестьянском фольклоре, например: в Сибири бабы соболей коромыслами бьют; ладожане щуку с яиц согнали; во Владимире и лапшу топором крошат; угличане толокном Волгу замесили и др. (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 329—346)

137) *Никакой фартикультяпности нет.* — Фартикультяпность — очевидно, производное от слова «фарт» — риск, удача, неожиданное счастье, везение (см.: *Максимов,* стр. 161; *Короленко, Сиб. очерки,* ч. 2, стр. 155).

138) *...а подожди, так и ничего не будет* — пословица о безысходной нищете, о полной безнадежности. Ср.: «Было добро, да давно; опять будет, да уж нас не будет»; «Еще и то будет, что и нас не будет» (*Даль, Пословицы,* стр. 78).

140) *От огня ∾ что-нибудь да останется* — краткий вариант пословицы «Вор хоть стены оставит, а огонь — ничего» или «Воры обкрадут — стены останутся, а огонь в разор разорит» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 929).

141) *Ты говори тому ∾ а я брат ему.* — Ср.: «Сказывай тому, кто знает Фому, а я родной брат ему» (*Даль, Пословицы,* стр. 490).

144) *Нет ничего! пуля!* — т. е. ложный слух, неправда.

145) *Со всем Максим, и шапка с ним.* — Ср.: «...и Аксинья с ним» или «...и котомка с ним» (*Даль, Пословицы,* стр. 496, 568).

148) *А в поле четыре воли!* — краткий вариант общерусской поговорки. Ср.:«В чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда. хоть инаково» (*Даль, Пословицы,* стр. 841; *Пословицы,* стр. 48).

150) *«Здорово, ребята!» ∾ «Женатые, ваше благородие»* — юмористический диалог, в котором ответ предупреждает заранее угадываемый традиционный вопрос.

151) *Избави, господи ∾ и от инвалидного солдата* — шуточная арестантская поговорка в виде перефразированного начала молитвы.

153) «*Что ты так оболокся? ∾ прозяб!*» — Слова сибирско-уральского наречия: оболокся — оделся; сиверко — северный ветер.

154) *Прежде ∾ в воеводы попал.* — Ср.: «Вчера Макар гряды копал, нынче Макар в воеводы попал» (*Даль, Пословицы*, стр. 270).

156) *Эй, вы! Маркобруновы дворяна!* — выражение употреблено в смысле «грабители». Маркобрун — персонаж из древнерусской переводной повести о Бове-королевиче, широко распространенной в XIX в. в лубочных изданиях. Дворяне, состоявшие в войске Маркобруна, занимались вместе с ним грабежом и насилием.

161) *Он вина не пьет, с воды пьян живет.* — «С воды пьян живет» — строка из плясовой песни семейного цикла (см.: *Соболевский*, т. II, № 148; ср.: там же, № 413,— вариант, записанный С. П. Гуляевым в Сибири).

162) *Да нынче пасха на апрель живет* — т. е. праздник пасхи приходится на апрель (сибирско-уральский фразеологизм).

163) *Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить* — двустишие из плясовой песни любовного цикла.

164) *Хорош, как дедушка из-под 9-й сваи* — иносказательное обозначение водяного или мельничного черта, упоминать которого прямо считалось грехом. Ср. запись № 213.

167) *Трека, чеква, пятитка, полняк.* — Трека, чеква, пятитка — по-видимому, обозначение чисел на тюремном языке. В указанных выше словарях тюремно-арестантских и воровских жаргонов данных слов нет. Полняк — «армяк», «порты» и «коты», т. е., очевидно, полный комплект арестантской одежды (см.: *Трахтенберг*, стр. 48).

171) *Любил кататься, люби и саночки возить* — распространенная пословица, известная во многих вариантах: «Люби ездить, люби и саночки возить»; «Люби ездить, люби и салазки возить» (см.: *Даль, Пословицы*, стр. 194).

172) *Поводырь был ∾ голыши таскал.* — Достоевским под строкой даны объяснения отдельных слов этой записи: поводырь — вожатый, гаргосы — слепые нищие, голыши — гроши.

174) *Мужик — медвежья пятка* — пренебрежительное прозвище, которое арестанты давали крестьянам.

176) *...кто празднику рад, тот спозаранку пьян* — вариант известной пословицы. Ср.: «Кто празднику рад, тот до свету пьян» (*Даль, Пословицы*, стр. 181).

187) *Ты, брат, за дугу, а я уж в телеге сижу.* — Близких вариантов этой пословицы не найдено.

188) *Не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе.* — Карантин — огороженное здание, где содержались арестанты, изолированные по каким-либо причинам от остальных; шпунты (нем. Spund) — специальные пробки, которыми закрывали бочки с неперебродившим вином, пить шпунты — пить прямо из бочки; играть на белендрясе — играть пальцами на губах, в переносном смысле — пустословить.

189) *Две лени вошли в сад ∾ Как тебе говорить-то не лень?*» — Диалог этот восходит к народному мотиву «Три лентяя» (см.: *Андреев*, № 1950).

190) *Двоедан, большие кресты, крыжаки* — слова, употреблявшиеся как прозвища старообрядцев. Двоедан — платящий двойную пошлину (дань, подать): старообрядцы платили двойную подать до 1782 г.; большие кресты — осеняя себя крестным знамением, старообрядцы делали большой размах правой рукой; крыжаки — искаженное «кержаки». Последнее прозвище произошло от названия р. Керженец, по берегам которой в лесах скрывались старообрядцы; слово «кержак» почти повсеместно употреблялось как синоним слова «старообрядец», «раскольник».

197) *Кто в деле, тот и в ответе.* — Ср.: «Чей грех, тот и в ответе»; «Кто в совете, тот и в ответе» (*Даль*, т. II, стр. 742).

198) *Я, брат, Кольцов, не найти концов* — шуточная поговорка, по-видимому распространенная в среде бродяг и ссыльнопоселенцев. Найти ее в других публикациях не удалось.

200) *Ну, здорово были! (Здорово ночевали!)* — одна из форм приветствия, распространенная в говорах Сибири и Урала. Ср.: «Спали-почивали, весело ль вставали?» (*Даль, Пословицы,* стр. 751).

205) *Смотрим, идут две суфлеры.* — Суфлеры — тюремное название «женщин легкого поведения». «Суфлера — потаскуха, арестантская любовь» (см.: *Максимов,* стр. 161; *Трахтенберг,* стр. 6).

207) *(И он повесил нос, как старый воробей, которого провели на мякине.)* — перефразированная пословица «Старого воробья на мякине не проведешь (не обманешь)» (см.: *Даль,* т. II, стр. 381).

210) *Сено-то в сапогах ходит* — т. е. дорогое. Ср.: «Ныне молоко в сапожках щеголяет» (*Даль,* т. IV, стр. 140).

212) *Ну, тут и моя копеечка умылась* — т. е. пропала.

213) *Из-под девятой сваи, где Антипка беспятый живет.* — Антипка беспятый (чаще Анчутка беспятый) — черт: «Анчутки — чертенята» (см.: *Даль,* т. I, стр. 19); «Анчутка беспятый — нечто вроде русского Мефистофеля» (см.: *Короленко,* т. VII, стр. 38).

214) *Салфет вашей милости.* — Салфет — искаженное «салют». Ср.: «Салфет вашей милости, красота вашей чести» (*Даль, Пословицы,* стр. 752).

215) *Круглолица, белолица* ∾ *Без меня меня женили* — отрывок плясовой песни. Близких к начальной строфе вариантов не найдено. Известна группа вариантов плясовых припевок и частушек, начинающихся со слов: «Без меня меня женили». Ср.: *Шейн, Великорус,* вып. I, стр. 169:

Без меня меня женили,
Я на мельнице был.
Веселились, пировали —
Я в лесу дрова рубил.
Приезжаю я домой —
Поздравляют с молодой.

218) *Погодя того немножко, Акулинин муж на двор* — двустишие из шуточной плясовой песни «Как со вечера пороша нападала хороша» (см.: *Соболевский,* т. VII, № 174).

219) *...ни уха, ни рыла не знал* — поговорка, распространенная на Урале и в Сибири; возникла от сокращения пословицы «Не смыслит Вавила ни уха, ни рыла» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 455).

222) *У голодной куме и хлеб на уме.* — Ср.: «У голодной куме всё хлеб на уме» или «один хлеб на уме» (*Даль, Пословицы,* стр. 629).

224) *Ах ты, батюшка медведюшка! Задави мою коровушку* — двустишие из популярной плясовой песни «Как вставала я ранешенько» (см.: *Соболевский,* т. VII, №№ 136—138).

232) *...бога не боялся, отца-мать не почитал...* — Ср.: *Federowski,* № 725.

233) *Будь здоров* ∾ *не в зачет* — вариант распространенного шуточного приветствия. Ср.: «Будь здоров на сто годов, а понравится, и двести (триста, тыщу) живи» (*Даль, Пословицы,* стр. 753—754).

234) *Побойся бога, смерть у порога!* — Ср.: «Бойся — не бойся, а смерть у порога»; «Бойся бога — смерть у порога» (*Даль, Пословицы,* стр. 281, 282).

241) *...спасибо за баню, за вольный дух, славно исполосовали* — распространенная на Севере, в Сибири и на Урале формула благодарности после мытья в бане. Славно исполосовали — хорошо напарили березовым веником; здесь: наказали.

242) *...нет фарту, что хошь возьми.* — См. запись № 137 и комментарий к ней, а также запись № 244.

246) *...ворон ворону глаз не выклюет.* — Ср. незначительно отличающийся вариант: «Ворон ворону не выклюнет гла́за» (*Даль, Пословицы,* стр. 772; *Пословицы,* стр. 120, 152).

247) *Доносчику первый кнут* — старинная пословица (см.: *Пословицы,* стр. 153).

251) *Шапку заломал на четыре беды.* — Заломать шапку — «завалить на затылок» (см.: *Даль,* т. II, стр. 613).

254) *Натрескался я пирога, как Мартын мыла.* — Ср.: «Ровно мыла наелся» (*Даль, Пословицы,* стр. 61).

256) *Дальше положишь, ближе возьмешь.* — Незначительно отличающиеся варианты этой пословицы см.: *Пословицы,* стр. 113.

257) *Трем курам корму раздать обочтется.* — Ср.: «На трех свиней корму не разделит»; «Он трех не перечтет» (*Даль, Пословицы,* стр. 435).

259) *Эх вы, два Демида* — сокращенный вариант пословицы «Два Демида, да оба не видят» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 458). Против записи на полях рисунок мужской головы в профиль.

260) *Ошибку в фальшь не ставят.* — Ср.: «Ошибка в фальшь не ставится. Не всяко лыко в строку» (*Даль, Пословицы,* стр. 648).

261) *Астролом! Все божии планиды узнал.* — Астролом — искаженное «астроном»; планиды — планеты.

262) *...шилом молоко хлебать.* — Ср.: «Хватил шилом патоки!» (*Даль, Пословицы,* стр. 482), а также запись № 450.

263) *На чужой кусок ∾ да свой затевай.* — Ср.: «На чужой кусок не пяль роток, а свой припаси да и в рот понеси» (*Даль, Пословицы,* стр. 614).

266) *...золотом уши завешаны.* — Ср.: «У девки уши золотом завешаны» (*Даль,* т. IV, стр. 540).

273) *За сто раков не соглашусь* — поговорка, имеющая смысл «за тысячу рублей». Рак — десять рублей (десятирублевые ассигнации печатались на красной бумаге). Более распространен вариант: «Ни за сто печеных (или вареных) раков».

277) *У меня ль, младой ∾ Пироги спекла* — начало заключительной строфы плясовой песни (см.: *Соболевский,* т. II, № 399), включающей пословицу о бедности: «Вымыла ложки да вылила во щи» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 583).

280) *...из хором вы у меня тепла не унесете* — поговорка, сопровождающая приглашение погреться. Ср.: «С собой тепло не возьмете». Распространена в говорах Урала и Сибири.

281) *«А есть деревеньки?» ∾ По оброку в Ладожском озере ходят»* — шуточная прибаутка пословичного типа. Ср.: «Купил бы село, да в кармане голо; завел бы вотчину, да купило покорчило» (*Даль, Пословицы,* стр. 97).

282) *Не хотел шить ∾ молотом* — старинная пословица. Ср.: «Стукни молотом — не отзовется ли золотом» (*Даль,* т. II, стр. 349).

283) *Не делай свое хорошее, а делай мое дурное* — пословица; вариант: «...делай мое худое», т. е. не умничай (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 433).

290) *Дай бог нашему теленку волка съесть* — старинная пословица. Ср.: «Дай бог нашему теляти волка поймати» (*Даль, Пословицы,* стр. 636).

295) *Свет небесный ∾ зорю пробьет* — строфы из песни «Не в Москве, не за Москвою» (см.: *Соболевский,* т. IV, № 530). *Не увидит взор мой той страны ∾ Меня не будет там* — строфы из стихотворения И. И. Козлова «Добрая ночь», которое является вольным переводом 13-й строфы первой песни «Чайльд Гарольда» Байрона, переложенным на музыку и переосмысленным в устной традиции. Песня была особенно популярна в тюремной среде (см.: Песни и романсы русских поэтов. Изд. 2-е. М.—Л., 1965, стр. 927 (Библиотека поэта. Большая серия); *Баранов,* № 96).

309) *Да это, брат, штука капитана Кука.* — Кук Джемс (1728—1779)— английский мореплаватель, первооткрыватель многих островов. Возможно, что эта рифмованная поговорка возникла как шутливая реакция на ошеломляющие известия об открытиях Кука и пережитых им испытаниях.

315) *Любил медок, люби и холодок* — пословица на ту же тему, что и «Любил кататься, люби и саночки возить» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 194).

321) *...капли в рот не беру, всё за галстух лью* — поговорка, основанная на фразеологизме «залить за галстук» — т. е. быть пьяным (см.: *Даль,* т. III, стр. 570).

322) *Дурак любит красненькое.* — Ср.: «Дурак любит красно, солдат любит ясно» (*Даль,* т. II, стр. 190).

323) *А вот я знал поляка ∾ ни́ма за́ цо.* — Эта запись на польском языке содержит распространенное бранное выражение «Всех их вмисци дьяблы

везмо» и поговорку «Есть цо ку́пить, ни́ма за́ цо». Ср.: *Federowski*, № 4122.

326) *Вот вышли мы с ней ∾ вот как идем.* — Ср. запись № 384. Смушачья шапка — шапка, сшитая из шкурки новорожденного ягненка (то же: смушковая).

329) *А на всякий роток не накинешь платок.* — Ср.: «На чужой роток не накинешь платок»; «На чужой рот пуговицы не нашьешь» (*Даль, Пословицы*, стр. 416). Между №№ 328 и 329 несколько рисунков Достоевского.

330) *Набухвостили* — налгали, насплетничали, перессорили (см.: *Даль*, т. II, стр. 390).

331) «*Теперь-то? в мешке!*» — Мешок — на тюремно-арестантском жаргоне означает всякое здание, предназначенное для содержания лиц, лишенных свободы (см.: *Трахтенберг*, стр. 40).

332) *...на каменное построение, на табашное разорение* — формула пословичного типа, иронически характеризующая собирающих подаяние, а также жуликов, лентяев и мошенников. Близких вариантов не найдено.

333) *...бог убил, молчал бы...* — перефразированная поговорка. Ср.: «Молчи, коли бог разуму не дал!»: «Молчи, коли бог убил» (*Даль, Пословицы*, стр. 444). Убил — покарал, наказал (см.: *Даль*, т. IV, стр. 468).

338) *...дело по делу, суд по форме...* — Вариантов этой пословицы не найдено.

339) *Не у всякого жена Марья* — краткий вариант пословицы. Ср.: «Не у всякого жена Марья, а кому бог даст» (*Даль, Пословицы*, стр. 56, 367).

345) *Вот нужно жениться бедному* — перефразированная пословица «Бедному жениться — и ночь коротка» (см.: *Даль, Пословицы*, стр. 96, 193).

346) *А ты больше знай, да меньше болтай...* — Ср.: «Знай, да не бай» (*Даль*. т. I, стр. 711).

347) *Бей крепче, будет мельче.* — Ср.: «Бей мельчей, собирать ловчей!»; «Бей мельче, собирать легче» (*Пословицы*, стр. 182).

348) «*Скорей скорого не сделаешь...* — поговорка (см.: *Даль*, т. IV, стр. 210).

349) *По пояс в воде ∾ третьей ищет.*) — две пословицы о рассеянных. Первая относится к числу редких. Ср.: «Яким — простота: рукавицы за поясом, а других ищет» (*Даль, Пословицы*, стр. 480, 578).

351) *Стипириновые* — искаженное «стеариновые».

355) *...ты врал, а я не разобрал.* — Ср.: «Одна врала, другая не разобрала, а третья по-своему переврала» (*Даль*, т. I, стр. 264).

356) *...у стояния была; 12 евангелий читали*». — Стояние — всенощное бдение во храме в четверг и субботу пятой недели великого поста, когда читают 12 отрывков из Евангелия. Чтение каждого отрывка заканчивается ударами колокола.

357) *...память у меня девушкина* — т. е. короткая (см.: *Даль*, т. III, стр. 10; *Даль, Пословицы*, стр. 448).

365) *С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь* — вариант общеизвестной пословицы. Ср.: «С погани не треснешь, с чистоты не воскреснешь»; «С погани не умрешь, а с чистоты свернешься» (*Даль, Пословицы*, стр. 584).

366) *...всей работы не переработаешь...* — Ср.: «Работа не черт, в воду не уйдет» и др. (*Даль*, т. IV, стр. 615).

373) *Где та мышь ∾ звонок привесила?* — Образы этой реплики заимствованы из сказки на сюжет «мачеха и падчерица» (см.: *Афанасьев*, т. I, № 98; *Андреев*, № 480 * с).

381) *Старому волку везде дорога* — пословица, по-видимому возникшая в среде опытных бродяг. Близких вариантов не найдено.

382) N3 (*Мало ль живет ∾ из Амстердама*, 1698 г.). — Имеется в виду письмо Петра I к князю Ф. Ю. Ромодановскому, написанное в ответ на сообщение об усмирении стрелецкого бунта. В письме есть такие строки: «А буде думаете, что мы пропали [для того, что почьты задержались], і для того, баясь, і в дела не вътступаешь: воістинно, скоряя бы почьты весть была; толко, слава богу, ни един ч⟨еловек⟩ не умер: все живы. Я не знаю, откуды

на вас такой страх бабей! Мала ль живет, что почьты проподают; а се в ту пору была половодь. Некали ничего делать с такою трусостью» (см.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. I. 1688—1701. СПб., 1887, стр. 251—252).

389) *Чему посмеешься, тому и поработаешь.* — Ср.: «Чему позавидуешь, тому поработаешь» (*Даль, Пословицы,* стр. 188, 674).

393) *А мне везде рай, был бы хлеба край.* — Ср.: «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хлеба край, так и под елью рай» (*Даль, Пословицы,* стр. 811).

411) *Жили — не люди, померли — не покойники.* Ср.: «Жил — не сосед, умер — не покойник» (*Даль, Пословицы,* стр. 257). Вариант, записанный Достоевским, ближе к известной бродяжьей поговорке «Едим прошеное, носим брошеное, живем краденым» (см.: *Максимов,* стр. 228) или «Едим прошеное, носим брошеное, умрем — и то в землю не пойдем» (т. е. некому будет похоронить) (см.: *Короленко,* т. I, стр 163).

412) *Это ведь не башмак, с ноги не сбросишь* — пословица о жене. Ср.: «Жена не сапог (не лапоть), с ноги не скинешь»; «Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь» (*Даль, Пословицы,* стр. 367).

413) *Двоим любо, третий не суйся!* — Ср.: «Двое дерутся, третий не суйся» (*Пословицы,* стр. 170).

417) *За 100 верст киселя есть ездили.* — Ср.: «За семь верст киселя есть» (*Даль, Пословицы,* стр. 452).

433) *Коли я дурак, так ты родом так.* — Ср.: «Я не дурак, у меня родина так» (*ИРЛИ.* Р.V, к. 291, п. 1, черновые записи); «Не дурак, а родом так» (*Даль, Пословицы,* стр. 442).

437) *Вот мы с ним муху и задавили.* — Под строкой Достоевским дано объяснение слова «задавили»: выпили. Ср.: «Убить муху» (*Даль, Пословицы,* стр. 792).

438) *...съездил его по идолам (по зубам).* — Слово «идолы» (или едалы) в значении «зубы» встречается в воровском жаргоне (см.: *Тонков,* стр. 34).

442) *На лес взглянет, так лес вянет* — перефразированная пословица. Ср.: «Наш Касьян на что ни взглянет, всё вянет»; «Наш Касьян как на лес взглянет, так лес вянет» (*Даль, Пословицы,* стр. 59, 132).

445) *А тут барин ∞ вино шато-дромадер.* — Возможно, выражение «шато-дромадер» возникло под влиянием фонетического созвучия с названиями красных виноградных вин: шато-лафит, мадера. Дромадер (франц. dromadaire) — буквально: одногорбый верблюд; здесь: шуточное определение «закупорки», заданной гостям.

450) *Хватил шилом патоки!* — См. запись № 262. *Черного кобеля не отмоешь добела* — распространенный вариант известной пословицы. Ср.: «Черных кобелей набело не перемоешь»; «Черного кота не вымоешь добела» (*Даль, Пословицы,* стр. 474, 639, 723, 847).

453) *Суленая скотина в доме не животина* — вариант известной пословицы. Ср.: «Посуленая скотина — не животина» (*Даль, Пословицы,* стр. 652). Суленая — обещанная.

454) *Эй ты, кума, в решете приплыла* — фраза из шуточной плясовой песни: «Кума в решете приплыла, Юбкой парусила» (см.: *Шейн, Великорус,* № 930).

455) *Не бери лишнего, побойся вышнего* — сибирский вариант пословицы «Бойся вышнего, не говори лишнего» (см.: *Даль, Пословицы,* стр. 196).

456) «*Душа ты моя, ягода, любил я тебя двá года*» — двустишие из народной плясовой песни. Близких вариантов не найдено.

458) *Поселенец, что младенец: на что взглянет, то и тянет* — сибирская пословица. Вариантов не имеет (см.: *Трахтенберг,* стр. 75; Фольклорные записи В. Г. Короленко. Публ. З. И. Власовой. В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования. Т. II. М.—Л., 1957, стр. 219).

461) *Скоро, да не споро* — сокращенный вариант пословицы «Скоро не бывает споро, а нескоро живет здорово» (см.: *Пословицы,* стр. 164).

464) *Богат Ерошка, есть собака да кошка!* — Ср.: «Богат Мирошка, а животов — собака да кошка» (*Даль, Пословицы,* стр. 90).

468) *И чего тут нет, в Питере! Отца-матери нет* — вариант посло-

вицы. Ср.: «В Москве всё найдешь, кроме отца-матери» (*Даль, Пословицы*, стр. 331).

469) *Фура* — большая длинная крытая повозка для клади (устар.).

470) *Поссорь, боже, народ, накорми воевод* — вариант старинной пословицы. Ср.: «Помути, бог, народ, накорми воевод» (*Даль, Пословицы*, стр. 173, 227). В рукописи рядом с записью рисунок башни.

472) *Это и вору так впору* — перефразированная пословица «Доброму вору всё впору» (см.: *Даль, Пословицы*, стр. 165).

474) *Сходи туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что* — фраза из сказки с этим же названием (см.: *Афанасьев*, т. II, №№ 212—215; *Андреев*, № 465А).

479) *Об волке речь, а волк навстречу* — вариант пословицы. Ср.: «Про волка речь, а он навстречь. Серого помянули, а Серый здесь» (*Даль, Пословицы*, стр. 294).

480) *Мальчик не мот, а деньгам перевод*. — Ср.: «Парень бы не мот, да деньгам-то не вод» (*Даль, Пословицы*, стр. 98).

484) ...*ни сохну, ни мокну*» — распространенный фольклорный фразеологизм. Ср. пословицу «Не сохнут, не мокнут, не куржавеют (деньги)» (*Даль, Пословицы*, стр. 101) и загадку «Лежит доска на болоте, не сохнет, не мокнет, не куржавеет (язык во рту)» (см.: Д. Н. Садовников. Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. СПб., 1876, № 1816).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ [1]

Места хранения рукописей

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).

Печатные источники

Андреев — Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Изд. Русск. географич. об-ва, Л., 1929.
Афанасьев — А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Ред., подгот. текста и примеч. В. Я. Проппа. Тт. I—III. Гослитиздат, М.—Л., 1957.
Баранов — Песни оренбургских казаков с напевами в трех выпусках. Собрал и положил на ноты Ф. И. Баранов. Вып. 2. Оренбург, 1913.
БдЧт — «Библиотека для чтения» (журнал).
Берлинер — Г. Берлинер. Достоевский как изобразитель дореформенной каторги. «Каторга и ссылка», 1933, № 10, стр. 48—84.
Биография — Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I) .
Врангель — А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856 гг. СПб., 1912.
Гернет — М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. 2. М., 1961.
Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР, М., 1954—1966.
Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1937—1952.
Гозенпуд — А. Гозенпуд. Достоевский и музыка. Изд. «Музыка», Л., 1971.
Гроссман, Жизнь и труды — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.
Гроссман, Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. ГИЗ, М.—Пгр., 1922.

---

[1] В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указанными в перечне источников текста к каждому произведению.

Даль — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, тт. I—IV. Госиздат иностр. и нац. словарей, М., 1955.

Даль, Пословицы — Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. Гослитиздат, М., 1957.

Достоевская А. Г., Воспоминания — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Гослитиздат, М., 1971.

Достоевский и его время — Достоевский и его время. Изд. «Наука», Л., 1971 (Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом)).

ДП — «Дневник писателя».

Звенья — Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX вв. Тт. I—IX. Изд. «Academia» — Госкультпросветиздат, М.—Л., 1932—1951.

И — «Иллюстрация» (журнал).

ИВ — «Исторический вестник» (журнал).

Кирпотин, Достоевский — В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. Гослитиздат, М., 1966.

Короленко — В. Г. Короленко. Собрание сочинений, тт. I—X. Гослитиздат, М., 1953—1956.

Короленко, Сиб. очерки — В. Г. Короленко. Сибирские очерки и рассказы, чч. 1—2. ОГИЗ, М., 1946.

ЛН — Литературное наследство, тт. 1—83. Изд. АН СССР — «Наука», М., 1931—1971. Издание продолжается.

Максимов — С. В. Максимов. Сибирь и каторга, чч. 1—3. Изд. 3-е. СПб., 1900.

Мартьянов — П. К. Мартьянов. Дела и люди века. Из старой записной книжки, статьи и заметки. Т. 3. СПб., 1896.

Николаевский — К. Николаевский. Товарищи Ф. М. Достоевского по каторге. «Исторический вестник», 1898, № 1, стр. 219—222.

ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).

Описание — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 (Библиотека СССР им В. И. Ленина — Центр. гос. архив литературы и искусства СССР — Институт русской литературы).

Песни Печоры — Песни Печоры. Изд. подготовили Н. П. Колпакова, Ф. В. Соколов, Б. М. Добровольский. Изд. АН СССР, М.—Л., 1966.

Пиксанов — Н. К. Пиксанов. Достоевский и фольклор. «Сов. этнография», 1934, № 1—2, стр. 152—180.

Пословицы — Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961.

РВ — «Русский вестник» (журнал).

РЛ — «Русская литература» (журнал).

РС — «Русская старина» (журнал).

РСл — «Русское слово» (журнал).

С — «Современник» (журнал).

Салтыков-Щедрин — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, тт. I—XI. Гослитиздат, М., 1965—1971. Издание продолжается.

Сб. Достоевский, I — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сборник I. Изд. «Мысль», Пб., 1922.

СО — «Сын отечества» (газета).

Соболевский — Великорусские народные песни. Изданы А. И. Соболевским. Тт. I—VII. СПб., 1895—1902.

СТ — Сибирская тетрадь.

Толстой — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 1—90. Гослитиздат, М., 1928—1964.

Тонков — В. Тонков. Опыт исследования воровского языка. Казань, 1930.

Трахтенберг — В. Ф. Трахтенберг. Блатная музыка («Жаргон» тюрьмы). Под ред. и с предисл. проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ. СПб., 1908.

Тургенев, Письма — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма, тт. I—XIII. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1961—1968.

Фридлендер — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.
Чулков — Г. Чулков. Как работал Достоевский. Изд. «Сов. писатель», М., 1939.
Шейн, Великорус — Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Вып. I—II. СПб., 1898—1900.
Шкловский — В. Шкловский. За и против. Изд. «Сов. писатель», М., 1957.

Federowski — M. Federowski. Lud bialoruski na Rusi litewskiej, t. IV. Warszawa, 1935.
Pascal — P. Pascal. Introduction. В кн.: Dostoïevski. Récits de la Maison des morts. Paris, 1961 (Classiques Garnier).
Tokarzewski, 1907 — S. Tokarzewski. Siedem lat katorgi. Warszawa, 1907.
Tokarzewski, 1912 — S. Tokarzewski. Katorznicy. Warszawa, 1912.

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Редакционная коллегия:
В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор),
В. В. ВИНОГРАДОВ, Ф. Я. ПРИЙМА,
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР (заместитель главного редактора),
М. Б. ХРАПЧЕНКО

Текст подготовили и примечания составили
И. Д. ЯКУБОВИЧ («Записки из Мертвого дома»; раздел 2 примечаний — Б. В. ФЕДОРЕНКО и И. Д. ЯКУБОВИЧ); И. М. ЮДИНА (Сибирская тетрадь — текст, примечания), З. И. ВЛАСОВА (Сибирская тетрадь — примечания)

Редактор IV тома Ф. Я. ПРИЙМА

*

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том IV

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*
Технический редактор *М. Н. Кондратьева*
Корректоры *Р. Г. Гершинская, А. И. Кац* и *Э. В. Коваленко*

Сдано в набор 21/II 1972 г. Подписано к печати 4/X 1972 г. Формат бумаги 60×90 1/16. Бумага № 1. Печ. л. 20 1/2+1 вкл. (1/8 печ. л.)=20,62 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 23,79. Изд. № 4059. Тип. зак. № 206. Тираж 200 000. *Цена 2 р. 30 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, Менделеевская линия, д. 1

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.